ISSN 0130 – 6545

5.1990

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Парад планет II.

На 1-й и 4-й страницах обложки — Военный с белым конём.
Последнее письмо Франтишека Лубаса матери.

Цветные иллюстрации номера — работы чехословацкого художника Иржи Андерле

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)
Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (ГДР)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (ФРГ)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
А. М. ЗВЕРЕВ
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. В. ЛАНИНА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
В. Ф. ОГНЕВ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
В. С. ПЕРЕХВАТОВ
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного редактора

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

5 май 1990

СОДЕРЖАНИЕ

ЗИГФРИД ЛЕНЦ — Вот такой конец войны *(Рассказ. Перевод с немецкого Н. Бунина)* 5

БЛАГА ДИМИТРОВА — Стихи *(Вступление Владимира Огнева. Перевод с болгарского Юнны Мориц)* 22

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ — Русский отдел *(Роман. Перевод с английского И. Гуровой и Е. Рождественской)* 31

СТЕФАН ГЕЙМ — Книга царя Давида *(Роман. Окончание. Перевод с немецкого Б. Хлебникова)* 79

Критика

Художник и власть

Участвуют: Чингиз Айтматов, Жоржи Амаду, Криста Вольф, Ананта Мурти, Кэндзабуро Оэ, Йордан Радичков, Роберто Фернандес Ретамар, А. Адамович, Т. Мотылева, Р. Рождественский, Л. Аннинский, А. Битов, Г. Гачев, Д. Гранин, В. Иванов, В. Корнилов, В. Маканин *(Переводы: с португальского Г. Вержховской, с немецкого И. Золотарева, с японского А. Виноградовой, с испанского А. Золотовой, с английского М. Салганик, Т. Ланиной, с болгарского Н. Глен)* 177

Публицистика

Тема для дискуссии: атомная энергетика и экология

Переписка Генриха Бёлля с Андреем Сахаровым *(Публикация и послесловие Е. Г. Боннэр)* 202

Вера и мораль

К. С. ЛЬЮИС — Христианское поведение *(Перевод с английского И. Череватой. Вступление Н. Трауберг)* 205

АЛЬБЕР КАМЮ — Человек бунтующий *(Главы из книги. Перевод с французского Ю. Стефанова)* 234

Курьер «ИЛ» 249

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1990

Художественный редактор Е. Н. Черняев

Технический редактор Е. П. Поляков

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая, д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 23.02.1990. Подписано в печать 12.07.1990. Формат 70×108 1/16. Печать высокая, бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 27,68.

Тираж 360 000 экз. (1-й завод: 1—290 000 экз.). Зак. 924. Цена 1 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

ЗИГФРИД ЛЕНЦ

Вот такой конец войны

РАССКАЗ

Перевод с немецкого Н. БУНИНА

Наш минный тральщик малым ходом скользит по Зунду, а они, мельком поглядев в нашу сторону, тут же отворачиваются. С катеров, шаланд, сходен рыбаки бросают на нас мимолетные и равнодушные взгляды — будто бы равнодушные, — но, едва узрев наше судно, отворачиваются, продолжают складывать ящики с навагой и скумбрией, драят палубу, вытряхивают сети или, прикрыв ладонями самокрутку, раскуривают последние табачные крохи.

Встречаясь с нами на кривых улицах портового городка, они смотрели как бы сквозь нас, с безразличием отмечали каждый выход в море нашего МХ-12; причем никакими сигналами — взглядами или кивками — не обменивались, просто поворачивались к нам спиной, когда мы проплывали с расчехленным носовым орудием, и лишь работали еще энергичнее, чуть ли не с ожесточением. Казалось, они привыкли к серому тральщику, терпели его властный силуэт на фоне здания комендатуры порта, и это терпение выражалось тем, что они пренебрежительно смотрели поверх корабля — не все, но большинство жителей тихой датской гавани, где мы базировались в последние месяцы войны.

Берега отступили, открылся Зунд, ветер дул слабый, чайки — вроде бы на всякий случай — повисли над ютом. Позади остались молы, сверкающий на солнце белый маяк и развалившаяся крепость, в которой помешанный король некогда провел свои последние годы. Маленькие волны, расходившиеся от тральщика, лизали береговые камни и качали пришвартованные лодки. У наших орудий расчеты пока не дежурили.

Вдали, под защитой островов — защитой мнимой, стояла на якоре бездомная армада: старые грузовые суда, плавучие мастерские, буксиры и баржи, удравшие из сданных вермахтом восточных портов; на остатках топлива они могли бы поодиночке или в составе неторопливых конвоев дотянуть по ненадежной Балтики, среди дрейфующих обломков, подальше на Запад. Уже неделями они занимают позицию ожидания: им пока не разрешили зайти в немногие еще свободные гавани — там у пирсов стояли военные корабли.

Безветренно, над морем стелется тонкая дымка, мы идем мимо потопленного войскового транспорта, который, чуть накренившись, торчит из воды у самого фарватера. Легкие волны набегают на ржавые станины зенитных пушек и, оплескав их лафеты, пенистыми языками стекают вниз. На его рангоуте, словно сигнальные вымпелы, сидят морские чайки; то одна, то другая взмывает вверх и, очертив не-

© 1984 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg

большой круг, усаживается обратно. Мы по-прежнему идем малым ходом.

Командир тральщика вызвал несколько офицеров на мостик. Сообщая о задании, он как-то отрешенно смотрел вдаль, порой переходил на диалект, и голос его звучал то тише, то громче. Значит, на Восток. Мы получили приказ следовать в Курляндию [1], где, прижатая к морю, окруженная армия продолжала сопротивляться, хотя все было потеряно. Идем в Либаву [2], сказал командир, возьмем на борт раненых и доставим в Киль. Приказ командования флотилии. Он застегнул верхнюю пуговицу кителя, надетого на свитер, поглядел на штурмана и некоторое время стоял, видимо ожидая вопросов, возражений; но ни штурман, ни кто-либо другой не высказались по поводу задания, все упрямо молчали, словно требовали пояснений к услышанному. Командир велел расчету занять места у спаренного орудия.

Стоя у штурвала, я слышал, как обсуждали возможный курс. С тех пор как были сданы порты Восточной Пруссии и Померании, на Восток не шло ни одного конвоя, к которому мы могли бы примкнуть; придется идти в одиночку, вдали от берега, чтобы не обнаружила их авиация. Командир предложил двинуться на северо-восток мимо шведского Готланда, далее идти в шведских территориальных водах, а ночью пересечь Балтийское море на юго-восток.

Штурман сказал:

— Мы не пройдем, Тим.

А командир тягуче и как всегда чуть пренебрежительным тоном возразил:

— Я еще ни разу не был в Либаве, может это последний шанс.

Они были родом из одной фрисландской деревушки, оба до войны плавали на рыболовных катерах, оба — капитанами.

Мы шли эскадренной скоростью по курсу, который намечал и прокладывал сам командир. На море поднялась зыбь. Мимо очень быстро прошел торпедный катер, в бинокль мы успели разглядеть солдат с белыми бинтами, они сидели на палубе повсюду.

— Под конец все стали госпитальными суднами,— сказал командир.

Высоко в ясном небе тянулись инверсионные следы. Справа болтались две пустые надувные лодки, наш кормовой бурун закачал их сильнее. На мостик пришел бортрадист и доложил, что принят сигнал бедствия от блокшива «Кап Белица»: налетел на мину, тонет. Склонившись над картой, командир определил место катастрофы; нет, мы не сможем оказать помощь, слишком далеко.

— Это безумие, Тим, — сказал штурман, — мы никогда не дойдем до Либавы.

Они молча обменялись табаком, набили трубки и одновременно закурили.

— Их самолеты... — сказал штурман, — их самолеты и подлодки топят восточнее Борнхольма все подряд.

— У меня приказ, — сказал командир, — в Курляндии нас ждут.

Когда мы остановились, спасательный плотик заскользил вдоль нашего борта, вниз полетел линь, один из двух босоногих солдат поймал его и закрепил за поперечину. Оружия у них не было, все свое имущество они завернули в плащ-палатку и попросили поднять на палубу прежде, чем сами покинули плот. Без нашей помощи они не взобрались бы по забортному трапу и до каюты не доковыляли бы. Только мы набрали ход, как с запада показались несколько самолетов; выскочив из-за горизонта, они помчались на нас бреющим полетом, — их пропеллеры в сверкающем диске, казалось, проворачивались то нале-

[1] Западная часть Латвийской ССР.

[2] Ныне Лиепая.

во, то направо, как в кино. Еще ревела и квакала наша сирена, как пулеметные очереди вспороли фонтанчиками воду, прошили палубу, мостик, бак, швырнули на рею матроса-сигнальщика; наша спаренная установка развернулась и открыла огонь трассирующими, траектории снарядов легли выше.

Это был единственный налет. Убитого сигнальщика завязали в брезент — не зашили, а завязали — и, подвесив два груза, предали с кормы воде.

Штурман разговаривал с двумя босыми солдатами; они служили при штабе, которому удалось отплыть на вооруженном буксире из одного померанского порта. Ночью их протаранил какой-то танкер. Спасенные не хотели верить, что мы идем в Курляндию, и с испугом глядели на штурмана; тот, который говорил от имени обоих, попросил высадить их где-нибудь на берег. Они крепко держались друг друга. Штурман сказал, что по пути мы не зайдем ни в одну гавань, поэтому им придется оставаться на борту. Солдат, говоривший от имени обоих, тихо сказал, как бы самому себе:

— Но ведь идет к концу... может быть, уже все кончено.

Даже усиленное наблюдение ничего не обнаружило. Мы шли северо-восточным курсом, попадая временами в легкие полосы тумана, чуть просвечиваемые солнцем; море оставалось спокойным, ветра почти не было. Блуждающие колонии медуз передвигались равномерными толчками и придавали воде молочный оттенок; судно будто пропахивало поле, вдоль бортов ложились сверкающие отвалы. Однажды заметили на горизонте полосу дыма неизвестного происхождения. Тишина, простор, пустота внушали чувство безопасности, по крайней мере на какие-то мгновения казалось, будто мы плывем по заповедным просторам, где ничто не угрожает. Но мы несли боевую вахту. На всех постах — сидя или стоя — люди вели нескончаемые разговоры.

Весть принес на мостик радист; он сообщил ее не сразу, сначала рассказал о мерах по спасению «Кап Белица» — туда подошли четыре судна, в том числе два эсминца; затем изучил разложенные карты и прикинул наш курс, потом покурил на крыле мостика и лишь перед уходом, обернувшись, сказал:

— Что-то надвигается, что-то важное.

— Ты что имеешь в виду? — спросил штурман.

— Капитуляция, — сказал радист. — Если не ошибаюсь, вот-вот объявят капитуляцию.

Впереди справа, на горизонте показался огромный белый корабль, шведский пассажирский пароход, желто-голубые полосы по бортам и на обеих трубах; он шел полным ходом, самоуверенно, под защитой нейтралитета. На тентовой палубе пассажиры в шезлонгах, наверно, закутаны в пледы из верблюжьей шерсти; парочки прогуливаются или в беспечных позах стоят у релингов, бегают стюарды с подносами.

Нелегко, стоя у штурвала, делать вид, что ничего не слышишь, и смотреть прямо перед собой, когда за спиной идет разговор.

— Что же делать, Тим, если это случится, что делать? — спросил штурман.

— Не ломай себе голову, — сказал после паузы командир, — в штабе о нас не забудут.

— А вдруг промолчат?

— У нас задание.

— Не только.

— А что еще?

— Еще есть люди. Экипаж. Все кончено, Тим. Они в Берлине... Мы не пройдем в Курляндию. Почему ты хочешь рисковать всем?

— Что предлагаешь?

— Идти в Киль. Или во Фленсбург. Вернуться живыми. Это тоже задание. Последнее.

— А я думаю о тех беднягах... Их там полно на косе, на косе, что под Либавой. Раненными в плен... Представь: ты раненным попадаешь в плен. К русским.

— Если б хоть был один шанс... Ты знаешь меня, Тим... Нам не удастся спасти ни единого человека. Пойдем на дно прежде, чем увидим берег. И так думают многие...

— Кто именно?

— Экипаж. Толкуют, что вот-вот конец.

— Мы должны рискнуть.

— Люди другого мнения.

— А ты, Бертрам?

— Отвези их домой, Тим. Вот мое мнение. Верни домой.

На полубаке сидели свободные от вахты матросы; двое дулись в карты, один спал, навалившись на стол, под иллюминатором шел какой-то сдержанный разговор, перед шкафчиками жевали куски хлеба с тушенкой, запивая кофе из алюминиевых стаканчиков. Пахло мазутом и краской. Новенький — молодой паренек в кожаном комбинезоне — сидел отдельно и читал; он то и дело закрывал глаза и откидывался назад, положив ладони на замусоленную книгу.

Сейчас, в минуты тишины, особенно ощущалась вибрация судна. Неожиданно раскрылась дверь, медленно вошел радист и замер; его взгляд был устремлен поверх нас, он стоял, будто прислушиваясь, не к нам, не к сдержанным голосам под иллюминатором, а к далеким сигналам, к треску в эфире, которые привели его в растерянность — не в отчаяние, не в панику, а лишь в растерянность, и поскольку он не изменил своей позы, всеобщее внимание обратилось на него.

— Ну чего там? — раздался голос.

— Под Люнебургом, — тихо начал радист, — Фридебург подписал — адмирал флота фон Фридебург — капитуляцию! — И в наступившей тишине твердым голосом добавил: — На всем британском фронте мы капитулировали, и в Голландии, и здесь, в Дании, тоже. — Закурив протянутую ему сигарету, он договорил: — Подписано в ставке Монтгомери под Люнебургом.

Он оглядел всех, одного за другим, настойчиво, как бы призывая к одному-единственному решению, но никто из нас не отважился произнести хоть слово. Никто не пошевелился, все какое-то время сидели оцепенело, будто припаянные.

Первым отреагировал Еллинек, наш старший пиротехник, — в команде МХ-12 поговаривали, что его за долгий срок службы дважды понижали в звании. Он легко поднялся с места, подошел к своему шкафчику, вытащил из-под шерстяного тряпья бутылку рома и по-компанейски поставил ее на стол. Но одобрения это не встретило, никто не потянулся к бутылке, все взоры снова устремились к радисту, как будто он еще не все сказал, будто утаил что-то такое, что касалось непосредственно нас, нашей команды. Вряд ли кто заметил, что у Новенького выступили слезы на глазах.

Вечерняя заря, казалось, утихомирила Балтику, закатные краски расплывались причудливыми узорами; то тут, то там вода пенилась, вскипала, бурлила — это скумбрии врезались в косяк сельди. Командир велел принести ему чаю на мостик; когда он курил, то по привычке охватывал рукой головку трубки, чтобы прикрыть слабый огонек. Наблюдатель решил сменить бинокли — дневной на тяжелый ночной; обшаривая взглядом горизонт, он поворачивался в поясе, как заводной механизм. Ничего не обнаружено; МХ-12 шел полным ходом сквозь медленно наступающие сумерки и казался неуловимой целью в морском просторе.

Никто не спал — не хотелось; судно было затемнено; матросы сидели за столами при тусклом синем свете и слушали старого пиро-

техника, который вроде бы разбирался в том, что означает капитуляция для МХ-12.

— Это же ясно, — говорил он, — всегда так делается: стать на якорь до самой сдачи; ничего не портить, никакого затопления и уж подавно никаких операций.

Он поднял голову, ткнул пальцем в направлении мостика и пожал плечами с видом разочарования, недоумения, будто хотел сказать: мол, они там, наверху, видать, не поняли, не соображают, что надо лечь на обратный курс, назад к нашей стоянке.

— Вот была бы потеха, если б нам сейчас вмазали после капитуляции, — сказал кто-то, на что Новенький, который все время сидел в раздумье, сдавленным голосом заметил:

— Ну и лезьте в шлюпки, драпайте, если обделались. Слушать вас тошно.

В светлом сумраке показалось судно с большой осадкой — танкер, шедший на запад; он еще не миновал нашей кормы, как с него передали на МХ-12 сигнал: «подводные лодки». Танкер резко сменил курс, а мы направились к тому месту, где наш наблюдатель обнаружил перископ по его следу — мерцающей дорожке, — причем никто на мостике не понял, чего этим маневром хотел добиться капитан, ведь у нас на борту не было глубинных бомб. Может быть, он решил таранить подлодку, а может, думал, что наша атака даст танкеру шанс ускользнуть; во всяком случае мы несколько раз прошлись по тому участку, орудийные расчеты стояли наготове, и лишь после долгих поисков легли на прежний курс.

— Надо вывезти раненых, — сказал командир, — только это мы еще сможем сделать... вывезти как можно больше.

— Мы капитулировали, Тим, — сказал штурман.

— Капитуляция частичная.

— Ты знаешь, к чему она обязывает нас.

— Сдадимся ли мы завтра или послезавтра... даже если мы вывезем на запад всего горстку... У командования лишь одна эта цель: доставить наших людей на запад... вызволить с востока...

— А где ты сдашь корабль?

— Где? Может, в Киле. Может, во Фленсбурге.

— Значит, окончательно решил?

— Да. Идем в Курляндию, заберем людей и — домой.

— Ты знаешь, что все операции необходимо прекратить.

— Это наша последняя операция.

— Нас могут привлечь к ответу. Тебя. Команду.

— Что с тобой, Бертрам?

— Послушай, Тим, люди ждут. Команда не пойдет на риск. Он не оправдан. После капитуляции.

— И чего же вы хотите?

— Идти обратно.

— Ты говоришь за них?

— За них. И за здравый смысл. Потолкуй с ними сам. После всего... У людей только одно желание: чтобы ты привез их домой.

— Ты понимаешь, что это значит?

— Они решились.

— Я спрашиваю: вы понимаете, что это значит?

— Они имеют на это право. Сейчас, когда все миновало.

— То, что вы задумали, может плохо кончиться... Бертрам, за судно я отвечаю. И приказываю здесь я.

Они заняли мостик еще до того, как заступила вторая вахта; поднимаясь по ступенькам, топали решительно и торопливо — человек шесть-восемь; они явно рассчитывали встретить сопротивление, по меньшей мере отказ повиноваться, но худшего не произошло, и они

взяли карабины на ремень стволами вниз. Окружили командира, который хранил молчание и спокойно продолжал курить, а первого вахтенного офицера оттеснили в штурманскую рубку.

В следующие мгновения мне показалось, будто мужество покинуло их, будто все они вдруг осознали, чем рискует зачинщик, и потеряли дар речи. Стоя у штурвала, я увидел, что они растерялись, никак не решатся на следующий шаг; я ощущал также охватившее их какое-то странное смущение, которое по мере затянувшейся молчанки усиливалось, вероятно, потому, что в душе они еще относились к командиру с подобающим уважением. Но вот на мостик поднялись штурман с пиротехником; похоже, они заранее распределили между собой роли. Протиснувшись сквозь плотное кольцо матросов, старый пиротехник взглянул в лицо командиру и без особой резкости высказал требование экипажа. В первых словах его еще звучала надежда, что командир признает справедливость требования и выполнит его — пусть даже против своей воли.

— Господин Калеу, — сказал он, — вы знаете, что мы относимся к вам с уважением. Большинство из нас участвовали во всех операциях. Многие понимают, чем обязаны вам лично... Но вот настал конец. И у нас единственная просьба: отдайте приказ идти обратно.

Командир оглядел всех подряд, весь полукруг мрачных лиц. Не видя явной угрозы, он сказал:

— Идите на свои места, марш. — Никто не двинулся. — По местам, я сказал! — Голос его звучал, как всегда, спокойно, сдержанно и остался таким же ровным, когда он, выждав, заключил: — Это неподчинение приказу.

— Мы хотим лишь живыми вернуться домой, — сказал пиротехник.— Возвращайтесь вместе с нами, господин Калеу.

После предупреждения, показавшегося кому-то почти отеческим: «Не навлекайте на себя беду, ребята», командир напомнил, что у МХ-12 ограниченная задача и что он намерен ее выполнить, разве только командование изменит приказ.

Каждый понял, что это был последний шанс, который он предоставлял оккупировавшим мостик; и, словно проверяя, чего он достиг своим обращением, командир двинулся назад к штурманской рубке, видимо, чтобы вызволить вахтенного офицера. По знаку пиротехника двое матросов преградили командиру путь.

— Так, — сказал командир глухо, — так... Значит, коллективное неповиновение приказу в море, это мятеж.

— Ступайте к себе в каюту,— сказал пиротехник,— вы и вахтенный офицер. До возвращения домой будете под арестом.

— Слушайте,— сказал командир,— слушайте хорошенько: на борту еще командую я; то, что вы делаете, это бунт.

Напряженное, полное неуверенности молчание внезапно нарушил штурман:

— Я отстраняю вас от должности. Для безопасности корабля и экипажа беру командование на себя, со всеми вытекающими последствиями. И буду отвечать за это.

Все было сформулировано четко, по-уставному, и я даже обернулся, чтобы удостовериться, что это в самом деле произнес штурман.

Он и командир стояли очень близко, почти вплотную друг к другу, не обращая внимания на стволы карабинов, которые машинально приподнялись в их сторону.

Никем не обнаруженный, под тускловатой луной, МХ-12 повернул в спокойном море на обратный курс, пенистый бурун за кормой быстро затих. У какого-нибудь далекого наблюдателя, заметившего наш внезапный маневр, могло сложиться впечатление, будто здесь, на борту, выполнили неожиданный приказ или чью-то прихоть либо поддались панике, так как, взяв обратный курс, мы сразу включили полный ход. Все, кто был свободен, находились на палубе или на мо-

стике, где стало тесно, как никогда еще; люди толкались, протискивались взад и вперед, говорили без умолку, то один, то другой справлялся у меня, каким идем курсом.

— Значит, в Киль?

— Да, в Киль.

Но охватившее всех возбуждение не было радостным, и не от радости они обступили штурмана, который с замкнутым видом понуро сидел на складном стуле.

Штурман заглянул в свою жестянку с табаком, взял длинную волокнистую щепотку для себя и, закрыв жестянку, вручил ее пиротехнику.

— Отнесите командиру,— сказал он.

Пиротехник усмехнулся и весело спросил:

— Ты что, меня не узнаешь, Бертрам?

Штурман промолчал, словно вопрос не дошел до него; не глядя, он набил свою носогрейку и нераскуренную зажал в зубах.

— Тебе не в чем упрекать себя,— сказал пиротехник.— Ты должен был это сделать.

— Скажи людям, чтобы разошлись по местам,— сказал штурман.— Все. Боевая вахта до прихода в Киль. Через несколько часов рассветет.

— Хорошо, Бертрам. Можешь на нас положиться.

— Оба солдата пусть сидят в кубрике.

— Они знают, что идем домой. Просятся наверх — хотят тебя поблагодарить.

— Пусть оставят свою благодарность при себе.

— Принести тебе чего-нибудь? Чаю? Бутерброд?

— Нет. Ничего не нужно.

— Да, вот что еще, Бертрам. Ты видел мои документы. Знаешь, что меня разжаловали... Оба раза из-за неповиновения. А я все равно... опять...

— Ладно.

— Уяснил, что хочу сказать? Я могу выполнять приказ, когда его понимаю. Когда за него можно отвечать. Надо иметь право спрашивать...

— Еще что?

— Ты все думаешь о капитане? Да, выше головы не прыгнешь. А может, он думает так же, как мы... Конечно, про себя, втайне...

— Отнеси ему табак.

Наблюдатель сообщил, что впереди по правому борту судно; сначала показались надстройки, потом обозначился силуэт, и через некоторое время мы увидели, что это МХ-18, наш «родственник». Он шел курсом запад — северо-запад, вероятно, к островам; при виде его возникало ощущение, что встретил самого себя. Все смотрели в его сторону, все ждали — кто напряженно, кто с беспокойством,— и вот сверкнуло: их сигнальный прожектор передал: «К» — «К», командир к командиру. Наш второй сигнальщик поднял фонарь на поручни мостика, приготовившись отвечать; он произносил вслух их запрос, который они повторяли: «К» для «К», повторяли неоднократно, настойчиво, но мы не отвечали.

Сигнальщик то и дело поглядывал на штурмана, боясь, что прослушал какое-нибудь распоряжение; но штурман лишь внимательно смотрел в ту сторону, не прибегая к помощи бинокля.

Запросы МХ-18 остались без ответа. По приказу штурмана временно замолчал и наш радист, и таким образом мы уклонились от какого-либо отчета, а наши коллеги, наверное, обозвали нас сонными тетерями и отнеслись к случившемуся скорее недоуменно, нежели с подозрением.

Перед рассветом на мостик принесли бутерброды и горячий кофе; мы молча жевали, глядя на серое спокойное море, на которое вскоре упадет первый луч зари. Полного штиля не было, терпеливый взгляд замечал, как в глубине возникало движение, пологие волны недолго катились в одном направлении и затухали. Гряды облаков на горизонте меняли очертания, то стягивались, то разделялись. Пиротехник возвратил штурману табак, который командир не принял.

В штабе флотилии не забыли о МХ-12. Нам прислали радиограмму, несколько смутившую штурмана; хотя сам я ее не читал, но из обсуждения, которое велось на мостике, уловил следующее: штаб подтвердил наше задание (полагая, что мы выполняем его) и вдобавок приказал слегка изменить курс, встретить на траверзе Готланда МХ-21 и вместе с ним продолжать рейс в Курляндию. Затребовали наше точное местонахождение. Пока на мостике шло обсуждение, взвешивались и отвергались возможные ответы, была получена вторая радиограмма, предлагавшая нам продолжить операцию самостоятельно; на МХ-21 в результате воздушного налета повреждено машинное отделение, и судно утратило маневренность.

Штурман в неподвижной позе внимал советам пиротехника и радиста и время от времени рассеянно кивал, подтверждая, что слышит их, хотя, возможно, совсем не слушал; так или иначе в итоге он велел передать в штаб свой собственный текст. «Чтобы не подвергать опасности судно и экипаж,— докладывал он,— пришлось сменить командование; МХ-12 следует в Киль, где будет ждать дальнейших приказов».

Надо было бы уменьшить скорость. Рыболовные катера, маленькие сизые суденышки, раскинув сети, дружно тянули свои лямки, и в утренних лучах казалось, будто тяжелые стальные тросы держат их на месте. Мы быстро приближались, никто и не думал огибать эту жалкую армаду, где не было видно ни души. На всех катерах были датские вымпелы. Мы прошли между ними на полном ходу, сетей не срезали, но от нашего буруна закачались катера и затанцевали привязанные к сетям стеклянные поплавки бутылочного цвета. Какой-то рыбак вышел из самодельной рулевой будки и погрозил кулаком.

— Теперь они могут это себе позволить,— заметил пиротехник,— теперь нам можно грозить.

Показались острова. Мы решили оставить их справа, а потом взять южнее, как вдруг из синей дымки вынырнуло какое-то плоское судно и пошло на большой скорости мимо стоявших на якоре кораблей. Это был торпедный катер новой модели. Его нос приподнялся из воды, бурлящая пена и белый чад скрывали корму. Он направлялся к нам, широкий пенистый след, тянувшийся за ним по водной глади, изогнулся в нашу сторону, когда мы чуть изменили курс,— казалось, катер ищет столкновения.

— Им нужны мы,— сказал штурман и дал сигнальщику знак приготовиться.

Мы сбавили ход, катер разок объехал вокруг нас, а затем мы увидели невооруженным глазом, как открылись крышки обоих торпедных аппаратов. Их скорострельная пушка осталась зачехленной, только два торпедных аппарата были нацелены на нас, в наш израненный, со вмятинами и шрамами, борт, и надо полагать, они взяли необходимый угол упреждения, так что никакой маневр нам не помог бы. Как они за нами следили! Они не торопились сообщить приказ, ждали, приглушив моторы, уверенные в своем превосходстве,— а может, так нам только казалось. И вот приказ передан: МХ-12 идти обратно в Зунд, на прежнюю стоянку. Мы двинулись под конвоем катера, который скромно держался чуть сзади по левому борту, но тем не менее давал почувствовать всю свою силу, на какую был способен. Со сторо-

ны могло показаться, что мы идем под охраной, имея на борту ценный груз. Пиротехник опустил бинокль и подошел к штурману.

— Нам не следовало останавливаться, Бертрам. По-моему, у них на борту даже торпед нет.

— Это по-твоему.

— А если и так... Да не стали бы они топить МХ-12. Посмотри туда.

— Ты ведь не знаешь, какой у них приказ. Я не хочу рисковать.

— Кроме того... они не имеют права. Капитуляция же подписана. Они обязаны подчиниться. По закону они должны быть на причале и ждать с белым флагом... как и мы... как все.

— Вот и скажи им.

— Ты в самом деле думаешь, что они нас прикончили бы?

— Да. Они наши соотечественники. Не забывай этого.

— Думаешь, нас ждут неприятности?

— Будет встреча. В нашем духе.

— Экипаж за тебя.

— Посмотрим.

— А что, если запросить?

— Кого?

— Их, на катере... вдруг им еще не сообщили, что все кончено. Это вполне возможно...

— Они выполняют свой долг. Или то, что считают долгом.

Датский флаг свисал над разваливающейся крепостью, флагами были украшены больница, аукционный павильон рыбаков и даже поврежденный экскаватор, у которого в результате загадочного взрыва оторвало ковшовую цепь. Когда мы по Зунду входили в порт, на нас удивленно глазели с берега. Очевидно, никто не предполагал, что МХ-12 сюда вернется, сделает, как всегда, поворот в центре акватории и пришвартуется перед зданием комендатуры. Теперь, уже в порту, командир торпедного катера поставил орудийный расчет у скорострельной пушки; они выжидали, пока мы причалим, затем плоский изящный катер развернулся и пришвартовался рядом.

Нас ждали. Едва отдали швартовы, как от стен комендатуры к тральщику направился строевым шагом взвод морской пехоты — матросские сапоги, портупеи, карабины на ремне; во главе — офицер, который выполнял данное ему поручение столь уверенно, будто отрепетировал его заранее во всех деталях. Он остановил взвод перед трапом, быстро поднялся на борт и, не глядя на нас, решительно прошел к каюте командира, что-то кратко сообщил ему через открытую дверь, после чего проследовал с ним и со старшим вахтенным офицером к трапу.

Ни с кем из нас командир не заговорил. Не взглянул на мостик, ни разу не обернулся; безучастный, углубленный в себя, он шагал к побеленному зданию и даже не поблагодарил вахтенного офицера, который открыл и придержал перед ним дверь. После того как он скрылся в здании, офицер сделал знак двум пехотинцам, и втроем они поднялись на мостик; строгие, хмурые лица.

— Вы арестованы,— сказал офицер.

И все. Ни объяснения, ни приглашающего или сожалеющего жеста, только эти два слова, которые предназначались всем нам, на мостике. Спускаясь по ступенькам, я чувствовал изнеможение, мы все держались за поручни, штурман тоже. На палубе, у трапа, собрался весь экипаж, люди неохотно расступились, давая нам проход; некоторые ободряюще кивали, хлопали нас по плечам. Говорили: «До скорого!», «Спокойно, моряки!», «И не такое пережили!»

Офицер приказал им быть готовыми к вызову.

Прежде чем мы вошли в комендатуру, я еще раз обернулся, посмотрел на наш тральщик, на катера и шаланды, где рыбаки в эту ми-

нуту, забыв о своих делах, глазели сюда, прикованные событием, которому они не находили объяснения.

В помещении, куда нас ввели, размещался архив. На полках из мореного дерева стояли толстые скоросшиватели, справочники, лежали свернутые трубкой плакаты и перевязанные пачки бланков и отчетов — часть официальной истории маленького порта. В окнах и дверях матовые стекла, через которые виднелись неясные силуэты двух часовых. Кто-то нагнулся над треснутой водопроводной раковиной и приник к струе, еще четверо последовали его примеру. Потом мы уселись — кто на столе, кто на полу; у меня заныло в висках, я прислонился к батарее и закрыл глаза. Но, несмотря на усталость, заснуть не смог, так как пиротехник беспрерывно говорил. Для всех и каждого у него находились слова, он считал своим долгом уверить всех и каждого, что это недоразумение и оно скоро выяснится, пора ставить точку.

— Чтоб мне лопнуть, если не откроется дверь и английский офицер не пригласит нас на чашку чаю,— сказал он.

Матрос-сигнальщик со страдальческим видом попросил его замолчать, но пиротехник продолжал ораторствовать, и тогда матрос крикнул:

— Заткнись, не то хуже будет!

Пиротехник недоуменно взглянул на него, подошел к двери, прислушался, а затем осторожно нажал на ручку. К его изумлению, дверь открылась; увидев часовых, он быстро овладел собой и спросил, чем тут «пахнет».

— Не дури,— сказал часовой,— давай-ка обратно, живо!

Здесь ли уже англичане, поинтересовался пиротехник, и назначен ли срок сдачи кораблей, на что часовой, не долго думая, рявкнул:

— Заткни глотку и закрой дверь!

В непривычный час внесли алюминиевый бачок и солдатские котелки. Бледный верзила в тиковой робе начал раскладывать по котелкам жаренные на сале макароны, уже остывшие. Он шмякал каждую порцию с каким-то ожесточением, спеша, лоб у него блестел от пота. Набив очередной котелок, он не протягивал его нам, а шумно ставил на стол, и я заметил, что он почувствовал облегчение, когда уходил. Пока мы ели, сменились часовые, было слышно, как они за дверью отбубнили уставные формулы. Штурман почти ничего не ел, усталым движением он предложил нам свою порцию. Казалось, его интересовало только время дня: он несколько раз поднимался и смотрел в окно на небо.

В сумерках общий разговор оживился. Каждый полагал, будто что-то знает, что-то предчувствует, высказывались предположения, догадки, говорили все вперемежку.

— А оккупации не видать и не слыхать,— раздалось в одном углу.

— Капитулировали — значит, капитулировали, тут все приказы отменяются,— сказали в другом углу.

Голоса невозмутимо чередовались:

— Узнать бы, что с нами собираются делать...

— Не могут же весь экипаж...

— Хоть растолковали бы, что и как...

— Старик, наверно, диктует протокол...

— Бунт нам нельзя приписать...

— Может, командование уже разбежалось...

— Я на боковую, толкните, если что важное...

Разговор затих; мы потягивались, зевали, прислушивались к шуму за окнами: там останавливались автомашины, раздавались торопливые шаги и скороговорка приветствий у подъезда.

Еще не стемнело, когда все обратили внимание на штурмана; он направился к полке и стал быстро перелистывать папки и формуляры, пока не нашел почти чистый лист бумаги. Вырвав его, он подошел

к подоконнику и стоя начал писать, писал не отрываясь, словно все обдумал заранее. Мы не знали, что он пишет, но у всех было такое чувство, что это касается каждого из нас, и, может, именно поэтому никто не посмел нарушить тишину. Возле полотенец лежали большие надписанные конверты; штурман вытряхнул содержимое из одного, зачеркнул надпись и печатными буквами начертал на нем звание и фамилию нашего командира. Потом согнул вдвое конверт, подошел ко мне и устало присел рядом.

— Вот,— сказал он,— отдайте это командиру, когда-нибудь.

Кто-то крикнул: «Встать! Смирно!» Мы вскочили и стали навытяжку перед еще молодым седоволосым офицером, который вошел без стука. Он сделал нам знак «вольно». Некоторое время постоял в раздумье, потом не спеша двинулся от одного к другому, каждому кивал головой и предлагал сигарету из жестяной коробки, причем я заметил, что на правой руке у него не хватает трех пальцев. Он уселся на подоконник и сказал, глядя в пол:

— Я ваш защитник, моряки, дело обстоит неважно.— И добавил монотонным голосом: — Выдвинуто обвинение: угроза вышестоящему начальнику, невыполнение приказа, бунт.

Ну и тишина, внезапная полная тишина! Ни один из нас даже сигарету не поднес ко рту.

Первым опомнился пиротехник.

— Но мы же капитулировали? — спросил он.

— Да,— ответил офицер,— подписана частичная капитуляция.

— Значит, нас не имеют права обвинять,— сказал пиротехник,— во всяком случае не немецкий военный трибунал.

— Для служащих военно-морского флота Германии,— пояснил офицер,— остается в силе подсудность немецкому военному трибуналу, таковая не отменена.

— Но ведь мы...— сказал пиротехник,— мы сейчас под охраной британской администрации?

— Да,— ответил офицер,— но это ничего не меняет в судебной власти государства.

Он пригласил всех подойти к нему поближе и, сидя на подоконнике, расспросил нас о том, что́ же произошло на борту МХ-12.

Разболевшийся у меня тройничный нерв немного утих, правда, еще жгло, дергало, слезился глаз. Пока мы шли по мрачному охраняемому коридору, я слегка прижимал носовой платок к глазу и виску; неожиданно дорогу мне преградил часовой и потребовал, чтобы я развернул сложенный платок и встряхнул его. После этого он дал мне чувствительного пинка, и я примкнул к товарищам, которые цепочкой молча шагали под развешанными на стенах рисунками старых кораблей. Помещение, куда нас ввели, похожее на столовую или на конференц-зал, было плохо освещено; у стен стояли часовые в касках и с автоматами; по обе стороны огромного массивного стола, с которого свисал имперский флаг, были поставлены скамьи и табуретки, пожалуй, многовато скамей и табуреток. Нас было восемь. Мы промаршировали по дощатому полу под командой кривоногого боцмана и по его знаку остановились перед скамейками; садиться было еще нельзя. Затем появились наш командир с вахтенным офицером, их сопровождал какой-то офицер; они вошли через ту же дверь, что и мы, направились к табуреткам напротив нас и остановились там в ожидании. Командир не бросил в нашу сторону ни единого взгляда — ни вопросительного, ни ответного,— хотя все мы не спускали глаз с его лица; он просто смотрел мимо нас, терпеливо, как бы отсутствующе. Даже вахтенного офицера, стоявшего рядом с ним, он, казалось, не замечал.

Морской судья со свитой, войдя через боковую дверь, молча про-

шествовали к столу, шесть человек, все в военной форме, последним шел защитник; после того как они по кивку судьи заняли места, нам тоже разрешили сесть. Судья — пожилой, впалые щеки, мешки под глазами — деловито открыл заседание; говорил он отрывисто, сдержанно, время от времени поднимая лицо и щурясь на потолочные плафоны. Сначала, когда судья перечислял пункты обвинения, в его монотонном голосе чувствовалось безразличие, но как только он стал называть наши фамилии и звания по списку личного состава, то будто преодолел усталость, голос его стал отчетливее, порой он подчеркивал отдельные слова, ритмично постукивая серебряным карандашом по столу. Степенным движением руки судья предоставил слово офицеру, лицо которого показалось мне знакомым — вероятно, я видел его фотоснимок в каком-то журнале: светлоглазый, очень коротко остриженный блондин, у которого на мундире красовалась одна-единственная высокая награда — орден за храбрость. Он аккуратно положил на стол свою фуражку с идеально натянутым синим верхом — ни единой складки, ни вмятины. По записям он восстановил этапы последнего рейса МХ-12: время отплытия, сообщение задания в открытом море, начало заговора, угроза оружием командиру, отстранение его от должности, наконец, срыв операции и самовольное решение идти обратным курсом. После чего он заключил, что эти события произошли в исторический момент, когда идет борьба, решающая вопрос «жизни и смерти немецкого народа». При этих словах защитник пристально посмотрел на него и что-то быстро записал в блокноте.

Командир повел себя не так, как от него ожидали; вместо связного изложения событий на борту он ограничился ответами на задаваемые вопросы. Отвечал он медлительно и обращался не столько к «орденоносцу», сколько к ведущему протокол секретарю, с лица которого не сходило изумленное выражение.

— Скажите, как гласил полученный вами приказ.

— Курляндия. Мы должны были идти в Либаву, в Курляндию.

— С каким заданием?

— Принять раненых.

— Принять?

— И вывезти. В Киль.

— Экипаж знал приказ?

— Как только мы вышли в море, я его объявил.

— Значит, экипажу он был известен.

— Так точно.

— Каким курсом вы намеревались идти?

— Северо-восточным, вдоль шведских территориальных вод. А потом повернуть на юго-восток.

— Ваши люди знали, что в Курляндии еще идут бои? Что целая армия — хотя и окруженная — оказывает героическое сопротивление?

— Большинство знало, пожалуй.

— Следовательно, они знали, что их сражавшимся товарищам необходима помощь?

— У МХ-12 было задание взять раненых.

— Раненых... да, раненых товарищей, которые несколько дней лежат на косе под Либавой. И ждут. Ждут, чтобы вы отвезли их домой.

— Это нам было известно.

— Так. Известно. И тем не менее экипаж не подчинился приказу. Знал, что от этого зависит судьба раненых, и не подчинился. Из трусости.

— Это не было трусостью.

— Нет? А что же тогда?

— Я уже два года командую МХ-12. И знаю людей. Это была не трусость.

— Тогда скажите, почему экипаж угрожал командиру. Почему его отстранили от должности...

— Из-за риска. Наверно, решили, что идем на слишком большой риск.

— Оценивать рискованность операции — дело командира. Он несет ответственность. Вы согласны со мной?

— Так точно.

И вдруг, когда защитник попросил его рассказать о событиях на мостике, командир посмотрел в нашу сторону. Взгляд его, скользнув по нам, остановился на штурмане, надолго; казалось, будто они разговаривают глазами, и разговор этот был не резкий, полный упреков, а скорее растерянный. Отвечая на просьбу защитника — описать случившееся с его личной точки зрения, командир упомянул сначала ходившие среди моряков слухи о предстоящем конце войны, сказал о настроениях, породивших эти слухи — еще на стоянке в порту, а не когда вышли в море,— но и признал, что на борту не было никаких нарушений дисциплины.

— Корабль шел курсом согласно приказу,— сказал он,— экипаж умело действовал в операции по спасению и при воздушном налете. Незадолго до второй вахты мостик заняли, люди были вооружены. Потребовали прекратить операцию и следовать в Киль. Я отклонил их требование. Штурман Хаймсон отстранил командира от должности. Командование тральщиком он взял на себя. Командира и первого вахтенного офицера посадили под арест.

— Господин капитан-лейтенант,— спросил защитник,— знал ли экипаж, что подписана частичная капитуляция?

— Так точно,— ответил командир.

— Когда это стало известно?

— Мы были в море уже часов десять.

— О капитуляции сообщили вы?

— Нет.

— Но вы разговаривали об этом с отдельными членами экипажа?

— Так точно.

— С кем?

— Со штурманом Хаймсоном.

— В каком духе? Вы не помните?

— Мы говорили об условиях капитуляции.

— Об условиях... Вам известно, что одним из условий капитуляции является перемирие?

— Так точно.

— Вы придерживались бы этого условия?

— Думаю, что да.

— Даже если бы на вас напали? Если бы, допустим, советские самолеты атаковали МХ-12?

— Не знаю.

— Чтобы выполнить условия капитуляции, вам пришлось бы отказаться от любого сопротивления. МХ-12 находится в зоне действия британских военных сил. Другое условие, между прочим, гласит, что все операции следует прекратить.

— Я получал приказы от штаба флотилии.

— То есть, вы выполнили бы ваше задание в любом случае? Даже если бы при этом нарушили условия капитуляции?

— Чего-то надо придерживаться.

— Господин капитан-лейтенант, насколько хорошо вы знаете свой экипаж?

— Большинство уже было на борту, когда МХ-12 базировался в Норвегии.

— Означает ли это, что вы были готовы положиться на ваших людей?

— Так точно.

— В любой ситуации?

— В любой.

— Вы когда-нибудь предполагали, что вас могут отстранить от командования судном?

— Нет... Нет.

— Как же это могло случиться, по вашему мнению? Что тут не сошлось?

— Я уже говорил: дело в риске. Многим показалось, что он слишком велик. Они считали, что у МХ-12 нет шансов проскочить в Курляндию.

— Могло ли быть так, что на поведение экипажа повлияло известие о капитуляции?

— Вполне.

— Тут у вас нет никаких сомнений?

— Никаких.

— Иными словами: вы считаете возможным, что экипаж подчинялся бы вашему приказу, если бы до него не дошла весть о капитуляции?

— Нам довелось бывать вместе во многих операциях, в том числе сложных.

— Ответьте на мой вопрос.

— Думаю, если бы не объявили капитуляцию, МХ-12 шел бы сейчас курсом на Либаву.

Один раз сделали перерыв. Судья со свитой удалились, командиру и вахтенному офицеру предоставили возможность покинуть помещение, но оба решили остаться. Они сидели рядом и тихо разговаривали. А мы с нетерпением — суд вышел, нас никто не стеснял,— вглядывались в командира так, словно в эту минуту напряженного ожидания должно было быть сказано нечто, касавшееся только нас и никого другого. Но... не дождались ни слова, ни оклика, ни обвинения. И вот, прервав наконец оцепенелое молчание, мы тоже начали советоваться, сосед с соседом, выслушивая и сообщая шепотом по цепочке то, что считали полезным. Только пиротехник не шептался; не обращая никакого внимания на присутствие часовых, он в полный голос заявил, что не признает этого военного трибунала, он даже назвал его «судилищем», ибо война окончена, так что выносить приговор и вообще судить можно сейчас только именем английского короля. Наверно, потому, что никто из нас ему не возражал, он сразу же по возвращении судей попросил слова, и ему разрешили сделать заявление. Слушали его неохотно, с удивлением, в какой-то момент показалось, что морской судья собирается лишить его слова; но все же он дал пиротехнику высказаться и лишь потом с сарказмом заметил:

— Меня бы удивило, если бы человек с вашим прошлым не сомневался бы в правомочности суда.

Свет в плафонах мигал, часто совсем выключался. В темноте я массировал виски и прижимал к глазу носовой платок — чуть влажный, он приносил облегчение. Всякий раз, когда гаснул свет, я чувствовал, как до моего плеча дотрагивается рука, рука штурмана. Он стоял рядом со мной и стоя отвечал на вопросы «орденоносного» офицера, отвечал монотонно, с паузами, иногда признавая свою вину. «Так точно,— говорил он часто,— так точно».

— Это бунт,— сказал офицер.— Коллективное неповиновение приказу в открытом море — бунт. Вам известно, что за это полагается?

— Так точно.

— Вы осмелились отстранить командира от командования. В ходе военной операции. Повторяю: в ходе операции. В то время как повсюду немецкие солдаты послушно выполняли свой последний долг, вы подстрекали экипаж к неповиновению. Вы стали зачинщиком мятежа.

— В тот момент у нас была только одна цель: спасти судно и экипаж.

— Что вы говорите! Хотели спасти судно и экипаж? Вы хотели улизнуть, удрать! Пусть другие лезут в Курляндию, а мы — по домам, хватит!

— Экипаж твердо решил прекратить операцию.

— Весь экипаж?

— Почти весь. Командир знал это.

— Вот как, командир знал. И тем не менее он придерживался приказа. И тем не менее был готов выполнить задание. Он всем показал пример, как надо исполнять свой долг... Вы думаете, он хотел пожертвовать тральщиком? Вы так думаете?

— Нет.

— Вот видите! Таким людям, как ваш командир, обязаны сотни тысяч спасенных... Таким, как он, которые были готовы чем-то рисковать, а если потребуется, и жертвовать собой.

— Мы хотели избежать жертв, бессмысленных жертв.

— Вы беретесь судить о том, что такое бессмысленная жертва?

— Так точно.

— Ну и поскольку вы считаете себя на это способным, вы захватили с вашей кучкой командирский мостик. Отстранили командира. И посадили его под арест.

— Если б я этого не сделал... Экипаж был полон решимости применить силу. Они вооружились сами, без моего приказа.

— Ах так... Значит, это ваша заслуга, что на борту не дошло до стычки? Что не началась стрельба?.. Я вас правильно понял? Что, отстранив командира от должности, вы предотвратили кровопролитие?

— Я попытался это сделать. Последствия мне были известны.

— В таком случае вам было также известно, что командир корабля в военно-морском походе обладает дисциплинарной властью?

— Так точно.

— Он имел право расстрелять вас. Но не сделал этого. Чтобы избежать кровопролития, он выполнил ваши указания.

Офицер, взявший на себя защиту, очевидно, знал, что штурман за время войны дважды менял тральщики, пошедшие ко дну. Он спросил, где это случилось, и штурман ответил:

— Первый раз в Нарвике, второй — при разминировании Немецкого залива.

— Что было после вашего спасения?

— После того как меня выудили, я тут же подал рапорт и попросился на корабль.

— Сколько времени вы прослужили на МХ-12?

— Два года.

— Какие у вас были отношения с командиром?

— Об этом я не хотел бы говорить.

— Вы могли бы что-нибудь сказать о его капитанских способностях?

— Мне это не положено.

— Но вы признавали их?

— Так точно. Всегда.

— И тем не менее вы не верили, что он проведет МХ-12 в Курляндию? И обратно?

— С этим никто бы не справился, даже лучший моряк.

— Откуда вы знаете?

— Я видел кладбища кораблей — у Риги, у Мемеля, у Свинемюнде... Мы оказывали помощь при многих кораблекрушениях... А сигналы бедствия. По радио мы знали, сколько сигналов SOS было передано. Восточнее Борнхольма нельзя было пройти.

— После того как вы взяли командование над МХ-12, вы получили приказ от штаба флотилии.

— Так точно.

— Что говорилось в приказе?

— Встретиться с МХ-21.
— Где?
— У Готланда.
— С какой целью?
— Вместе следовать в Курляндию.
— Этого не произошло?
— Нет. МХ-21 подожгли. При воздушном налете. Было повреждено машинное отделение, он утратил маневренность.

Морской судья допросил меня под конец. Те, которых он опрашивал до меня, будто бы почти ничего не слышали и вряд ли что видели; по их уклончивым ответам было заметно, как они старались не взвалить вину на штурмана. Судья, кажется, совсем выдохся — у него был вид больного малярией. Усталым голосом он спросил меня, видел ли я и слышал, будучи рулевым, так же мало, как и другие; я посмотрел на сидевшего напротив командира и сказал: нет. Судья поднял голову и с ироническим выражением одобрительно мне покивал, как бы говоря: вот это да, кто бы подумал!

Я решил говорить все, что знал:

— Они были в очень хороших отношениях, командир и штурман. Насколько я понимал, они старые друзья... Нет, никаких угроз я не слышал... Нет, штурман никогда не заявлял, что экипаж возьмется за оружие... Только забота о судне и об экипаже... Штурман не отдавал приказа занять мостик, ни в коем случае... Да, его голос я услышал, лишь когда заговорили о капитуляции. Насилие... Кто его посадил под арест, уже не помню... Да, те слова я точно запомнил: «беру командование на себя со всеми вытекающими последствиями». Он добавил еще: «и буду отвечать за это».

Судья слушал меня задумчиво и вдруг неожиданно спросил:

— Эй, вы плачете?

— Нет,— сказал я,— глаз болит.

Они удалились на совещание, а мы опять молча сидели напротив друг друга. Командир сидел выпрямившись, в его позе было что-то отстраняющее; я не осмелился просто встать и вручить ему письмо, которое мне доверил штурман. Пиротехник беспрерывно сворачивал самокрутки и украдкой передавал их нам — на «после». Сидевший рядом со мной штурман закрыл глаза, словно задумавшись, а радист — это было видно — боролся с усталостью, то клевал носом, то вскидывал голову.

Без приказания мы поднялись, когда вернулись судьи, и так как они не сели за стол, то и мы остались стоять. Под глазом и в виске дергало и стучало, мне вдруг почудилось, что судей стало больше, и не только это: хотя говорил один морской судья, мне казалось, будто я слышу несколько голосов и все они смешивались, перекликались, искажались и накладывались друг на друга. Говорилось о законах военного времени, которым все должно быть подчинено, о дисциплине, воинской чести и выполнении долга в последний час. Был упомянут устрашающий исторический пример: мятежные элементы на борту тяжелых боевых кораблей. Произносились заключения о товариществе на море, товариществе в бою и среди хаоса, и снова и снова о дисциплине — железной дисциплине, которая дает шанс выстоять. Чтобы эффективнее бороться с явлениями упадка дисциплины и разложения, гроссадмирал издал особые приказы; выдержки из них были в заключение процитированы. За неподчинение приказу, угрозу действием вышестоящему начальнику и вооруженный бунт во время военного похода: к смертной казни — штурмана Хаймсона и пиротехника Еллинека. Несколько тише голос добавил:

— Приговор подлежит утверждению.

Я взглянул на командира. Он был в ужасе. Как бы пробуя, он пошевелил губами и, наконец, внятно произнес:

— Безумие, это безумие! — Тяжело ступая, он подошел к столу, вытянул руку в сторону судьи и повторил: — Безумие, такого приговора быть не может!

Морской судья пропустил его замечание мимо ушей и перечислил полагавшиеся нам сроки ареста.

Мы их тоже уговаривали, штурмана с пиротехником, не только защитник; была, наверно, уже полночь, когда они наконец поддались и сели рядом, чтобы написать ходатайства о помиловании на бумаге, которую принес защитник. Они медлили, вздыхали, подыскивая обороты, растерянно взирали на защитника, а тот сидел, покуривая, на подоконнике и как будто не выражал готовности выручать их нужными словами; он продиктовал им только адрес, сам сложил ходатайства и сунул их в приготовленные конверты. В отношении приговоров ему нечего было сказать, а может, он и не хотел говорить; сколько радист и сигнальщик ни просили его прокомментировать решение суда, он пожимал плечами и с уверенным видом говорил: «Подождем, давайте подождем». Прежде чем он ушел, штурман взял у меня свое письмо, адресованное командиру, и у дверей передал его защитнику. Вручая конверт, штурман был так озабочен, словно от этого письма зависело очень многое. Прощаясь, защитник положил руку на плечо штурману. Кто-то, улегшийся под полками, крикнул: «Потушите свет!» — я повернул выключатель и лег на пол. Каждому хотелось сказать многое, но никто не решался начать, и чем дольше длилась тишина в помещении архива, тем охотнее мы с ней примирились.

Осторожно открыв дверь, часовой некоторое время всматривался в нас, потом окликнул обоих по фамилии, не громко, не в приказном тоне, а как бы осведомляясь. Мы все поднялись и двинулись к двери, и наш спокойный, требовательный вид побудил часового отступить к порогу.

— Еллинек,— сказал он,— Еллинек и штурман Хаймсон, мы должны отвести вас на борт.

«Почему на борт?» — спросил кто-то, на что часовой ответил: «Там чего-то ожидается, важный гость». Мы удивленно переглянулись, на серых лицах появился проблеск надежды: на борт... ходатайство о помиловании... Вызывают на борт... Мы пропустили их к дверям, а сами стали ходить взад-вперед и не могли успокоиться, пытаясь обосновать столь быстро возникшую надежду. Бледный верзила с помощником принесли хлеб, повидло, поставили на стол дымящийся алюминиевый бачок и молча удалились. Ни один из нас не притронулся к завтраку. Когда прозвучали залпы — нет, не залпы, это были две очереди из автомата,— сигнальщик застонал, другой матрос опустился на колени у батареи, его начало тошнить. Каждый на что-то оперся, к чему-то прислонился, все напряженно прислушивались.

— Это же бред,— сказал сигнальщик.— Сволочи, ведь война кончилась!

— Она никогда не кончится,— сказал радист,— для нас, кто на ней был, никогда не кончится.

— Это не приговор,— сказал сигнальщик,— это убийство. Слышите, это убийство!

Радист нагнулся над матросом, который стоял на коленях у батареи, и посмотрел ему в лицо.

— Иди к раковине,— сказал он,— ну, вставай.

БЛАГА ДИМИТРОВА

■

Перевод с болгарского ЮННЫ МОРИЦ

Путем Одиссея

Подлинный художник связан с миром общей кровеносной системой. Мнимые дарования существуют как бы параллельно жизни. Они или врастают в среду и растворяются в ней, разделяя ее предубеждения, слепо следуя за всеми извивами бесконечного лабиринта существования, или, как им кажется, гордо и свысока наблюдают за ходом часовой стрелки.

И та и другая позиции творчески бесперспективны.

Болгарская поэтесса Блага Димитрова (род. в 1922 г.) всегда шла против течения общих мнений, господствующих версий, авторитарного официоза, удобного конформизма.

Но «общая кровеносная система», роковая с миром связь чреваты болью неразделенной любви, болезненным отторжением, драмой вынужденного одиночества.

«Творческий дух распят между личным и общественным, между политикой и поэтикой. Если же нет этого распятия, нет и полета, потому что распятие — это растерзанные, окровавленные крылья духа» [1]. Поэзия, по Димитровой, если бы и хотела, не может вырваться из объятий времени, жестких и порою трагически беспощадных.

Настоящий поэт сам распинает себя. Ему невозможно зажать уши, он не может не слышать голосов мольбы и проклятий.

Ожидаемая гармония, говорит Блага, недостижима. В этом противоречии между творчеством и борьбой за жизненный идеал в самой жизни «отражается непримиримое противоречие, нарушенное равновесие в человеке и мире».

Рухнуло идеальное представление о стройности мироздания, считает Димитрова. Поэтика сегодня не имеет былой тяги к «симметрии». Не только в изобразительном искусстве намечена тенденция к коллажу. В динамике и взаимопроникновении жанров — личном свидетельстве, документе, философии, фантазии, афористичности, эссеизме — видит она перспективу словесного искусства.

И сама дает примеры таких новаций. В прозе («Путешествие к самой себе», «Страшный суд», «Подземное небо»), в сдержанно-страстной своей поэзии.

Мир разорван. Цельный, живой, неуступчивый человек стоит прямо против трещины мира. Классическое понятие цезуры внутри строки заменил ров смерти:

Семейный портрет разорван пополам
через все лицо покойной матери

(«Вьетнам», 1966)

Это страшное «соответствие» формы и содержания!..

Судьба Благи Димитровой более чем показательна для истинного положения поэта в условиях неистинного социализма. Твердая, некрикливая стойкость духа, не принявшая условий игры «творческой» интеллигенции в лояльность фальшивым ориентирам, приносила Димитровой не только житейские беды, но и вызывала беспрерывные кампании против упрямого поэта. Недоброжелательность властей предержащих была очевидной. Один небольшой личный пример.

Не раз пытался я переломить отношение к Б. Димитровой — напечатал эссе о ней в «Новом мире», но журнал получил строгое внушение, а печатание моих обзоров из цикла «У наших друзей» прекратилось. В г. Пловдиве на большом вечере поэзии я произнес слово о Благе в присутствии работников тогдашнего идеологического отдела ЦК БКП. Наши «инстанции» сделали свои выводы. Портрет Б. Димитро-

[1] Блага Димитрова. Политика и поетика. Алманах за експериментална поезия, 1989. Брой 2 — 3.

вой удалось напечатать в моих книгах «Пять тетрадей» (1975), «Горизонты поэзии» (1982), «Семь тетрадей» (1986), но... каждый раз со мной «беседовали». Почему же печатали? Да потому, что рядом с аппаратной информацией, которая шла закрытыми каналами, уживалась рутинная неосведомленность.

Но время идет, и все становится на свои места. Сегодня Блага Димитрова в самой гуще борьбы за обновление Болгарии.

В публикуемой подборке стихи взяты в основном из последнего сборника Б. Димитровой и журнала «Септември». Кажется, болгарская поэтесса нашла своего переводчика. Юнна Мориц — родственная душа.

Невеселые это стихи... Но в них спрессован опыт богатой личности, ее поэзии совестливости, строгого спроса с себя и окружающих, неутоленного духа стучится в души:

Из одного «как быть?» — в «как быть?» другое.
И с вихрем нарастающего эха —
от слова к слову, от «за что?» — к «за что?»,
от завтра к завтра,
вечно к «нет!» — от «нет!»
Так безысходно, безвозвратно...

(«Лабиринт»)

С неженской силой — истинно женское:

Пусть окаменеет молоко —
не заставят выкормить в неволе
собственных детей для пытки рабством.

(«Львица в клетке»)

Блага Димитрова — максималист. И даже стих ее «задыхается» (цветаевское?) от непомерности чувств: «Дом — миф. Дом — ад. Дом — дым... И я бездомна в собственном дому. И дом, как хлеб, ищу я в стенах дома».

И может быть, в этой Бездомности художника есть и мечта о недостижимой пока гармонии? Иначе для чего эта мука — вечное плавание Одиссея (к себе самому и от себя — ко многим, кто зовет его).

Недаром сама Блага говорит: «Я вижу сегодняшний образ поэта как Одиссея, мудрого и храброго, привязанного к мачте, добровольно распятого, в неустойчивом равновесии, который не замыкает ушей от сегодняшних сирен политики и продолжает опасное плавание к своей Итаке» [1].

Ветра в твои паруса, Блага!

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

Почерк

Корявый почерк изменяется... И видно,
как изменяется характер заодно.

Вначале не спешила. Бесконечным
казалось время, необъятным — лист.

Я рисовала буквы — куропаток
и воздух между ними — пусть летят.

Своей рукой владела. (Воля. Вольность.)
А вот — каракули. (Сорочья суета.)

Само собой пошло письмо почище,
и взмах острее. (Прояснилась цель.)

Вплотную буквы движутся. (Упорство.)
Есть недописанные. (Спешка и напор.)

Размазанные. Спутанные. (Нервы!)
Все неразборчивее рукопись моя.

[1] Там же.

© Блага Димитрова, 1987, 1988.

Все чаще, резче вымарано. (Ярость.)
Все сбивчивее. (Внутренний разлад.)

Зигзагов больше, и все больше сходства
с оставшимися письмами отца.

(Советы. Вроде мудрость. Лишний опыт.)
И подпись непроглядная в конце:

не то волнистая бороздка дождевая,
не то слеза, в морщинах тающая. (Мгла.)

Из цикла «Дом»

(Тема с вариациями)

* * *

Дом — миф. Дом — ад. Дом — дым.
Дом — моя крепость навыворот.
Строю, себя разрушая.

Черепица за черепицей — крылья.
Балка за балкой — гордость.
Гвоздь за гвоздем — перья.
Камень за камнем — надежды.

Что от меня остается?
Обглоданная кариатида.
Птицы тень замурованная [1].

А на выбор — только бездомность.

* * *

Единственное, что имелось в доме,
был одинокий тополь у окна —
защитное присутствие живое.
Ограблен, пуст мой дом и стал чужим.
В окне остекленела плаха неба
с отрубленною лунной головой.
И я бездомна в собственном дому.
И дом, как хлеб, ищу я в стенах дома.

* * *

Горсточка пепла — каждому
из тех, кто меня любили.
Словно я пеплом очаг посыпаю,
угли, еще живые.

Да не угаснут до будущей встречи
ваши глаза во мраке.
Нигде я больше не существую
так дивно и так желанно.

Горсточка пепла на память вместо
слов, утаенных мною.

[1] По древнему болгарскому обычаю, в стену здания для прочности замуровывали тень живого существа. *(Прим. ред.)*

Все холоднее и все пустынней
без вашего здесь дыханья.
Все дальше вы, те, кто меня любили
истинною любовью.

Горсточка праха — в ваши ладони,
тепла и прощенья полные,
птицы небесные — перед отлетом
на плечо мне садятся так трепетно.

Львица в клетке

Нет вопроса для нее о смысле
бытия — дано ей знанье кровью.

Чтоб ходило солнце зло, крест-накрест
от восхода до заката в клетке,
чтоб железо выдирало гриву.
Глазом надзирателя следила
чтоб луна сквозь ржавую решетку.
Вас, царей звериного простора,
чтоб со всех сторон пронзали жалом
жгучие и цепкие глаза.
Водопой блаженных сновидений
чтобы вместо утоленья жажды
раскалял, безжалостно приблизив
запахи запретные свободы.
А любовь с изъятием небес
чтоб рабов рожала под надзором,
убыстряя вырожденье рода.
Нет! Родильный раздирает рев
звездную решетку черноты.

Перепрыгнет сам себя —
кто имеет львиный скок.

В первой ласке материнской
задушить своих младенцев.
Разодрать когтями
сердце в собственной груди.
Пусть окаменеет молоко —
не заставят выкормить в неволе
собственных детей для пытки рабством
Обессилев, кровью истекая,
солнце она выпустит на волю,
в знойную саванну сновидений.
И палач, и жертва, и родильница,
слившая рождение и смерть
с высшей мерой смысла этой Жизни...
А глухой, слепой, гремучий город
будет в светофорной западне
взад-вперед, туда-сюда метаться,
как в неволе зверь.

Страшными глазами этой львицы
будешь в клетке ты сверкать, Свобода.

Мороз

Виднеется день-арестант
сквозь решетчатый иней.

Воробышку боязно перепорхнуть
колючую воздуха проволоку.

И всхлипывающее горло воды
заткнули куском льда.

А наши по снегу шаги
позванивают цепями.

Из белой тюрьмы леденящей —
лишь этот побег и возможен:

самим превратиться в свободу.

Лабиринт

Глаза открыла: захолустный дворик.
Трава в зеленую заталкивала клетку.
Вели в ловушку муравьиные тропинки.
Как только доросла я до замка
и дверь сама открыла —
в тот же час
сбежала в город, где кротовьи переулки
горбатились булыжником округлым.
Там ветер бился в каменном капкане,
в ловушке выл, метался...

И как только
я выросла — немедленно вскочила
в гудящий поезд и на нем умчалась
я в города, где посильней водоворот.
Там забралась по лесенке небесной
я в самолета герметичную ловушку.

Из одного в другой капкан бросалась
на зов бездонный мира и судьбы.
Из книги в книгу, из любви в любовь,
из одного в другой бросалась возраст.
Из одного «как быть?» — в «как быть?» другое.
И с вихрем нарастающего эха —
от слова к слову, от «за что?» — к «за что?»,
от завтра к завтра,
вечно к «нет!» — от «нет!»
Так безысходно, безвозвратно...
И повсюду
я оставляла от себя крупицу,
чтоб легче было путь найти обратно.
Покуда вся не искрошилась в этом
клубящемся, змеином лабиринте.

И превратилась в лабиринт сама.

Пустыни

Рождена была любить я,
рождена я быть любимой.
Жизнь, однако, миновала
без любви... почти.
Все поэтому прощаю,
никаких упреков
тем пустыням голым,
где иду я ныне.
Спрашиваю только
удивленным взглядом:
— Для каких вы были
рождены садов?

Слепая неделя

Когда наступила пора обрученья —
ее называют неделей слепой,—
пятно я надела, по гроб своей жизни,
чернильное — вместо кольца.

Невесты гордились законными кольцами,
швырялись, размашисто их заменив
на точно такое же золото символов
верности гробовой.

Я тоже пыталась, и неоднократно,
содрать, и сменить, и отправить к чертям,
но перстень чернильный, обет мой венчальный,
сросся с проклятым перстом.

Самым едким я мылом пятно отмывала,
оттирала песком, изводила золой.
Когда меня за руку брал мой любимый.
я прятала кляксу стыдясь.

И никак не смотрелись блестящие перстни
рядом с ужасным сапфиром моим.
И я сдвинуть синяк не могла этот с пальца,
как вечный удар молотка.

Не кольцо обручальное, цепь каторжанки —
ведь оно приковало навек. А потом
лишь в награду за миг непокорности — к звездам
поднимало лазурным винтом.

На фаланге истертой — заплатка мозольная,
от писания больно мне и сейчас.
Этот чернильный след остается
клеймом на всю мою жизнь.

И даже с мертвого, окоченевшего пальца
никто его снять не сумеет никак.
И прорастет из земли надо мною
изумленный синий цветок.

Дельфинарий

Вместо созвездий — прожекторов пламя.
Грязный бассейн — вместо шири морской.

Сетка железная — вместо простора.
Купол стеклянный — вместо небес.

Вместо гулов морских — саксофония.
Вентиляторы — ветра взамен.

Вместо взлета с волнами летящими —
по команде синхронный прыжок.

Взамен забытья в полнолуние —
резиновый мяч на носу.

Вместо плескания — рукоплескания.
Супердрессура — вместо игры.

Вместо дружбы — спектакль цирковой.
Вместо любви — целованье воздушного шара.

Все блестяще и крайне удачно.
Все — как будто, как если бы, словно...

Лишь дельфин безусловно бросается
на бетон, чтобы самоубиться.

Странно, да? Существо ведь разумное,
а игру принимает всерьез.

Забвенье

Причина есть у каждого забвенья.

Крадется мох по расщепленному стволу,
чтоб сгладить след, где молния вломилась,
и память заодно о мощном росте.

Забвенье — это способ уцелеть.

Один обет ли был обвит плющом
у ног босых шагающей Свободы,
и вмраморена — память мертвецов?

Забвенье — самый чистый избавитель.

Своей любви ты забываешь имя,
язык родной ты даже забываешь,
чтоб просто выжить, одинок, безроден.

Забвенье — ты последнее убежище.

Игра в пятнашки

Всюду часы свои забываю,
чтобы удрать от времени.
А оно догоняет меня и кружит
в листопаде своем хвостатом.

В море вхожу я, часов не снимая,
чтоб утопить время.
А оно в лицо мне так звонко плещет
своей колокольной пеной.

Никогда не считаю я взмахи маятника,
чтобы смахнуть время.
А оно садится мне прямо на́ нос
первым своим снегом.

Не завожу я часы на ночь,
чтоб отключить время,
А оно меня ждет в постели холодной
с улетевшей моей любовью.

Обруч

Бывало, пускаю обруч
ловко, одним рывком —
катись далеко-далече
и снова ко мне возвратись.

Он сохранял равновесие,
гремя на блескучих камнях,
словно из обода вырвалось
и понеслось колесо.

И к его изумленью великому
в задуманный мною миг —
он, за нитку незримую дернутый,
послушно летел назад.

Если б могла возвратить я
тою же детской рукой
и тебя, колесо моей жизни,—
ухабами дней прогреми,

отовсюду наматывай пеструю
пряжу лучей и теней,
пусть ветер тебя подхлестывает,
подпрыгни на гребне времени

и снова ко мне возвратись.

Война́ за мир

Зреет скандал, набухает, вскипает.
Международный? Хуже — семейный.
Он разразится неотвратимо.
Я встречаю его допотопным оружием,
завещанным бабкой: молчания камушком,
стиснутым крепко между зубами,—
только б не выплюнуть камушек, боже!

Мчатся словесные бомбы, гранаты
разных калибров — от мелких до слонских.
В воздухе я их ловить наловчилась,

но никогда не швыряю обратно,
и нет ни секунды, чтоб их обезвредить,
и я глубоко их за пазуху прячу,
как яйца, их грею у самого сердца.
Во мне они грохнут когда-нибудь, после,—
уж лучше меня эта опухоль сгложет.

Но только семейная пусть атмосфера,
в которой нуждается так биосфера,
спасется! Опять просветленная. Чистая.
Не пепелище взамен очага.
(Весь пепел поэтому я поглощаю.)
Каждый уходит, себя разрядив,—
электрический выброс.
Тишина. Безвоздушность пространства.
Лишь тогда я выплевываю молчания камушек,
в мягкую жвачку растертый зубами.

Вот оно как сохраняется мир.

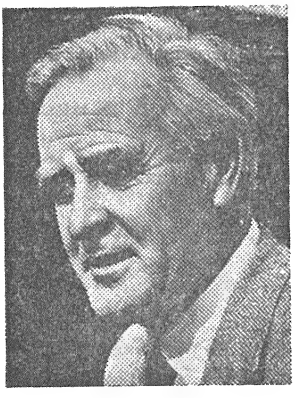
Надежда

Накопили мы опыта —
полные бочки вина из полыни —
шипит, ферментируя.
Глазам своим больше не верим.
Не ждем никакого чуда.
Бросаем слова на ветер.
Себе не принадлежим.
Не вдохновляет нас будущее.
Единственная надежда:
вышибить дно из бочек,
выпустить всю полынь,
чтобы в землю впитался опыт
и стали мы вновь детьми.

Песок

Я бегу. Мои сандальи,
как всегда, песком набиты,
мне он пятки обжигает.
Останавливаюсь, чтобы
вытряхнуть песок на ветер.
И бегу, бегу, бегу.

А куда? Скорей, скорее
в тот покой, в пустынный край,
где сама песком я стану,
чтоб, сандальи наполняя,
останавливать безумца
в беге некогда моем.



ДЖОН ЛЕ КАРРЕ

Русский отдел

РОМАН

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ и Е. РОЖДЕСТВЕНСКОЙ

Выражения благодарности в предисловии, быть может, так же испытывают терпение читателя, как кинозрителя — перечисление в титрах всех ассистентов и помощников; однако меня настолько трогает готовность очень занятых людей пожертвовать своим временем и знаниями ради такого легкомысленного занятия, как мое, что я не могу упустить возможность поблагодарить их.

Особенно я признателен Строубу Толботту, замечательному вашингтонскому журналисту, советологу и автору статей о ядерной обороне. Если в этой книге и допущены ошибки, то, разумеется, не по его вине, и, уж конечно, без его содействия их было бы куда больше.

Профессор Лоуренс Фридмен, автор нескольких классических работ о современных конфликтах, щедро позволил мне черпать из кладезя его мудрости, но мои упрощения лежат не на его совести.

Фрэнк Джеррити, давний агент Федерального бюро расследований, приобщил меня к тайнам детектора лжи, который сейчас, увы, именуется «полиграфом», и если мои персонажи не такого высокого мнения об этом приборе, как он, то винить нужно их, а не Фрэнка.

Кроме того, я должен очистить от возможных подозрений Джона Робертса и сотрудников общества Великобритания — СССР, которое он возглавляет. Он сопровождал меня в моей первой поездке по Советскому Союзу и распахивал передо мной всяческие двери, которые иначе остались бы закрытыми. Но о моих зловещих намерениях он ничего не знал, да и не пытался их выведать. А из его сотрудников я особенно благодарен Энн Воган.

Мои советские хозяева в Союзе писателей проявили такую же тактичность, а широта их души повергла меня в изумление. Каждый, кто приезжает в Советский Союз в это удивительное время и удостаивается возможности вести такие беседы, какие велись со мной, не может не увезти с собой глубокую любовь к его народу и благоговейный ужас перед масштабом проблем, которые ему предстоит разрешить. Надеюсь, мои советские друзья ощутят в этой повести хотя бы малую часть того тепла, которое дарило мне их общество, и отражение тех надежд на более разумное и дружественное будущее, которые мы разделяли.

Джаз объединяет людей, и когда дело дошло до саксофона Барли, недостатка в добрых друзьях у меня не было. Уолли Фокс, знаменитый карикатурист и джазист, одолжил мне свой музыкальный слух, а Джон Колли — свою несравненную осведомленность как в текстах, так и в музыке. Если бы миром правили такие люди, ни о каких конфликтах мне больше писать не пришлось бы.

© 1988 by Authors Workshop

Я даже думаю, народы так стремятся к миру, что недалек тот день, когда правительствам придется посторониться и не мешать им обрести его.

Дуайт Д. Эйзенхауэр

Надо мыслить, как мыслят герои, чтобы поступать всего лишь как порядочный человек.

Мей Сартон

1

На верхнем этаже претенциозно уродливого здания времен Сталина в стиле, известном москвичам как «амшир во время чумы», в гостинице, стоящей на широкой московской улице в пятистах шагах от Ленинградского вокзала, со скрипом подходила к концу первая устроенная Британским советом ярмарка аудиопособий по изучению английского языка и распространению британской культуры. Был летний вечер, половина шестого. Весь день один яростный ливень сменялся другим, но теперь капризное солнце отсвечивало в лужах, и от тротуаров поднимался пар. Прохожие — молодежь — были в джинсах и кроссовках, а люди постарше еще не сбросили плащей.

Помещение, которое снял Совет, было недорогим, но совершенно неподходящим для выставки-продажи. Я уже видел его. (Не так давно, находясь в Москве совсем по другому делу — в кармане у меня лежал дипломатический паспорт,— я поднялся на цыпочках по огромной пустой лестнице и постоял в вечной мгле, окутывающей старинные бальные залы, когда они спят.) Круглые коричневые колонны и зеркала в золоченых рамах, наверное, больше соответствовали бы последним часам тонущего лайнера, нежели началу великой инициативы. На потолке разъяренные русские в пролетарских кепках грозили Ленину кулаками. Их неистовство выглядело тем более нелепо, что ниже, вдоль стен, на облупленных зеленых стеллажах демонстрировались кассеты «Винни Пух» и «Продвинутый компьютерный курс английского языка за три часа». Кабины для прослушивания, обитые мешковиной, не обладали многими обещанными свойствами и были печальны, как шезлонги на пляже в дождливую погоду. Задвинутые в тень под галерею выставочные стенды казались таким же кощунством, как столики букмекеров в храме.

Худо-бедно, но выставка все же прошла. Как это водится в Москве, сюда приходили люди — если у них был, конечно, соответствующий статус, а стало быть, и документы, чтобы удовлетворить стоящих у дверей молодых людей с тяжелым взглядом и в кожаных пиджаках. Люди приходили из вежливости. Из любопытства. Для того, чтобы поговорить с иностранцами. Просто потому, что это выставка. И теперь, в пятый и последний вечер, здесь начинался большой прощальный прием с коктейлями. Под люстрой собралась горстка средней руки номенклатурных работников от культуры — дамы с ульеподобными прическами в цветастых платьях, которые скорее подошли бы особам с более изящным телосложением; мужчины, затянутые в поблескивающие французские костюмы, что означало: их владельцы имеют доступ в спецмагазины. Устроители выставки из Великобритании, в костюмах унылых серых оттенков, блюли монотонный дух социалистического аскетизма. Люди уже разговорились, и бригада строгих официанток начала разносить бутерброды с заветренной колбасой и теплое белое вино. Британский дипломат высокого ранга (хотя и не совсем посол) обменялся с кем надо рукопожатиями и сообщил, что он в восторге.

Один только Ники Ландау пока еще не принял участия в празднике. Склонившись над столиком у своего опустевшего стенда, он суммировал последние заказы и проверял, соответствуют ли квитанции расходам. У Ландау был принцип: не идти развлекаться, пока не закончишь дело.

Тем не менее краем глаза Ландау все время видел нелепое голубое пятно — советскую женщину, которую сознательно не замечал. «Опасность! — думал он, не отрываясь от работы.— Поберегись».

Дух праздника не заражал Ландау, хотя по натуре он был веселым. Во-первых, он всю жизнь испытывал отвращение к британской бюрократии, с тех самых пор, когда его отец был насильно возвращен в Польшу. Впрочем, о самих британцах, как позд-

нее я узнал от него, он не желал слышать ничего дурного. Пусть не по крови, но он был одним из них и относился к ним с благоговением новообращенного. Однако засранцы из министерства иностранных дел — это особая статья. Чем они были высокомернее, чем больше ухмылялись и поднимали, глядя на него, свои дурацкие брови, тем больше он их ненавидел и вспоминал о своем отце. А во-вторых, будь его воля, он бы никогда не приехал на эту ярмарку. Он бы уютненько устроился со своей новой миленькой подружкой Лидией в одной миленькой гостинице в Брайтоне, куда обычно привозил своих девочек.

— Уж лучше держать порох сухим до сентября, пока не откроется Московская книжная ярмарка,— советовал Ландау своим клиентам у них в конторе.— Знаешь, Бернард, русские любят книги, а ярмарки аудиопособий они просто побаиваются, и вообще они к ним еще не готовы. Начнем с книжной ярмарки — и все будет в порядке. Начнем с кассетной — и нам смерть.

Но клиенты Ландау были молоды, богаты и не верили в смерть.

— Ники, малыш,— сказал Бернард, пристроившись сзади и положив руку ему на плечо, что Ландау не понравилось,— в нынешнем мире мы должны держать флаг высоко. Или мы не патриоты, а, Ники? Как ты, например. Именно поэтому мы и рискуем. Сейчас Советский Союз с его гласностью — просто Эверест для кассетного бизнеса. И ты, Ники, возведешь нас на его вершину. А если ты этого не сделаешь, то мы найдем такого, кто это сделает. Кого-нибудь помоложе, Ники, верно? У кого и энергии и шика побольше.

Энергия у Ландау еще была. А о шике — в этом Ники сам готов был признаться — забудьте. Он тот еще типчик, вот он кто. Нахальный польский коротышка и гордится этим. Чертов Ник, лихой парень, нацеленный на восточноевропейские страны, способный, как он любил прихвастнуть, всучить порнографические открытки грузинскому женскому монастырю или тоник для волос — румынскому бильярдному шару. Он, Ландау, мальчик с пальчик (но в спальне — ого-го!), носит высокие каблуки, чтобы подогнать свою славянскую фигуру под английские мерки, которые его так восхищают, и нижонистые костюмы, которые так и насвистывают: «А вот и я». Когда чертов Ник организует свой стенд, заверяли его коллеги наших неназываемых осведомителей, на этом стенде можно услышать, как звенит колокольчик на тележке польского уличного торговца.

И малыш Ландау посмеивался вместе с ними, принимая правила их игры. «Ребята, я поляк, вам со мной делать нечего»,— с гордостью заявлял он, заказывая всем выпивку. Так он вынуждал их смеяться вместе с ним. А не над ним. Потом, как правило, он выхватывал из нагрудного кармана расческу и, чуть присев, глядя на свое отражение в стекле картины или в полированной поверхности стола, маленькими руками зачесывал назад свои чересчур черные волосы, чтобы придать себе молодецкий вид и быть готовым к новым победам. «Ктой-то там в уголочке такая хорошенькая? — спрашивал он обычно на безбожном жаргоне польского гетто и лондонских трущоб.— Эй, милашка! Почему это мы горюем в одиночестве?» И один раз из пяти он выигрывал, что, по его представлениям, было вполне приемлемым процентом, конечно, если забрасывать и забрасывать удочку.

Однако в этот вечер Ландау не думал ни о том, чтобы выиграть, ни даже о том, чтобы забросить удочку. Он думал о том, что снова выкладывался всю неделю за гроши или, как он более образно сказал мне,— за шлюхин поцелуй. И что ярмарка — книжная, кассетная или любая другая — отнимает у него чуть больше сил, чем ему хотелось бы, впрочем, так же, как и любая женщина. И чем скорее наступит завтрашнее утро и он улетит в Лондон, тем лучше. И что если эта русская пташка в голубом не перестанет мозолить ему глаза, пока он пытается подвести итоги, чтобы наконец расцвести компанейской улыбкой и присоединиться к веселой толпе, то он, пожалуй, скажет ей пару слов на ее родном языке, о чем впоследствии оба они пожалеют.

В том, что она русская, не было никакого сомнения. Только у русской женщины всегда в руках пластиковая сумка на случай, если вдруг что-нибудь удастся купить,— это украшает будничное существование (впрочем, сумку может заменить и авоська). Только русская может быть настолько любопытной, чтобы совать нос в чужие подсчеты. И только русская предваряет свое вступление в разговор таким изощренным вздохом, который, если так вздыхал мужчина, напоминал Ландау отца, зашнуровывающего ботинки, а если женщина — то постель. Вот так, Гарри.

— Простите, сэр. Вы представитель «Аберкромби и Блейр»? — спросила она.

— Это не здесь, дорогая,— сказал Ландау, не поднимая головы. Она заговорила по-английски, поэтому и он ответил по-английски. Так он поступал всегда.

— Вы мистер Барли?

— Я не Барли, дорогая. Ландау.

— Но это же стенд мистера Барли.

— Это стенд не мистера Барли. Это мой стенд. «Аберкромби и Блейр» — рядом.

Все еще не поднимая глаз, Ландау ткнул карандашом влево, на перегородку, позади которой зелено-золотая табличка возвещала, что стенд принадлежит старинному издательству «Аберкромби и Блейр», Норфолк-стрит, Стрэнд.

— Но стенд пуст. Там никого нет,— возразила женщина.— И вчера никого не было.

— Ну да, все правильно,— ответил Ландау тоном, который никого не расположил бы к дальнейшему разговору. И подчеркнуто уткнулся в свои квитанции, ожидая, когда это голубое пятно удалится. Он знал, что ведет себя грубо, но она все не уходила, и ему захотелось нагрубить ей вдвойне.

— А где Скотт Блейр? Где человек, которого зовут Барли? Я должна поговорить с ним. Это очень срочно.

Ландау уже ненавидел эту женщину с нерассуждающей яростью.

— Мистер Скотт Блейр,— начал он, повернув голову и уставясь на нее,— известный своим друзьям под именем Барли, в самоволке, мадам. Короче, смылся в неизвестном направлении. Его фирма забронировала стенд — это так. А мистер Скотт Блейр — председатель, президент, генерал-губернатор, а может, и пожизненный директор этой компании, кто его знает! Однако свой стенд он не занял...— Ландау встретился с ней взглядом и почувствовал себя неловко.— Послушайте, дорогая, здесь я зарабатываю себе на жизнь, так? Себе, а не мистеру Барли Скотту Блейру, как бы я его ни обожал.

Он замолчал — недолгий гнев сменился рыцарственным участием. Женщина дрожала. Дрожали не только руки, в которых она держала коричневую сумку, но и шея. У ее строгого голубого платья был воротничок из старинного кружева, и Ландау заметил, что воротничок трепещет и что кожа ее белее, чем кружево. Однако в ее плотно сжатых губах и подбородке была решимость, которой он невольно подчинился.

— Прошу вас, сэр, будьте любезны, помогите мне,— произнесла она так, словно отказ был невозможен.

Ландау, надо сказать, гордился своим знанием женщин. Он и этим занудливо хвастался, впрочем, небезосновательно. «Женщины, Гарри, это мое хобби, моя страсть, главный предмет изучения»,— признался он мне таким торжественным тоном, точно произносил масонскую клятву. Он уже точно не помнил, сколько их у него было, но с гордостью сообщил, что число их перевалило за сотню и ни у одной не было причин пожалеть об их знакомстве. «Я играю честно, я выбираю со знанием дела, Гарри,— заверил он меня, постукивая себя по носу указательным пальцем.— Ни перерезанных вен, ни разбитых браков, ни горьких слов на прощание». Никому, включая меня, не было ведомо, много ли тут правды, но, без сомнения, инстинкты, на которые он полагался в своих похождениях, неплохо служили ему в оценке женщин.

Она была серьезна. Она была умна. Она была полна решимости. И в ней прятался страх, хотя в ее темных глазах и светился юмор. И у нее было то редкое качество, которое Ландау с присущей ему витиеватой манерой называл Достоинством, Коим Может Наградить Только Природа. Иными словами, в ней чувствовалась не только сила, но и порода. И поскольку в кризисные моменты наши мысли непоследовательны, опираются на интуицию и опыт, то он осознал все это одновременно, еще прежде, чем она вновь заговорила.

— Один мой советский друг написал значительное литературное произведение,— глубоко вздохнув, сказала она.— Это роман. Великий роман. Его содержание важно для всего человечества.

Она вдруг замолчала.

— Роман,— напомнил Ландау. И неожиданно для себя поинтересовался: — А как он называется, дорогая?

Сила этой русской, решил он, не в браваде, не в безумии, а в глубокой убежденности.

— Если у него нет названия, так о чем он?

— О том, что нужны дела, а не слова. Он отвергает постепенность перестройки. Он требует действий и отвергает косметические изменения.

— Ловко,— сказал Ландау, на которого все это произвело впечатление.

Гарри, она говорила, как моя мать: прямо в лицо, вздернув подбородок.

— Несмотря на гласность и пресловутый либерализм новых установок, роман моего друга пока еще не может быть опубликован в Советском Союзе,— продолжала она.— Мистер Скотт Блейр обещал издать его в Англии, не разглашая имени автора.

— Дамочка,— ласково сказал Ландау, наклоняясь к ней,— если роман вашего друга будет издан прославленной фирмой «Аберкромби и Блейр», вы можете быть уверены в абсолютной секретности.

Отчасти ему нестерпимо захотелось пошутить, а отчасти инстинкт подсказал ему, что их разговору следует придать легкость на случай, если за ними наблюдают. Поняла она шутку или нет, но тоже улыбнулась — быстрой, теплой улыбкой, как бы подбадривая себя, побеждая в себе страх.

— В таком случае, мистер Ландау, если вам дорог мир, отвезите, пожалуйста, эту рукопись в Англию и передайте ее немедленно мистеру Скотту Блейру. Но только мистеру Скотту Блейру. Это знак глубочайшего доверия.

То, что произошло потом, произошло стремительно, как сделка на уличном углу — заинтересованный продавец и заинтересованный покупатель. Ландау взглянул через ее плечо в зал. Он сделал это не только ради ее безопасности, но и ради своей собственной. По опыту он знал: если русские хотят что-то подстроить, то обязательно держат поблизости парочку свидетелей. Но вокруг было пусто, стенды под галереей находились в глубокой тени, а веселье в центре зала достигло апогея. Трое в кожаных пиджаках у входа вяло переговаривались между собой.

Оглядевшись, он прочел ее имя на пластмассовой пластинке, пришпиленной пониже воротничка; при обычных обстоятельствах он сделал бы это много раньше, но ее темно-карие глаза отвлекли его. «Екатерина Орлова». А ниже — «Октябрь», по-английски и по-русски, название одного из небольших московских издательств, специализирующихся на переводах советской литературы на экспорт, главным образом в социалистические страны, что, боюсь, обрекало издательство на некоторую сероватость.

Затем он ей объяснил, что надо сделать. А может быть, начал объяснять еще до того, как прочел ее имя на пластинке. Ландау вырос на улице и знал уйму всяких фокусов. Пусть эта женщина храбростью не уступала десятку львов — наверное, так оно и было,— но в конспираторы она явно не годилась. Поэтому он без колебаний взял ее под свою защиту. И заговорил с ней как с любой другой женщиной, которая нуждалась в его указаниях — например, как найти его гостиничный номер или что сказать муженьку по возвращении домой.

— Значит, он у вас с собой, дорогая? — спросил он, по-дружески улыбаясь и косясь на ее сумку.

— Да.

— В сумке?

— Да.

— Ну так просто отдайте ее мне. Вот так. А теперь,— продолжал Ландау,— поцелуйте меня дружеским русским поцелуем. Чисто вежливым. Отлично. Вы же принесли мне официальный прощальный подарок в последний день ярмарки. Сувенир, который должен укрепить англо-советские отношения, а заодно утяжелить мой багаж, так что в аэропорту мне придется выбросить его в урну. Обычнейшая процедура. Сегодня я получил по меньшей мере уже полдюжины таких сувенирчиков.

За это время он успел нагнуться, сунуть руку в сумку, вытащить оттуда пакет в оберточной бумаге и ловко бросить его в свой дипломат, очень вместительный, но компактный, с отделениями, которые открывались веером.

— Катя, вы замужем, а?

Молчание. Может, она не расслышала. Или была поглощена наблюдением за ним.

— Значит, роман написал ваш муж? — спросил Ландау, нисколько не обескураженный ее молчанием.

— Для вас это опасно,— прошептала она.— Вы должны верить в то, что делаете. Тогда все становится ясно.

Как будто не слыша ее предупреждения, Ландау выбрал из груды образцов, которые отложил, чтобы раздарить сегодня вечером, комплект из четырех кассет с записью «Сна в летнюю ночь» в исполнении актеров Королевского шекспировского

театра. Он демонстративно разложил их на столе, надписал фломастером на пластиковом футляре: «Кате от Ники. Мир» — и поставил дату. Затем церемонно положил комплект в ее сумку, которую всунул ей в руку, потому что она стояла ни жива ни мертва, и он испугался, что у нее не выдержат нервы или она упадет в обморок. И только тогда, продолжая держать ее холодную, но, как он сказал мне, очень приятную руку, Ландау обратился к ней с теми словами, которых она, казалось, ждала.

— Всем нам время от времени приходится рисковать, да, дорогая? — сказал он небрежно.— Собираемся стать украшением вечера?

— Нет.

— Хотите где-нибудь поужинать?

— Это неудобно.

— Проводить вас до двери?

— Как угодно.

— Нам все-таки следует улыбнуться, дорогая,— сказал он и повел ее через зал, сыпля словами, как хороший продавец, которым он опять себя почувствовал.

Выйдя на огромную лестничную площадку, он пожал ей руку:

— Значит, увидимся снова на книжной ярмарке? В сентябре? И спасибо за предупреждение. Я его учту. Однако самое важное то, что мы заключили сделку. А это всегда приятно. Правильно?

Она взяла его за руку и, черпая смелость из этого прикосновения, снова улыбнулась — растерянно, но с благодарностью и неотразимой теплотой.

— Мой друг совершил благороднейший поступок,— сказала она, отбрасывая со лба непокорную прядь.— Постарайтесь, пожалуйста, чтобы мистер Барли это понял.

— Я ему скажу. Не беспокойтесь,— успокоил ее Ландау.

Он хотел, чтобы она улыбнулась, еще раз улыбнулась ему. Но он ее уже не интересовал. Она рылась в сумке в поисках визитной карточки, о которой, он был уверен, она вспомнила только что. «ОРЛОВА Екатерина Борисовна» — было написано с одной стороны русскими буквами, а с другой — латинскими, как и название «Октябрь». Она отдала ему карточку и решительно пошла вниз по помпезной лестнице, высоко держа голову, одной рукой касаясь широких мраморных перил, а другой сжимая сумку. Мальчики в кожаных пиджаках не спускали с нее глаз, пока она не прошла через вестибюль. Ландау сунул карточку в нагрудный карман, где за последние два часа скопилось уже с десяток других, и подмигнул мальчикам, заметив, как они провожают ее взглядом. А те, взвесив ситуацию, подмигнули ему в ответ, ибо наступила пора гласности, когда на красивые русские ножки можно открыто обратить внимание, пусть даже и иностранцу.

Оставшиеся пятьдесят минут Ники Ландау всецело предавался веселью. Пел и танцевал с мрачной шотландкой-библиотекаршей в жемчугах. Вызвал приступ дикого хохота у двух бледных сотрудников ВААПа, государственного агентства по авторским правам, рассказав остроумный политический анекдот про госпожу Тэтчер. Охмурял трех дам из издательства «Прогресс» и трижды бегал к своему дипломату за сувениром для каждой — он любил делать подарки, помнил имена и обещания, как помнил и многое другое с непосредственностью необремененной памяти. Дипломат свой он держал все время в поле зрения; и еще до того, как начался разъезд, взял его в руку и не ставил на пол, даже прощаясь. А когда сел в заказанный для них автобус, чтобы вернуться в гостиницу, то положил дипломат на колени и присоединился к мелодичному хору, распевающему спортивные песенки, которые обычно заводил Спайки Морган.

— Мальчики, здесь дамы! — предупредил Ландау и вскакивал, требуя купюр в слишком вольных куплетах. Но, даже изображая великого дирижера, он не выпускал дипломата из рук.

У входа в гостиницу тусовались сводники, продавцы наркотиков и валютчики, которые вместе с присматривающими за ними кэгэбэшниками сразу заметили, как в гостиницу вошла группа иностранцев. Но в их поведении Ландау не обнаружил ничего такого, что могло иметь к нему отношение,— ни нарочитого внимания, ни подчеркнутого равнодушия. Ветеран-инвалид, охранявший проход к лифтам, попросил, как обычно, предъявить гостиничный пропуск; когда же Ландау, уже подаривший ему полблока «Мальборо», строго спросил по-русски, почему он не пошел сегодня погулять со своей подружкой, швейцар издал дребезжащий смешок и похлопал его по плечу.

«Если они хотят поймать меня, Гарри, подумал я, то пусть поторопятся, не то

след остынет,— рассказывал он мне, стараясь посмотреть на себя глазами противника.— Когда ловишь кого-то, Гарри, надо пошевеливаться, пока улика еще находится у жертвы»,— объяснил он, будто всю жизнь занимался охотой на людей.

— В баре «Националя» в девять,— утомленно сказал Спайки Морган, когда они выбрались из лифта на четвертом этаже.

— Может, да, может, нет, Спайки,— ответил Ландау.— Честно говоря, я немножечко не в себе.

— И слава богу,— сказал, зевая, Спайки и пошел к себе по темному коридору под злобным взглядом дежурной по этажу, сидевшей за барьером.

Перед дверью в номер, прежде чем вставить ключ в замочную скважину, Ландау весь напрягся. Вот сейчас меня и накроют, подумал он. Им удобнее всего забрать меня с рукописью. Здесь и сейчас!

Но когда он вошел, комната была пуста, все стояло на своих местах, и он почувствовал себя глупо из-за того, что ждал совсем другого. Живем, подумал он и положил дипломат на кровать.

Затем задернул крохотные, с носовой платок, занавески, насколько это было возможно, то есть ровно наполовину, повесил на дверь бесполезную табличку: «Пожалуйста, не беспокойте» — и заперся. Выложив все из карманов, в том числе и визитные карточки, он снял пиджак, галстук, металлические браслеты, придерживающие рукава, и, наконец, рубашку. Затем открыл холодильник, налил себе лимонной водки — и отхлебнул. Он мне объяснил, что вообще-то пьет немного, но в Москве ему нравилось выпить перед сном вкусной лимонной водки. Со стаканом Ландау прошел в ванную и, стоя перед зеркалом, целых десять минут внимательно рассматривал корни волос — не проглядывает ли где-нибудь седина — и все предательские места смазывал новейшим чудотворным средством. Окончив, к своему удовольствию, сей труд, он надел купальную шапочку и встал под душ, напевая, и довольно недурно, «Идеальный я образчик нынешнего генерала». Потом, чтобы поднять мышечный тонус, яростно растерся полотенцем, накинул сокрушительно-цветастый халат и прошествовал, все еще напевая, назад в комнату.

Все это он проделал отчасти потому, что поступал так всегда (и сейчас привычный распорядок действовал на него успокаивающе), но отчасти и потому, что гордился тем, что раз в жизни бросил ко всем чертям осторожность и не подыскал двадцать пять разумных причин не ударить палец о палец, хотя ничего другого в эти дни от себя и не ждал.

Она — настоящая леди, она боялась, она нуждалась в помощи, Гарри. А разве Ники Ландау мог отказать такой женщине? А если он в ней ошибся? Что ж, она здорово надула его, и он может спокойно взять зубную щетку и отправиться на Лубянку к парадному входу, чтобы посвятить пять лет изучению редкостных тамошних настенных надписей. Но пусть он двадцать раз останется в дураках, чем один-единственный беспричинно откажет такой женщине. И, сказав себе все это, разумеется мысленно, поскольку всегда боялся, что его подслушивают, Ландау вынул из дипломата пакет, но не разрезал бечевку, а с некоторой робостью принялся ее развязывать, как учила его блаженной памяти мать, чья фотография покоилась у него в бумажнике. В них обеих это сияние, думал он, с удовольствием обнаруживая сходные черты, пока терпеливо распутывал узел. Славянская кожа. Славянские глаза, улыбка. Две чудесные славянки. Единственная разница в том, что Катя не кончила Треблинкой.

Узел наконец поддался. Ландау свернул бечевку и положил на кровать. «Видишь ли, дорогая, я все-таки должен разобраться, что к чему,— мысленно объяснил он женщине, которую звали Екатерина Борисовна.— Я не любитель совать нос в чужие дела, я не любопытен, но если мне надо провести московскую таможню, необходимо знать, о чем идет речь, иначе ничего не выйдет».

Ландау аккуратно, чтобы не разорвать, развернул обеими руками оберточную бумагу. Он не считал себя героем, во всяком случае пока еще не считал. То, что было опасным для московской красавицы, могло быть вполне безопасным для него. Ему пришлось много чего хлебнуть в жизни, что да, то да. Лондонский Ист-Энд — не курорт для десятилетнего польского иммигранта, и Ландау получил свою долю тычков в зубы, разбитых носов, синяков, окровавленных кулаков и голода. Но если бы вы спросили его в эту минуту — или любую другую за последние тридцать лет,— каким он себе представляет героя, то он ответил бы не задумываясь, что герой — это первый, кто выскочит через черный ход, когда начнут выкликать добровольцев.

Едва он взглянул на содержимое пакета, как сразу же загорелся. Почему — в этом он разберется позже, на досуге. Но если нужно что-нибудь ловко сработать теперь же, то Ники Ландау именно тот, кто вам нужен. Если Ники загорелся, его уже не собьешь, Гарри, это хорошо знают все его девочки.

Первое, что он увидел,— был конверт. И три общие тетради, стянутые с конвертом толстой резинкой, точно такой же, какие он обязательно сохранял, хотя никогда потом не использовал. Но он сосредоточился на конверте, потому что надпись на нем была сделана ее почерком, четким каллиграфическим почерком, гармонировавшим с чистотой ее образа. Кое-как заклеенный квадратный коричневый конверт, адресованный «Лично мистеру Бартоломью Скотту Блейру. Срочно».

Вытащив конверт из-под резинки, Ландау посмотрел его на свет, но бумага была толстой и не просвечивала. Ландау прощупал его большим и указательным пальцами. Внутри — один тонкий лист бумаги, в крайнем случае два. «Мистер Скотт Блейр обещал издать его в Англии, не разглашая имени автора...— вспомнил он.— Мистер Ландау, если вам дорог мир... передайте это немедленно мистеру Скотту Блейру. Но только мистеру Скотту Блейру... Это знак глубочайшего доверия».

Она и мне доверяет, подумал он. Потом перевернул конверт. Обратная сторона была чистой.

И поскольку ничего больше из запечатанного коричневого конверта узнать было нельзя, а читать почту Барли или кого бы то ни было Ландау возможным не считал, он снова открыл дипломат и, порывшись в отделении для почтовой бумаги, вынул простой конверт с напечатанной на обороте изящной надписью: «Стенд мистера Николаса П. Ландау». Вложил в него коричневый конверт и заклеил. Потом небрежно написал на нем имя «Барли» и положил в отделение с пометкой «Разное», где хранилась всякая всячина — например, визитные карточки, которые ему зачем-то всовывали незнакомые люди, или листочки, где были записаны мелкие просьбы: редакторше из издательства требовались стержни для ее «Паркера», сотруднику из министерства культуры — майка для племянника с собачкой Снупи; вот и сотрудница «Октября», которая случайно проходила мимо, когда он закрывал свой стенд, тоже попросила об одолжении.

Ландау сделал это по подсказке инстинкта, хотя никакого профессионального обучения не проходил. Просто он понимал, что конверт этот следует держать как можно дальше от тетрадей. Если тетради чем-то грозят, пусть их ничто не связывает с письмом. И наоборот. Он действовал совершенно правильно. Наши самые опытные и эрудированные инструкторы, до тонкости знающие все приемы нашей Службы, ничего другого ему не посоветовали бы.

Только после этого он взял три тетради и освободил их от резинки, все время прислушиваясь, не раздадутся ли в коридоре шаги. Три потрепанные русские тетради, отметил он и, выбрав верхнюю, медленно оглядел ее с обеих сторон. Картонная обложка со смазанным рисунком, матерчатый корешок истрепан. Двести двадцать четыре страницы низкокачественной бумаги в слабую линеечку — в свое время он торговал канцелярскими принадлежностями и немного во всем этом разбирался. Такие тетради можно купить в любом советском писчебумажном магазине за двадцать копеек, при условии, конечно, что вы зашли туда именно в тот день, когда завезли товар, и встали в нужную очередь.

Наконец, он открыл тетрадь и уставился на первую страницу.

Она чокнутая, подумал он, пытаясь побороть отвращение.

Она в лапах психа. Бедняжка.

Бессмысленные каракули, нацарапанные пером и тушью с невообразимой быстротой, вдоль, поперек, на полях, по диагонали — по уже написанному, словно резолюции. Повсюду дурацкие восклицательные знаки и подчеркивания. Что-то по-русски, что-то — по-английски. «Создатель создает создателей»,— прочел он по-английски. «Быть. Не быть. Противобыть». А потом дурацкий взрыв французского о войне глупости и о глупости войны, и следом — рисунок: заграждение из колючей проволоки. Большое спасибо, подумал он и перевернул несколько страниц, покрытых безумными надписями настолько густо, что между ними едва проступала бумага. «Потратив семьдесят лет на разложение народной воли, мы не можем ожидать, что она вдруг воскреснет и спасет нас»,— прочел он. Цитата? Мысль, пришедшая ночью? Непонятно. Ссылки на авторов — русских, латинских и европейских. Что-то о Ницше, Кафке и других, о ком он никогда не слышал и кого тем более не читал. Опять о войне, на этот раз по-английски: «Старики объявляют ее, а сражаются молодые, но сегодня сражаются и младенцы

и старики». Перевернув очередную страницу, он не увидел ничего, кроме круглого бурого пятна. Он поднес тетрадь к носу и понюхал. Пиво, подумал он с презрением. Воняет, как на пивоваренном заводе. Неудивительно, что это приятель Барли Блейра. Разворот был испещрен серией исторических лозунгов:

НАШ ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРОГРЕСС — В ОТСТАЛОСТИ!
СОВЕТСКИЙ ПАРАЛИЧ — САМЫЙ ПРОГРЕССИВНЫЙ В МИРЕ!
НАША ОТСТАЛОСТЬ — НАШ ВЕЛИЧАЙШИЙ ВОЕННЫЙ СЕКРЕТ!
ЕСЛИ МЫ САМИ НЕ ЗНАЕМ НАШИ СОБСТВЕННЫЕ НАМЕРЕНИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ, ТО КАК МЫ МОЖЕМ ЗНАТЬ ВАШИ?
ИСТИННЫЙ ВРАГ — НАША СОБСТВЕННАЯ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ!

А на следующей странице стихи, старательно переписанные бог знает откуда:

Так прихотливо вьется след,
что в петлях этих смысла нет.
И люди смотрят друг на друга:
на юг ползла змея иль с юга?

Ландау вскочил и сердито шагнул к окну, которое выходило в унылый двор, полный неубранного мусора.

Сукин сын, вот что я подумал, Гарри. Жонглер словами. Длинноволосый, накачавшийся наркотиками, самовлюбленный гений, а она взяла и отдала ему себя целиком, как это делают все они.

На ее счастье, в Москве нет телефонных книг, одни справочники, не то бы он позвонил и выложил ей все, что он об этом думает.

Чтобы подхлестнуть свою злость, он взял вторую тетрадь, послюнявил палец и начал презрительно листать... и натолкнулся на чертежи. И тут на мгновенье все словно провалилось куда-то, будто на середине фильма вдруг возник пустой белый экран. Он выругал себя за то, что позволил себе стать импульсивным славянином, вместо того чтобы оставаться хладнокровным англичанином. Потом он снова сел на кровать, но так осторожно, будто на ней лежал кто-то, кого он оскорбил преждевременным осуждением.

Хотя Ландау презирал то, что часто сходит за литературу, его восхищение перед техникой не знало границ. Он был способен целый день смаковать страницу математических формул. И поэтому даже с первого взгляда он почувствовал (как почувствовал при первом взгляде на женщину по имени Катя), что перед ним — настоящее. Пусть и не вычерченные по линейке рейсфедером обычные чертежи, а наброски, но только выигрывавшие от этого. Нарисованные без чертежных инструментов человеком, который умел мыслить при помощи карандаша. Параболы, конусы, касательные. А между набросками — краткие обозначения, которыми пользуются архитекторы и инженеры, такие термины, например, как «точка прицеливания», и «захват», и «отклонение», и «тяготение», и «траектория». Кое-что по-английски, Гарри, а кое-что по-русски.

Впрочем, Гарри — не мое настоящее имя.

И все-таки когда он сравнил эти красиво начертанные слова во второй тетради с дремучими джунглями в первой, то, к своему удивлению, обнаружил несомненное сходство. У него возникло ощущение, что перед ним результат раздвоения личности — дневник, часть которого написал доктор Джекил, а часть — мистер Хайд [1].

Он заглянул в третью тетрадь, где записи были столь же упорядочены и конкретны; как и вторая, она представляла собой нечто вроде математического журнала с датами, числами и формулами; слово «ошибка» часто повторялось, нередко подчеркивалось или же выделялось восклицательным знаком. Внезапно Ландау замер, не в силах оторвать взгляда от того, что читал. Уютная неясность технического жаргона вдруг резко оборвалась. Так же, как беспорядочные философствования и наброски с лаконическими подписями. Слова рвались со страницы с недвусмысленной четкостью:

«Американские стратеги могут спать спокойно. Их ночные кошмары не станут явью. Советский рыцарь умирает внутри своей брони. Он — второстепенная сила, как и вы, англичане. Он способен начать войну, но не сможет ни продолжить ее, ни выиграть. Поверьте мне».

---

[1] Имеются в виду персонажи романа Р. Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». *(Здесь и далее прим. ред.)*

Читать дальше Ландау не стал. Почтение, смешанное с сильным инстинктом самосохранения, подсказывало ему, что он и так уже слишком далеко забрался в заклятую гробницу фараона. Он сложил все три тетради вместе и стянул их резинкой. Вот так, подумал он. С этой минуты я ни во что не суюсь, а просто выполняю обещанное. То есть отвезу эту рукопись в Англию, мою приемную родину, где ее немедленно получит мистер Бартоломью (он же Барли) Скотт Блейр...

Барли Блейр, изумленно подумал он, открывая гардероб и вытаскивая алюминиевый чемодан, в котором возил свои образцы. Ну-ну! Мы часто гадали, не вскормили ли мы в наших рядах шпиона, и вот сейчас тайное стало явным.

Ландау был теперь абсолютно хладнокровен, как он заверил меня. Англичанин вновь взял верх над поляком. «Если это по плечу Барли, то и я смогу, Гарри, так я сказал себе». Так он сказал и мне, когда на короткое время сделал меня своим исповедником. Почему-то я оказываю на людей такое действие. Они ощущают нереализованную часть моей личности и говорят с ней, словно она существует на самом деле.

Положив чемодан на кровать, Ландау отпер замки и вынул два видеозвуковых пособия, которые советские чиновники приказали ему убрать со стенда: историю двадцатого века в рисунках с устным комментарием, который они посчитали антисоветским, и справочник «Все о человеческом теле» с соответствующими фотографиями плюс кассета с гимнастическими упражнениями: после жадного созерцания гибкой молодой богини в трико чиновники заявили, что все это — порнография.

Пособие по истории представляло собой роскошный подарочный альбом с большим количеством внутренних карманов для кассет, параллельных текстов, словарных карточек и конспектов. Освободив все карманы, Ландау по очереди примерил к ним тетради, но ни один не подошел. Тогда он решил из двух карманов сделать один. Вынул из несессера маникюрные ножницы и твердой рукой принялся за работу, высвобождая стальные скрепки, их разделяющие.

Барли Блейр, снова подумал он, подцепляя скрепку концом ножниц, и как это я раньше не догадался! Уж кого-кого можно было заподозрить, но только не тебя. Мистер Бартоломью Скотт Блейр, последний отпрыск «Аберкромби и Блейр»,— шпион.

Первая скрепка поддалась. Он аккуратно ее вытащил.

Барли Блейр, про которого мы говорили, что он не сумеет уговорить богатую лошадь купить у него сена даже ради спасения жизни собственной мамаши в день ее рождения,— шпион.

Он начал оттибать вторую скрепку.

Кто мог похвастаться только тем, что два года назад на белградской книжной ярмарке уложил под стол Спайки Моргана — пили одну водку, а после так прекрасно играл на теноровом саксофоне вместе с оркестром, что аплодировали даже полицейские. Шпион. Шпион-джентльмен. Что ж, вам письмо от вашей дамы — если вспомнить детский стишок.

Ландау взял тетради и попробовал вложить их в образовавшийся новый карман, но и он оказался мал. Придется пожертвовать третьим.

Изображает из себя пьяницу, сказал себе Ландау, все еще думая о Барли. Валяет дурака и одурачил нас. Проматывает остатки семейного капитала, все глубже топит старую фирму. О да! Правда, всякий раз, когда ты прогорал, ты обязательно умудрялся найти в Сити солидный банк, который вовремя тебя выручал, э? А то, как ты играешь в шахматы? Да одного этого хватило бы, чтобы открыть Ландау глаза, не будь он таким тупицей! Как может человек, который допился до чертиков, выигрывать в шахматы у неплохих игроков, Гарри, если он не опытный шпион?

Три кармана слились в один, и тетрадки кое-как в нем уместились, а сверху сохранилась надпись: «Конспекты».

«Конспекты,— мысленно объяснял Ландау молодому пытливому таможеннику в аэропорту Шереметьево.— Конспекты, сынок, как тут и написано. Студенческие конспекты. Тут вот специальный карман для конспектов. А тетрадь, которую ты держишь,— подлинный конспект студента, проходящего курс. Вот почему она здесь, сынок, понимаешь? Это о б р а з е ц. А эти графики, они связаны с...»

С социально-экономическими проблемами, сынок. С демографическими сдвигами. С той жизненно важной статистикой, которой вам, русским, всегда недостает, верно? А вот такое ты когда-нибудь видел? Называется «Все о человеческом теле».

Что могло бы спасти Ландау, а могло бы и не спасти: все зависело от того, на-

сколько въедливый попадется таможенник, а также от того, много ли им известно и очень ли им хочется поскорее вернуться в этот вечер к жене.

Но от долгой ночи впереди и той минуты на рассвете, когда они ворвутся в номер с пистолетами и крикнут: «А ну, Ландау, давай сюда тетради!» — от этой счастливой минуты справочник — не защита. «Тетради? Какие тетради? А-а, эта связка хлама, которую мне всучила вчера вечером на ярмарке какая-то чокнутая русская красотка. Вы найдете их в мусорной корзинке, если только горничная против обыкновения ее не опорожнила».

И на этот случай Ландау тоже все подготовил: вынув тетрадки (из кармана пособия по истории), он художественно уложил их в мусорную корзинку — как будто в бешенстве швырнул их туда, как, кстати, и хотел ими распорядиться, когда заглянул в первую. За компанию он бросил туда же оставшиеся проспекты и брошюры и два ненужных прощальных подарка, которые он получил: тоненькую книжку очередного русского поэта и блокнот с жестяным орнаментом на крышке. В довершение кинул в корзинку дырявые носки, как поступают только богатые иностранцы — вместо того, чтобы бережливо их заштопать.

И снова я волей-неволей восхитился, как позже восхитились мы все, природной изобретательностью Ландау.

В этот вечер Ландау не пошел развлекаться. Он терпеливо сносил привычное заточение в номере московской гостиницы. Из окна он наблюдал, как долгие сумерки сгущаются в темноту и тусклые огни города с неохотой становятся ярче. В маленьком дорожном чайнике он заварил себе чай и съел два мармеладных батончика из жестянки. Он с благодарностью припоминал наиболее приятные свои победы. Грустно улыбался поражениям. Он собирался с силами, чтобы вытерпеть боль и одиночество, и обратился за помощью к воспоминаниям о своем тяжелом детстве. Он проверил содержимое бумажника, дипломата и карманов и вынул все слишком личное, о чем не хотел отвечать через стол, на котором пусто,— страстное письмо от подружки (полученное много лет назад, оно все еще действовало на него возбуждающе) и членскую карточку некоего клуба «Видео по почте». Он было решил «сжечь их как в кино», но его остановил вид дымового детектора на потолке, хотя он мог поспорить на любую сумму, что тот не работает.

Поэтому он нашел бумажный пакет, разорвал все в мелкие клочки, положил их внутрь и выбросил пакет из окна, проследив, как он присоединился во дворе к остальному мусору. А потом лег на кровать и стал следить за шевелением мрака. Порой он испытывал прилив храбрости, а порой такой испуг, что впивался ногтями в ладони, лишь бы не поддаться ему. Раз он даже включил телевизор в надежде увидеть юных гимнасток, которые ему нравились. Но вместо них перед ним предстал не кто иной, как сам король, который в сотый раз объяснял своим ошалевшим детям: а прежний-то порядок — голый. И когда из бара «Националя» ему позвонил уже достаточно набравшийся Спайки Морган, он трепался с ним, пока старина Спайки не уснул.

Однако всего только раз, в миг наибольшего отчаяния, Ландау пришло в голову: а не заявиться ли в английское посольство, чтобы отправить тетради диппочтой? Но эта минутная слабость взбесила его. Чтобы я обратился к этим засранцам? — спросил он себя с презрением. К тем, кто отправил моего отца обратно в Польшу? Да я не доверю им даже открытки с видом Эйфелевой башни, Гарри.

И кроме того, это было совсем не то, о чем она его просила.

Утром он оделся, как на собственную казнь, в лучший костюм, а в карман рубашки положил фотографию матери.

Именно таким я и вижу Ники Ландау всякий раз, когда заглядываю в его досье и когда принимаю его каждые полгода. А он пользуется этими встречами, чтобы заново пережить свой звездный час, прежде чем дать очередную подписку о неразглашении государственной тайны. Я вижу, как он упругой походкой выходит на московскую улицу, с металлическим чемоданом в руке, не имея ни малейшего представления, что в нем, но твердо решив тем не менее рискнуть ради этого своей отважной шкуркой.

А каким он видит меня, если вообще думает обо мне, я и догадываться не хочу. Ханна, которую я любил, но предал, обязательно сказала бы, вспыхивая гневом: «Ты для него — еще один из этих англичан, у кого надежда на лице и безнадежность в сердце». Боюсь, она теперь говорит все, что приходит ей в голову. От ее былой терпимости не осталось и следа.

2

Весь Уайтхолл пришел к единому мнению — ни одна операция так впредь начинаться не должна. Главы осведомленных ведомств были вне себя от ярости. Они создали ужасно секретную комиссию, которая должна была выяснить, что именно пошло наперекосяк, выслушать свидетелей, не церемонясь, назвать имена виновных, заполнить пробелы, не допустить повторения подобного, назначить меня председателем и поручить мне сделать доклад. К какому заключению пришла наша комиссия — если вообще пришла,— остается одной из самых сокровенных тайн, в основном для членов самой комиссии. Цель подобных комиссий, как все мы прекрасно знаем,— не жалеть слов, пока пыль не осядет, а после в эту пыль самим и обратиться. Наша комиссия — подобно Чеширскому Коту из «Алисы в стране чудес», но только обескураженному — так и поступила, не оставив после себя ничего, кроме ужасно секретной нахмуренности, мало чего значащих документов да кое-каких секретных ведомостей в архивах министерства финансов.

Все началось, выражаясь менее сдержанным языком Неда и его коллег из русского отдела, с полного бардака. В теплый воскресный вечер между 17.00 и 20.30 некий Николас П. Ландау, коммивояжер и солидный (несмотря на его польское происхождение) налогоплательщик, за которым не было замечено ничего предосудительного, попытался прорваться не более не менее как в четыре министерства Уайтхолла, требуя безотлагательной встречи с офицером отделения британской разведки, как ему было угодно назвать нашу Службу,— лишь для того, чтобы быть осмеянным, а потом и отшитым, причем в одном случае даже с применением физической силы. Впрочем, мы так и не смогли прийти к единому мнению по следующему вопросу: действительно ли два привратника у министерства обороны схватили Ландау за шиворот и брючный пояс и выволокли за дверь (как утверждал Ландау), или же (как утверждали привратники) просто помогли ему выйти на улицу.

Но почему, строго спросила наша комиссия, два привратника вынуждены были оказать такого рода помощь?

Мистер Ландау не позволил нам взглянуть, что у него в дипломате, сэр. Да, он предложил отдать нам дипломат на хранение, пока он будет ждать, но при условии, сэр, что ключ останется у него. А это не по инструкции. Да, он тряс дипломатом прямо перед нашим носом, стучал по нему, даже подбрасывал его — видимо, для того, чтобы показать нам, что внутри нет ничего такого, чего мы могли бы опасаться. Но и это не по инструкции. А когда мы попытались забрать вышеупомянутый дипломат почти без применения силы, этот джентльмен — как они с некоторым опозданием начали именовать Ландау в своих показаниях — оказал сопротивление, сэр, и громко выкрикивал что-то с иностранным акцентом, нарушая общественный порядок.

А что именно он кричал? — спросили мы, огорченные самой мыслью о том, что в воскресенье кто-то кричал в Уайтхолле.

Сэр, он был очень взволнован, но насколько мы его поняли, он кричал, что в дипломате у него находятся сверхсекретные документы, сэр. Ему доверил их в Москве какой-то русский, сэр.

А этот полячишка просто буйный, сэр, могли бы они добавить. Да еще в воскресенье, сэр, в самый разгар крикетного сезона, мы как раз устроились в задней комнате посмотреть второй матч Пакистана с Ботемом.

Даже в министерстве иностранных дел, в этом леденящем очаге официального английского гостеприимства, куда с величайшей неохотой явился отчаявшийся Ландау, хватаясь за эту последнюю соломинку,— даже там только ценой неистовых молений и искренних славянских слез он сумел проложить себе путь к утонченному уху достопочтенного Палмера Уэллоу, автора превосходной монографии о Листе.

Возможно, и славянские слезы не помогли бы, если бы Ландау не прибег к новой тактике. На этот раз он раскрыл свой дипломат и положил его на барьер так, чтобы вахтер — хотя и молодой, но уже скептик — мог наклонить свою напомаженную голову к недавно установленному бронированному стеклу и, устремив на него безучастный взор, лично убедиться, что в дипломате не бомбы, а всего-навсего пачка старых, грязных тетрадок и коричневый конверт.

— Зайдите-в-понедельник-с-десяти-до-пяти,— сказал вахтер в замечательный новый динамик, будто объявляя очередную остановку в поезде, идущем по Уэльсу, и снова откинулся назад, в темноту своей будки.

Дверь была приоткрыта. Ландау взглянул на молодого человека, потом — мимо него, на величавый портик, возведенный лет сто назад, дабы внушать страх своенравным раджам британской Индии. Во мгновение ока он подхватил свой дипломат и помчался с ним во весь опор, одолевая все препятствия, которые казались непреодолимыми и существовали специально для отражения именно таких вторжений,— «Ну прямотаки, как кенгуру, сэр»,— через священный дворик, вверх по лестнице, в огромный вестибюль. И ему повезло. Палмер Уэллоу, каков бы он там ни был, принадлежал к умиротворяющим чиновникам министерства. И в этот день Палмер дежурил.

— О-о,— пробормотал Палмер, спустившись по парадным ступеням и увидев расхристанного Ландау, который тяжело дышал, стоя между двумя дюжими охранниками.— Видно, вам досталось. Моя фамилия Уэллоу. Я дежурный секретарь.— Левую руку он держал у плеча, но правую руку протянул, здороваясь.

— Мне секретарь не нужен,— сказал Ландау.— Мне нужен или самый высокий начальник, или вовсе никто.

— Что вы, секретарь — достаточно высокая должность,— скромно заверил его Палмер.— Вероятно, вас ввели в заблуждение некоторые аналогии.

Справедливости ради надо упомянуть (как и сделала наша комиссия): до указанного момента Палмер Уэллоу действовал безупречно. Он был шутлив, но эффективен. И не сделал ни единого неверного шага. Он провел Ландау в приемную и усадил его, сам — весь внимание. Он распорядился, чтобы Ландау принесли чаю с сахаром как лекарство от перенесенного потрясения, и предложил ему сухарики. Дорогой авторучкой (подарок друга) записал имя, фамилию и адрес Ландау, а также название фирм, которые пользовались его услугами. Он записал номер английского паспорта Ландау, дату и место рождения (Варшава, 1930 год). С обезоруживающей искренностью он объяснил, что никакого отношения к разведке не имеет, но обещал передать материалы Ландау «компетентным лицам», которые, вне всякого сомнения, уделят им должное внимание. По настоянию Ландау Палмер взял голубой бланк министерства, сочинил расписку в получении, подписался, а вахтер поставил штамп с указанием даты и часа. Затем Палмер заверил Ландау, что в случае необходимости ответственные лица свяжутся с ним, скорее всего позвонят.

И только тогда Ландау нерешительно протянул ему через стол замызганный пакет и с запоздалым сожалением стал следить, как Палмер томно его разворачивает.

— А почему бы вам просто не передать это мистеру Скотту Блейру? — спросил Палмер, прочитав фамилию на конверте.

— Господи, да я же пытался! — взорвался Ландау.— Я же говорил вам. Я всюду ему названивал. Звонил до посинения, я же вам говорю. Его нет дома, его нет в издательстве, его нет в клубе, его нигде нет! — в отчаянии кричал Ландау, от волнения забыв даже про английскую сдержанность.— Я пытался звонить из аэропорта. Ну ладно, допустим, это суббота.

— Но сегодня воскресенье,— возразил Палмер, снисходительно улыбнувшись.

— Так вчера же была суббота, правильно? Я звонил ему в издательство. Никто трубку не берет. Я справился в телефонной книге. Номер в Хаммерсмите. Инициалы не его, но тоже Скотт Блейр. Попадаю на злобную дамочку, которая посылает меня к черту. Я знаю, одного его агента зовут Арчи Парр, он у них по западным графствам. Я спрашиваю Арчи: «Бога ради, Арчи, как мне побыстрее найти Барли?» — «Ники, он слинял. Обычные его штучки. В лавочке он уже недели три не показывался». Пробую справочную. Лондон, южные графства. Не значится ни одного Бартоломью. Ну, конечно, вряд ли его номер значится у них, раз он...

— Раз он — что? — спросил заинтригованный Палмер.

— Он исчез, верно? Он и раньше исчезал. Значит, есть причины, почему он исчезает. Причины, о которых не знают, потому что знать о них не положено. Речь ведь может идти о чьих-то жизнях. И не только его собственной. Она сказала, что это очень срочно. И сверхсекретно. Так займитесь этим. Пожалуйста.

В тот же вечер, поскольку в мире ничего особенного не происходило (если не считать нудного кризиса в Персидском заливе и телевизионной передачи о грязном скандале: какие-то солдаты, какие-то суммы в Вашингтоне), Палмер отправился на Монпёлье-сквер, на довольно милую вечеринку, которую устроила компания его кембриджских однокашников, таких же холостяков, как и он, но приятных. Отчет об этой вечеринке дошел и до ушей нашей комиссии.

— Кстати, никто из вас не знает Скотта Блейра? — поздно вечером спросил Уэллоу, когда, играя на рояле Шопена, вдруг вспомнил о Ландау.— Был ведь, кажется, Скотт Блейр, на курс старше нас? — снова спросил он, потому что первый его вопрос потонул в общем шуме.

— Курса на два. Тринити-колледж,— заплетающимся языком ответил кто-то из угла.— Специализировался по истории. Фанатик джаза. Хотел зарабатывать на жизнь саксофоном. Его старик встал стеной. Барли Блейр. Бухой как сапожник, с самого утра.

Палмер Уэллоу взял мощный аккорд, заставивший умолкнуть многоголосую компанию.

— Я спрашиваю, он что, гнусный шпион? — раздельно произнес он.

— Отец? Он давно умер.

— Сын, олух! Барли.

Собеседник Палмера вышел из толпы молодых и менее молодых людей, словно актер из-за занавеса, и встал перед ним с бокалом в руке. К своему удовольствию, Палмер вспомнил, что сто лет назад в Тринити они были закадычными друзьями.

— Право, не могу сказать, гнусный шпион Барли или нет,— заметил приятель Палмера с обычной своей раздражительностью, а гомон вокруг удвоился.— Но он, бесспорно, неудачник, если это один из признаков.

Палмер, чье любопытство подогрелось еще больше, вернулся в свои просторные комнаты в министерстве иностранных дел и к конверту и тетрадям Ландау, которые отдал на сохранение вахтеру. Именно в этот момент его действия, говоря словами нашего отчета, приняли нежелательный оборот. Или, выражаясь более жестким языком Неда и его коллег по русскому отделу, вот тут-то в любой цивилизованной стране П. Уэллоу подвесили бы за большие пальцы в верхней точке города и оставили бы там размышлять на досуге о своих достижениях.

Ибо Палмер с интересом углубился в тетради. На две ночи и полтора дня. Потому что нашел их весьма забавными. Коричневый конверт он не вскрыл (на нем уже к этому времени было написано рукой Ландау: «Сугубо лично мистеру Б. Скотту Блейру или офицеру разведки высокого ранга»),— как и Ландау, он был воспитан в убеждении, что читать чужие письма непорядочно. Да и в любом случае конверт был надежно заклеен, а Палмер не был любителем преодолевать физические препятствия. Но верхняя тетрадь, та просто завораживала его сумасшедшими афоризмами и цитатами, всеобъемлющей ненавистью к политикам и солдафонам, неожиданными ссылками на Пушкина как чистейшего представителя Возрождения и Клейста как чистейшего самоубийцу.

У него не было ощущения срочности, а уж ответственности и подавно. Он был дипломат, а не Друг, как именовали шпионов. Друзья, согласно «зоологической» классификации Палмера,— это люди, которым недостало интеллектуальных лошадиных сил стать тем, чем стал он, Палмер. Он даже открыто возмущался, что правоверное министерство иностранных дел, к которому он принадлежал, приобретает все большее сходство с ширмой, прикрывающей постыдную деятельность Друзей. Ведь Палмер тоже был человеком завидной эрудиции, хотя и довольно пестрой. Он изучал арабский, с блеском сдал экзамен по современной истории. В свободное время занимался русским и санскритом. Ему не хватало лишь знания математики и здравого смысла, поэтому-то он и пролистывал скучные страницы всяких формул, уравнений и графиков, которые заполнили две другие тетрадки и, в отличие от беспорядочных философствований автора, выглядели утомительно-упорядоченными. Что также и объясняет (хотя комиссия с трудом приняла подобное объяснение), почему Палмер проигнорировал инструкцию дежурным секретарям касательно перебежчиков и предложений сотрудничества, как искомых, так и добровольных, и продолжал забавляться.

— У него совершенно невероятная логика, Тиг,— сказал он во вторник старшему коллеге из исследовательского отдела, решив наконец поделиться своим приобретением.— Обязательно прочтите.

— А почему вы думаете, что это он, а не она, Палмс?

Палмер это чувствовал. Флюиды.

Старший коллега Палмера заглянул в первую тетрадь, затем во вторую и, наконец, сел и уставился в третью. Затем вернулся к чертежам во второй тетради. А потом чутье профессионала подсказало ему, что надо действовать безотлагательно.

— На вашем месте, Палмс, я отправил бы это им, и побыстрее,— заметил он. Но тут же передумал и отправил сам, очень-очень быстро, позвонив сначала Неду по спецтелефону и приведя того в состояние боевой готовности.

В результате два дня спустя весь ад с цепи сорвался. В среду, в четыре часа утра, на верхнем этаже кубического кирпичного здания на Виктория-стрит, где помещался русский отдел, все еще горел свет: подходило к концу первое совещание тех, кто затем составил «Группу Дрозда». А еще через пять часов, высидев еще два совещания во внушительном новом здании управления Службы, возвышавшемся на набережной, Нед вернулся к себе и принялся с такой головокружительной быстротой обрастать папками с документами, будто девочки из архива решили воздвигнуть там уличную баррикаду.

— Пути Господни, конечно, неисповедимы,— заметил Нед, обращаясь к Броку, своему рыжему помощнику, в кратком затишье перед появлением очередной порции папок,— но своих джо Он выбирает куда неисповедимее.

«Джо» на профессиональном жаргоне — живой источник, а живой источник в переводе на нормальный язык — это шпион. Имел ли Нед в виду Ландау, упомянув про джо? Или Катю? Или же никак еще не окрещенного автора тетрадей? А может, ему уже виделся неясный образ великого английского шпиона-джентльмена, мистера Бартоломью Скотта Блейра? Этого Брок не знал, да и не хотел знать. Он переехал в Лондон из Глазго, но его родители были литовцами, и абстрактные понятия только злили его.

Что до меня, то мне пришлось подождать еще недельку, прежде чем Нед решил, как всегда без особой охоты, что настало время привлечь старика Палфри. Я уж и не помню, когда я не был стариком Палфри. И не представляю, куда делись мои законные имена. «Где старик Палфри?» — говорят они. «Где наш ручной орел-законник? Давайте сюда этого старого крючкотвора! Свалите это дело на Палфри!»

Со мною мы быстро покончим. Я вас не задержу. Мое полное имя — Горацио Бенедикт де Палфри, но два моих имени вы можете забыть сразу, а частица «де» и вовсе изгладилась у всех из памяти. На службе я — Гарри, и так часто, что, будучи покладистым по натуре, стал Гарри и для себя самого. И когда по вечерам я жарю в своей тесной холостяцкой квартирке отбивную на ужин, то охотно называю себя Гарри. Я — юрисконсульт, толкователь законов для незаконников, а некогда — младший партнер почившей в бозе нотариальной фирмы «Мэки, Мэки и де Палфри, Чансери-лейн». Но это было двадцать лет назад. И все эти двадцать лет я был вашим самым покорным секретным слугой, в любое время готовым украсть весы у той самой слепой богини, перед которой в юности меня учили благоговеть.

Палфри — французское слово; так в средние века называли коней, объезженных для торжественных выездов или под дамское седло. Что ж, на этом коне смогла удержаться лишь одна женщина — и то недолго, но зато загнала его почти насмерть. Ее имя — Ханна. Вот из-за Ханны я и сбежал в тайную цитадель, где нет места страсти, где стены такие толстые, что мне не слышно, как она колотит по ним кулаками или молит со слезами в голосе, чтобы я впустил ее к себе, невзирая на неизбежный скандал, который так пугал молодого нотариуса на пороге респектабельной карьеры.

На лице надежда, а в сердце безнадежность, говорила она. Мне всегда казалось, что женщина помудрее держала бы подобные наблюдения при себе. Нередко говорить правду в глаза — значит потакать собственным слабостям. «В таком случае на что ты надеешься? — возражал я.— Если больной умер, то какой смысл пытаться оживить его?»

Ответ напрашивался сам: потому что она женщина. Потому что верила в спасение мужских душ. Потому что я еще не расплатился за то, что оказался не тем.

Но поверьте, теперь я уже расплатился сполна.

Именно из-за Ханны я по сей день хожу по секретным коридорам, свою трусость называю долгом, а слабость — самопожертвованием.

Именно из-за Ханны я задерживаюсь допоздна в своем сером кабинете-коробке, на двери которого написано «Юридический отдел», заваленный папками, кассетами и пленками, словно веду дело Джарндиса против Джарндиса [1], но только без излишней

[1] Бесконечная тяжба из-за наследства, сюжетный стержень романа Ч. Диккенса «Крошка Доррит».

волокиты. Именно из-за нее я сижу и готовлю официальную побелку для операции, которую мы назвали «Дрозд» и главным действующим лицом в которой должен быть Бартоломью (он же Барли) Скотт Блейр.

Именно из-за Ханны старик Палфри, трудясь над своим оправдательным документом, иногда кладет ручку, поднимает голову и начинает мечтать.

Возвращение Ники Ландау под английское знамя, если он вообще его покидал, произошло ровно через двое суток после того, как тетради попали на стол к Неду. Со времени злополучного посещения Уайтхолла Ландау изнемогал от унижения и злости. Он не занимался делами, он не убирал свою квартиру в Голдерз-Грин, которую обычно холил и лелеял, как светоч своей жизни. Даже Лидии не удалось подбодрить его. Я лично безотлагательно получил ордер министерства внутренних дел на подключение к его телефону. Когда она позвонила, мы долго слушали, как он отшивал ее. А когда она трагически ворвалась к нему, наши наблюдатели доложили, что он напоил ее чаем и отправил восвояси.

— Не знаю, в чем я провинилась, но все равно прости меня,— с грустью сказала она уходя (насколько им удалось расслышать).

Не успела она выйти на улицу, как позвонил Нед. Потом Ландау догадливо поинтересовался у меня, не было ли это совпадением.

— Ники Ландау? — спросил Нед голосом, не располагавшим к шуткам.

— Предположим,— ответил Ландау, расправляя плечи.

— Меня зовут Нед. По-моему, у нас есть общий друг. Обойдемся без имен. На днях вы любезно доставили письмо для него. При довольно-таки трудных обстоятельствах, насколько я понял. И пакет.

Ландау сразу же подпал под обаяние этого голоса. Уверенного и властного. (Голос хорошего офицера, Гарри, а не циника.)

— Ну да...— подтвердил он, но Нед уже продолжал:

— Не стоит пускаться в подробности по телефону. Нам с вами нужно бы поговорить подольше. И нам хотелось бы от души пожать вам руку. Без проволочек. Когда мы сможем это сделать?

— Когда скажете,— ответил Ландау. Он чуть было не добавил «сэр».

— Я не люблю ничего откладывать. А вы?

— А я тем более, Нед,— сказал Ландау. В голосе его чувствовалась счастливая улыбка.

— Я пришлю за вами машину. Так что никуда не уходите. Вам позвонят в дверь. Зеленый «ровер», номер начинается с «Б». Шофера зовут Сэм. Если у вас возникнут сомнения, попросите, чтобы он показал свое удостоверение. Если этого будет недостаточно, позвоните по телефону, указанному на удостоверении. Справитесь?

— А наш друг жив-здоров? — не удержался Ландау, но Нед уже повесил трубку.

Звонок в дверь раздался через несколько минут. Значит, машина ждала за углом, подумал Ландау, спускаясь по лестнице будто во сне. Вот оно! Я в руках профессионалов.

Дом находился в самой фешенебельной части Белгрейвии — старинный, недавно реставрированный; свежевыкрашенный белый фасад поблескивал в лучах заходящего солнца. Дивный дворец, святилище тайных сил, которые управляют нашими жизнями. Отполированная медная табличка на колонне у входа гласила: «Отдел по зарубежным связям». Ландау еще поднимался по ступенькам, а дверь уже открывалась. И как только швейцар закрыл ее за ним, Ландау увидел, что навстречу ему сквозь завесу солнечных лучей идет подтянутый худощавый человек чуть более сорока лет. Сначала — стройный абрис, потом волевое, мужественно-красивое лицо, затем — рукопожатие, сдержанное, но доверительное, точно обмен приветствиями между военными кораблями.

— Вы молодец, Ники. Идемте же.

Обаятельным голосам не всегда сопутствует обаятельная внешность, но Нед принадлежал к избранным. Пока Ландау шел за ним в овальный кабинет, он понял, что сможет сказать ему все на свете и Нед все равно будет на его стороне. Собственно говоря, Ландау узрел в Неде много такого, что ему сразу понравилось. В этом и заключался волшебный дар Неда, дар Крысолова из Гаммельна: неброская привлекательность, благородный облик, скрытая сила прирожденного руководителя, это дружеское

«идемте же». А еще Ландау учуял в нем полиглота, поскольку и сам был такой. Стоило ему ввернуть русское имя или фразу, и Нед понимающе улыбался и отвечал по-русски. Он свой парень, Гарри. Если у тебя есть секрет, с ним надо идти к такому человеку, а не к тому засранцу в министерстве иностранных дел.

До того как Ландау начал говорить, он даже и не представлял себе, как отчаянно ему хотелось выговориться. Едва он открыл рот, как понесся вперед галопом. И слушал себя с удивлением, потому что рассказывал не только о Кате и тетрадях, не только о том, почему он взял их и как спрятал, но и обо всей своей жизни до нынешнего дня, о душевной смуте из-за славянского происхождения, о любви к России несмотря ни на что и об ощущении, будто он подвешен между двумя культурами. Нед не задавал ему никаких наводящих вопросов, не сбивал его. Он был прирожденным слушателем. И почти не шевелился, лишь изредка что-то аккуратно записывал на небольших карточках, а если и задавал вопросы, то лишь для того, чтобы прояснить какую-нибудь важную деталь, в частности тот момент, когда в Шереметьево таможенник пропустил Ландау, даже не взглянув на его багаж.

— Так пропустили только вас или всю вашу группу?

— Всех. Кивок — и мы прошли.

— Вы не почувствовали, что вас так или иначе выделили?

— В каком смысле?

— У вас не создалось впечатления, что с вами в чем-то обошлись не так, как со всеми? Например, лучше?

— Мы прошли как одна компашка овец. Как стадо овец,— поправился Ландау.— Показали паспорта, и все.

— Вы не заметили, другие группы проходили так же, как и ваша?

— Русским словно все было до лампочки. Может, из-за того, что лето, да еще суббота. Может, дело в гласности. Двух-трех они проверили, а остальных пропустили. Честно говоря, я себя почувствовал дурак дураком. Совершенно не к чему было так осторожничать.

— Вы поступили отнюдь не как дурак. Вы все сделали отлично,— сказал Нед без малейшего оттенка превосходства, все еще продолжая что-то писать.— А не помните, с кем вы сидели рядом в самолете?

— Со Спайки Морганом.

— А еще?

— Я сидел у окна.

— Номер места?

Ландау без запинки назвал номер. Он всегда бронировал для себя это место, когда оно оказывалось свободным.

— Много разговаривали во время полета?

— Очень даже много.

— О чем?

— В основном о женщинах. Спайки поселился в Ноттинг-Хилле с двумя девками.

Нед хохотнул.

— А о тетрадях вы Спайки не рассказывали? От облегчения, что все позади? В подобных обстоятельствах, Ники, это было бы вполне естественно. Довериться приятелю.

— Мне бы и в голову не пришло, Нед. Да никогда. Молчал и буду молчать. Я и с вами говорю только потому, что он исчез, а вы — лицо официальное.

— Ну, а с Лидией?

Оскорбленное достоинство заставило Ландау на миг забыть свое восхищение Недом и даже удивление от того, что Нед — в курсе его личных дел.

— Мои дамы, Нед, знают обо мне очень мало. Может, они и думают, будто знают больше,— сказал он.— Но секреты мои их не касаются.

Нед продолжал писать. И мерное движение ручки, а также намек на то, что он мог проболтаться, побудили Ландау снова попытать счастья: он уже заметил, что каждый раз, когда он заговаривал о Барли, от спокойного, доброжелательного лица Неда вдруг начинало веять холодком.

— Но у Барли все хорошо? С ним ничего не случилось? Ну, там, под машину попал или еще что-нибудь?

Нед, казалось, не расслышал. Он взял чистую карточку и продолжал писать.

— Я думаю, Барли послал бы все через посольство, правда? — сказал Ландау.—

Он же профессионал, Барли. Если хотите знать, его шахматы выдают. Ему не надо бы играть. Уж во всяком случае, не при посторонних.

Только теперь Нед медленно поднял голову. Ландау увидел на его лице каменное выражение, более страшное, чем его слова.

— Мы никогда не упоминаем имен просто так, Ники,— тихо произнес Нед.— Даже между собой. Вы об этом знать не могли, поэтому к вам претензий нет. Но больше, пожалуйста, никогда так не делайте.

Затем, вероятно увидев, как это подействовало на Ландау, он встал, подошел к столику из атласного дерева, взял графин с хересом, налил две рюмки и одну протянул Ландау.

— Так вот, с ним ничего не случилось,— сказал он.

Они молча выпили за Барли, чье имя Ландау раз десять сам себе поклялся никогда больше не произносить.

— Нам не хотелось бы, чтобы вы на следующей неделе ехали в Гданьск,— сказал Нед.— Мы подготовили медицинскую справку, вы получите компенсацию. Вы больны. У вас подозревают язву. И пока не работайте, хорошо?

— Как скажете, так и сделаю,— ответил Ландау.

Но прежде чем уйти, он под отеческим взглядом Неда дал подписку о неразглашении государственной тайны. Этот хитрый документ написан юридическим языком в расчете на то, чтобы произвести нужное впечатление только на подписывающего и никого другого. Да и сам документ едва ли делает честь его составителям.

Затем Нед выключил микрофоны и скрытые видеокамеры (на них настоял двенадцатый этаж, потому что операция уже принимала такой характер).

До сих пор Нед все делал один — и был в своем праве, как глава русского отдела. Оперативники воюют в одиночку. Он даже еще не призвал на помощь старика Палфри. Пока еще.

Если до этого дня Ландау чувствовал, что никому не нужен, то всю оставшуюся неделю он был окружен самым заботливым вниманием. На следующее утро очень рано позвонил Нед и с привычной любезностью попросил его отправиться по такому-то адресу в Пимлико. Это оказался многоквартирный дом, построенный в тридцатых годах, с полукруглыми окнами в стальных рамах, выкрашенных в зеленый цвет, и подъездом, который больше напоминал вход в кинотеатр. В присутствии двух мужчин Нед (не назвав их) попросил Ландау во второй раз рассказать все, что произошло, а потом бросил его на съедение волкам.

Первым заговорил дерганый, рассеянный человечек с младенчески розовыми щеками и младенчески ясными глазами, в льняной куртке под цвет льняных взлохмаченных волос. Голос у него тоже был рассеянный.

— Голубое платье, вы сказали? Меня зовут Уолтер,— добавил он, будто сам был ошеломлен этим открытием.

— Да, сэр.

— Вы уверены? — пропищал он, вертя головой и искоса поглядывая на Ландау из-под белесых бровей.

— Абсолютно, сэр. Голубое платье и коричневая авоська. Только в общем-то авоськи веревочные, а у нее была коричневая пластиковая. «Вот что, Ники,— сказал я себе,— сейчас, конечно, не время, но если ты в один прекрасный день захочешь пообщаться с этой дамочкой, что не исключено, то привези-ка ей из Лондона красивую голубую сумочку под цвет ее платья». Потому-то я и запомнил, сэр. По ассоциации.

Когда я снова прокручиваю запись, меня всякий раз поражает, что Ландау называл Уолтера «сэр», а Неда просто Недом. Но это вовсе не был знак уважения, а, скорее, объяснялось некоторой брезгливостью, которую вызывал Уолтер. В конце-то концов, Ландау был женолюб, а Уолтер — наоборот.

— Вы говорите, волосы ч е р н ы е? — пропел Уолтер, будто в черные волосы было трудно поверить.

— Черные, сэр. Черные и шелковистые. Почти цвета воронова крыла. Да, точно.

— А не крашеные, как вам кажется?

— Уж я-то знаю разницу, сэр,— ответил Ландау, дотронувшись до головы: теперь он был уже готов открыть им все, даже секрет своей вечной молодости.

— Вы упомянули, что она ленинградка. Почему вы так считаете?

— Манера держаться, сэр. Я увидел породу, я увидел русскую патрицианку. Вот какой она мне видится. Петербург.

— А армянки вы в ней не увидели или грузинки? Или еврейки, например?

Ландау задумался на секунду над последним предположением и отмел его:

— Видите ли, я сам еврей. Я вовсе не утверждаю, что только евреи способны узнавать евреев, но ничего такого я не почувствовал.

Молчание, которое могло быть рождено замешательством, подтолкнуло его добавить:

— По-моему, с еврейством слишком уж перегибают палку. Хочешь быть евреем, так на здоровье. Но если не хочешь, никто тебя не заставит. Я вот, во-первых — британец, во-вторых — поляк, а потом — уже все остальное. И не важно, что многие отсчитывают с другого конца. Это их дело.

— Отлично сказано! — воскликнул Уолтер, хлопнув в ладоши и хихикнув.— Коротко и ясно. Да, еще вы упомянули, что она хорошо говорит по-английски.

— Не то слово, сэр. Классический английский. Нам бы всем так.

— Вы сказали: как учительница.

— Такое у меня было впечатление,— ответил Ландау.— Учительница в школе, преподавательница в институте. Я почувствовал в ней культуру. Ум. Волю.

— А не может ли она быть устной переводчицей?

— По-моему, сэр, хорошие устные переводчики стараются стушеваться. А эта дама себя не прятала.

— Очень и очень неплохой ответ,— сказал Уолтер, высвободив из рукавов розовые манжеты.— И на пальце у нее было обручальное кольцо. Превосходно.

— Да, сэр. Обручальное. Обычно это первое, на что я смотрю, только Россия — не Англия, и смотреть приходится на другую руку: они там носят обручальные кольца не на левой руке, а на правой. Одинокие женщины в России — просто бич, и развод — не проблема. Нет уж, мне подавай муженька да парочку детишек, чтобы было зачем торопиться домой. Вот тогда уж — так и быть.

— Да, кстати. Как вы думаете, у нее есть дети?

— Уверен, что есть, сэр.

— Ну как же вы можете быть в этом уверены? — вдруг плаксиво, скривив губы, спросил Уолтер.— Вы же не ясновидец.

— Бедра, сэр. Бедра и потом — достоинство, с которым она держалась, хотя и была очень испугана. Она не Юнона, сэр, и не сильфида. Это — мать.

— Рост? — дискантом взвизгнул Уолтер, тревожно вздернув почти невидимые брови.— Можете определить ее рост? Сравните с собственным. Вы смотрели вниз или вверх?

— Средний рост, я же вам говорил.

— Значит, выше вас?

— Да.

— Метр шестьдесят пять — метр семьдесят?

— Ближе ко второму,— буркнул Ландау.

— И еще раз: сколько ей лет? Вы что-то путались.

— Даже если ей больше тридцати пяти, по виду никак не скажешь. Чудесная кожа, прекрасная фигура — красивая женщина в расцвете, и особенно духа, сэр,— сдаваясь, ответил Ландау с невольной улыбкой: пусть Уолтер и был ему чем-то неприятен, но он унаследовал польскую слабость к чудакам.

— Сегодня воскресенье. Будь она англичанкой, пошла бы она, по-вашему, в церковь?

— Ну не прежде, чем все как следует обдумала бы,— к своему удивлению, выпалил Ландау, не успев даже взвесить ответ.— Она могла бы сказать, что Бога н е т. Она могла бы сказать, что Бог е с т ь. Но в любом случае она не стала бы плыть по течению, как многие из нас. Она не стала бы увиливать, а приняла бы решение и выполнила его, если бы сочла, что это ее долг.

Внезапно все странные гримасы Уолтера разрешились долгой резиновой улыбкой.

— Нет, вы просто молодец,— объявил он с завистью.— Знаете ли вы какие-нибудь точные науки? — продолжал он, и его голос опять вознесся к небесам.

— Да так. Собственно, в популярном изложении. Кое-чего нахватался.

— Физику?

— По-школьному, сэр, не больше. Мне приходилось продавать учебники. Экза-

мен я вряд ли сдам, даже сейчас. Но учебники эти, так сказать, расширили мой горизонт.

— Что такое телеметрия?

— Даже слова этого никогда не слышал.

— Ни по-английски, ни по-русски?

— Боюсь, ни на одном языке, сэр. Телеметрия прошла мимо меня.

— А... КВО?

— Что-что, сэр?

— Круговое вероятное отклонение. Господи, да в этих дурацких тетрадках, которые вы нам привезли, он столько раз это повторял! И конечно, КВО должно было застрять у вас в памяти.

— Да нет же, я их только пролистал, и все.

— Пока не дошли до того места, где советский рыцарь умирает внутри своей брони. И там остановились. Почему?

— Да не доходил я до него! А *случайно* наткнулся.

— Ну хорошо, случайно наткнулись. И составили какое-то мнение. Правильно? Относительно того, о чем говорит автор. Так какое же мнение?

— По-моему, там что-то про некомпетентность. И что у них с этим неважно. У русских. Ничего не выходит.

— С чем?

— С ракетами. Они делают ошибки.

— Какие ошибки?

— Всякие. *Магнитные. Систематические* ошибки, что бы это ни значило. Я-то не знаю. Это ваша работа.

То, что Ландау огрызался, лишь доказывало его надежность как свидетеля. Когда он хотел блеснуть и у него ничего не выходило, это их успокаивало, как подчеркнул небрежный, полный облегчения жест Уолтера.

— Нет, по-моему, он замечательно со всем справился,— заявил он, как будто Ландау не было в комнате, и театрально вскинул руки в знак подведения итогов.— Он рассказывает только то, что помнит. Ничего не выдумывает, чтобы было позанятнее. Ведь верно, а, Ники? — добавил он с тревогой и раздвинул ноги, будто у него зачесалось в паху.

— Нет, сэр, будьте спокойны.

— И ничего от себя не добавляли, верно? Рано или поздно мы это узнаем. И тогда все, что вы нам тут сообщили, потускнеет.

— Нет, сэр. Все было так, как я говорил. Ни больше, ни меньше.

— Я в этом уверен,— сказал Уолтер своим коллегам тоном простодушной искренности и откинулся на спинку кресла.— Самое трудное в нашей профессии, как и в любой другой, это сказать «верю». Ники — прирожденный источник информации, а это такая же редкость, как зубы у курицы. Будь таких, как он, побольше, в нас бы не нуждались.

— А это Джонни,— объяснил Нед, играя роль адъютанта.

У Джонни были волнистые седеющие волосы, тяжелый подбородок, в руках он держал папку, полную официального вида телеграмм. Золотая часовая цепочка, сшитый на заказ темно-серый костюм — Джонни мог послужить воплощением англичанина для какой-нибудь иностранной официантки, но только не для Ники Ландау.

— Ники, дружище, во-первых, мы должны вас поблагодарить,— сказал Джонни, растягивая слова, как уроженец восточного побережья США. Его благодушная интонация внушала: «Мы вкладчики побогаче. Мы большинство держателей акций». Боюсь, Джонни это свойственно. Неплохой специалист, но не в силах не выставлять напоказ свое американское превосходство. Иногда мне кажется, что вот тут-то и заключается различие между американскими шпионами и нашими. Американцы, откровенно наслаждаясь властью и деньгами, хвастают своей удачей. В них нет инстинктивного притворства, столь естественного для нас, англичан.

Как бы то ни было, Ландау сразу ощерился.

— Не возражаете, если я задам вам парочку вопросов? — сказал Джонни.

— Если Нед не против,— ответил Ландау.

— Ну, разумеется,— сказал Нед.

— Итак, мы с вами сейчас на ярмарке аудиопособий, договорились, дружище?

Вы провожаете эту женщину, Екатерину Орлову, через зал к лестнице. Где стоит охрана. Вы прощаетесь с ней.

— Она берет меня за руку.

— Она берет вас за руку, прекрасно. Прямо на виду у охранников. Вы следите, как она спускается по лестнице. А вам видно, как она выходит на улицу, дружище?

Я никогда не слышал, чтобы Джонни называл кого-нибудь «дружище», и решил, что он старается вывести Ландау из себя, чему их в Агентстве обучают свои домашние психологи.

— Видно,— отрезал Ландау.

— Так-таки на улицу? Погодите, подумайте,— сказал Джонни с фальшивой любезностью прокурора.

— Прямо на улицу — и больше я ее не видел.

Джонни выжидал, пока всем не стало ясно, что он выжидает, и в первую очередь — Ландау.

— Ники, дружище, на этой лестнице в последние сутки постоял кое-кто из наших людей. С верхней площадки лестницы улица не видна.

У Ландау потемнело лицо. Не от смущения. От злости.

— Я видел, как она спускалась по лестнице. Я видел, как она прошла через вестибюль к выходу. Она не вернулась. Поэтому, если кто-то за последние сутки не передвинул улицу, что, не спорю, при Сталине было вполне возможным...

— Давайте продолжим, хорошо?

— Вы не заметили, кто-нибудь шел за ней? — спросил Джонни, беря Ландау в оборот пожестче.

— По лестнице или на улицу?

— И то и другое, дружище. И то и другое.

— Нет, не заметил. Я же не видел, как она вышла на улицу,— вы мне это только что растолковали. Может, вы и будете отвечать, а я — задавать вопросы?

Джонни лениво откинулся на стуле, и тут вмешался Нед:

— Ники, некоторые обстоятельства необходимо очень тщательно проверять. На карту поставлено много, а Джонни действует по инструкции.

— И у меня кое-что поставлено. Мое слово,— сказал Ландау.— И я не желаю, чтоб меня выставляли дураком, особенно американец и даже не английский гражданин.

Джонни тем временем вернулся к своей пашке.

— Ники, пожалуйста, опишите нам, как была организована охрана ярмарки? Что вы сами заметили?

Ландау глубоко вздохнул.

— Ну, ладно,— сказал он.— В вестибюле гостиницы околачивались двое молодых полицейских. Они проверяли всех русских посетителей. Это нормально. А наверху в зале типы повреднее — ребята в штатском. Из тех, кого там называют «топтуны»,— добавил он, желая просветить Джонни.— Через пару дней всех топтунов уже знаешь наизусть. Они не покупают, не воруют экспонаты, ничего не клянчат, и один — всегда блондин, уж не спрашивайте меня почему. Их там было трое, и всю неделю они не сменялись. Вот они-то и следили, как она спускалась по лестнице.

— Вы никого не забыли, дружище?

— Никого, насколько мне известно, но сейчас вы мне скажете, что я вру.

— А вы случайно не заметили двух седых женщин неопределенного возраста, которые тоже каждый день были на ярмарке — рано приходили, поздно уходили и тоже ничего не покупали, не заговаривали с экспонентами и представителями фирм и вообще приходили на ярмарку неизвестно зачем.

— Вы про Герт и Дейзи, насколько я понял?

— Простите?

— Ну про этих двух куриц из Библиотечного управления. Они приходили пивка выпить. А главное, нахватать побольше проспектов или выклянчить каталог. Мы окрестили их Герт и Дейзи — была такая английская радиопередача в войну и после.

— А вам не приходило в голову, что эти дамы тоже могут заниматься наблюдением?

Нед уже протянул могучую руку, чтобы остановить Ландау, но опоздал.

— Джонни,— сказал, вскипая, Ландау.— Это Москва, так? Москва, Россия, д р у ж и щ е. Если бы я вздумал разбираться, кто там наблюдатель, а кто нет, то утром мне

некогда было бы встать с кровати, а вечером — лечь. Может, и птички на деревьях напичканы микрофонами, кто их знает!

Но Джонни опять рылся в своих телеграммах.

— По вашим словам, Екатерина Борисовна Орлова упомянула, что соседний стенд «Аберкромби и Блейр» был накануне пуст, правильно?

— Да, это так.

— Но накануне вы ее не видели? Это верно?

— Да.

— И вы утверждаете, что на красивых женщин у вас глаз зоркий.

— Да, утверждаю, и пусть остается зорким как можно дольше.

— Так не кажется ли вам, что вы должны были ее заметить?

— Бывает, что какую-нибудь и пропущу,— признался Ландау, снова багровея.— Если стою спиной, если записываю что-то, если отливаю в сортире, то мое внимание на секунду может и отвлечься.

Однако холодное спокойствие Джонни уже возымело свое действие.

— У вас в Польше остались родственники, не так ли, мистер Ландау? — Обращение «дружище», очевидно, уже сослужило службу: во всяком случае, прослушивая пленку, я заметил, что оно исчезло из его речи.

— Да.

— И ваша старшая сестра занимает высокий пост в польском правительстве?

— Моя сестра работает инспектором больниц в министерстве здравоохранения. Это не высокий пост, да и возраст у нее давно пенсионный.

— Случалось ли вам прямо или косвенно быть активным объектом шантажа либо давления со стороны служб коммунистического блока, а также третьих, связанных с ними, лиц?

Ландау повернулся к Неду:

— Каким объектом? Боюсь, я не настолько хорошо знаю английский.

— Активным,— предостерегающе улыбаясь, сказал Нед,— понимающим, что происходит. Отдающим себе в этом отчет.

— Нет,— ответил Ландау.

— Во время ваших поездок по странам Восточного блока состояли ли вы в интимных отношениях с женщинами этих стран?

— В постельных состоял. Не в интимных.

Уолтер, точно расшалившийся школьник, испустил придушенный смешок, вздернул плечи и прикрыл ладонью свои жуткие зубы. Но Джонни упрямо наступал:

— Мистер Ландау, вступали ли вы прежде в контакты с разведкой какой бы то ни было враждебной или дружественной страны?

— Нет.

— Продавали ли вы когда-нибудь информацию какому бы то ни было должностному лицу — в газету, справочное агентство, полицию или военную организацию — с какой-либо целью, пусть самой безобидной?

— Нет.

— Состоите ли вы или состояли когда-либо членом коммунистической партии или какой-нибудь организации, борющейся за мир, или группы, сочувствующей ее целям?

— Я гражданин Великобритании,— отрезал Ландау, выставив свой маленький польский подбородок.

— И у вас нет никакого представления, даже нечеткого, пусть даже совсем туманного, об общей сути материала, с которым вы имели дело?

— Никакого дела я с ним не имел. Я просто его передал.

— Но ведь вы его прочитали?

— Что мог, то прочитал. Кое-что. А потом бросил. Как я вам уже говорил.

— Почему?

— Из чувства порядочности, если хотите знать. Вам, я подозреваю, оно незнакомо.

Но Джонни, отнюдь не покраснев, снова начал перерывать свою папку. Он вытащил конверт, а из конверта — пачку фотографий форматом с открытку и разложил их на столе, словно пасьянс. На некоторых изображение было смазанным и всегда — зернистым. На нескольких передний план был чем-то полузакрыт. Сняты были женщины, группами и поодиночке выходящие из подъезда какого-то унылого учреждения. Одни держали авоськи, другие шли, опустив голову, с пустыми руками. И Ландау вспомнил,

как ему рассказывали, что в Москве во время обеденного перерыва женщины ускользают в магазин и засовывают покупки в карманы, а сумку оставляют на рабочем месте для маскировки — мол, только что вышла в коридор.

— Вот эта,— вдруг сказал Ландау, указывая на фотографию.

Джонни пустил в ход еще один из своих прокурорских приемов. (Он был слишком умен для такой чепухи, но это его не останавливало.) Лицо его выразило разочарование и глубочайшее недоверие, будто он поймал Ландау на лжи. Видеозапись свидетельствует, что он возмутительно переиграл эту сцену.

— Откуда у вас такая уверенность, черт подери? Вы же никогда не видели ее в пальто!

Ландау это не сбило.

— Это она, Катя,— твердо сказал он.— Я ее где угодно узнаю. Катя. Она зачесала волосы наверх, но это она, Катя. И сумка та самая, пластиковая.— Он продолжал рассматривать фотографию.— И ее обручальное кольцо.— На секунду он словно забыл, что в комнате кто-то есть.— Я и завтра сделал бы для нее то же самое. И послезавтра.

Так, более чем удовлетворительно, завершился допрос свидетеля, для которого Джонни избрал враждебный тон.

Дни шли за днями, одна загадочная беседа сменялась другой — ни разу дважды в одном и том же месте, ни разу с одними и теми же людьми (за исключением Неда), и у Ландау нарастало ощущение, что дело приближается к кульминации. В звуколаборатории позади Портленд-плейс ему проигрывали голоса женщин — русских, говоривших по-русски и по-английски. Но Катиного голоса он среди них не узнал. Еще день был посвящен — что очень его встревожило — финансам. Но не их финансам, а его, Ландау. Его банковские декларации — откуда они, черт возьми, их достали? Его налоговые декларации, платежные квитанции, сбережения, закладная, страховой полис — в общем, почище налогового управления.

— Положитесь на нас, Ники,— сказал Нед, а честная, убедительная улыбка, сопровождавшая эти слова, вызвала у Ландау ощущение, что Нед где-то всячески его отстаивал и вот-вот все уладится.

Они собираются дать мне поручение, решил он в понедельник. Они собираются превратить меня в шпиона, как Барли.

Они пытаются загладить свою вину через двадцать лет после смерти моего отца, решил он во вторник. Но в среду утром, когда шофер Сэм в последний раз позвонил в его дверь, все стало ясно.

— Ну, Сэм, куда сегодня? — весело спросил Ландау.— В темницу Тауэра?

— В Синг-Синг,— ответил Сэм, и они весело рассмеялись.

Но Сэм доставил его не в Тауэр и не в Синг-Синг, а к боковому входу одного из тех министерств Уайтхолла, куда всего одиннадцать дней назад Ландау столь безуспешно пытался прорваться. Сероглазый Брок проводил его по черной лестнице наверх и исчез. Ландау вошел в огромную комнату, окна которой смотрели на Темзу. За длинным столом лицом к нему сидели несколько человек. Слева — Уолтер (галстук не сбился ни вправо, ни влево, волосы прилизаны). Справа — Нед. Вид у обоих был торжественный. Между ними, положив ладони на стол, так, что из рукавов выглядывали манжеты, сидел мужчина помоложе с брюзгливыми складками у рта, в элегантном костюме. Ландау правильно подметил, что чином он старше и Неда и Уолтера и (как Ландау выразился позднее) явился из совсем другого кино. Он был весь обтекаемый, плотно сжимал губы, словно ему предстояло выступать по телевидению. Он был богат — и не только деньгами. Ему было сорок, он продолжал делать карьеру, но хуже всего в нем была невинность. Он казался слишком юным, чтобы ему можно было предъявлять обвинения как взрослому.

— Меня зовут Клайв,— сказал он пониженным голосом.— Входите, Ландау. Нам надо решить, что с вами делать.

А за Клайвом — собственно говоря, за ними всеми — Ники Ландау немного погодя разглядел меня, старика Палфри. И Нед, заметив, что он увидел меня, улыбнулся и очень мило нас познакомил.

— Ники, а это Гарри,— сказал он, уклоняясь от истины.

До сих пор — ни разу ни единого намека на чью-либо должность; но обо мне Нед сообщил:

— Гарри — наш личный третейский судья, Ники. Он следит за тем, чтобы все было по справедливости.

— Это хорошо,— сказал Ландау.

Вот так в истории этой операции скромно появляюсь я. Юридический мальчик на побегушках, блюститель формы, актер на выходах, умиротворитель и, наконец, летописец: то Розенкранц, то Гильденстерн, а изредка и Палфри.

Для того чтобы еще лучше позаботиться о Ландау, имелся также Рэг — крупный, рыжеватый, вселяющий уверенность Рэг подвел Ландау к одинокому стулу в центре комнаты, а потом придвинул другой и сел рядом с ним. Рэг сразу понравился Ландау, чего и следовало ожидать, потому что Рэг по должности — доброжелатель, и среди его клиентов были перебежчики, провалившиеся разведчики, раскрытые агенты и всякие другие мужчины и женщины, чья связь с Англией могла бы и порваться, если бы старина Рэг Уоттл и его женушка Беренис не были всегда под рукой, чтобы поддержать их и утешить.

— Вы все сделали отлично, но что именно, мы вам объяснить не можем ради вашей же собственной безопасности,— произнес Клайв своим сухим, как безводная пустыня, голосом, когда Ландау сел поудобнее.— Даже того немногого, что вам известно, чересчур много. И мы не можем позволить вам разъезжать по Восточной Европе, раз ваша память хранит наши секреты. Это слишком опасно. И для вас, и для тех, кого это затрагивает. Вот почему, хотя вы оказали нам большую услугу, вы стали и источником серьезной тревоги. Будь сейчас война, мы могли бы арестовать вас, или расстрелять, или найти еще какой-нибудь выход в том же роде. Но сейчас войны нет. Во всяком случае, официально.

Где-то на своем коротком осмотрительном пути к власти Клайв научил себя улыбаться. Применять это оружие против дружественных людей было столь же нечестно, как молчать в телефонную трубку. Но о нечестности Клайв ни малейшего представления не имел, так как не знал, что такое честность. Ну, а страстность — это то, чем приходится пользоваться, когда нужно кого-то в чем-то убедить.

— Вы же можете ткнуть пальцем в очень влиятельных людей, не правда ли? — продолжал он так тихо, что все должны были замереть, чтобы его слышать.— Я уверен, умышленно вы этого не сделаете, но когда вас прикуют к батарее отопления, то у вас не будет особого выбора. Во всяком случае, под конец.

Когда Клайв решил, что напугал Ландау достаточно, он взглянул на меня, кивнул и следил за тем, как я открываю внушительную кожаную папку и вручаю Ландау длинный документ, который я составил собственноручно и который обязывал Ландау на веки вечные отказаться от любых путешествий за Железным Занавесом и не выезжать из Англии, не предупредив об этом Рэга за столько-то дней и не обговорив с ним все детали, причем его паспортом, во избежание каких-либо недоразумений, будет заниматься Рэг. И вообще Ландау должен принять Рэга или того, кто его заменит по решению властей, как неотъемлемую часть своей жизни, наперсника, наставника и тайного арбитра всех своих дел, включая, кстати, и деликатный вопрос, как уплатить налог с суммы прилагаемого банковского чека, выписанного на Фулемское отделение одного скучнейшего английского банка — с суммы, равной ста тысячам фунтов.

А еще, чтобы регулярно подновлять его страх перед Властями, ему надлежит раз в полгода являться к Юрисконсульту Службы, к Гарри, для очередной накачки касательно государственной тайны — к старику Палфри, который был когда-то любовником Ханны и так согнулся под тяжестью своей жизни, что ему уже можно спокойно поручить наблюдение за тем, чтобы другие держались прямо. Далее, в добавление к вышесказанному, в соответствии с ним и вследствие его, все, что относилось к некоей русской женщине, литературной рукописи ее друга и содержанию указанной рукописи (независимо от того, много или мало Ландау из нее понял) и роли некоего английского издателя,— все это с сего момента торжественно объявляется небывшим, недействительным и перечеркнутым, отныне и во веки веков. Аминь.

Документ этот существовал только в одном экземпляре — и ему предстояло покоиться в моем сейфе до тех пор, пока он не истлеет и не рассыплется в прах. Ландау прочитал его дважды, Рэг тоже — у него через плечо. Затем Ландау погрузился в раздумье, не слишком считаясь с теми, кто смотрел на него и ждал только, чтобы он поставил свою подпись и перестал быть помехой. Ибо Ландау знал, что теперь он не продавец, а покупатель.

Он вспомнил, как стоял перед окном в номере московской гостиницы. Как пожелал снять наконец дорожные сапоги и зажить более спокойной жизнью. И ему в голову пришла забавная мысль, что Творец поймал его на слове и устроил все по его желанию. Ландау даже рассмеялся, вызвав тем самым всеобщее беспокойство.

— Что ж, Гарри, надеюсь, что платить будет янки Джонни,— сказал он.

Но шутка не вызвала должных аплодисментов, поскольку так оно и было. Ландау взял у Рэга ручку, подписался, передал мне документ и глядел, как я расписываюсь в качестве свидетеля (Горацио Б. де Палфри — подпись, которая за двадцать лет не без некоторых стараний обрела такую неразборчивость, что, подпишись я Томатный Соус Хайнца, ни Ландау, ни кто другой разницы не заметил бы), и как кладу документ назад в кожаный гробик, и щелкаю крышкой. Последовали рукопожатия, взаимные заверения, и Клайв пробормотал:

— Мы вам очень признательны, Ники.— Совсем как в фильме, участником которого Ландау время от времени себя ощущал.

Потом все снова пожали Ландау руку, и, посмотрев, как он гордо удаляется и исчезает в сиянии заходящего солнца, а точнее, как он бодро уходит по коридору, болтая с Рэгом Уоттлом, который был вдвое его выше, они с досадливым нетерпением принялись ждать улова с аппаратуры, на применение которой я уже получил разрешение под неотразимым предлогом «крайней заинтересованности США».

Они подключились к его рабочему и домашнему телефонам, читали его почту и посадили электронного жучка на заднюю ось его любимого «триумфа» с откидным верхом.

Они следили за ним в его свободные часы и завербовали одну из машинисток, которая присматривала за ним в конторе как за «подозрительным иностранцем», пока он там отрабатывал последние недели.

В барах, где он обычно подыскивал себе подружек, к нему подсаживались потенциальные соблазнительницы. Однако, несмотря на все эти громоздкие и ненужные предосторожности, продиктованные все той же крайней американской заинтересованностью, результаты оказались равными нулю. Ни хвастовства, ни многозначительных намеков. Ландау не жаловался, не бахвалился, не пытался привлечь к себе внимание. Собственно говоря, его история, как у очень немногих, завершилась полностью и счастливо.

Он был чудесным Прологом. Больше он на сцене не появлялся.

Он ни разу не пытался встретиться с Барли Блейром, великим английским шпионом. И только бережно хранил благоговейное уважение к нему. Даже перед торжественным открытием собственного видеосалона, когда ему особенно приятно было бы насладиться присутствием тайного английского героя из подлинной жизни, он не преступил пределы дозволенного. Может быть, ему было достаточно сознавать, что однажды вечером в Москве он откликнулся на призыв старой доброй Англии и повел себя как истый джентльмен, каким иногда страстно желал быть. А может быть, в нем радовался поляк, который показал нос русскому медведю. Или, может быть, его заставляли молчать воспоминания о Кате, о Кате сильной и благородной, Кате смелой и красивой, которая, как ни боялась сама, позаботилась предупредить его об опасности: «Вы должны верить в то, что делаете».

И Ландау поверил. И поэтому Ландау надулся гордостью, как и всякий бы на его месте.

Даже видеосалон его процветал и стал настоящей сенсацией. Пожалуй, кое для кого даже слишком, в том числе и для полиции Голдерз-Грин, которую мне пришлось дружески одернуть. Но для остальных это было самое оно.

А главное, все мы смогли полюбить его, потому что он видел нас такими, какими мы и хотели выглядеть — всеведущими, умелыми и героическими хранителями здоровья нашей великой нации. Эту точку зрения Барли так до конца разделить и не смог, так же как и Ханна, хотя она видела только внешнюю сторону — место, куда она не могла последовать за мной, храм предельного компромисса и, следовательно,— по ее безжалостной логике — отчаяния.

— Нет, Палфри, это не панацея,— сказала она мне всего несколько недель назад, когда я по какому-то поводу принялся восхвалять Службу.— На *м о й* взгляд, это куда больше смахивает на болезнь.

3

Нет разведывательной операции, говорим мы, умудренные опытом ветераны, которая на время не превращалась бы в фарс. Чем крупнее операция, тем громче ржание; в историю Службы вошло, как семидневная тайная охота на Бартоломью (он же Барли) Скотта Блейра потребовала таких лихорадочных усилий и сопровождалась таким количеством просчетов, что всего этого хватило бы на дюжину секретных агентств. Ортодоксальные новички вроде Брока из русского отдела возненавидели биографию Барли, еще не обнаружив того, кому она принадлежала.

После пятидневной погони за Барли они полагали, что знают о нем все, за исключением того, где он находится. Им было известно свободомыслие его предков и его дорогостоящее образование (и то и другое пропало даром), малопривлекательные подробности всех его расторгнутых браков. Им было известно кафе в Камден-тауне, где он садился играть в шахматы с любой неприкаянной личностью, которой случалось туда зайти. Настоящий джентльмен, пусть он и виноват, сказали там Уиклоу (он представился сыщиком по бракоразводным делам). Воспользовавшись избитыми, но действенными предлогами, они навестили в Хоуве сестру Барли, которая давно махнула на него рукой, лавочников в Хампстеде, которые писали ему, замужнюю дочь в Грантеме, которая обожала его, и сына — Серого Волка, подвизающегося в Сити, который был скуп на слова, будто дал обет молчания.

Они разговаривали с музыкантами сборного джаз-оркестра, где он время от времени играл на саксофоне, с экономом в больнице, где он числился в списке посетителей-филантропов, и со священником церкви в Кентиш-тауне, где Барли, как выяснилось, ко всеобщему изумлению, пел тенором.

— У него чудесный голос, хотя слышим мы его реже, чем хотелось бы,— снисходительно сказал священник.

Но когда они попытались, опять-таки с помощью старины Палфри, подключиться к его телефону, чтобы вдоволь насладиться его замечательным голосом, оказалось, что подключиться не к чему, потому что счета за телефон не оплачены.

Они даже нашли кое-какую информацию в собственном архиве. Вернее, информацию эту для них нашли американцы, что отнюдь не прибавило им популярности. Как оказалось, в начале шестидесятых, когда любому англичанину, имевшему несчастье обладать аристократической двойной фамилией, грозила опасность быть завербованным Секретной службой, досье Барли отправили в Нью-Йорк для проверки, в соответствии с частично соблюдаемым двусторонним секретным соглашением. Вне себя от ярости, Брок отправил второй запрос в центральный архив, где сперва заявили, что Барли у них не значится, затем выкопали-таки его перфокарту с белым индексом, которая все еще не была введена в компьютер. А белый индекс навел на белую папку с исходными анкетами и перепиской. Брок кинулся в кабинет Неда так, будто выяснил абсолютно все. Возраст — 22 года! Увлечения — театр и музыка! Спорт — прочерк! Причина, по которой рассматривалась его кандидатура,— двоюродный брат Лайонел, служащий в Лейб-гвардейском конном полку. Но из этого ничего не вышло. Никакой развязки не последовало. Вербовщик пообедал с Барли в «Атенеуме» и поставил на его досье штамп «Бесперспективен», потрудившись собственноручно приписать «абсолютно».

Однако этот забавный эпизод более чем двадцатилетней давности косвенно воздействовал на их отношение к нему, так же как и чудаковатые левые пристрастия Солсбери Блейра, его покойного отца, поставившие их было в тупик. Барли в их глазах перестал быть посторонним. То есть не в глазах Неда, тот был скроен из более крепкого материала; но у остальных — Брока и младшего поколения — возникло ощущение, что Барли в какой-то степени уже принадлежит им, пусть даже как неудачник, не допущенный в их тайная тайных.

Новым разочарованием явилась омерзительная машина Барли, которую полиция обнаружила в Лэксем-гарденс, где стоянка вообще запрещена: левое крыло помято, регистрация просрочена, в бардачке — полупустая бутылка шотландского виски и пачка любовных писем (почерк Барли). Обитатели соседних домов жаловались на эту машину уже не одну неделю.

— Отбуксировать ее, отправить на свалку, оштрафовать владельца или просто сдать на лом? — любезно спросил Неда по телефону старший инспектор дорожного движения.

— Забудьте про нее,— устало сказал Нед. Тем не менее они с Броком поспешили туда в тщетной надежде напасть на след. Выяснилось, что любовные письма адресованы даме, проживающей в Лэксем-гарденс, но она их ему вернула. Трагическим голосом она заверила их, что уж она-то никак не может знать, где сейчас находится Барли.

И только в следующий четверг, терпеливо просматривая банковские документы Барли, Нед обнаружил распоряжение о переводе раз в квартал ста с чем-то фунтов на счет лиссабонской компании, занимающейся недвижимостью,— «Реал Кто-то Лимитада». Неверящими глазами он уставился на эту запись. И долго не отводил их. Потом произнес очень грубое слово, хотя обычно их избегал. Затем торопливо позвонил в транспортный отдел и распорядился проверить списки пассажиров, улетавших за последнее время из Гатуика и Хитроу. Когда оттуда позвонили с нужным ответом, Нед снова выругался. Они вышли на финишную прямую. Бесконечные дни телефонных звонков, расспросы и стучание в двери, всяческие отклонения от правил, списки для наблюдения, запросы в дружественные разведслужбы в добрую половину всех столиц мира, посрамление собственного хваленого архива Службы в глазах американцев. Никто из опрашиваемых и никакие розыски не обнаружили один критически важный, необходимый и дурацкий факт, который им требовался: десять лет назад Барли Блейр, получив в наследство нежданную пару тысяч от дальней родственницы, взял да и купил себе в Лиссабоне убогое пристанище, где время от времени отдыхал от бремени своей многогранной души. С тем же успехом это мог быть и Корнуолл, и Прованс, и Тимбукту. Но волей судеб он попал в Лиссабон, в домик у моря, возле запущенного парка, в такой близости от рыбного рынка, которая отпугнула бы людей с более разборчивым обонянием.

Узнав все это, русский отдел настороженно притих, а худое лицо Брока посерело от ярости.

— Кто там у нас в Лиссабоне? — спросил его Нед, вновь безмятежный, как летний ветерок.

Потом он позвонил старику Палфри (он же Гарри) и велел быть на подхвате, что, как сказала бы Ханна, совершенно точно определяло мое положение.

Мерридью нашел Барли в баре отеля. Пристроившись на высоком табурете, тот распространялся о человеческой натуре перед пьяным в стельку майором артиллерии по фамилии Грейвс, прижившимся в Португалии. Майор Артур Уинслоу Грейвс был затем внесен в список открытых контактов Барли — единственное его соприкосновение с Историей, о чем он так и не узнал.

Длинная гибкая спина Барли была изогнута в сторону от распахнутой двери, которая вела во двор, поэтому Мерридью, жирненький мальчик лет тридцати, получил столь необходимую ему возможность перевести дух перед тем, как сделать бросок. Он охотился за Барли полдня, всюду чуть опаздывая и после каждой неудачи приходя все в большее бешенство.

Он побывал у дома Барли, совсем рядом, где англичанка — судя по выговору, из довольно простых — послала его через щель почтового ящика куда подальше.

Побывал в английской библиотеке, где библиотекарша сказала, что Барли провел дневные часы, листая книги, под чем, видимо, она подразумевала сильную степень алкогольного опьянения, хотя в ответ на прямой вопрос с негодованием это отрицала.

Побывал также и в отвратительной псевдотюдоровской таверне в Эсториле, где под сенью пластмассовых мушкетов Барли с друзьями подкрепились горячительными напитками и с шумом и гамом отчалили за полчаса до появления Мерридью.

Этот отель, предпочитающий скромно именоваться pensão, в прошлом женский монастырь, пользовался большой популярностью у англичан. Чтобы попасть туда, Мерридью пришлось взбираться по лестнице, сложенной из грубого камня и увитой диким виноградом, а когда он наконец взобрался и осторожно заглянул в бар, тотчас ринулся вниз и велел Броку сбегать — «да-да, в буквальном смысле слова» — в кафе на углу и позвонить Неду. Потом он снова поднялся по ступенькам, почему и пыхтел и более, чем обычно, чувствовал, что им помыкают. Запахи прохладного песчаника и свежесмолотого кофе смешивались с ароматом ночных цветов. Но запахи эти не существовали для Мерридью. Он глотал воздух ртом. Всхлипы дальних трамваев и пароходные

гудки были единственным аккомпанементом монолога Барли. Впрочем, Мерридью их не слышал.

— Слепые дети не способны жевать, мой милый, неотразимый Грейви,— терпеливо втолковывал Барли, уткнув указательный палец майору в пупок, а локтем опираясь о стойку бара, где стояла шахматная доска с еще не оконченной партией.— Научный факт, Грейви. Слепых детей учат кусать. Вот смотри. Закрой глаза.

Нежно зажав голову майора в ладонях, Барли наклонил ее к себе, раздвинул податливые челюсти и быстро сунул в рот пару орешков кешью.

— Умница! Раскусывай по команде. Побереги язык. Раскуси! Повторить!

Решив, что момент подходящий, Мерридью нацепил приятельскую улыбку и отважился войти в бар — и был тотчас ошарашен видом двух деревянных мулаток ростом примерно с него самого, которые в придворных одеждах стояли слева и справа от двери.

Цвет волос — каштановый, цвет глаз — зеленый, перечислял он про себя приметы Барли, точно стати лошади. Рост — метр восемьдесят, бреется, речь гладкая, худощав, одевается оригинально. Оригинально, как бы не так! — подумал пузатенький Мерридью, все еще отдуваясь и рассматривая полотняную куртку Барли, серые спортивные брюки и сандалии. А как еще, по мнению лондонских идиотов, ему следовало одеться в жаркую лиссабонскую ночь? В норковое манто?

— Э-э... простите,— сказал Мерридью приятным голосом.— Я ищу одного человека. Не могли бы вы мне помочь?

— Из чего следует, дорогая моя старая задница,— подвел итог Барли, бережно возвращая майора в исходное положение,— что, хотя большой колдун на небе и сотворил нас из мяса, как утверждает знаменитая песенка, есть людей все-таки нехорошо.

— Прошу прощения еще раз, но если не ошибаюсь, вы мистер Бартоломью Скотт Блейр,— сказал Мерридью.— Да?

Не отпуская лацкан майора, дабы предотвратить военную катастрофу, Барли осторожно повернулся вместе с табуретом на сто восемьдесят градусов и оглядел Мерридью снизу вверх, от ботинок до улыбки.

— Видите ли, я из посольства, моя фамилия Мерридью. Я второй секретарь по торговле. Приношу свои извинения. Но мы получили для вас довольно срочную телеграмму. Мы полагаем, что вам надо бы заскочить и прочитать ее сейчас же. Вы не против?

Затем Мерридью неблагоразумно позволил себе жест, присущий пухленьким чиновникам: он взмахнул рукой, сложил ладонь лодочкой и старательно погладил себя по макушке, словно проверяя, на своем ли месте волосы и голова. Но этот энергичный жест толстячка в комнате с низким потолком пробудил в Барли опасения, которые в иной ситуации, может, и не возникли бы, и он неприятно протрезвел.

— Вы извещаете меня о чьей-то смерти, старина? — произнес он с такой напряженной улыбкой, словно приготовился к самой худшей из шуток.

— Дорогой сэр! Откуда такая мрачность? Вопрос коммерческий, а не консульский. Иначе нашим каналом не воспользовались бы.— Он задабривающе хихикнул.

Но Барли не поддался. Ни на йоту. Он все еще смотрел в бездну.

— Так о чем мы, черт возьми, говорим? — спросил он.

— Да ни о чем,— испуганно возразил Мерридью.— Срочная телеграмма. Не надо принимать ее так близко к сердцу. Дипломатическая радиограмма.

— А кто настаивает на срочности?

— Никто. Я не могу изложить вам суть при посторонних. Это конфиденциально. Только для наших глаз.

А вот про его очки они забыли, подумал Мерридью, отвечая взглядом на взгляд Барли. Круглые, в черной оправе. Маловаты для него. Когда хмуро на вас смотрит, спускает на самый кончик носа. Берет на прицел.

— Любой честный долг может подождать до понедельника,— объявил Барли, поворачиваясь к майору.— Расслабьтесь, мистер Мерридью. Выпейте с немытыми.

Пусть Мерридью не был самым стройным или самым высоким мужчиной в мире. Но у него была хватка, хитрость, и, как многие толстяки, он мог неожиданно включить свое негодование именно тогда, когда это было необходимо.

— Послушайте, Скотт Блейр, к счастью, ваши дела меня не касаются. Я не судебный пристав и не рассыльный. Я дипломат и занимаю определенное положение.

Полдня я потратил, бегая за вами, в машине меня ждет служащий посольства, да и на свою собственную жизнь у меня есть определенные права. Извините.

Их дуэт мог бы продолжаться бог знает сколько, если бы майор вдруг не ожил. Расправив плечи, он прижал кулаки к брючным швам и попытался изобразить стойку «смирно».

— Королевский приказ, Барли! — рявкнул он.— Посольство — здешний Букингемский дворец. Приглашение равно приказу. Нехорошо оскорблять Ее Величество.

— Он же не Ее Величество,— терпеливо возразил Барли.— На нем нет короны.

Мерридью взвешивал, не позвать ли ему Брока. Он постарался обворожительно улыбнуться, но Барли уже рассеянно уставился в глубину ниши, где ваза с увядшими цветами маскировала пустой камин. Мерридью окликнул Барли: «Ну как? Вы готовы?» — примерно так же муж мог окликнуть свою жену, когда им было давно пора отправляться в гости. Но измученный взгляд Барли был по-прежнему устремлен на засохшие цветы. Казалось, он видел в них всю свою жизнь, каждый неправильный поворот и неверный шаг — от и до. Затем, когда Мерридью уже потерял всякую надежду, Барли стал рассовывать по карманам куртки весь свой хлам, как будто проделывая привычный ритуал перед отправлением на охоту: сложенный бумажник, набитый неоплаченными чеками и использованными кредитными карточками; паспорт, потемневший от пота и частых путешествий; блокнот и карандаш, которые он всегда держал под рукой, чтобы записывать перлы алкогольной мудрости, а после, протрезвев, поразмышлять над ними. Завершив эту процедуру, он выложил на стойку крупную купюру с таким видом, словно деньги ему долго не понадобятся.

— Мануэль, посади майора в такси. То есть, помоги ему спуститься по лестнице и забраться на заднее сиденье. И заплати шоферу. Сдачу оставь себе. Пока, Грейви. Спасибо за приятный вечерок.

Выпала роса. Узкий месяц задирал рога среди влажных звезд. Они спустились по лестнице — Мерридью шел впереди, предупреждая Барли, чтобы он не оступился. Гавань была полна блуждающих огней. У тротуара ждал черный лимузин с номерными знаками дипкорпуса. Рядом в темноте беспокойно томился Брок. Поодаль стояла вторая машина, ничем не примечательная.

— Это Эдди,— познакомил их Мерридью.— Эдди, боюсь, мы задержались. Надеюсь, вы позвонили?

— Давно,— сказал Брок.

— Надеюсь, Эдди, дома у вас все в порядке? Малыши уложены и так далее? И супруга не задаст вам жару?

— Все в порядке,— пробурчал Брок тоном, который означал «заткнись».

Барли забрался на переднее сиденье, уперся затылком в подголовник и закрыл глаза. Мерридью сел за руль. Позади него застыл Брок. Вторая машина медленно отъехала от тротуара — так трогаются с места опытные наблюдатели.

— Это что же, вы в посольство ездите такой дорогой? — спросил Барли сквозь кажущуюся дремоту.

— Видите ли, дежурный забрал телеграмму к себе домой,— подробно объяснил Мерридью, будто отвечая на необычайно глубокомысленный вопрос.— Боюсь, скоро мы вообще начнем по воскресеньям баррикадировать посольство от ирландцев. К тому идет.— Он включил радио. Скорбно застонал низкий сочный женский голос.— Фадо [1],— объявил Мерридью.— Обожаю фадо. Пожалуй, поэтому я и здесь. Даже уверен, что поэтому. Когда я просил направить меня сюда, то упомянул фадо.— Свободной рукой он стал дирижировать.— Фадо,— объяснил он.

— Вы из тех, кто крутился около моей дочери и задавал ей дурацкие вопросы? — спросил Барли.

— Боюсь, мы всего лишь торговые представители,— сказал Мерридью, продолжая дирижировать во всю мочь. Но внутренне он был сильно обеспокоен осведомленностью Барли. Слава богу, что они, а не я, подумал он, ощущая на правой щеке неукротимый взгляд Барли. Если нынче Управлению приходится иметь дело вот с эдакими, так избави меня бог от работы в родных пределах.

Они сняли городской дом английского банкира, бывшего сотрудника Службы, у которого был еще дом в Синтре. Все устроил старик Палфри. Никаких официальных резиденций, чтобы потом к ним нельзя было придраться. К тому же тут играло роль и обаяние старины. Фонарь из кованого железа, который вешали на дышло кареты,

[1] Протяжная португальская народная песня.

освещал сводчатый вход. Гранитные плиты покрывала насечка, чтобы не скользили подковы. Мерридью позвонил. Брок на всякий случай встал за спиной Барли.

— Здравствуйте. Заходите,— приветливо сказал Нед, открывая огромную резную дверь.

— Ну, а мне, пожалуй, пора,— сказал Мерридью.— Прекрасно, потрясающе.— Продолжая вести заградительный словесный огонь, он унесся к своей машине прежде, чем кто-либо успел ему возразить. Вторая машина неторопливо проехала мимо, будто один хороший знакомый, темной ночью проводив другого до его порога, идет дальше своим путем.

Некоторое время под внимательным взглядом Брока, отступившего чуть в сторонку, Нед и Барли безмолвно оценивали друг друга, как дано только англичанам одного роста, одного сословия и с одинаковой формой головы. И хотя внешне Нед был воплощением английского самообладания и уравновешенности, то есть чуть ли не во всем — полной противоположностью Барли, а Барли был угловат и весь как на шарнирах, и его лицо даже в состоянии покоя дышало решимостью проникнуть в суть вещей — тем не менее у них было достаточно общего для взаимного узнавания. Сквозь закрытую дверь доносились приглушенные мужские голоса, но Нед словно не слышал их. Он провел Барли по коридору в библиотеку и сказал: «Сюда», а Брок остался в прихожей.

— Вы очень пьяны? — спросил Нед, понизив голос, и протянул Барли стакан ледяной воды.

— Нет,— ответил Барли.— Кто, собственно, меня похитил? Что происходит?

— Меня зовут Нед. Сейчас я вам все разъясню. Нет никакой телеграммы, и ваши дела не в большем беспорядке, чем всегда. Никто никого не похищает. Я из английской разведки. Как и те, кто ждет вас в соседней комнате. Однажды вы выразили желание работать у нас. И теперь можете нам помочь.

Воцарилось молчание, Нед ждал ответа Барли. Нед был ровесником Барли. За двадцать пять лет, под разными именами и в разных обличьях, он не раз открывал нужным ему людям, что он — агент английской разведки. Но впервые его собеседник не проявил ни малейшего удивления — ничего не сказал, не замигал, не улыбнулся, не попятился.

— Я ничего не знаю,— произнес Барли.

— Ну а если нам хотелось бы, чтобы вы кое-что выяснили?

— Выясняйте сами.

— Не можем. Только с вашей помощью. Поэтому мы и здесь.

Отойдя к книжным шкафам, Барли наклонил голову набок и, прихлебывая воду, стал вглядываться поверх своих круглых очков в названия книг.

— То вы торговые представители, то вдруг шпионы,— сказал он.

— Почему бы вам не переговорить с послом?

— Он дурак. Я учился с ним в Кембридже.— Он взял книгу в тяжелом переплете и посмотрел на фронтиспис.— Дерьмо,— произнес он презрительно.— Библиотека покупалась на вес. Чей это дом?

— Посол удостоверит мою личность. Если вы спросите его, сможет ли он сыграть в четверг партию в гольф, он ответит, что не раньше пяти вечера.

— Я в гольф не играю,— ответил Барли, снимая с полки еще один том.— Собственно, я ни во что не играю. Я отказался от всех игр.

— За исключением шахмат,— сказал Нед, протягивая ему раскрытый телефонный справочник. Пожав плечами, Барли набрал номер. Услышав голос посла, он улыбнулся, насмешливо, хоть и чуть озадаченно.

— Пузан? Это Барли Блейр. Может, сыграем в четверг партию в гольф? Ради твоей печени.

Кислый голос ответил, что до пяти часов он занят.

— Пять не годится,— возразил Барли.— Ведь тогда играть придется в темноте... Идиот, повесил трубку,— пожаловался он, встряхнув умолкнувшей трубкой. И тут увидел на рычаге руку Неда.

— Боюсь, это вовсе не шутки,— сказал Нед.— А наоборот, крайне серьезно.

Вновь погрузившись в свои мысли, Барли медленно положил трубку.

— Разделительная полоса между крайне серьезным и крайне смешным крайне узка,— заметил он.

— Что ж, давайте перейдем ее,— сказал Нед.

Голоса за дверью смолкли. Барли повернул ручку и вошел. Нед последовал за ним. Брок остался в прихожей на страже. Мы слушали весь их разговор по ретранслятору.

Если Барли было любопытно, что ожидает его за этой дверью, то нам — тем более. Странная игра — выворачивать наизнанку жизнь неизвестного человека без его ведома. Вошел он медленно. Сделал несколько шагов, широко размахивая руками, и остановился, а Нед, еще не подойдя к столу, успел представить всех присутствующих:

— Это Клайв, это Уолтер и вон там Боб. Это Гарри. Знакомьтесь, это Барли.

Барли чуть кивал, слыша очередное имя. Казалось, он предпочитает верить своим глазам, а не тому, что ему говорят.

Его заинтересовала изукрашенная мебель и рощица пошлых комнатных растений. Особенно апельсиновое деревце. Он потрогал плод, погладил лист, а потом изящно понюхал большой и указательный пальцы, словно проверяя, не искусственные ли они. В нем чувствовался пассивный гнев, который искал себе причину. Гнев на то, мне кажется, что его разбудили. Выделили из всех и назвали по имени — Ханна говорила, что именно этого я боялся больше всего на свете.

И еще я, помнится, подумал, что он элегантен. Разумеется, эту мысль внушил не его убогий костюм. Но его жесты, поблекшее благородство. Его врожденная вежливость, пусть даже он с ней и боролся.

— А что, фамилии у вас называть не принято? — спросил Барли, закончив осматривать комнату.

— Боюсь, что нет,— сказал Клайв.

— Дело в том, что на той неделе к моей дочери Антее заходил некий мистер Ригби. Сказал, что он налоговый инспектор. Наврал что-то о неправильно начисленном налоге. Один из ваших шутов?

— Судя по вашим словам, не исключено,— сказал Клайв с высокомерием человека, который не снисходит до лжи.

Барли посмотрел на Клайва, на его английское лицо — одно из тех, которые словно были забальзамированы еще в золотом детстве,— на его жесткие умные глаза, скрывающие пустоту, на пепел под его кожей. Он повернулся к Уолтеру, такому круглому, маленькому и посмеивающемуся,— Фальстафу, которого выманили из уютного трактира. От Уолтера взгляд его перешел на Боба, и он сразу воспринял и патрицианский склад, и более пожилой возраст, снисходительную непринужденность, корнчневый, а не серый или синий костюм. Боб сидел откинувшись и вытянув ноги, а руку по-хозяйски положил на спинку стула. Из нагрудного кармана высовывались узкие очки в золотой оправе. Подметки его потрескавшихся ботинок цвета красного дерева напоминали утюги.

— Я, Барли, в этом семействе человек со стороны,— благодушно произнес Боб со своей сочной бостонской оттяжкой.— Кроме того, я здесь, пожалуй, старше всех и под чужим флагом прятаться не хочу. Мне пятьдесят восемь лет, и, помилуй меня бог, я сотрудник Центрального разведывательного управления, которое, как вы, наверное, знаете, базируется в Лэнгли, в штате Виргиния. Фамилия у меня есть, но называть я ее не стану, чтобы напрасно вас не оскорблять, потому что настоящей она, естественно, быть не может.— Неторопливым приветственным жестом он поднял руку в корнчневых пятнах.— Горд познакомиться с вами, Барли. Давайте поразвлечемся. Давайте сделаем доброе дело.

Барли повернулся к Неду.

— Очень мило,— сказал он, впрочем без видимой враждебности.— Ну и куда же мы отправимся? В Никарагуа? Чили? Сальвадор? Иран? Если вам надо убить лидера какой-нибудь из стран третьего мира, я к вашим услугам.

— Не надо громких слов,— протянул Клайв, хотя уж в чем, в чем, а в этом обвинить Барли было нельзя.— Мы ничем не лучше компании Боба и занимаемся тем же самым. Кроме того, у нас есть закон о неразглашении государственной тайны, которого нет у них, и мы надеемся, что вы дадите соответствующую подписку.

Тут Клайв кивнул в мою сторону, так что Барли хоть и поздно, но в должной мере осознал мое существование. В таких случаях я всегда стараюсь сесть чуть в сто-

роне, что я в тот вечер и сделал. Это, как мне кажется, остатки фантазии на тему, что я все-таки блюститель закона. Барли посмотрел на меня, и бесхитростная прямота его взгляда на миг меня смутила. Это как-то не вязалось с его портретом, созданным нами весьма приблизительно. А Барли, еще раз окинув меня взглядом — не знаю, что уж он увидел,— принялся еще более внимательно рассматривать комнату.

Отделана она была шикарно, и, возможно, Барли решил, что дом принадлежит Клайву. Несомненно, она отвечала вкусу Клайва, поскольку Клайв был мещанином, то есть был не в силах представить себе, что у кого-то вкус может быть лучше. Резные троны, диваны с веселенькой обивкой, а на стенах — электрические свечи. За столом, вокруг которого расположилась команда, свободно разместились бы участники переговоров о перемирии 1918 года; он стоял на возвышении в алькове, уставленном по стенам фикусами в горшках, напоминавших кувшины с сокровищами Али-Бабы.

— Почему вы не поехали в Москву? — спросил Клайв, не дождавшись, пока Барли наконец освоится с обстановкой.— Вас там ждали. Вы сняли стенд, забронировали билет на самолет и номер в гостинице. Но вы не появились там и ничего не оплатили. А вместо этого уехали с женщиной в Лиссабон. Почему?

— А вы предпочли бы, чтобы я приехал сюда с мужчиной? — осведомился Барли.— И какое дело вам или ЦРУ, приехал ли я сюда с женщиной или с бутылкой русской водки?

Он отодвинул стул и сел, скорее в знак протеста, чем повиновения.

Клайв кивнул мне, и я исполнил свой обычный номер: встал, обошел этот нелепый стол и положил перед Барли подписку о неразглашении государственной тайны, вынул из кармана жилета внушительную ручку и с похоронной торжественностью протянул ему. Но его глаза были устремлены на какую-то точку вне этой комнаты, что, как я обнаружил и в последующие месяцы, вообще было ему свойственно — привычка смотреть в собственный сокровенный и тревожный мир, не замечая никого вокруг. А еще вспышки шумной разговорчивости, отгонявшей призраки, которых никто, кроме него, не видел, и беспричинное щелканье пальцами, словно бы означавшее «вот и договорились», хотя, насколько всем было известно, ему ничего не предлагали.

— Вы подпишете? — сказал Клайв.

— А если нет, что вы сделаете? — спросил Барли.

— Ничего. Потому что сейчас, официально и в присутствии свидетелей, я заявляю вам, что этот разговор, как и сама наша встреча тут, является секретным. Гарри — юрист.

— Боюсь, это так,— подтвердил я.

Барли отшвырнул неподписанный документ через стол.

— А я заявляю вам, что раструблю об этом со всех крыш, если приспичит,— произнес он не менее спокойно.

Я вернулся на свое место, забрав с собой и свою внушительную ручку.

— В Лондоне вы тоже оставили все в полном беспорядке,— заметил Клайв, возвращая документ в папку.— Кругом долги. Никто не знает, где вы. Толпы рыдающих любовниц. Вы стараетесь покончить с собой или что?

— Я унаследовал романтическое пристанище,— сказал Барли.

— Что это, собственно, означает? — спросил Клайв, не смущаясь своего невежества.— Модное обозначение порнографии?

— Мой дед нажился на романах для горничных. В те времена у людей были горничные. Мой отец переименовал их в «романы для масс» и продолжил традицию.

Только у Боба возникло желание его утешить.

— Черт побери, Барли,— воскликнул он,— что плохого в романтической литературе? Лучше, чем разное дерьмо, которое издают. Моя жена читает такие романы пачками. И никакого вреда нет.

— Если вам не нравятся книги, которые вы выпускаете, то почему бы вам не издавать что-нибудь другое? — спросил Клайв, который никогда не читал ничего, кроме служебных документов и правой прессы.

— У меня есть правление,— устало ответил Барли, словно отвечая назойливому ребенку.— У меня есть директора. У меня есть семейные акционеры. У меня есть тетки. Им нравится проверенная, надежная продукция. «Сделай сам». Любовные истории. Популярные логин. «Птицы Британской империи» или (взгляд на Боба) «Внутри ЦРУ».

— Почему вы не поехали на московскую аудиоярмарку? — повторил Клайв.

— Тетки восстали.

— Не объясните ли подробнее?

— Я решил протащить в фирму аудиокассеты. Семья узнала и решила, что не протащу. Вот и вся история.

— И вы сбежали,— сказал Клайв.— Вы всегда так поступаете, если кто-то идет вам наперекор? Лучше объясните, о чем это письмо? — предложил он и, не глядя на Барли, отодвинул конверт через стол к Неду.

Но не оригинал. Оригинал находился в Лэнгли и подвергался всем возможным лабораторным проверкам, начиная от отпечатков пальцев и кончая вирусом «болезни легионеров». Факсимильная копия, сделанная по подробным указаниям Неда, вплоть до запечатанного коричневого конверта, надписанного Катиным почерком: «Лично мистеру Бартоломью Скотту Блейру. Срочно». А затем взрезанного ножом для бумаг, чтобы показать, что он был вскрыт. Клайв передал конверт Неду, Нед — Барли. Уолтер поскреб затылок, а Боб взирал на них доброжелательно, как филантроп, внесший свою лепту. Барли покосился на меня, будто назначил себя моим клиентом. Что мне с ним делать? — спрашивал его взгляд. Прочитать или кинуть им обратно? Надеюсь, я сохранил непроницаемый вид. Клиентов у меня больше нет. У меня есть Служба.

— Прочитайте его не торопясь,— посоветовал Нед.

— Времени у вас для этого сколько угодно, Барли,— сказал Боб.

Сколько раз за последнюю неделю каждый из нас читал это письмо? — вот о чем я думал, глядя, как Барли рассматривает конверт с обеих сторон, то отодвигая подальше, то поднося к глазам, сдвинув свои очки на лоб, точно мотоциклетные. Сколько мнений выслушивалось и отвергалось? Шесть экспертов в Лэнгли определили, что письмо написано в поезде. В кровати, заключило трое в Лондоне. На заднем сиденье машины. В спешке, шутя, в порыве любви, под действием страха. Женщиной, мужчиной, установили они. Автор левша, правша. Он привык писать русскими буквами, латинскими, и теми, и другими, ни теми, ни другими.

В заключение комедии они даже посоветовались со стариком Палфри. «По нашему закону об авторском праве само письмо принадлежит получателю, но право на него сохраняется за автором,— сказал я им.— Но не думаю, что вас затаскают по советским судам». Не знаю, обеспокоило или успокоило их мое мнение.

— Вы узнаёте почерк или нет? — спросил Клайв у Барли.

Засунув длинные пальцы в конверт, Барли наконец выудил письмо — но пренебрежительно, словно не исключая возможности, что это всего-навсего очередной счет. Помедлил. Снял свои нелепые круглые очки и положил на стол. Потом вместе со стулом отвернулся от нас ото всех, начал читать и нахмурился. Кончил первую страницу и взглянул на подпись в конце. Затем принялся за вторую страницу и уже без пауз прочел все письмо. Потом прочитал еще раз одним духом — от «Мой любимый Барли» до «Твоя любящая К.». Ревнивым движением положил письмо себе на колени и, держа его обеими руками, склонился над ним так, что (намеренно или случайно) его лицо оказалось скрытым от нас, прядь волос упала на лоб, и о чем бы он ни молился про себя, молитвы эти остались его тайной.

— Она ненормальная,— произнес он куда-то в черноту перед собой.— Чокнутая, тронутая. Ее там даже не было.

Никто не спросил, кто — «она» и где «там». Даже Клайв понимал, как важно иногда помолчать.

— «К» — значит Катя, сокращение от Екатерины, насколько я понимаю,— подождав еще немного, пропищал Уолтер. На нем был косо нацепленный галстук-бабочка, желтый с коричнево-оранжевым узором.— Отчество — Борисовна.

— Не знаю никакой «К», не знаю никакой Кати, не знаю никакой Екатерины,— сказал Барли.— И никакой Борисовны тоже. Никогда не спал с такой, никогда не ухаживал за такой, никогда не делал предложения и даже никогда не был женат на такой. И если меня не подводит память, никогда не был знаком с такой. А впрочем, был.

Они ждали, ждал я, и мы бы прождали всю ночь, и никто бы не кашлянул и не скрипнул стулом, пока Барли рылся в памяти, отыскивая Катю.

— Старая кляча из «Авроры»,— подвел Барли итог своим раздумьям.— Хотела всучить мне альбомы русских художников. Я не клюнул. Тетки бы взвыли от ярости.

— Аврора? — спросил Клайв, не зная, то ли это город, то ли государственное агентство.

— Издательство.

— А фамилию ее вы не помните?

Барли покачал головой — лица его все еще не было видно.

— Борода... Катя с бородой,— сказал он.— Все девяносто в тени.

Сочный голос Боба обладал стереофоничностью и свойством изменять смысл слов.

— Прочтите вслух, а, Барли? — предложил он как старый приятель.— Это освежит вашу память. Попробуйте, Барли.

Барли, Барли, друг всем, кроме Клайва, который всегда, насколько я помню, называл его только «Блейр».

— Да-да, пожалуйста. Прочитайте вслух,— сказал Клайв, превращая просьбу в приказ, и Барли, к моему удивлению, видимо, решил, что это неплохо придумано. Выпрямившись одним гибким движением спины, он устроился таким образом, что и лицо и письмо были на свету. Хмурясь, как и раньше, он стал читать вслух, с подчеркнутым удивлением:

— «Мой любимый Барли».— Он отстранил листок и начал снова: — «Мой любимый Барли. Помнишь обещание, которое ты дал мне однажды ночью, когда на даче наших друзей в Переделкино мы лежали на веранде и читали друг другу стихи великого русского мистика, который любил Англию? Ты поклялся мне, что всегда будешь ставить человечество выше наций и что, когда придет день, ты поступишь как порядочный человек».

Он опять смолк.

— Все неправда? — спросил Клайв.

— Я же сказал вам. Я эту бабу не знаю.

В этом отрицании прозвучала сила, какой прежде в голосе Барли не было. Он отталкивал от себя что-то угрожающее.

— «И теперь я прошу тебя выполнить обещание, хотя и не так, как мы себе представляли в ту ночь, когда стали любовниками». Сплошная хреновина,— пробормотал он.— У глупой клячи в голове помутилось. «Прошу тебя показать эту книгу тем людям в Англии, которые думают так же, как мы. Издай ее ради меня, используя аргументы, которые ты с таким жаром приводил. Покажи ее вашим ученым, художникам и интеллигенции и скажи им, что это первая глыба огромной лавины, а следующую они должны сбросить сами. Скажи им, что благодаря новой открытости мы можем сообща предотвратить катастрофу и кастрировать чудовище, которое сами создали. Спроси у них, что опаснее для человечества: рабски подчиняться или сопротивляться, как подобает свободным людям. Барли, поступи как порядочный человек. Я люблю Англию Герцена. И тебя. Твоя любящая К.» Кто она, черт возьми? Сбрендила. Вместе с Герценом.

Оставив письмо на столе, Барли прошел в темный конец комнаты, тихо ругаясь и взмахивая правым кулаком.

— Что она, черт возьми, затеяла? — возмущенно сказал он.— Взяла и смешала две совершенно разные истории. Ладно, а где книга? — Он вспомнил о нашем существовании и снова повернулся к нам.

— Книга в надежном месте,— произнес Клайв, покосившись на меня.

— Будьте добры, скажите, где она? Она же принадлежит мне.

— По нашему мнению, она, скорее, принадлежит ее другу,— сказал Клайв.

— Ее поручили мне. Вы видели, что он написал. Его издатель — я. Она моя. У вас на нее нет прав.

Он занял позицию, которая нас меньше всего устраивала. Но Клайв быстро его отвлек.

— Он? — повторил Клайв.— То есть Катя — мужчина? Почему вы говорите «он»? Вы нас путаете. Судя по всему, вы большой путаник.

Я думал, что взрыв произойдет раньше. Я уже почувствовал, что уступчивость Барли — это перемирие, а не победа, и всякий раз, когда Клайв осаживал его, Барли был все ближе и ближе к бунту. Поэтому, когда Барли неторопливо подошел к столу, прислонился к нему и вяло поднял руки ладонями наружу, что вполне могло выражать покорную беспомощность, я отнюдь не ожидал, что он ответит Клайву благоразумно и вежливо. Но на такой взрыв я и не рассчитывал.

— Вы, черт возьми, не имеете никакого права! — заорал Барли прямо в лицо Клайву и так ударил ладонями по столу, что мои бумаги подпрыгнули. Из прихожей влетел Брок, и Неду пришлось отослать его назад.— Это м о я рукопись. Ее прислал мне м о й автор. На м о е усмотрение. Вы не имеете никакого права красть ее, читать

или оставлять себе. А поэтому отдайте мне книгу и отправляйтесь на ваш поганый остров.— Он махнул рукой в сторону Боба: — И вашего бостонского брамина заберите с собой!

— Это и ваш остров,— напомнил ему Клайв.— Книга, как вы ее называете, вовсе не книга, а права на нее нет ни у вас, ни у нас,— бесстрастно продолжал он, уклоняясь от истины.— Меня совершенно не интересует ваша драгоценная издательская этика. Так же, как и всех здесь присутствующих. Нам известно только, что указанная рукопись содержит военные секреты Советского Союза, которые — при условии, что в ней все верно,— жизненно необходимы для обороны Запада. К которому, я полагаю, принадлежите и вы. Как бы вы поступили на нашем месте? Отмахнулись бы от нее? Выкинули бы в море? Или постарались бы выяснить, почему ее послали захудалому английскому издателю?

— Он хочет, чтобы ее издали! Чтобы я ее издал! А не чтобы она сгинула в ваших сейфах!

— Совершенно верно,— сказал Клайв и снова покосился на меня.

— Рукопись была официально конфискована и засекречена,— сказал я.— Она не подлежит разглашению так же, как данное совещание. И даже больше.— Мой старый наставник в правоведении перевернулся бы в гробу и, боюсь, не в первый раз. А вообще просто поразительно, чего может добиться юрист, если никто вокруг не знает законов.

Минута четырнадцать секунд — вот как долго на пленке длилась тишина. Нед засек время секундомером, когда вернулся в русский отдел. Он поджидал это место, даже предвкушал его, однако все же испугался, что это дефект записи, что магнитофон, как всегда, закапризничал в самый ответственный момент. Но, прислушавшись, он уловил отдаленное рыканье машины, обрывок девичьего смеха, ворвавшийся в окно,— к тому времени Барли уже отдернул занавески и уставился вниз на площадь. Иначе говоря, целую минуту и четырнадцать секунд мы созерцали необыкновенно выразительную спину Барли, рисовавшуюся на фоне ночного Лиссабона. А потом раздается ужасающий звон, будто вдребезги разбилось несколько оконных стекол сразу, а после — шум водопада. Вполне можно было бы предположить, что Барли наконец-то вырвался на свободу, увлекая за собой португальские настенные тарелки и вычурные цветочные вазы. В действительности же весь этот шум возник потому только, что Барли обнаружил столик с напитками, бросил в хрустальную стопку три кубика льда и плеснул на них приличную порцию виски — всего в нескольких дюймах от микрофона, который Брок, с его неистребимой страстью к перестраховке, укрыл в одном из позолоченных деревянных завитков.

4

Он устроился в самом дальнем углу, на жестком стуле, боком к нам, и наклонился над стопкой с виски, держа ее обеими руками, вглядываясь в нее, как великий мыслитель или, на худой конец, как одинокий мыслитель. Говорил он не с нами, а сам с собой, горячо и со жгучим презрением, почти не шевелясь, лишь иногда прихлебывая виски или дергая головой в подтверждение ему одному ведомых и в основном отвлеченных моментов своего рассказа. Он говорил с той смесью педантичности и неверия, с какой люди пытаются воссоздать какой-нибудь ужасный случай — смерть или автомобильную катастрофу: «Я, значит, стоял здесь, а вы там, а он появился вот оттуда».

— На последней Московской книжной ярмарке. В воскресенье. В воскресенье не до ярмарки, а после,— объяснил он.

— В сентябре,— подсказал Нед, и Барли, повернув голову, пробормотал «спасибо», будто и в самом деле был благодарен, что его подгоняют. Потом сморщил нос, нервно поправил очки и продолжал:

— Мы были измотаны. Большинство участников отбыло еще в пятницу. Нас осталось всего ничего. Те, кто еще не разделался с подписанием контрактов или же просто не торопился домой.

Он был обаятелен и занимал центр сцены. Трудно было не почувствовать к нему симпатию — ведь он был там совсем один. Трудно было удержаться от мысли: «Только по милости Божьей туда идет он, а не я». Тем более, что никто из нас не знал, куда он идет.

— В субботу вечером мы напились, а в воскресенье всей компанией поехали в Переделкино в машине Джумбо.— И снова он словно бы должен был напомнить себе, что рассказывает это другим.— Переделкино — дачный поселок советских писателей,— объяснил он, будто никто из нас даже названия этого не слышал.— Дачи предоставляются им в пользование, пока они хорошо себя ведут. Союз писателей предоставляет все только своим членам — кто-то получает дачу, кто-то пишет лучше всего в тюрьме, а кто-то не пишет вовсе.

— А кто такой Джумбо? — перебил Нед (редкий случай!).

— Джумбо Олифант. Питер Олифант. Председатель правления «Люпус букс». Замаскированный шотландский фашист. Высокого ранга масон. Убежден, что нашел с Советами общий язык. Золотая карточка.— Вспомнив о Бобе, он повернул к нему голову.— Нет, не «Американ экспресс». А золотая карточка Московской книжной ярмарки, выданная русскими организаторами и свидетельствующая, какая он важная птица. Бесплатная машина, бесплатный переводчик, бесплатная гостиница, бесплатная икра. Джумбо родился в сорочке из золотых карточек.

Боб ухмыльнулся слишком уж широко, показывая, что принял шутку как надо. Вообще-то сердце у него было доброе, и Барли уловил это. Мне пришло в голову, что Барли принадлежит к тем людям, которые всегда распознают доброту — как и сам он не был способен скрыть собственную мягкость.

— Ну, мы и поехали всем скопом,— продолжил Барли, возвращаясь к своим воспоминаниям.— Олифант из «Люпуса», Эмери из «Бодли хед». И девица из «Пенгвина», не помню, как ее зовут. Впрочем, нет — Магда! Черт подери, как это я мог забыть такое имя — Магда? И Блейр из «А. и Б.».

Ехали как набобы в дурацком лимузине Джумбо, вспоминал Барли, выбрасывая из сундука памяти короткие фразы, точно старую одежду. Обыкновенная машина нашему Джумбо не подходит, ему подавай огромнейшую «чайку» с будуарными занавесочками, без тормозов, со страхолюдным шофером, у которого изо рта воняет. Мы задумали взглянуть на дачу Пастернака, поскольку ходили слухи, что ее должны вскоре превратить в музей, хотя, по другим слухам, эти сукины дети решили попросту ее снести. Ну, и на его могилу заодно. Джумбо Олифант не сразу понял, что это еще за Пастернак, но Магда шепнула ему: «Живаго», а Джумбо видел фильм, объяснил Барли. Они никуда не спешили, все, что им было нужно,— немного прогуляться и подышать деревенским воздухом. Но шофер Джумбо понесся по особой полосе, предназначенной для государственных лихачей в «чайках», поэтому вместо часа они добрались туда за десять секунд, остановились в луже и пошлепали вверх по склону к кладбищу, все еще дрожа от благодарности за такую гонку.

— Кладбище на холме среди деревьев. Шофер остался в машине. Шел дождь. Не сильный, но он испугался за свой поганый костюм.— Барли умолк, словно пораженный чудовищным поведением водителя.— Сумасшедшая горилла,— буркнул он.

Но у меня было ощущение, что Барли злился на себя, а не на шофера. Мне казалось, что я слышу целый самообвиняющий хор внутри Барли, и я старался понять, слышат ли его другие. Внутри него прятались разные люди, которые действительно сводили его с ума.

Волей случая, объяснил Барли, они попали туда в день, когда освобожденные массы явились на кладбище дружными толпами. Прежде, по его словам, оно всегда было пустынно — только огороженные решетками могилы да деревья, от которых бросает в дрожь. Но в то сентябрьское воскресенье, когда в воздухе витали незнакомые запахи свободы, у могилы собрались сотни две поклонников всех видов (когда настало время уходить, число их заметно увеличилось). Барли сказал, что могила утопала в цветах и груда их росла и росла. Букеты передавали через головы.

Потом началось чтение. Низенький замухрышка читал стихи. Крупногабаритная девица — прозу. Но тут паршивый самолетик пролетел над кладбищем так низко, что заглушил всех. Затем полетел обратно. И снова вернулся.

— Уы-ы-ы! — завыл Барли, взмахивая длинными кистями.— Иу-у-у! — загундосил он с отвращением.

Но самолет так же, как и дождь, не мог угасить энтузиазм толпы. Кто-то запел, толпа подхватила припев, и наконец самолет убрался — видимо, горючее у него было на исходе. Но ощущение тогда было совсем другое, сказал Барли, ну, совершенно. Казалось, песня смела этого подлеца с неба.

Пение становилось все громче, сильнее и мистичнее. Барли знал по-русски три

слова, другие не знали ни одного. Что не помешало им запеть со всеми. А Магде — выплакать все глаза. А Джумбо Олифанту — с комком в горле громогласно поклясться, когда они спускались с холма, что он издаст все написанное Пастернаком до последнего слова — и не только фильм, но и все остальное, провалиться ему на этом месте, и субсидирует издание из своего кармана, как только вернется в свой обитый атласом замок в краю доков.

— У Джумбо случаются такие приступы пылкого энтузиазма,— объяснил Барли с обезоруживающей улыбкой, возвращаясь к своим слушателям, но главным образом к Неду.— Иногда они длятся дольше минуты.— Он смолк, снова нахмурился, снял свои нелепые круглые очки, которые, казалось, не помогали, а мешали смотреть, и по очереди прищурился на каждого из нас, словно бы стараясь напомнить себе, где он и что с ним происходит.

Они еще не спустились с холма, сказал он, и все еще плакали, когда к ним подскочил тот же замухрышка и, держа сигарету около лица, как свечку, спросил их по-английски, не американцы ли они.

И опять Клайв опередил всех нас. Его голова медленно поднялась. В его начальственном голосе зазвучало железо:

— Тот же? Какой «тот же замухрышка»? Такого не было.

Барли, после столь неприятного напоминания о присутствии Клайва, вновь с отвращением сморщился.

— Тот, который читал стихи, разве не ясно? — сказал он.— Стихи Пастернака у могилы. Он спросил, не американцы ли мы. Я ответил, что нет, слава богу, англичане.

И я заметил, как, вероятно, и остальные, что Барли говорил от имени их всех — не Олифант, Эмери или Магда, а Барли.

Теперь Барли воспроизводил разговор дословно. Слух у него был как у дрозда-пересмешника: русский акцент — для Замухрышки, шотландское гавканье — для Олифанта. Он имитировал их манеру говорить очень естественно, сам того не замечая.

— Вы писатели? — спросил Замухрышка голосом, которым наделил его Барли.

— Увы, нет. Всего лишь издатели,— ответил Барли своим голосом.

— Английские издатели?

— Мы приехали на Московскую книжную ярмарку. У меня угловой стендик, под вывеской «Аберкромби и Блейр», а это — сам председатель правления «Люпус букс». Очень богатый тип. Обязательно получит к своему имени титул «сэр». Имеет золотую карточку и бесплатный доступ в бар. Все верно, Джумбо?

Олифант указал, что Барли болтает много лишнего. Но Замухрышка требовал еще и еще.

— А можно у вас узнать в таком случае, что привело вас к могиле Пастернака? — спросил он.

— Мы попали туда случайно,— вновь вмешался Олифант.— Абсолютно случайно. Увидели толпу и подошли узнать, что происходит. Чистая случайность. Идемте.

Но Барли не собирался уходить. Его разозлил тон Олифанта, сказал он, и молча смотреть, как жирный шотландский миллионер отмахивается от тощенького русского, он не собирался.

— Нас привело то же, что и всех остальных,— ответил Барли.— Мы пришли поклониться великому писателю. И нам понравилось, как вы читали. Очень трогательно. Великолепная вещь. Первоклассная.

— Вы уважаете Бориса Пастернака? — спросил Замухрышка.

И снова Олифант, великий борец за гражданские права, которого Барли наделил хриплым голосом и перекошенным ртом:

— У нас нет определенной позиции по отношению к Борису Пастернаку или любому другому советскому писателю,— сказал он.— Мы здесь гости. Только гости. У нас нет никакого мнения о внутренних делах Советского Союза.

— Мы считаем, что он замечательный поэт,— сказал Барли.— Мирового масштаба. Звезда.

— А почему? — осведомился Замухрышка, провоцируя конфликт.

Барли и не надо было просить. Пусть он вовсе не был стопроцентно убежден, что Пастернак действительно такой уж гений, каким его объявляют, сказал он. Пусть он, наоборот, полагал, что Пастернака перехваливают. Это было мнение издателя, а здесь шла война.

— Мы уважаем его талант и его творчество,— ответил Барли.— Мы уважаем его гуманность. Мы уважаем его семью и его высочайшую культуру. И в-десятых или в каких там еще, мы уважаем его способность трогать русские сердца, хотя его и затравила свора оголтелых бюрократов — возможно, тех же самых сволочей, которые наслали на нас этот самолет.

— А вы можете его процитировать? — спросил Замухрышка.

Барли смущенно объяснил нам, что память у него очень цепкая.

— Я прочитал ему первое четверостишие «Нобелевской премии». Я решил, что оно удивительно уместно после полетов этого гнусного самолета.

— Пожалуйста, прочтите его нам,— сказал Клайв так, словно проверке подлежало решительно все.

Барли забормотал, и мне пришло в голову, что на самом деле он очень застенчив.

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, сзет,
А за мною шум погони.
Мне наружу хода нет.

Замухрышка слушал и, хмурясь, сосредоточенно смотрел на горящую сигарету, сказал Барли, и на миг ему показалось, что они действительно нарвались на провокацию, как опасался Олифант.

— Если вы так уважаете Пастернака, так почему бы вам не пойти со мной и не познакомиться с моими друзьями? — предложил Замухрышка.— Мы писатели. И у нас здесь дача. Для нас будет большой честью побеседовать с известными английскими издателями.

Стоило Олифанту услышать первую часть его речи, как у него чуть родимчик не случился, сказал Барли. Джумбо досконально знал, что значит принимать приглашения незнакомых русских. Он был в этих делах просто эксперт. Он знал, как они заманивают человека в ловушку, одурманивают наркотиком, шантажируют непристойными фотографиями, вынуждают вас уйти с поста председателя правления и оставить всякую надежду на титул баронета. К тому же он как раз вел переговоры с ВААПом о престижных совместных изданиях и вовсе не хотел, чтобы его видели в обществе нежелательных элементов. Олифант прогремел все это на ухо Барли таким театральным шепотом, будто Замухрышка, по его мнению, был глух, как пень.

— И в любом случае,— торжествующе закончил Олифант,— льет дождь. И сколько может ждать машина?

Олифант посмотрел на часы. Девица Магда посмотрела себе под ноги. Эмери посмотрел на девицу Магду и подумал: это еще далеко не самое худшее, чем можно занять в Москве вторую половину воскресенья. Но Барли, по его словам, еще раз взглянул на незнакомца и решил, что тот ему нравится. Ни на девицу, ни на приставку «сэр» к своему имени он не покушался. Он уже решил, что предпочтет, чтобы его сфотографировали голым с любым числом русских шлюх, чем одетым, но под руку с Джумбо Олифантом. Поэтому он отправил их восвояси в лимузине Джумбо, а сам остался с незнакомцем.

— Нежданов,— внезапно объявил Барли безмолвной комнате, сам себя перебивая.— Я запомнил его фамилию. Нежданов. Драматург. Руководил одним из театров-студий, ни одной из своих пьес поставить не мог.

Заговорил Уолтер. Его высокий голос нарушил внезапное затишье.

— Дорогой мой мальчик, Виталий Нежданов — новейший герой дня. Через пять недель у него в Москве три премьеры одноактных пьес, и все возлагают на них самые невероятные надежды. Не то чтобы он хоть чего-нибудь стоил, но об этом нам упоминать не разрешается, ибо он диссидент. То есть, был им.

Впервые с тех пор, как я увидел Барли, его лицо стало неизъяснимо счастливым, и у меня возникло чувство, что наконец-то передо мной он настоящий, не скрытый облаками.

— Нет, это замечательно! — с искренним удовольствием воскликнул он, как человек, способный радоваться успеху другого.— Фантастика! Как раз то, что требовалось Виталию. Спасибо, что сказали,— произнес он, внезапно молодея.

Потом его лицо снова потемнело, и он начал прихлебывать виски маленькими глоточками.

— Что ж, вот мы все и собрались,— не слишком понятно пробормотал он.— Чем больше, тем веселее. Познакомьтесь с моей двоюродной сестрой. Возьмите колбаски.

А его глаза, я заметил, как и его слова, утратили ясность, устремились вдаль, будто он уже готовился к тяжелому испытанию.

Я обвел взглядом стол. Улыбающийся Боб. Боб будет улыбаться и на своем смертном одре, но с прямотой старого бойскаута. Клайв в профиль: лицо как лезвие топора и примерно столь же глубокомысленное. Уолтер — в вечном движении: откинув умную голову, Уолтер накручивает на мягкий указательный палец прядь волос, ухмыляется, глядя на резной потолок, ерзает и исходит потом. И Нед, лидер,— способный, изобретательный Нед, Нед — полиглот и воин, умеющий действовать и планировать, он сидит, как сел вначале, готовый к бою, и ждет сигнала атаки. Некоторые люди несут в себе проклятие вечного служения, размышлял я, глядя на него,— ведь неизбежен день, когда служить им будет нечему.

Большой, несуразный дом, продолжал Барли все в том же телеграфном стиле. Обшит деревом. В стиле английских загородных домов начала века. Резные веранды, заросший сад, березовая роща. Подгнившие скамейки, пылающие поленья, запах крикетного поля в дождливый день, плющ. Человек тридцать, в основном мужчины, сидят и стоят в саду, жарят, пьют, не обращая внимания на дождь, совсем как англичане. Вдоль дороги — жуткие драндулеты, совсем как английские машины до того, как тэтчеровские свиньи взяли на абордаж государственный корабль. Приятные лица, выразительные голоса — литературная номенклатура. Входит Нежданов, ведя Барли. Никто даже головы не повернул.

— Хозяйка — поэтесса,— сказал Барли.— Тамара, фамилию не разобрал. Седые волосы, веселая. Муж — редактор научного журнала. Нежданов — его свояк. Каждый там был кому-то шурин, зять или свояк. Литература там — сила. Если у вас есть голос и вам дадут им воспользоваться, то слушать вас будут.

Прихотливая память Барли разделила дальнейшее на три части. Обед, который начался примерно в половине третьего — дождь как раз кончился. Вечер, который начался сразу после обеда. И последний эпизод (как он выразился), когда произошло то, что произошло, который пришелся, насколько нам удалось понять, на смутные часы между двумя и четырьмя утра, когда, пользуясь словами Барли, он безболезненно парил между полной нирваной и темным беспамятством.

Перед обедом Барли курсировал между группками — сначала с Неждановым, а потом в одиночестве — и трепался со всеми желающими.

— Трепался? — подозрительно повторил Клайв, как будто услышал про какой-то новейший порок.

Боб поспешил перевести:

— Болтал, Клайв,— объяснил он обычным дружеским тоном.— Болтал за рюмкой. Ничего зловещего.

А когда позвали обедать, они расселись за дощатым столом: Барли — у одного конца, Нежданов — у другого, а между ними — бутылки белого грузинского вина, и все рассуждали на лучшем своем английском языке о том, может ли истина быть истиной, если она неудобоварима для так называемой великой пролетарской революции; и следует ли нам вернуться к духовным ценностям наших предков; и оказывает ли перестройка положительное влияние на жизнь простого народа; а если вы действительно хотите узнать, что неладно в Советском Союзе, то нет лучшего способа выяснить это, чем попытаться отправить холодильник из Новосибирска в Ленинград.

К моему тайному раздражению, Клайв снова его перебил. Как человек, которому наскучили не идущие к делу подробности, он пожелал узнать имена. Барли хлопнул себя ладонью по лбу, забыв враждебность, которую вызывал в нем Клайв. Имена, Клайв. Господи! Один — преподаватель Московского государственного университета, только его фамилию я не уловил. Еще один, занимается химией — сводный брат Нежданова, они называли его Аптекарь. Кто-то из Академии наук, какой-то Грегор, только я не удосужился узнать его фамилию, а чем он занимается — и подавно.

— За столом были женщины? — спросил Нед.

— Две, но обе не Кати,— сказал Барли, и его сообразительность произвела на Неда видимое впечатление, как, впрочем, и на меня.

— Но ведь там был к т о - т о е щ е, не так ли? — предположил Нед.

Барли медленно выпрямился, выпил и, зажав стопку между коленями, вновь наклонился, втягивая носом мудрость ее содержимого.

— Да-да, конечно, там был кто-то еще,— согласился он.— Всегда ведь находится кто-то еще, не правда ли? — загадочно добавил он.— Не Катя. Кто-то еще.

Его голос изменился. С какого на какой — я понять не мог. Голос зазвучал резче. Оттенок сожаления или раскаяния? Я ждал, как и все остальные. По-моему, уже тогда все мы почувствовали, что на горизонте появляется что-то необычное.

— Худой бородач,— продолжал Барли, вглядываясь в темноту, будто наконец-то его разглядел.— Высокий. Темный костюм, черный галстук. Впалые щеки. Наверное, поэтому и отрастил бороду. Рукава коротковаты. Черные волосы. Пьяный.

— У него была фамилия? — спросил Нед.

Барли все еще смотрел куда-то в полумрак, описывая то, чего никто из нас не видел.

— Гёте,— наконец произнес он.— Как у поэта. Все они там звали его Гёте. Познакомьтесь с нашим знаменитым писателем Гёте. Возраст неопределенный — можно дать и пятьдесят, можно и восемнадцать. Худенький, как мальчишка. Красные пятна на скулах. Борода.

Вот тут-то, как позже заметил Нед, когда проигрывал нам пленку, операция «Дрозд», фигурально выражаясь, и расправила крылья. Момент этот не был отмечен ни благоговейным молчанием, ни чьим-то судорожным вздохом. Наоборот, Барли выбрал именно его, чтобы расчихаться — первый приступ из многих за то время, пока мы с ним общались. Сначала отдельные выстрелы, слившиеся затем в грандиозный залп. Потом приступ медленно угасал, а Барли бил себя по лицу носовым платком и ругался, когда его чуть отпускало.

— Чертова аллергия,— объяснил он виновато.

— Я блистал,— продолжал Барли.— Что бы я ни сказал, всё вызывало у них восторг.

Он снова наполнил стопку, на этот раз водой, и пил маленькими глоточками, медленно и ритмично, как пластмассовые птички, которые кланялись между миниатюрами на стойке каждого мрачного английского бара, пока их не вытеснили телевизоры.

— Мистер Чудо, вот кем я был. Звезда эстрады и экрана. Человек с Запада, обходительный и неотразимый. За тем я ведь и езжу туда, не так ли? Только там люди настолько полоумны, что слушают мои бредни.— И снова прядь его волос почти коснулась стопки.— У них всегда так. Едешь за город погулять, а кончаешь спорами с кучкой пьяных поэтов о свободе и об ответственности. Заходишь отлить в грязную общественную уборную, а сосед нагибается к тебе и спрашивает, есть ли жизнь после смерти. Потому что ты с Запада. И следовательно, знаешь. И ты говоришь им. И они запоминают. Ничто не пропадает даром.

Возникла явная опасность, что он вот-вот вообще перестанет говорить.

— Почему бы вам просто не рассказать, что произошло, а упреки предоставить нам? — заметил Клайв тоном, намекавшим, что упреки ему не по чину.

— Я сверкал. Вот что произошло. Блистательный ум разгулялся вовсю. А, забудьте!

Но забывать никто не собирался, как свидетельствовала бодрая улыбка Боба.

— Барли, по-моему, вы чересчур строги к себе. С какой стати винить себя за то, что вы были душой общества. Судя по всему, вы просто платили за гостеприимство.

— Что же вы говорили? — сказал Клайв, которого не сбило добродушное вмешательство Боба.

Барли пожал плечами.

— Как восстановить русскую империю в перерыве между обедом и чаем. Мир, прогресс и гласность — бутылками. Немедленное разоружение безо всяких оговорок.

— Вы часто рассуждаете на эти темы?

— Когда в России, то часто,— отрезал Барли, которого снова спровоцировал тон Клайва, но опять-таки ненадолго.

— Нельзя ли нам узнать, что именно вы говорили?

Однако свою историю Барли рассказывал не Клайву. Он рассказывал ее себе самому, комнате и тем, кто в ней находился, своим случайным попутчикам, пункт за пунктом — полный обзор своего безумия.

— Я говорил, что разоружение — вопрос не военный и не политический. А вопрос человеческой воли. Нам надо решить, хотим мы мира или войны, и готовиться

к этому. Ведь к чему мы приготовимся, то мы и получим.— Он на мгновение умолк.— Это у меня на языке вертелось,— объяснил он, опять адресуясь к Неду.— Подогретые аргументы, которых я там набрался.

И, словно чувствуя, что требуются еще объяснения, он начал вновь:

— Дело в том, что я тогда как раз на неделю стал специалистом по этим вопросам. Я взвешивал, не заказать ли фирме что-нибудь срочное на подобную тему. Один посредник на ярмарке пристал ко мне с книгой о гласности и кризисе мира. Статьи старых и новых ястребов, переоценка стратегии. Может ли все-таки разразиться настоящий мир? Они бы заключили контракты кое с кем из американских боевых скакунов шестидесятых годов и показали бы, что очень многие из них, уйдя в отставку, повернули на сто восемьдесят градусов.

Он говорил виноватым тоном, но отчего, спрашивал я себя, к чему он нас готовит? Почему он считает, что должен смягчить удар заранее? Боб, который вопреки своему добродушию дураком отнюдь не был, наверное, задавал себе тот же вопрос.

— На мой взгляд, идея весьма заманчивая, Барли. Пахнет деньгами. Я и сам, пожалуй, не против участия,— добавил он со смешком, означавшим «между нами, мужчинами, говоря».

— То есть, вы усвоили этот жаргон,— сказал Клайв все с тем же скрытым сарказмом.— И срыгнули на них. Вы *это* подразумеваете? Конечно, восстановить алкогольные полеты своего воображения не так-то просто, но мы будем весьма признательны, если вы все же постараетесь.

Чему Клайв учился, думал я, если он вообще когда-нибудь учился? И где? Кто его породил и воспитал? Где Служба откапывает эти мертвые мещанские души со всем набором соответствующих ценностей при полном отсутствии прочих?

Тем не менее возобновившееся нападение не вызвало у Барли отпора.

— Я сказал, что верю в Горбачева,— начал он спокойно, отпивая глоток воды.— Они могут и не верить, а я верю. Я сказал, что дело Запада — найти другую его половину, а дело Востока — осознать важность половины, имеющейся у них. Я сказал, что если бы американцы так же сильно заботились о разоружении, как о том, чтобы высадить на Луне какого-то дурака или снабдить зубную пасту розовыми полосками, то мы бы разоружились давным-давно. Я сказал, что величайшим грехом Запада была вера в то, что мы, усиливая гонку вооружений, сможем довести советскую систему до банкротства — ведь при этом мы ставили на карту судьбу всего человечества. И я сказал, что, бряцая оружием, Запад дал советским лидерам повод держать свои ворота на запоре и превратить государство в гарнизон.

Уолтер заржал и прикрыл редкие зубы безволосой рукой.

— О, господи! Значит, во всех бедах России виновны *мы*? Честное слово, это *великолепно*! А вы не думаете, что инициатива принадлежала им? Что они заперли себя в границах собственной паранойи? Нет, он так не думает. Сразу видно.

Однако Барли невозмутимо продолжал свою исповедь:

— Кто-то спросил меня, а не думаю ли я, что ядерное оружие сохраняло мир на протяжении сорока лет? Я ответил, что это иезуитская чушь. С таким же успехом можно было сказать, что порох сохранял мир от Ватерлоо до Сараево. Да и вообще, спросил я, что такое мир? Бомба не помешала войне в Корее и не помешала войне во Вьетнаме. Она не помешала прибрать к рукам Чехословакию, устроить блокаду Берлина, построить Берлинскую стену, вторгнуться в Афганистан. Если это мир, то тогда давайте попробуем обойтись без бомбы. Я сказал, что нам нужны не эксперименты в космосе, а эксперименты с человеческой природой. Сверхдержавы должны вместе патрулировать земной шар. Я дал себе волю.

— Неужели вы *верите* в эту чепуху? — спросил Клайв.

Барли, казалось, сам не знал, верит или нет. Ему словно бы представилось, что он слишком легковесен, и его охватил стыд.

— Потом мы заговорили о джазе,— сказал он.— Бикс Бейдербеке, Луи Армстронг, Лестер Янг. Я кое-что сыграл.

— Да неужели там нашелся саксофон? — с невольной улыбкой воскликнул Боб.— А что еще у них было? Турецкие барабаны? Оркестр из десяти человек? Барли, я этому просто не верю!

Сначала мне показалось, что Барли намерен уйти. Он распрямился, встал на ноги, посмотрел по сторонам, отыскивая взглядом дверь, и с виноватым видом направился к ней. Нед встревоженно вскочил, опасаясь, что Брок перехватит Барли первым. Но

Барли остановился на полпути у низенького резного столика. Наклонившись над ним, он начал легонько постукивать по краю кончиками пальцев и напевать в нос «па-па-паа, па-па-па-па», под аккомпанемент воображаемых тарелок, щеток и барабанов.

Боб уже аплодировал, Уолтер — тоже. Аплодировал и я, а Нед смеялся. Только Клайв не нашел в этом ничего забавного. Барли, трезвея, отпил воды и снова сел.

— Потом они спросили меня, что можно сделать,— сказал он так, будто и не вставал со стула.

— Кто спросил? — сказал Клайв своим язвяще-недоверчивым тоном.

— Кто-то из гостей. Какое это имеет значение?

— Будем считать, что значение имеет все,— отрезал Клайв.

Барли опять заговорил в русской манере, вязкой и настойчивой:

— Ну ладно, Барли. Предположим, все так, как вы говорите. Так кто же будет проводить эти эксперименты с человеческой природой? Вы и будете, сказал я. Они очень удивились. Почему мы? Потому что, ответил я, когда речь идет о радикальных переменах, Советам они даются легче, чем Западу. У них немногочисленное руководство и интеллигенция с традиционно большим влиянием. В условиях западной демократии перекричать толпу куда труднее. Им этот парадокс пришелся по вкусу. И мне тоже.

Даже эта лобовая атака на великие демократические ценности не смогла поколебать добродушной снисходительности Боба.

— Что же, Барли, хоть это весьма широкое обобщение, по-моему, в нем что-то есть.

— Но вы дали им совет, что именно необходимо сделать? — настаивал Клайв.

— Я сказал: осталась только Утопия. Я сказал: то, что двадцать лет назад казалось несбыточной мечтой, сегодня — наша единственная надежда, касается ли это разоружения, экологии или просто выживания человечества. Горбачев понял это, а Запад не пожелал. Я сказал, что западные интеллектуалы должны обрести голос. Я сказал, что Запад должен подавать пример, а не следовать ему. Столкнуть эту лавину — обязанность каждого.

— Итак, одностороннее разоружение,— произнес Клайв, переплетая пальцы.— Олдермастон, мы идем! [1] О да. Ну-ну.— Правда, это «да» прозвучало как «н-да». Так он произносил «да», когда имел в виду «нет».

На Боба это произвело заметное впечатление.

— И вы были так красноречивы, только кое-что подчитав на эту тему? — сказал он.— Барли, это поразительно. Если бы я был способен так вбирать информацию, то очень бы гордился.

Пожалуй, слишком уж поразительно, имел он в виду, но Барли, кажется, не замечал подтекста.

— А пока вы спасали нас от наших худших инстинктов, чем занимался человек по имени Гёте? — спросил Клайв.

— Ничем. Другие присоединились к нашему разговору. А Гёте нет.

— Но он слушал? С раскрытым ртом?

— К тому времени мы пересоздавали мир. Новая Ялта. Все говорили разом. За исключением Гёте. Он не ел, не разговаривал. А я обращался к нему со все новыми идеями именно потому, что он молчал. Только все заметнее бледнел и все больше пил. Я махнул на него рукой.

Гёте так ничего и не сказал,— продолжал Барли тем же тоном недоуменного самообвинения.— Все это время — ни словечка. Слушал, будто вглядывался в магическое зеркало. Иногда смеялся, хотя и не тогда, когда было чему смеяться. Или вставал и шел прямиком к столику с бутылками и наливал себе еще водки, хотя все уже перешли на вино, и возвращался назад с полной рюмкой, которую осушал в два глотка, когда кто-нибудь произносил подходящий тост. Но сам Гёте ни разу тоста не предложил,— сказал Барли.— Он принадлежит к людям, которые оказывают нравственное воздействие на окружающих именно молчанием, так что в конце концов уже не знаешь, то ли их снедает тайный недуг, то ли они совершили нечто великое.

Когда Нежданов повел всех в дом послушать записи Каунта Бейси на стереопро-

---

[1] Олдермастон — городок, где находится английский научно-исследовательский центр атомного оружия и где неоднократно проводились марши протеста «Движения за ядерное разоружение».

игрывателе, Гёте послушно пошел со всеми. И только глубокой ночью, когда Барли и думать о нем забыл, Гёте наконец заговорил.

И снова Нед позволил себе один из своих редких вопросов:

— Как держались с ним другие?

— Уважительно. Он был для них чем-то вроде оракула: «Давайте узнаем, что об этом думает Гёте?» А он поднимал свою рюмку, пил за их здоровье, и мы все, кроме него, смеялись.

— И женщины тоже?

— Все. Они считались с его мнением. Так сказать, расступались перед ним. Идет великий Гёте.

— И никто не сказал вам, где он живет или где работает?

— Сказали, что он приехал в отпуск откуда-то, где пить не полагается. Что он в «пьяном отпуску». И все время пили за его «пьяный отпуск». Он кому-то там приходился братом. Возможно, Тамаре. Не знаю. Или двоюродным. Я не разобрал.

— Как вам кажется, они оберегали его? — спросил Клайв.

В паузах Барли, подумал я, есть что-то присущее только ему. Настоящее существует для него постольку-поскольку — мысленно он вдруг оказывается где-то еще, и ты сидишь как на иголках, не зная, вернется он или нет.

— Да,— неожиданно произнес Барли, словно сам изумляясь своему ответу.— Да, да, они оберегали его. Ну конечно же! Это было общество его болельщиков. Только так.

— От чего же они его оберегали?

Снова пауза.

— Возможно, от необходимости откровенно объяснять свои мысли. Тогда мне это не пришло в голову. Но вот сейчас я вижу, что так оно и было. Совершенно верно.

— Но почему же откровенность ему возбранялась? Вы можете это объяснить, ничего не придумывая? — спросил Клайв, видимо стараясь поддерживать в Барли непрерывное раздражение.

Но Барли не поддался.

— Я вообще не придумываю,— сказал он.

И мне кажется, мы все это знали. А Барли снова ушел куда-то.

— Он словно был под огромным напряжением. Оно буквально ощущалось,— сказал Барли, вернувшись.

— Что вы под этим подразумеваете?

— Красноречивое молчание. На скорости ста миль в час слышно только биение его мысли.

— Но никто не сказал вам: «Он — гений» — или что-нибудь в том же роде?

— Никто. Говорить это было незачем.

Барли взглянул на Неда и увидел, что он понимающе кивает. Оперативник до мозга костей, пусть и в резерве, Нед имел обыкновение оказываться впереди вас, когда вы были убеждены, что он все еще старается вас нагнать.

Боба интересовал другой вопрос:

— А никто не взял вас за локоток и не объяснил, почему, собственно, Гёте так пьет?

Барли непринужденно рассмеялся. В том, как он вдруг вырывался на волю, было что-то пугающее:

— О, господи! В России, чтобы пить, причин не требуется! Назовите мне хоть одного приличного русского, который способен на трезвую голову думать о том, что творится в его стране.

И снова он умолк, морщась в полумраке. И выругался себе под нос — видимо, по собственному адресу. Потом заставил себя вернуться к действительности:

— Проснулся около полуночи, как от толчка.— Он засмеялся.— Черт! Где я? Лежу в шезлонге, на веранде, укрытый одеялом! Сначала подумал, что я в Штатах. Застекленная веранда с марлей от комаров, сад — ну, прямо Новая Англия! Только я не мог взять в толк, как это я после приятного обеда в Переделкино вдруг очутился в Америке. Потом вспомнил: они перестали со мной разговаривать, и я заскучал. Нет, ничего против меня они не имели, а просто напились, и им надоело быть пьяными на иностранном языке. Тогда я и устроился в уголке веранды с бутылкой виски. Кто-то

набросил на меня одеяло, спасая от ночной сырости. Наверное, меня разбудила луна. Огромная полная луна. Словно налитая кровью. И тут я услышал, что кто-то пытается со мной разговаривать. Очень торжественно. Английский — безупречный. О, черт, подумал я, еще кого-то принесло в такую позднотy.

— Есть вещи дурные по необходимости, мистер Барли. А есть вещи дурные сверх необходимости,— сказал этот кто-то. Он цитировал мои слова за обедом. Мою потрясающую лекцию о мире. Уж не знаю, кого цитировал я. Потом я вгляделся попристальней и вижу парящего надо мной бородатого стервятника в полтора человеческих роста — в руке бутылка водки, волосы шевелит ветер. Тут он пристраивается возле меня на корточках и наливает себе рюмку.

— А, Гёте! — говорю.— Как, вы еще живы? Рад снова вас увидеть.

То, что освободило Барли, вновь бросило его в темницу — во всяком случае, он опять нахмурился.

— Тут он выдает мне еще один мой обеденный перл: «Все жертвы равны. Абсолютно равны». Я смеюсь. Но не очень. Наверное, мне стало неловко. Не по себе. Словно за мной шпионили. Сидит субъект за обеденным столом пьяный. Ничего не ест, не говорит ни слова. И вдруг десять часов спустя начинает цитировать меня, как магнитофон. Неприятно.

— Кто вы, Гёте? — говорю я.— Когда вы не пьете и не слушаете, чем вы зарабатываете на жизнь?

— Я нравственный изгой,— отвечает он.— Торгую замаранными теориями.

— Всегда приятно познакомиться с писателем,— говорю я.— И что же вы сейчас творите?

— Все,— говорит.— Историю, комедию, ложь, романтичные повести.— И давай пересказывать какую-то ерунду, которую написал о куске масла: оно растаяло на солнце, так как у него не было твердой точки зрения. Только говорил он не как писатель. Слишком застенчиво. Посмеивался над собой, а может быть, и надо мной тоже. Конечно, на то у него было полное право, но смешнее мне от этого не становилось.

И вновь мы застыли в ожидании, глядя на силуэт Барли. Напряжение — было оно в нас или в нем? Он отпил воды из стопки. Помотал головой и пробормотал «нехорошо» или, быть может, «пошел ты», но что именно, не уловили ни его слушатели, ни микрофоны. Мы услышали, как стул затрещал под ним, будто сырое полено. На пленке это звучит как перестрелка.

— Потом он мне говорит: «Послушайте, мистер Барли. Вы ведь издатель. Что ж вы не спросите меня, откуда я черпаю свои идеи?» А я подумал: издатели, старина, таких вопросов не задают. Но какого черта?

— Хорошо, Гёте,— говорю я.— Откуда вы черпаете свои идеи?

— Мои идеи, мистер Барли, я черпаю, во-первых...— И он начал загибать пальцы.

Барли тоже растопырил длинные пальцы и начал загибать их, лишь чуть-чуть сохраняя русскую интонацию. И вновь меня поразила цепкость его музыкальной памяти — он, казалось, не повторял слова, а извлекал их из какой-то проклятой гулкой залы, хранившей все им услышанное:

— Мои идеи я черпаю, во-первых, из бумажных скатертей берлинских кафе тридцатых годов.

Тут он одновременно глотает водку и шумно вдыхает ночной воздух. Со всхлипом. Понимаете, о чем я? Когда в груди булькающие хрипы?

— Во-вторых,— говорит,— из публикаций моих более одаренных конкурентов. В-третьих — из похабных фантазий генералов и политиков всех стран. В-четвертых — из высвобожденного интеллекта насильственно завербованных нацистских ученых. В-пятых — у великого советского народа, у которого любое демократическое пожелание фильтруется через консультации на всех уровнях, а затем сбрасывается в Неву. И в-шестых, очень редко,— из встречи с каким-нибудь выдающимся западным интеллектуалом, с которым вдруг сведет меня жизнь.

Это, видимо, относилось ко мне: он просто жег меня взглядом, проверяя, как я это восприму. Уставился, как не по годам развитой ребенок. Передает жизненно важные сигналы. Потом вдруг меняется и становится подозрительным. С русскими так бывает.

— За обедом вы разыграли недурной спектакль,— говорит.— Как это вы убедили Нежданова пригласить вас? — Это ирония. Означает: я вам не верю.

— Я его не убеждал,— говорю.— Это была его идея. Что, собственно, вы пытаетесь мне приписать?

— На идеи нет права собственности,— говорит он.— Эту ему внушили вы. В уме вам не откажешь. Тонкая работа, должен сказать. Поздравляю.

Тут он перестает иронизировать надо мной и вдруг вцепляется мне в плечи, будто тонет. Не знаю, дурно ему или он просто потерял равновесие. У меня скверное предчувствие, что его вот-вот вырвет. Хочу помочь ему, но не знаю как. Он весь горит и обливается потом. Его пот капает на меня. Волосы все мокрые. И эти безумные детские глаза. По-моему, я расстегнул ему воротник. Потом слышу его голос — около моего уха, и его губы, и горячее дыхание — все сразу. Сначала я ничего не могу разобрать, слишком уж он близко. Я откидываюсь, но он тянется за мой.

— Я верю каждому вашему слову,— шепчет он.— Они все запали мне в сердце. Поклянитесь, что вы не английский шпион, и я вам пообещаю одну вещь.

— Это его точные слова,— сказал Барли, как будто ему было стыдно за них.— Он запомнил каждое мое слово. А я помню каждое его слово.

Не в первый раз Барли говорил о памяти так, словно она — тяжелый недуг. И возможно, именно поэтому я, как часто со мной случается, поймал себя на том, что думаю о Ханне.

«Бедный Палфри,— язвила она во время одного из своих припадков жестокости, когда готовилась идти домой к мужу, разглядывая в зеркале свое обнаженное тело и потягивая водку с тоником.— С твоей памятью как ты сможешь забыть такую женщину, как я?»

Производил ли Барли такое действие на всех? Вот о чем я спросил себя. Сам того не желая, он прикасается к их центральной нервной системе, заставляет обратиться к самым сокровенным их мыслям? Возможно, именно так он подействовал и на Гёте.

Эпизод, который описывается ниже, ни разу не перефразировался, не излагался вкратце, не «истолковывался». Для посвященных либо проигрывалась целиком первоначальная запись, либо предлагалась полная ее расшифровка. А для непосвященных она не существовала вовсе. Она лежала в основе всего, что последовало за этим и что сознательно затемнялось названием «Лиссабонский подход». Когда пришел черед алхимиков, теологов и мусорщиков по обе стороны Атлантики, именно этот эпизод они выбирали и пропускали через свои магические ящики в подкрепление априорных аргументов, типичных для каждого из этих хитрейших лагерей.

— Нет, я не шпион, Гёте, старина. Не шпион, не был шпионом и никогда не буду. Может, это в духе вашей страны, но не в моем. А как насчет шахмат? Любите шахматы? Давайте поговорим о шахматах.

Он словно бы и не услышал.

— И вы не американец? Вы ничей не шпион, даже наш?

— Послушайте, Гёте,— говорю.— Сказать откровенно, мне это начинает действовать на нервы. Я ничей не шпион. Я — это я. Давайте либо поговорим о шахматах, либо обратитесь по другому адресу, хорошо? — Я думал, он заткнется. Как бы не так! Он сказал, что о шахматах знает все. В шахматах у обоих игроков есть своя стратегия, и если противник ее не разгадает или снизит бдительность, то все — выиграли вы. В шахматах теория — это реальность. Но в жизни, в некоторых ее вариантах, может возникнуть ситуация, когда один игрок придумывает столько нелепостей о другом, что в конце концов создает себе именно такого противника, который ему нужен. Я согласен? Гёте, я полностью согласен. И вдруг разговор идет уже не о шахматах, он уже исповедуется, как почти все русские, когда напьются. Зачем он живет — но это только для моих ушей, и ничьих больше. Он говорит, что родился с двумя душами, как Фауст, поэтому его и называют Гёте. Мать его была художницей, но писала то, что видела, и потому ей, естественно, не разрешали ни выставляться, ни покупать материалы. Ведь все, что мы видим,— это государственная тайна. И если это иллюзия — она все равно государственная тайна. Даже если от нее нет никакого толка и никогда не будет — это государственная тайна. А уж если тут сплошная ложь с начала и до конца, то это наиважнейшая из всех государственных тайн. Отец его, говорит, просидел двенадцать лет в лагерях и умер от переизбытка интеллектуальности. Говорит, что несчастье его отца заключалось в том, что он был мученик. Жертвы — уже плохо, святые — еще хуже, а уж мученики — дальше некуда. Я согласен?

Я согласен. Не знаю, почему согласен, но я человек вежливый, и когда человек вцепился в меня и сообщает, что его отец отсидел двенадцать лет, а потом умер, у меня нет настроения с ним пререкаться, даже если я пьян.

Я спрашиваю, как его зовут на самом деле. Говорит — никак. Отец забрал его имя с собой в могилу. Говорит, что в любом приличном обществе расстреливают невежд, но в России все наоборот, и его отца расстреляли, поскольку в отличие от его матери он отказался умереть от разрыва сердца. Говорит, что хочет дать мне обещание. Говорит, что любит англичан. Англичане — нравственные лидеры Европы, ее невидимая опора, те, кто соединяет воедино великий европейский идеал. Говорит, что англичане понимают взаимосвязь слова и дела, а в России в дело больше никто не верит и его подменили слова — на всех уровнях, до самого верха; подменили правду, о которой никто не хочет слышать, потому что никто ничего изменить не может, а если изменит, то лишится своего места, или же они просто не знают, как за это взяться. Говорит, что беда русских в том, что они мечтают стать европейцами, но их жребий — стать американцами, а американцы отравили весь мир материалистической логикой. Если у моего соседа машина, я должен иметь две. Если у моего соседа пушка, я должен иметь две. Если у моего соседа бомба, то моя должна быть больше и вообще их должно быть много, пусть попасть в цель они и не могут. А потому мне достаточно вообразить пушку моего соседа и удвоить ее — вот у меня уже есть оправдание всему, что бы я ни хотел производить. Я согласен?

Просто чудо, что его никто не перебил. Даже Уолтер. Но и он не перебил, прикусил язык, как и все остальные. Даже стул ни под кем не скрипнул, пока Барли не продолжил свой рассказ.

Ну, согласен. Да, Гёте, я с вами полностью согласен. Все лучше, чем вопрос, не английский ли я шпион. А он заговорил о великом поэте и мистике девятнадцатого века Питурине.

— Печорине! — произносит высокий резкий голос. Уолтер все-таки не выдержал.

— Правильно, Печорин,— соглашается Барли.—Владимир Печорин [1]. Печорин хотел пожертвовать собой ради человечества, умереть на кресте и чтобы мать была у его ног. Слышал ли я о нем? Нет, не слышал. Печорин уехал в Ирландию, ушел в монастырь, говорит он. Только Гёте сделать так не может, потому что не получит визу, и вообще, он не любит Бога. Вот Печорин любил Бога, а науку любил, только если она принимала в расчет человеческую душу. Я спрашиваю, сколько ему лет. То есть — Гёте, а не Печорину. К этому времени ему можно было дать от семи до ста. Он говорит, что стоит ближе к смерти, чем к жизни. Он говорит, что ему пятьдесят, но что он только-только родился на свет.

Вступает Уолтер, но мягко, как в церкви, без обычного взвизга.

— Почему вас заинтересовал его в о з р а с т? Почему именно этот вопрос из всех, какие вы могли ему задать? Ну, какое в подобный момент имеет значение, сколько у него во рту зубов?

— По нему не поймешь. Ни морщинки, пока не нахмурится.

— Он сказал «наука». Не физика. Наука?

— Наука. Потом он стал читать стихи Печорина. Переводил по ходу. Сначала по-русски, потом по-английски. «Как сладко ненавидеть свою страну и жадно ожидать ее гибели... и в этой гибели различить зарю всеобщего возрожденья». Возможно, я и не все понял, но общий смысл такой. Он говорит, что Печорин понял, что можно любить свою страну и в то же время ненавидеть ее систему. Печорин просто с ума сходил по Англии, так же как Гёте. По Англии, родине справедливости, правды и свободы. Печорин показал, что в предательстве нет вероломства, если предают то, что ненавидят, и борются за то, что любят. Теперь предположим, что Печорин располагал ключом к великой тайне русской души. Что бы он сделал? Яснее ясного. Он бы передал этот ключ англичанам.

Я теперь хочу только одного: чтобы он от меня отвязался. Я уже паникую. Он снова на меня наваливается. Лицом к лицу. Скрипит и пыхтит, как паровая машина. Вот-вот у него сердце из груди выпрыгнет. И большие карие глаза — как два блюдца.

---

[1] Владимир Сергеевич Печерин (1807—1885) — русский общественный деятель, философ, поэт. Утопический социалист. С 1836-го эмигрант, в 1840-м принял католичество. Жил в английских монастырях, сохранял интерес к социально-философским проблемам и русскому освободительному движению.

— Что вы пили? — спрашиваю.— Кортизон?

— А вы знаете, что еще вы сказали за обедом? — говорит он.

— Ничего я не говорил,— отвечаю.— Меня там не было. Это те двое верзил. И они первые начали.

Он опять меня не слушает.

— Вы сказали: «В наши дни нужно мыслить как мыслят герои, чтобы поступать всего лишь как порядочный человек».

— Не оригинально,— говорю.— Ни одного оригинального слова. Я их где-то набрался. Моего тут нет. А теперь забудьте все, что я наговорил, и возвращайтесь к своим.

Не слушает. Хватает меня ниже локтя. Руки как у девушки, но хватка железная.

— Обещайте мне, что вы поступите всего лишь как порядочный человек, если я найду в себе смелость мыслить как герой.

— Послушайте,— говорю.— Бросьте это и давайте поищем, чем бы перекусить. У них там есть какой-то суп. Я его чую. Вы любите суп? Суп?

Он не плачет, насколько я могу судить, но лицо у него абсолютно мокрое. Вся его белая кожа в испарине, точно от боли. Держится за мое запястье, будто я его духовник.

— Обещайте мне,— говорит.

— Господи, да что же я должен вам обещать?

— Обещайте, что поступите как джентльмен.

— Я не джентльмен. Я издатель.

Тут он начинает смеяться. В первый раз. Хохот с каким-то странным прищелкиванием.

— Вы себе даже не представляете, какую уверенность я черпаю из вашего отказа! — говорит он.

Я поднимаюсь на ноги. Потихонечку, чтобы не встревожить его. А он все так же за меня держится.

— Каждый день я совершаю грех науки,— говорит он.— Я перековываю орала на мечи. Я ввожу в заблуждение наших хозяев. Я ввожу в заблуждение ваших. Я поддерживаю ложь. Каждый день я убиваю в себе человека. Выслушайте меня.

— Мне пора, Гёте, старина. Все милые консьержки в моей гостинице глаз не смыкают, волнуются, куда это я запропастился. Да отпустите же меня! Вы мне сейчас руку сломаете.

Сжимает меня в объятиях. Валит прямо на себя. Он такой худой, что я чувствую себя дико жирным. Мокрая борода, мокрые волосы, жгучий жар.

— Обещайте,— говорит он.

Прямо выдавил из меня. Такой пыл. В жизни ничего подобного не видел.

— Обещайте! Обещайте!

— Ну, ладно,— говорю.— Если вам когда-нибудь удастся стать героем, то я буду порядочным человеком. Договорились. Хорошо? А теперь пустите меня, будьте другом.

— Обещайте,— говорит он.

— Обещаю,— говорю я и отпихиваю его от себя.

Уолтер кричит. Ни наши предварительные предупреждения, ни разъяренные взгляды Неда, Клайва и мои уже не могут его сдержать:

— Но вы ему *поверили*, Барли? Он вас дурачил? Вас ведь не проведешь. Что вы *чувствовали*?

Молчание. Долгое молчание. И наконец:

— Он был пьян. За всю жизнь так пьян я был, пожалуй, лишь дважды. Ну, пусть трижды. Он же весь день дул водку и теперь продолжал ее пить как воду. Но вдруг наступил просвет. Я ему поверил. Он не из тех, кому не веришь.

И снова Уолтер в бешенстве:

— Но *чему* вы поверили? О чем, по-вашему, шла речь? Чем, по-вашему, он занимался? Эта болтовня о чем-то, что не попадает в цель, об обмане своих и чужих хозяев, о шахматах, которые вовсе и не шахматы, а нечто другое? Вы же способны умножить два на два и получить четыре? Почему вы не пришли к нам? Я знаю почему! Вы спрятали голову в песок. «Не знаю, потому что не *хочу* знать». Тут вы весь.

После этого на пленке — Барли снова ругает себя, расхаживая по комнате.

— Черт, черт, черт,— бормочет он. Снова и снова. До тех пор, пока его не пере-

бивает голос Клайва. Если Клайву придется отдать приказ уничтожить Вселенную, то, мне кажется, отдаст он его этим же отрешенным голосом.

— Мне очень жаль, но боюсь, нам от вас потребуется довольно серьезная помощь,— говорит он.

Смешно, но я верю, что Клайву действительно было жаль. Он привержен технике, а живые источники его смущают. Он мещанин-шпионократ современной школы и считает, что факты являются единственным видом информации, а тех, кто не позволяет им властвовать над собой, глубоко презирает. Если что-то он и любил, кроме карьеры и серебристого «мерседеса» (он отказывается выводить его из гаража, если на нем обнаруживается хоть малейшая царапинка), то лишь хитрую аппаратуру и могущественных американцев — в таком порядке. Клайв загорелся бы, будь Дрозд раскрытым кодом, спутником или внутриведомственной комиссией. Но в таком случае Барли мог бы и не рождаться.

Нед был полной его противоположностью и потому больше рисковал. По натуре и подготовке он был наставником агентов и капитаном команды. Живые источники были его стихией, и — в том смысле, как он понимал это слово,— его страстью. Он презирал внутренние интриги вокруг разведывательной политики и все это с удовольствием оставлял Клайву, так же как анализ оставлял Уолтеру. В этом смысле он был убежденный примитивист, как и положено тем, кто имеет дело с человеческой натурой. Клайв же, для которого человеческая натура была смрадной трясиной без конца и края, пользовался репутацией модерниста.

(Продолжение следует)

СТЕФАН ГЕЙМ

Книга царя Давида

РОМАН

Перевод с немецкого Б. ХЛЕБНИКОВА

9

РЕЧЬ ЕФАНА, СЫНА ГОШАЙИ, ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ЦАРСКОЙ КОМИССИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЕДИНСТВЕННО ИСТИННОЙ И АВТОРИТЕТНОЙ, ИСТОРИЧЕСКИ ДОСТОВЕРНОЙ И ОФИЦИАЛЬНО ОДОБРЕННОЙ КНИГИ ОБ УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЕ, БОГОБОЯЗНЕННОЙ ЖИЗНИ, А ТАКЖЕ О ГЕРОИЧЕСКИХ ПОДВИГАХ И ЧУДЕСНЫХ ДЕЯНИЯХ ЦАРЯ ДАВИДА, СЫНА ИЕССЕЕВА, КОТОРЫЙ ЦАРСТВОВАЛ НАД ИУДОЮ СЕМЬ ЛЕТ И НАД ВСЕМ ИЗРАИЛЕМ И ИУДОЮ ТРИДЦАТЬ ТРИ ГОДА, ИЗБРАННИКА БОЖЬЕГО И ОТЦА ЦАРЯ СОЛОМОНА, СОКРАЩЕННО — КНИГИ ЦАРЯ ДАВИДА; РЕЧЬ ПРОИЗНЕСЕНА НА ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ОБСУЖДЕНИЮ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РАСПРИ МЕЖДУ ЦАРЕМ САУЛОМ И ДАВИДОМ, СЫНОМ ИЕССЕЕВЫМ

Высокочтимые господа! Прошу извинить меня за то, что я ограничусь лишь походом, точнее — походами царя Саула против Давида, ибо, будучи всего-навсего редактором, не берусь судить о столь запутанном вопросе, как боевые действия Давида в ту пору, когда он состоял на службе у филистимлян. Далее, мне хотелось бы выразить глубочайшую признательность господину дееписателю Иосафату, сыну Ахилуда, за предоставленные записи бесед царя Давида, а также господину главнокомандующему Ванее, сыну Иодая, за передачу материалов из архивов Авенира, равно как и господам писцам Елихорефу и Ахии, сыновьям Сивы, за их многотрудные розыски в царских архивах, оставшиеся, к сожалению, безуспешными.

Имеющиеся в нашем распоряжении документы и свидетельства столь разноречивы, что трудно даже установить, сколько же походов предпринял царь Саул против Давида. С известной определенностью можно говорить только о трех: первый поход в пустыни Зиф и Маон пришлось прервать из-за вторжения филистимлян на земли Израиля; второй поход в пещеры и ущелье Эн-Гадди, а также третий — вновь в пустыню Зиф — закончились двумя личными, причем весьма трога-

Окончание. Начало см. в № 4.

тельными, встречами Давида с Саулом. В обоих случаях Давиду и нескольким его сподвижникам удавалось незаметно пробраться к Саулу: в Эн-Гадди местом такой встречи послужила пещера, куда Саул зашел по нужде, а в Зифе — лес, где Саул расположился на ночлег в своем шатре. Оба раза сподвижники Давида подговаривали его убить Саула: дескать, подобной возможности упускать нельзя, ибо Бог сам предает врага твоего в руки твои. Однако Давид всякий раз возражает: разве останется безнаказанным поднявший руку на помазанника Божия? — вполне понятный ход мысли для человека, который мнит себя будущим царем. Но если в пещере Эд-Гадди Давид лишь потихоньку отрезает край одежды Саула, то в Зифе он забирает сосуд с водою и копье, что были у изголовья царя. Затем Давид в обоих случаях, отойдя на безопасное удаление, окликает Саула, называет свое имя и предъявляет вещественные доказательства своего милосердия, на что царь говорит: «Безумно поступал я и очень много погрешал, и я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога́ ныне в глазах твоих; и теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать и царство Израилево будет твердо в руке твоей».

Высокочтимые господа! Эти воистину пророческие, исполненные благородства слова, сошедшие с уст царя Саула, имеют особое значение, ибо дают дополнительное обоснование правам Давида на престол Израильский. А главное, речь в данном случае идет не о молве, которая выдумывается народом и всячески им приукрашается; нет, царь Давид самолично поведал об этих событиях дееписателю Иосафату, который и записал все доподлинно с его слов. Правда, есть тут небольшое затруднение: ни в царских архивах, ни в архивах Авенира, начальствовавшего при царе Сауле над войском, не нашлось подтверждений второму походу — в пещеры Эн-Гадди и третьему походу — в пустыню Зиф.

Авенир сообщает лишь об одном походе, а именно о том, который был прерван известием о вторжении филистимлян. От Авенира же мы узнаем, что Давид, который прежде ограничивался небольшими набегами из своих укрытий в пустыне, решил наконец прочно обосноваться в городе Кеиль. Этот город часто страдал от нашествий филистимлян. Давид изгнал их в надежде, что тем самым расположит к себе жителей Кеиля. Однако теперь, когда Давид покинул дикую пустыню, его передвижения трудно скрыть, поэтому Саул вскоре узнает о местонахождении Давида. Саул ликует: «Бог предал его в руки мои; ибо он запер себя, вошедши в город с воротами и запорами». Та же мысль беспокоит и Давида. Вопросив оракула, он покидает Кеиль и его жителей, которые оказались ненадежными союзниками, чтобы уйти в пустыню Зиф. Но сюда же прибывает Саул с отрядом из трех тысяч отборных воинов. Тогда Давид перебирается из пустыни Зиф в пустыню Маон; Саул гонится за ним, и вот уже Саул идет по одной стороне горы, а Давид со своими людьми — по другой. Благодаря стремительному броску отряд Саула окружает Давида, которому вряд ли удалось бы спастись, если бы в стан Саула не прибыл вестник со словами: «Поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю».

Досточтимые господа! Обо всем этом я толкую отнюдь не для того, чтобы посеять какие-либо сомнения, да и кто позволит себе усомниться, когда речь идет о царе Давиде в свидетельствах такого очевидца, как Авенир. Я лишь пытаюсь пролить немного света на довольно темный период жизни сына Иессеева, дабы обозначить кое-какие сложности редакционного характера. Ни в малейшей степени не пренебрегаю я и данным мне на прошлом заседании комиссии мудрым советом относительно высокой ценности легенды по сравнению с низкой истиной. Короче говоря, несмотря на видимые противоречия, я приложу все усилия, чтобы возвысить благородный образ избранника Божия, подтвердить законность его притязаний на царский пре-

стол и способствовать достижению тех целей, ради коих мудрейший из царей Соломон и поручил нам составить *Книгу царя Давида.*

Что же касается перехода царя Давида на службу к врагам Израиля филистимлянам, то, как уже указывалось выше, этот вопрос слишком сложен, чтобы оставлять его на благоусмотрение раба вашего, а потому низкопокорнейше жду от господ членов комиссии их решения на сей счет.

СЛОВОПРЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЦАРСКОЙ КОМИССИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КНИГИ ОБ УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЕ И Т. Д. ОТНОСИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ НЕВКЛЮЧЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКИЙ ТРУД НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ, А ТАКЖЕ О ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБАХ ИХ ОТОБРАЖЕНИЯ; ЗАПИСАНО ЕФАНОМ, СЫНОМ ГОШАЙИ

Иосафат: Господа члены комиссии, вы заслушали сообщение Ефана, нашего редактора. Есть ли у кого-либо возражения? Замечания? То есть все согласны с включением разноречивых свидетельств в *Книгу царя Давида?*

Ахия: Согласны.

Иосафат: Тогда переходим к следующему вопросу. Слова просит господин Садок?

Садок: Как насчет ужина?

Иосафат: Вечером во дворце состоится прием в честь египетского посланника, будут напитки и барашек на вертеле. Разве господин Садок не получил приглашения?

Садок: Когда, наконец, жена избавится от проклятой привычки наводить порядок на моем рабочем столе, хотел бы я знать...

Иосафат: У нас еще осталось немного времени до начала приема. Полагаю, суть дела членам комиссии известна. С шестью сотнями сподвижников Давид перешел к царю гефскому Анхусу, одному из пяти царей филистимского союза. Некоторое время Давид жил в Гефе, сам и люди его, каждый с семейством своим, затем Анхус поселил его в Секелаге. За получение Секелага Давид обязался исполнять для филистимлян военную службу, о чем сам объявил народу.

Садок: Учитывая щекотливость этого шага, хотелось бы знать, как Давид объяснял его.

Ванея: Ход мысли Давида вполне понятен. Рано или поздно я попаду в руки Саула. Так не лучше ли перебежать к филистимлянам?

Садок: Все верно, однако простолюдин скажет: «Достоин ли такой поступок благонравного человека, вождя Израиля, помазанника Божия? Допустимо ли вступать в сговор с врагом против собственного народа?» Что на это ответишь? Надо заткнуть рот болтунам. Может, написать, что такова была воля Господа? Не намекал ли Давид как-либо на подобное повеление Господне?

Иосафат: Царь Давид редко говорил об этом шаге, а если и говорил, то было не похоже, чтобы он им тяготился.

Нафан: А чем тут тяготиться? Первый долг помазанника Божия — сохранить собственную жизнь. Разве иначе смог бы Давид исполнить волю Господа? Разве иначе он смог бы стать царем Израиля и отцом царя Соломона?

Садок: Тебе это понятно, и мне понятно, но поймет ли народ? Не лучше ли... вообще не упоминать сего факта? Кстати, сколько времени провел Давид на службе у филистимлян?

Иосафат: Год и четыре месяца.

Садок: С тех пор как Ной причалил к вершине горы, прошло два тысячелетия. Что значит для Истории один-единственный год?

Нафан: В отличие от моего друга Садока я не кормлюсь от пожертвований. И с Богом я общаюсь напрямую. Поэтому считаю, что мы должны быть последовательны. Раз Давид — избранник Божий, а сомнений в этом ни у кого из нас нет, то все его деяния служат благу и славе Израиля. Но поскольку факты сами по себе могут привести к опасным умозаключениям, нужно преподнести факты так, чтобы направить умозаключения в верное русло.

Садок: Кто только не пытался делать это с тех пор, как Господь сообщил кое-что Адаму. И всегда находится змий, способный извратить любое, самое благонамеренное слово.

Ванея: Интересно, как это господин Нафан собирается изложить ту историю так, будто она служила благу и славе Израиля? Ведь у Давида и его людей, пока они сидели в Секелаге, не было иного способа добывать себе пропитание, кроме грабежа. Грабить-то поблизости некого, только собственных соплеменников из колена Иуды. Вот и приходилось убивать в каждой деревне всех до единого — и мужчин, и женщин, и детей, ибо если хоть кто-нибудь останется в живых, то он разнесет дурную молву о Давиде по всей стране. Именно на это гефский царь Анхус и рассчитывал. Недаром он говорил: «Опротивел Давид народу своему Израилю и будет слугою моим навек».

Нафан: Если бы я не слышал голоса господина Ванеи, то подумал бы, что это говорит клеветник, желающий опорочить Давида, отца царя Соломона.

Ванея: Я лишь последователен, как желает того господин Нафан. Господь наш знал, что делает, когда поставил Давида, сына Иессеева, царствовать над Израилем. А раз так, то и царь Саул, и сын Саула Ионафан устранены по воле Господа. Значит, правильно поступил Давид, предавшись Анхусу и отправившись с отрядом сражаться за филистимлян в битве при Афеке, где войско Израиля было разбито, а Саул и Ионафан погибли. Если же путь, коим Бог повел своего избранника к цели, кажется вам чересчур извилистым, то наш друг Ефан сумеет подправить его для *Книги царя Давида.*

Садок: Возможно, путь Давида не совсем прям, но он никогда не был путем бесчестья.

Ванея: «Путь бесчестья»! Я сражался за Давида, когда против него восстал его собственный сын Авессалом, сражался и после; я видел Давида в деле, когда ему приходилось принимать мужественное решение. Он прекрасно понимал, что значит взять власть и что значит удержать ее. Если же слово Господа не вполне отвечало тому, что, по мнению Давида, надлежало предпринять в данном случае, то он обращался к Богу, беседовал с ним и слово Божье сообразовывал с обстоятельствами.

Иосафат: Вижу, господа члены комиссии приумолкли. Тогда пускай Ефан доложит о своих выводах из наших словопрений и расскажет, как будет редактировать соответствующий раздел Книги.

Едва я раскрыл рот, чтобы обратиться к членам комиссии, как послышался шум, двери распахнулись, вошел слуга и возвестил о приближении царя Соломона. Дееписатель Иосафат глубоко поклонился, остальные пали ниц, а в следующую минуту слуги внесли в зал царя, сидевшего промеж двух херувимов искусной работы.

Царь велел нам подняться. Он еще больше обрюзг, но настроение у него было великолепное.

— Замечательный день для Израиля,— сказал он,— ибо комиссия в полном сборе и трудится во славу Господа, а кроме того, сегодня прибыло египетское посольство, дабы предложить мне в жены дочь фараона. По сему случаю будет пир с барашком на вертеле и бодрящими напитками.

Последовала пауза, приличествующая тому, что великий муж высказал значительную мысль. Затем Иосафат спросил, не желает ли царь осведомиться о работе комиссии; Соломон ответил, что желает; тогда Иосафат вкратце изложил суть словопрений, а в заключение сказал:

— Теперь же, о мудрейший из царей, мы хотели бы заслушать нашего редактора Ефана, сына Гошайи.

Царь захлопал в ладоши и воскликнул:

— Чудесно, недаром говорят, будто никого нет мудрее Ефана во всем Израиле от Дана до Вирсавии.

Я склонил голову.

— По сравнению с великой мудростью моего господина скудный разум мой ничтожнее мыши по сравнению с громадным слоном, что водятся в царстве Савском.

Царь погладил драгоценные каменья на крыльях херувима.

— Ладно, послушаем, что ты скажешь, Ефан, о том, как подаются в исторических трудах неприятные факты и стоит ли их вообще упоминать.

Вначале я выразил свою глубочайшую признательность членам комиссии за высказанные ими суждения, которые позволили четко обозначить проблему. По итогам словопрений, пояснил я далее, мне удалось составить перечень возможных способов подачи неприятных фактов, а именно: 1) полное изложение, 2) частичное изложение, 3) полное замалчивание. Полное изложение (способ 1) представляется неразумным, ибо народ склонен к поспешным и ложным выводам, что грозит ущербом для репутации персон, заслуживающих особого почтения. Полное замалчивание (способ 3) также неразумно, ибо молва живуча и люди все равно рано или поздно узнают то, чего им не полагалось бы знать. Что касается частичного, точнее говоря — тактичного изложения, то его ни в коем случае нельзя отождествлять с обманом. Да и разве стал бы мудрейший из царей Соломон потворствовать обману в Книге о своем отце, царе Давиде? Такт же — это правда в поводьях мудрости.

— С высочайшего дозволения и согласия господ членов комиссии,— сказал я,— попытаюсь обрисовать, каким образом можно было бы с необходимым тактом поведать о непростом пути избранника Божьего.

Возьмем, к примеру, вышеупомянутые набеги, совершавшиеся из Секелага. Утверждают, будто Давид на вопрос царя Анхуса, где, мол, ты разбойничал сегодня, отвечал: «На юге Иуды». Но что значит подобный ответ в устах человека, оказавшегося в таком положении, как Давид? Не уловка ли это? Ведь неизвестно, правду он сказал Анхусу или обманул, свидетелей все равно нет, ибо все до единого жители разграбленной деревни убиты. Так почему бы не намекнуть в нашей Книге, что Давид совершал свои набеги не против собственного народа Иуды, а против вражеских племен гессурян, гирзеян и амаликетян?

Теперь об участии Давида в сражении при Афеке против Саула и народа Израиля. Да, по долгу перед своим сюзереном, гефским царем Анхусом, Давид был в Афеке. Но участвовал ли он в сражении? Разве не естественно предположить, что между филистимскими князьями началась смута, из-за чего они обратились к своему царю Анхусу примерно с такими словами: «Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах: Саул поразил тысячи, а Давид — десятки тысяч? Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Единокровника тянет к единокровникам, и если он хочет помириться со своим царем Саулом, то чем он может умилостивить своего господина, как не головами наших воинов?..» Ясно одно: в последние часы битвы, когда войско Израиля было рассеяно по Гелвуе, а тела Саула и Ионафана оказались прибитыми гвоздями к го-

родской стене Беф-Сана, отряд Давида поспешил в Секелаг, на который напали полчища амаликитян. Давид и его люди настигли разбойников, истребили их, спасли своих жен, в том числе Авигею, и взяли столь богатую добычу, что Давид смог разослать подарки старейшинам Иуды; при этом он велел говорить: «Вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних».

Царь Соломон смерил меня пристальным взглядом, сдержанно усмехнулся и сказал:

— Вижу, ты достаточно владеешь словом, Ефан, чтобы направить людские мысли в нужное русло; пожалуй, я не ошибся в выборе, назначив именно тебя редактором Книги о моем отце, царе Давиде.

Про себя я подумал: если Давид был великим убийцей, то сын его — всего лишь дешевый головорез. Вслух же я сказал:

— Таковы предложения раба вашего, являющегося не более чем пометом мушиным, прахом, ничтожеством пред лицом мудрейшего из царей.

Соломон поднял свой короткий толстый палец:

— Да воздастся каждому по заслугам его. Буду рад видеть тебя на сегодняшнем приеме.

Он милостиво подал знак носильщикам, и те подхватили его.

Я вернулся в дом № 54 по переулку Царицы Савской, где Лилит омыла мне ноги, Олдана подровняла бороду, а Есфирь выслушала мой рассказ о том, при каких обстоятельствах я удостоился от царя чести быть приглашенным на прием.

— Хорошенько обдумывай каждый свой шаг,— сказала она, а когда я надел свой новый зеленый наряд и собрался уходить, Есфирь подняла на прощание руку, как бы благословляя.

Многочисленные музыканты играли перед зваными гостями на гуслях и флейтах, барабанах и арфах, плясуны прыгали, вертелись волчком, кланялись во все стороны, певцы — каждый в меру своей одаренности — славили Господа, воздавали хвалы мудрейшему из царей Соломону и египетскому фараону, произведшему на свет прекраснейшую принцессу Хельакмен, чьи глаза светились подобно черным жемчужинам, а бедра были стройны, как колонны храма бога солнца Ра. Аменхотеп сиял от самодовольства; отведав вина из царского виноградника в Ваал-Гамоне, он сказал мне:

— Превосходно, не правда ли? Теперь принцесса станет женой Соломона, а Египет получит за это право на беспрепятственный провоз товаров через Израиль.

Я поднял чашу за здоровье Аменхотепа.

— Даже не знаю,— пошутил я,— что вам удается лучше: споспешествовать бракам или содействовать развитию торговли.

— Ах, Ефан,— отозвался он.— Пожалуй, я мог бы считать себя знатоком и в той и в другой области, но важнее, что я считаю тебя своим другом. Ведь мы здесь оба чужаки и оба — неглупые люди.— Тут он подтолкнул меня локтем в бок.— Видишь обжору, который ест курдючное сало?

Указанный человек был багроволиц, в коротко остриженных волосах его поблескивала седина; он был бы недурен собой, если бы не скошенный обезьяний подбородок.

— Это принц Адония, едва не ставший нашим царем,— шепнул Аменхотеп.— Поговаривают, что верхней половиной лица он вылитый отец, царь Давид, зато губами и подбородком подозрительно смахивает на того начальника лучников, к которому некогда воспылала страстью его мать Агифа.

Заметив Аменхотепа, Адония — с куском мяса в одной руке и чашей вина в другой — бросился к нему.

— Как поживает прекраснейшая из красавиц, госпожа Ависага Сунамитянка? — воскликнул он.— Нету ли от нее весточки для меня?

Аменхотеп отвесил поклон:

— Госпожа Ависага поживает хорошо, как и все остальные дамы царского гарема.

— Передай ей мои приветы и восторги. Скажи, что Адония, раб ее, ждет от нее если не ласкового словечка, то любого другого знака или залога ее нежных чувств, как то локон или же ладанка, которую она носит меж своих прелестных персей.

Мне вспомнилось, что ладанку меж грудей стала носить и Лилит с тех пор, как мы поселились в Иерусалиме. Вдруг я заметил, что лицо Адонии напряглось, Аменхотеп вновь низко склонился, по залу пронесся шепот и шорох — в зал вошел царь Соломон, сопровождаемый свитой, среди которой вышагивали дееписатель Иосафат, пророк Нафан, священник Садок и главный военачальник Ванея.

Весь в золоте и серебре, царь был поистине великолепен, его перстни ослепительно сверкали драгоценными камнями. Обратившись к своему брату Адонии, он сказал:

— Вижу, мой господин беседует с Ефаном, сыном Гошайи, который уступает мудростью лишь мне и которого я назначил редактором *Книги об удивительной судьбе и т. д.* моего отца, царя Давида?

Адония, до сих пор почти не замечавший меня, остановил на мне пристальный взгляд; его большие серые глаза блестели, как некогда у его отца Давида. Отерев краем одежды сальные губы, он проговорил:

— Любопытно, как он истолкует вопрос престолонаследия?

Вздрогнув, Соломон помрачнел, а я потупился и сказал:

— Раб ваш готов заверить, что мудрейший из царей Соломон не найдет в этой Книге ничего иного, кроме истины.

— Тогда она станет величайшей книгой всех времен и народов.

— Так оно и будет! — воскликнул Соломон и, повернувшись ко мне, добавил: — От твоего друга Аменхотепа, Ефан, я прослышал, будто твоя наложница Лилит пригожа лицом, хороша собой и искусна в любви. Надеюсь, он прав?

Страх пронизал все мое нутро, я ответил:

— Раб ваш — лишь червь у ваших ног, а все, что принадлежит мне, недостойно вашего внимания, ибо это песчинка в сравнении с богатствами вашими.

— Скромность угодна Господу,— сказал Соломон.— Но я желаю отличить тебя за глубокомыслие, с коим ты трудишься над историей отца моего, царя Давида, а потому размышляю, чем мне почтить тебя? Возьму-ка твою Лилит наперсницей для принцессы Ельанкамен, дочери фараона, которая станет моей женой, если я разрешу свободный пропуск египетских товаров через Израиль.

Я взглянул на евнуха, по-египетски жеманно заломившего руки, и подумал, что если бы ему в свое время не раздавили мошонку, я сделал бы это собственноручно; такая честь слишком велика для меня, ответил я царю с поклоном, хватит с меня назначения редактором *Книги об удивительной судьбе и т. д.* Царь, однако, поднял свою толстую руку и произнес:

— Ладно, посмотрим.

После чего повернулся и удалился со своею свитой.

Принц Адония, брат царя, великодушно угостил меня куском курдючного сала; я вежливо отказался.

10

Однажды ночью, когда я спал рядом с Лилит, явился мне во сне ангел Божий о двух головах. Один лик был добр, другой — внушал ужас, и чело его обвивали змеи. Головы принялись спорить. Добрая сказала: оставь его в покое, довольно ты мучил его. Другая отозвалась: нет, то были лишь щипки да шлепки, зато теперь я возьмусь за

плеть, чтобы копал глубже, добирался до самого корня. Тогда первая голова улыбнулась и спросила: разве дано человеку добраться до самого корня? Нет конечно, ответила страшная голова и добавила: но он должен пытаться. После этих слов обе головы расплылись и слились в единый лик, исполненный такого равнодушия, которое и бывает только у ангелов. Этот единый лик промолвил: Ефан, сын Гошайи, отправляйся в Аэндор, разыщи там волшебницу и спроси ее о царе Сауле.

Я проснулся весь в поту. Лилит потянулась и сказала заспанным голосом:

— Ты что-то говорил во сне, любимый, только я не разобрала слов.

— А ты уверена, что это были мои слова?

Она села на постели, с тревогой взглянула на меня.

Я успокоил ее:

— Ну конечно же, то были мои слова. Ведь наши сны — это мы сами, ищущие своего пути.

Лилит стерла мне пот со лба.

— Моя мать, упокой, Господи, ее душу,— сказала она,— говаривала, будто в наших снах живут прежние Боги, которых больше нет, потому что Господь изгнал их в шеол и приковал там тяжелыми цепями: бога грома и бога леса, бога бушующего моря и бога пустынного ветра, который сжигает человеку грудь, богиню плодородия с набухшим чревом и богиню воды, струящейся с гор, а также духов, бесов и демонов, блуждающих в ночи, и самого Велиара, непотребного сына огня и тьмы бездонной — всех их изгнал Господь, но они возвращаются к нам, чтобы жить в наших снах.

Я вспомнил о двуглавом ангеле, о волшебнице из Аэндора, про которую народ говорил со страхом, и о царе Сауле, приказавшем волшебнице вызвать к нему дух пророка Самуила, но из ужаса, пронизавшего меня насквозь, родилась неутолимая жажда жизни и плотское желание, плоть моя распалилась страстью, и вошел я к наложнице моей Лилит.

Узнав о моем желании поехать в Аэндор для выяснения обстоятельств кончины царя Саула, члены царской комиссии по составлению *Единственно истинной и авторитетной, исторически достоверной и официально одобренной Книги об удивительной судьбе и т. д.* закачали головами, выражая удивление. Священник Садок проворчал, что ничего хорошего из этого не выйдет; мудрый человек не станет будить спящих собак, заметил пророк Нафан; дееписатель Иосафат сказал, что средства казны ограниченны и она не может тратить денег на ведьмовство и заклинание духов, а потому дорожные расходы будут удержаны из моего жалованья; зато Ванея предложил мне для сопровождения небольшой конный отряд. Я поблагодарил за предложение, но намекнул, что люди при виде солдат испугаются, а испуганный человек вряд ли способен восполнить своими рассказами пробелы наших знаний.

Ванея задумчиво прикусил губу, потом сказал:

— Помни, Ефан, в этой стране око закона следит за тобою всюду, где бы ты ни был.

И вот, едва рассвело, Сим и Селеф, мои сыновья, заседлали мне серого ослика, нанятого для поездки; помолившись и поцеловав Есфирь, Олдану и Лилит, я тронулся через северные ворота в путь по направлению к Силому, что находится в земле колена Ефремова.

Ничто так не успокаивает душу, как неспешный шаг ослика по дорогам Израиля. Остались позади шум и суета Иерусалима. Мимо величаво проплывают холмы, покрывшиеся в эту пору лилиями и фиалками; ягнята выглядывают из-под сосков своих маток; грациозно сту-

пают деревенские женщины, неся на голове корзину или кувшин. Купцы везут свои товары, браня и торопя погонщиков, к ближайшему святилищу бредут паломники со своими убогими приношениями; время от времени протопает военный отряд под яростную ругань сотника на пегом коне. На обочине примостились нищие; они тянут руку за милостыней, жалуясь на свои злосчастья; сказители заманивают слушателей; крестьяне предлагают усталым путникам жареные зерна и кислое козье молоко. А постоялые дворы, набитые потными людьми, провонявшими чесноком и сыром! Свободную комнату? Постель? Может, по-твоему, это дворец мудрейшего из царей Соломона, где у каждого бездельника, чертова сына, есть отдельная комната с коврами, подушками и всяческой языческой роскошью? Заходи погляди сам, люди на полу лежат, понапихались тут, как рыбины в корзинку, плюнуть некуда. Ночь, говоришь, настает? Дороги небезопасны? Дорога, чудак, небезопасна с тех пор, как праотец наш Авраам ушел по ней из Ура халдейского, а ночь следует за днем с тех пор, как Господь отделил свет от тьмы, все это никому не ново, сам знаешь, ты ведь, судя по тебе, достаточно пожил на белом свете. Что, что? О, да осыплет Господь Своими милостями и тебя, и жен твоих, и чад твоих, рожденных или нерожденных! Да продлятся дни твои! Чего ж ты сразу не достал кошелек из-за пояса? Я-то принял тебя за голодранца, который деньденьской гнет хребтину, чтоб заработать себе на кусок хлеба, только и корка у него не всегда бывает. Сейчас растолкаю этот сброд, освобожу местечко, вот тут — уютный уголок. На пятна по стенке не обращай внимания, всех клопов уже передавили. Зато вечерком сюда заглянут танцовщицы-моавитяночки, груди во! — двумя руками не обхватишь, а задницы круглые да крепкие, и все это поигрывает; бывает, силач так могутен, что кулаком быка свалит, а увидит эдакие прелести и сам в обморок падает от чувств. После танцев выбирай себе любую по вкусу, пригласишь ее выпить, так она даст тебе убедиться, что все в ее прелестях без обмана, без подделки, как Господом создано. А серого ставь за дом, в хлев. Сено входит в плату за ночлег только уж денежки вперед пожалуй, господин хороший.

Слава Богу, на пятый день путешествия я прибыл в Аэндор, а по пути помолился на могиле Иосифа в земле Манассийской, побывал в Ен-Ганниме земли Иссахаровой, пересек долину Изреель, при этом двигался все время навстречу солнцу, оставляя Гелвуйские горы по правую руку; последнюю ночь я провел в Сунаме, откуда родом красавица Ависага, которая ходила за Давидом, когда он состарился и никак не мог согреться.

Денек выдался ясный, на небе ни облачка, над полями носятся стрижи, в кустах воркуют голуби. Женщины Аэндора собрались у колодца посудачить; на ведре, которое опускают в колодец, ослепительно вспыхивают капельки воды.

Ядреная толстушка с ямочками на щеках окликает меня:

— Эй, чего уставился? Может, ты купец и торгуешь благовониями? А может, хочешь всучить нам блошиный сок, чтобы красить в пурпур холстину? Или просто под подолы заглядываешь, когда мы воду черпаем?

— Ни то, ни другое, ни третье,— отвечаю.— Пред тобой, голубушка, всего лишь бедный странник, ищущий по свету мудрости.

— Все вы так врете,— встряла другая женщина,— а сами-то под юбкой искать норовите.

— Ну, уж у тебя-то там вряд ли есть что особенное,— усмехнулся я.— Волшебницу я ищу, прорицательницу. Вероятно, она очень стара, если вообще еще жива.

Тут толстушка с ямочками говорит:

— А я та самая волшебница и есть. Дар прорицания я унаследовала от матери и от матери ее матери.

— Правду сказать, красавица,— удивляюсь я,— не видать у тебя ни морщин, ни гнилых зубов, ни седых косм, ни бородавок на носу, как это полагается ведьмам.

— Духам, которых я вызываю, это не помеха. Неужто тебе помешало? — она дерзко вскидывает голову, берет ведро, переливает воду в свой кувшин и удаляется прочь.

Здесь остальные женщины захихикали, принялись показывать на меня пальцами, поэтому мне стало довольно-таки неловко и я поневоле задался вопросом, правильно ли я понял двуглавого ангела и не напрасно ли затеял эту дальнюю поездку в Аэндор.

Я продолжал сидеть на ослике, не зная, куда его поворотить; тут ко мне подошел старик с клюкой. Назвавшись старейшиной Аэндора, Шупимом, сыном Хупима, он поинтересовался, кто я и зачем пожаловал. Я представился, рассказал про ангела, который явился мне во сне и велел: ступай в Аэндор, разыщи там волшебницу и расспроси ее. О чем расспросить, я умолчал, как, впрочем, умолчал и о том, что ангел был двуглавым. Шупим, сын Хупима, прищелкнул языком. С тех пор как царь Саул выгнал из страны всех волшебников и гадателей, сказал он, нету тут таковых. Этот указ царя Саула, заметил я, а также указы царя Давида мне известны, однако путь от царского дворца до бедняцкой хижины долог, начальственные же распоряжения походят на пригоршни воды, которую плещут на горячий песок пустыни; к тому же разве царь Саул собственной персоной не побывал в Аэндоре, чтобы испросить волшебницу, ибо до этого он вопрошал Господа, но Господь не отвечал ему ни чрез сновидения, ни чрез урим и тумим, ни чрез пророков.

Подумав минутку, Шупим, сын Хупима, лукаво прищурился и проговорил:

— Судя по твоим речам, ты, Ефан, сын Гошайи, человек очень мудрый. Видишь, хижины наши покосились, поля не возделаны, скот отощал. Сам знаешь, мудрейший из царей Соломон берет сильных молодых мужчин всех подряд — кого в войско, кого на строительные работы, однако сборщики налогов требуют с нас царскую десятину. Потому мы, старейшины Аэндора, держали совет, на котором решили: Господь Бог помогает тому, кто сам умеет себе помочь. Не придумать ли нам что-нибудь такое, чтобы чужаки, коих много бывает в наших краях, оставляли тут свои денежки? Ничто другое не тянет к себе столько народу, как прорицательница. Положим ей рабочее время с восхода луны до первых петухов, а в уплату пусть берет по два шекеля за каждый вопрос, и никаких скидок.

Так я стал гостем Шупима, который пригласил меня домой, преломил со мною хлеб, попотчевал кислым вином, а когда настала ночь, взял свою клюку и захромал со мною к глинобитной лачуге, где аэндорская ведьма занималась своим ремеслом. В лачуге же я увидел мою толстушку с ямочками, которая приветливо улыбнулась, открыв белейшие зубки, и сказала:

— Пришел-таки! Ну, садись на подушки, сейчас займусь тобой.

Шупим молча примостился в уголке, положив клюку рядом.

Ведьма подбросила в огонь овечьего помета, от дыма защипало в глазах. Она принялась мешать в котле какое-то варево, добавляя туда то разные травы, то порошки; вскоре варево закипело, с тихим треском начали лопаться пузыри, а ведьма продолжала бормотать что-то, похоже, полную бессмыслицу; время от времени она взывала к духам. Пусть Бог то и то со мною сделает, подумал я, но эдакой чепухой можно произвести впечатление только на темную деревенщину, царь же Саул был слишком умен, чтобы позволить себя одурачить. Толстушка все помешивала свое варево, одаряя меня порою широкой улыбкой; правду сказать, для ведьмы она была очень даже недурна

собою. Вскоре огонь почти погас, остались только язычки пламени, которые отбрасывали на стены огромные тени. Наконец, ведьма опустила в котел черпак, переложила немного варева в миску, протянула ее мне и приказала:

— На, разжуй хорошенько!

Я спросил:

— А что это такое?

— Кашица,— ответила она.— Ее варивала моя мать, а до нее мать моей матери; называется она гашиш.

— И она вызывает духов?

— Она не то еще вызывает,— усмехнулась толстушка и повернулась, отчего бедро ее округлилось в последних отблесках света.— Жуй, не заставляй меня ждать.

Я взял из миски кашицы, попробовал; вкус был странноват, что-то похожее на орех; только более пряное и пахнет пригорелым. Я начал жевать, потек обильный пьянящий сок, я глотал его.

— Доедай все! — приказала ведьма.

Я послушался и вскоре почувствовал, как тяжесть мира спадает с моих плеч, силы мои становятся беспредельны, потому я сам могу велеть духам бездны выйти из шеола.

— Ты и есть ангел из моего сна,— сказал я ведьме.— Только где твоя вторая голова?

Смех ее был бесовским, но моему слуху он был приятен; лукаво взглянув на меня, ведьма спросила:

— Кого вызывать?

Я сказал:

— Царя Саула!

Тут она побледнела и проговорила:

— Ой, не хочется. Он такой страшный, гораздо страшнее всех других теней.

Пришел мой черед посмеяться над ней:

— Собственного ремесла испугалась? А я вот теней не боюсь и вызываю их каждодневно, за исключением субботы, причем безо всякого гашиша.

Тогда ведьма повернулась к огню, пламя вспыхнуло, она подняла руки, ее одеяние соскользнуло наземь, и в желтом отсвете огня забрезжило голое женское тело; вдруг ведьма громко вскрикнула.

— Что там? — спросил я.

— Боги выходят из земли, я вижу их,— сказала она, корчась, будто от боли.

— А Саула видишь? Каков он собой?

— Высокий,— хрипло проговорила она,— выше всех, тело его окровавленное, пробито длинными гвоздями, а голову свою он держит под мышкой.

Тут мне почудилось, будто я и сам вижу, как от толпы теней отделилась огромная фигура — убитый царь, чью голову филистимляне возили по всей стране, чтобы возвестить о его смерти в капищах идолов своих, и чье тело они пригвоздили к городской стене Беф-Сана. Переодетый царь приходил сюда перед своей последней битвой, вспомнил я. «Поворожи мне и выведи мне Самуила»,— велел он ведьме; явился дух Самуила, худого старика в длинной одежде, и спросил Саула: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень; филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни чрез пророков, ни во сне». Тогда глухой голос Самуила промолвил: «Господь сделает то, что говорил чрез меня; отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду; завтра ты и сыны твои будете со мною; и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян».

Я крикнул ведьме:

— Вызови мне Самуила!

Откуда-то издалека послышался голос Шупима:

— За двойную плату.

Вновь вспыхнуло пламя, и опять лицо ведьмы исказила боль, она скорчилась и задрожала; тьма позади пламени как бы раздвоилась, и старческий голос пробормотал:

— Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?

— Ты — дух Самуила? — спросил я, силясь разглядеть облик пророка среди колеблющихся теней.

Что-то, видно, получилось не так, ибо ведьма встрепенулась от ужаса, кинулась ко мне, крепко прижалась. Я почувствовал, что среди нас появился кто-то еще, и понял: то Давид, сын Иессеев, восстал из мертвых.

И дух Давида сказал духу Самуила:

— Наконец-то нашел я тебя, мой старший друг. Почему ты бежишь от меня? Я искал тебя в семи безднах шеола, побывал в семижды семи преисподнях, и всюду мне говорили: он только что ушел отсюда.

Закрыв глаза руками, будто защищаясь от ужасного видения, дух Самуила сказал:

— О, сын Иессеев, видишь ли ты Саула с телом, пробитым длинными гвоздями, и с головою под мышкой?

— Вижу,— ответил дух Давида,— столь же отчетливо, как и тебя.

— Разве не был он помазанником Божьим? А ты подослал к нему амалкитянина лишить его жизни!

— Ты запамятовал, мой старший друг,— возразил дух Давида,— что я тоже побывал перед битвой у волшебницы аэндорской и попросил ее вызвать тебя из шеола, а ты пришел и сказал мне то же самое, что напророчествовал Саулу. Мне осталось лишь позаботиться, чтобы твое пророчество сбылось.

Дух Самуила воскликнул:

— Неужели тебе мало слова Божьего? Неужели надо нанимать убийцу, чтобы кровь помазанника Божьего пала на мою и на твою голову?

— Воистину велика твоя добродетель, мой старший друг,— отозвался дух Давида.— Но раз Господь решил, чтобы царство у Саула отняли и отдали мне, то убийца, которого я нанял, был лишь орудием Божьим, и мой найм исполнил волю Божью. Что же до кончины царя Саула, то спроси обо всем его сам. Вот он стоит с телом, пробитым длинными гвоздями, и с головою под мышкой.

Но дух царя Саула лишь молча указал на голову, словно давая понять, что отрубленная голова говорить не может. Вновь закрыв лицо руками, дух Самуила страдальчески вздохнул, а дух Давида беззвучно рассмеялся, будто все это было невероятно забавной, одному ему понятной шуткой. Женщину, прижавшуюся ко мне, заколотил озноб, и тут прокричал петух.

Я очнулся. Тусклый свет пробивался сквозь узкое оконце и прорехи соломенной кровли. Аэндорская ведьма лежала голой в моих объятьях; с трудом поднявшись, Шупим, сын Хупима, приковылял из своего угла, протянул ладонь и сказал:

— За особые услуги наценка. С тебя тридцать четыре шекеля.

11

Тайна кончины царя Саула и причастности к ней Давида мучает меня все сильнее.

Однажды Есфирь спросила:

— Что томит тебя, Ефан? После возвращения из Аэндора вид у тебя, когда ты говоришь со мной, какой-то отсутствующий, а на Олдану ты покрикиваешь, и Лилит ходит по дому заплаканная.

Я помедлил. Но так много несуразных мыслей роилось в бедной

моей голове, что я не выдержал и в конце концов поведал Есфири услышанное от аэндорской волшебницы, после чего сказал:

— Не будет мне, видно, покоя, если я не отвечу себе на вопросы: кто подослал амалкитянина, чтобы убить Саула и Ионафана, с которым Давид заключил союз? Неужели убийца исполнял приказание Давида? Ведь тогда ко всей крови на руках Давида прибавится кровь Саула, а также кровь Ионафана, на смерть которого Давид написал:

> Скорблю о тебе, брат мой Ионафан:
> ты был очень дорог для меня;
> любовь твоя была для меня
> превыше любви женской...

— Допустим, ответы найдутся,— сказала Есфирь.— Но что толку? Ведь ты не сумеешь занести их ни в *Книгу царя Давида,* ни в какую-либо другую.

— Да, вряд ли. Но сам я должен знать правду. Должен знать, каким был Давид. Просто хищником, который убивает не задумываясь? Или он был из тех, кто преследует свою цель, чего бы это ни стоило? А может, любые устремления тщетны, и даже самый великий человек служит лишь игрушкой стихий, словно песчинка, гонимая вихрями своего времени?

— Бедняга,— сказала Есфирь.

— Кто, Давид?

— Нет, ты.

И она поцеловала мои глаза.

Я отправился к дееписателю Иосафату, сыну Ахилуда, дом которого находился в верхнем городе, неподалеку от строящегося Храма, и попросил принять меня.

Слуга проводил меня в покои, где Иосафат сказал, что рад видеть меня, и поинтересовался результатами поездки в Аэндор.

— О мой господин,— ответил я,— исторические разыскания похожи на исход детей Израиля через пустыню: одолеваешь один бархан, а за ним появляется следующий.

— Тем не менее сей исход закончился благополучно, ибо с вершины горы Нево вождю нашему Моисею открылась земля обетованная с реками и полями, виноградниками и деревнями.

— Слова моего господина целительнее бальзама, но мне часто кажется, что мы ходим по кругу.

Лицо Иосафата помрачнело:

— Ты мечешься из стороны в сторону, Ефан, оттого и получается хождение по кругу, разве не так?

— Я мечусь из стороны в сторону, мой господин, потому что замкнуты уста, которые могли бы подсказать мне верное направление. Впрочем, царь Давид был человеком разносторонним, стало быть и разыскания должны быть таковыми.

— У царя Давида было единственное устремление,— отрезал Иосафат.— Все те годы, которые я знал его, он служил Богу, создавая царство Израильское.

Поклонившись, я сказал, что именно эта мысль станет основой *Книги царя Давида;* есть, однако, кое-какие сомнения и неясности, способные бросить тень на великий образ, необходимо их рассеять, чтобы впоследствии не возникло недоразумений.

— Сомнения и неясности? — Иосафат прищурился.— Что ты имеешь в виду?

— Кончину царя Саула и ту роль, которую сыграл в ней Давид.

Мне вспомнилось немало людей, которые за куда менее опрометчивые речи поплатились головой, подумал я и о моих домочадцах, которые могут лишиться кормильца.

Иосафат улыбнулся:

— И что же это за сомнения?

— Возможно, у моего господина никаких сомнений и нет; ведь он все видел собственными глазами, слышал собственными ушами, ему не приходится полагаться на чужие слова.

— Не забудь, Ефан, что царским советником я стал лишь многие годы спустя после смерти Саула.

— Но ведь остались живые свидетели, которых можно пригласить в комиссию по составлению *Единственно истинной и авторитетной, исторически достоверной и официально одобренной Книги об удивительной судьбе и т. д.* для дачи показаний, как это сделали с Иорайем, Иааканом и Мешуламом, сказителями, имеющими патент на публичные выступления.

— Один свидетель, пожалуй, есть,— согласился Иосафат.— Это Иоав, сын Давидовой сестры Саруи, который был у Давида главным военачальником. Только, боюсь, проку от него будет мало, ибо он напуган до смерти, совсем выжил из ума от страха и несет всякую околесицу.

— А если мне пойти к Иоаву и переговорить с глазу на глаз?

— Не советую,— Иосафат пожал плечами.— Этого не стоит делать без ведома Ваниеи, тем более что он глаз не спускает с Иоава. Пожалуй, разумней порыться в документах, которые остались от Сераии, писца Давидова, они сейчас хранятся в царском архиве.

Поблагодарив дееписателя Иосафата за добрый совет и долготерпение, я сказал, что мне, презренному псу, обласканному милостью хозяина, негоже задерживать его и пора убираться восвояси.

Утром я отправился на царскую конюшню, где теперь помещался архив царя Соломона. Там я застал писцов Елихорефа и Ахию, они сидели за столом и играли в кости. Перед Ахией лежала кучка монет, несколько колец, браслет, пара изящных сандалий из египетской кожи, одеяние из дорогого полотна — Елихореф проигрался до исподней рубахи.

Он с жаром бормотал:

— О двоюродные братцы оракулов урима и тумима, косточек святых! За что вы бросаете меня в беде? Взгляните на Ахию, ангелочки мои, на сокровища, которые заграбастал себе этот негодяй, изверг рода человеческого, тунеядец, разжиревший на царских хлебах! Почему вы не падаете так, как угодно Господу? Зачем слушаетесь бесовских наущений? Ну же, голубчики, не подведите! Пусть мне хоть разок повезет! Не губите меня, подобно Каину, который погубил Авеля, докажите свою истинную натуру защитников бедного и опоры униженного. Я же вверился вам, поставил исподнюю рубаху, последнее, что у меня осталось. Не идти же мне по Иерусалиму голым на посмешище девицам, на поругание старухам. Даруйте мне удачу! Пусть выпадет тройка, или семерка, или дюжина!

После столь горячих заклинаний Елихореф взял кости, встряхнул их сложенными горстями, воздев при этом очи к Господу, Создателю мира и всего, что в нем ни на есть. Выпали двойка и четверка. Елихореф забарабанил кулаками по своей голове. Он проклял солнце, дарующее дневной свет, проклял родного отца, даровавшего ему жизнь, проклял барана, из рога которого вырезаны кости; брат же его Ахия даже бровью не повел, он протянул руку и потребовал:

— Рубаху!

Сердце мое сжалилось над Елихорефом. Я сообщил Ахии, что прибыл по совету дееписателя Иосафата, чтобы разыскать кое-какие документы и записи, для чего мне понадобится помощь его и брата, который вряд ли сможет приступить к работе в голом виде.

Ахия швырнул брату рубаху и сандалии. Покачав головой, он сказал, что удивляется Иосафату. Неужели тому не известно, какая сей-

час тут неразбериха? Здесь вообще ничего не найдешь! Ахия безнадежно махнул рукой на стойла, где валялись груды глиняных табличек или пергаментов, и все это действительно пребывало в жутком беспорядке.

— Это еще ладно,— добавил он.— Посмотрел бы ты на сарай, куда ветром то песок задувает, то дождь; там все попортилось.

Я заподозрил, что Иосафат послал меня сюда, просто чтобы избавиться таким образом от назойливого посетителя, поэтому спросил Елихорефа и Ахию, не слыхали ли они об архиве некоего Сераии, писца Давидова, а если слыхали, то где этот архив находится.

Братья ответствовали, что про архив слыхали; по мнению Елихорефа, он находится в третьем стойле первого ряда с левой стороны конюшни, Ахие же помнилось шестнадцатое стойло третьего ряда справа; разгорелся спор.

Я спросил:

— Неужели у вас нет описи, где и что хранится?

Братья сказали, что такая опись весьма бы им пригодилась, а Ахие вроде бы даже говорили, будто опись сделают после того, как архив займет постоянное место в Храме, строящемся мудрейшим из царей Соломоном, на что Елихореф возразил — дескать, человек предполагает, а Господь располагает; вот поступит новая партия лошадей из Египта, тогда поглядим, чем вообще все это кончится; тут начался новый спор.

Я предложил поискать все-таки архив Сераии, писца Давидова; Елихореф и Ахия, согласившись помочь, последовали за мной, причем Елихореф выбрал первый ряд стойл по левую сторону конюшни. Ахия — третий ряд по правую сторону, а я взял на себя второй ряд посередине. Мы принялись рыться в глиняных табличках и пергаментах, отчего пыль поднялась столбом, похожим на тот столп, который вел детей Израиля во дни их долгого исхода из Египта через пустыню. Однако если детям Израиля после множества злоключений посчастливилось-таки увидеть землю, обетованную Господом, то ни Елихорефу, ни Ахии, ни мне не удалось отыскать архива Сераии. Когда у нас заломило руки и ноги, когда мы покрылись потом и паутиной, все поиски сами собой прекратились, а Елихореф, с трудом прокашлявшись, даже сказал:

— Пусть Бог то и то со мною сделает, если я тут еще хоть раз трону пергамент или табличку.

Ахия набожно добавил:

— Аминь!

— Да простят господа писцы мою дерзость,— сказал я,— но осмелюсь возразить: утомился и изгваздался я не меньше вашего, добавьте к сему заботы о двух женах и наложнице, коих мне надо ублажать, однако, когда речь идет о службе мудрейшему из царей Соломону, мне неведомы ни усталость, ни уныние, поэтому с вашего милостивого позволения я вернусь сюда завтра, прихватив двух рабов, сведущих в грамоте и умеющих разбирать различные письмена.

Ахия пробормотал:

— Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет.

А Елихореф добавил:

— Только не слишком затягивай поиски, Ефан, ибо вскоре, может статься, выселят нас отсюда под открытое небо и сделаются все эти царские архивы добычей птиц, мышей да красных мурашей.

Я вернулся в дом № 54 по переулку Царицы Савской, где Лилит выкупала и помассировала меня, а Есфирь разделила со мною скромную трапезу из хлеба, маслин и лука.

— Опять куда-то собрался? — спросила она.

— К сожалению, придется навестить Иоава, бывшего при Дави-

де главным военачальником; надо порасспросить его насчет кончины царя Саула; правда ли, что Давид велел убить Ионафана, с которым заключил союз.

Есфирь прижала руку к сердцу.

— Тебя, как всегда, соблазняет Истина, дочь Судьбы, и ты не можешь удержаться от искушения.

— Грудь очень болит? — подавленно спросил я.— Неужели ничем нельзя помочь?

Она качнула головой.

Я вышел на улицу, миновал южные ворота, сады за городской стеной и добрался до дома, сложенного из разномастного кирпича. У дверей стоял фелефей, который, опустив копье, сказал:

— На торговца вразнос ты не похож, ибо у тебя нет лотка, на крестьянина, который продает по домам овощи, яйца или виноград,— тоже. Стало быть, говори, кто таков, да не ври, поскольку военачальник Ванея приставил меня следить за этим домом и глаз с него не спускать.

— Благослови тебя Господь,— ответил я,— вижу, малый ты смекалистый и сразу сообразил, что я не лоточник, торгующий вразнос, и не крестьянин, продающий съестное, однако ставлю пять шекелей против одного — не угадаешь, кто я.

— Идет! — ухмыльнулся фелефей.— Ты Ефан, сын Гошайи, редактор — или как там у вас это называется? — *Единственно истинной и авторитетной, исторически достоверной и официально одобренной Книги об удивительной судьбе и т. д.* Господин Ванея приказал впустить тебя, если будешь настаивать, но обратно не выпускать.

Я отдал фелефею пять монет и хотел было повернуться, чтобы поскорее унести отсюда ноги, однако внутренний голос шепнул мне: раз уж сунул голову в петлю, то пусть хоть повесят не зря.

Войдя в дом, я увидел дряхлого старика с гноящимися глазами, который забился в самый темный угол; руки у него тряслись, борода свалялась, голова была покрыта коростой.

— Ты и есть Иоав,— спросил я,— бывший главный военачальник?

Старик едва заметно шевельнулся и проговорил:

— Да.

Я уставился на него, не веря собственным глазам: неужели передо мною тот легендарный герой, который некогда взял штурмом Иерусалим, считавшийся столь неприступным, что его могли якобы защитить хромые и слепые, который покорил Сирию, Моав, Аммон и Амалик, царей филистимских и сервского царя Адраазара, который убил Авенира, начальствовавшего над войском при царе Сауле, и Авессалома, сына Давидова?

Иоав жалобно спросил:

— Тебя послал Ванея, чтобы мучить меня?

Он совсем скорчился и захныкал, как больной ребенок.

— Я Ефан, сын Гошайи,— ответил я,— писатель и историк; пришел сам по себе, чтобы задать несколько вопросов насчет дел, которые мне не вполне ясны.

— Почем мне знать, что ты не подослан Ванеей с целью обернуть потом мои слова против меня же самого, чтобы насадить мою голову на кол, а тело прибить к стене Иерусалима, который я взял штурмом и отдал Давиду?

— Ведь ты сам был когда-то власть предержащим,— сказал я,— одним из тех, кто решает, умереть человеку насильственной смертью или мирно дожить свои дни. Я же решаю, каким будет человек после смерти, в глазах потомков, предстанет он перед ними через тысячелетие слабоумным стариком, который пускает слюни и мочится в штаны, или же солдатом, который мужественно и достойно глядит в лицо судьбе.

Руки Иоава перестали дрожать. Он встал, подошел ко мне, источая вонь, и сказал:

— Я всегда был солдатом и честно выполнял приказы. Но царь Давид проклял меня на смертном ложе и велел Соломону: «Поступи с Иоавом по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю». Представляешь, он проклял меня за убийство его сына Авессалома, и Авенира, сына Нира, и за другие убийства, которые я совершал по его приказу. О, сам он не поднимал руку на человека, ни капли крови не пролилось на пояс вкруг его чресел и на обувь его. Он предпочитал убивать чужими руками.

— Значит, это Давид велел убить царя Саула, а также Ионафана, с которым он заключил союз?

Иоав почесал грязную бороду.

— Суди сам. Говорю лишь то, что видел и слышал. На третий день по возвращении Давида в Секелаг туда прибыл и тот амаликитянин. Одежда разодрана, голова посыпана пеплом, вопит: «Войско Израиля побежало со сражения, и множество народа пало и умерло, и умерли и Саул и сын его Ионафан». Давид, окруженный свитой, спрашивает амаликитянина, видел ли тот собственными глазами, что Саул и Ионафан мертвы. Он отвечает: «Господин мой знает, что я верный слуга его и всем ему обязан, а потому скажу чистую правду. Я случайно пришел на гору Гелвуйскую и увидел, как Саул стоит там, опершись на копье, а вражеские колесницы и всадники уже совсем близко. Тут Саул оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. Он сказал мне: «Кто ты?» И я сказал ему: «Я — амаликитянин». Тогда он говорит: «Подойди ко мне и убей меня, ибо силы покидают меня, но жизнь еще есть во мне». И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не останется жив, и взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их сюда, чтобы господин мой наградил меня за службу».

— И что же сделал Давид? — спросил я.

— Взял венец и запястье, посокрушался о Сауле и Ионафане, а потом повернулся к амаликитянину и говорит: «Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня?» Амаликитянин побледнел, бормочет что-то, Давид же продолжает: «Кровь их на голове твоей, ибо уста твои свидетельствовали на тебя». Он приказал охране убить амаликитянина.

Меня зазнобило, я понял, что аэндорская ведьма сказала мне правду об убийстве Саула и о причастности Давида к этому убийству, поэтому я спросил Иоава:

— Похоже, Давид и впрямь повинен в смерти Саула, а?

Не успел Иоав ответить, как послышались голоса и тяжелые шаги. Иоав съежился, руки его затряслись, изо рта потекли слюни. Ванея вошел и рявкнул:

— Опять за свое, Иоав, не угомонился еще?

Потом он повернулся ко мне:

— Про амаликитянина рассказывал?

Иоав бросился наземь, принялся целовать ноги Ванеи. Тот дал ему такого пинка, что Иоав отлетел в угол.

— Гляди,— проговорил Ванея,— вот эта развалина некогда держала в кулаке целое царство. Так что же ты, хитроумный и двуличный Ефан, хотел выведать у него?

Я поклонился, но промолчал.

— Не упрямься,— сказал Ванея.— Или ты хочешь, чтобы я выбил ответ из Иоава?

— Вопрос касался кончины царя Саула, а также Ионафана, с которым Давид заключил союз.

— Иоав,— позвал Ванея.— Поди сюда.

Иоав пододвинулся ближе.

— Расскажи-ка, кто убил царя Саула и Ионафана! — приказал Ванея.

— Ионафана, и Аминадава, и Мальхиуса, сыновей Саула, убили филистимляне,— устало проговорил Иоав.— И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи твой меч, и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные, и не убили меня, и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч, и умер с ним.

— Откуда знаешь, что все именно так и было? — спросил Ванея.

— Начальник отряда филистимских стрелков, которого я позднее взял в плен и допросил, поклялся мне всеми богами, что видел это сам; кроме того, он видел какого-то парня, который выскочил из кустов, забрал у мертвого царя венец с запястьем и скрылся, пока филистимские стрелки добрались до царя.

— Получается,— заключил Ванея,— что ни в крови царя Саула, ни в крови Ионафана Давид не повинен.

— Да уж, совсем не повинен,— не удержался Иоав.

Ванея размахнулся и изо всех сил ударил Иоава в лицо, тот рухнул наземь, изо рта у него брызнула кровь. Поклонившись, я поблагодарил Ванею за щедрую помощь в поисках истины о кончине царя Саула, а также Ионафана, с которым Давид заключил завет. Ванея уставился на меня своим свинцовым взглядом; я молил Бога, чтобы беду пронесло. Видно, Господь услышал мою молитву, ибо Ванея неожиданно ухмыльнулся, ткнул меня локтем в бок так, что у меня аж дух перехватило, и сказал:

— Если ты, Ефан, и впрямь знаешь столько, сколько, по-моему, знаешь, то знаешь ты, по-моему, слишком много.

12

Благословенно будь имя Господа Бога нашего, который милостив к ищущим и порою даже слепой курице подбрасывает зернышко.

На шестой день работы в царской конюшне, где находился архив, раздались радостные вопли двух помогавших мне рабов, которые, как уже говорилось выше, были сведущими в грамоте и умели разбирать различные письмена. Поспешив к ним, я увидел глиняный сосуд, уже разбитый, вокруг множество черепков и табличек; последние были отчасти повреждены. Большинство надписей были исполнены в манере иудейских писцов той поры, когда Давид царствовал в Хевроне; однако почерки на черепках и табличках оказались разными, в одном случае я узнал почерк писцов колена Ефремова, в другом — колена Вениаминова.

Вначале я не поверил, что передо мной архив Сераии, который семь лет был писцом Давида, когда тот царствовал в Хевроне, а потом еще двадцать три года, когда Давид царствовал в Иерусалиме. Кликнув Елихорефа и Ахию, я спросил их, откуда здесь взялся этот глиняный сосуд.

Елихореф поднял с пола черепок и недоуменно уставился на него, а Ахия сказал, что такого сосуда не видывал отродясь, откуда он взялся — неизвестно; пожалуй, тут не обошлось без нечистой силы. При этих словах Елихореф вздрогнул, выронил черепок, будто тот обжег ему руки, и рявкнул:

— Пусть Бог то и то со мною сделает, если этот сосуд со всем его содержимым останется здесь на ночь.

Дело происходило накануне субботы, поэтому мы поспешно сложили черепки и таблички в несколько мешков, которые были перенесены обоими рабами в дом № 54 по переулку Царицы Савской, куда

мы вошли как раз тогда, когда солнце уже садилось за западную стену города.

Есфирь благословила свет, и светильник, и дом, где стоял светильник, и всех, кто жил в этом доме; она показалась мне молодой и красивой, ибо глядел я на нее с любовью; однако сердце мое полнилось не только любовью, но и нетерпением — хотелось, чтобы суббота поскорее миновала, тогда можно будет вскрыть мешки и заняться находкой.

Я, Ефан, сын Гошайи, отобрал из архива Сераии несколько документов, наиболее важных, по-моему, с исторической точки зрения, а также интересных для понимания того, что за человек был Давид. Там, где черепок или табличка оказались повреждены, и текст, несмотря на все мои старания, не удалось восстановить, оставлен пропуск. Все пояснения, примечания, пометки и т. п. сделаны мною.

Найденные документы относятся к периоду от восшествия Давида на престол в Хевроне, где он стал царем Иуды, до его сговора с Авениром, сыном Нира, против царствовавшего в Израиле и имевшего престол в Маханаиме Иевосфея, единственного из еще живых на ту пору сыновей Саула. Несомненно, более поздние события запечатлевались Сераией с не меньшей тщательностью, сохранялась и вся переписка, однако эти документы либо попали в иное место, где ждут своего часа, либо, не дай Бог, уничтожены.

РАЗГОВОР ДАВИДА С СЕРАИЕЙ

Давид, сын Иессея, сказал мне:

— Сам видишь, сколько людей приезжает в Секелаг под разными предлогами, они бродят по улицам, высматривают, не вострит ли кто копий, не кует ли мечей. Это лазутчики гефского царя Анхуса, моего сюзерена, или какого-нибудь из филистимских князей, которые не доверяют мне. Основание на то у них есть, ибо положение у детей Израиля неопре́деленное, а потому чревато любыми неожиданностями. С одной стороны, они видят Авенира, который бежал от горы Гелувейской с остатками войска; он собрал эти остатки в Маханаиме, восточнее реки Иордан в долине Газовой, и поставил на царство Иевосфея, единственного живого ныне сына Саула. С другой стороны, они видят меня, Давида, сына Иессеева, который имеет около тысячи воинов в Секелаге. Между мною и Авениром на запад от Иордана до самого Дана нету другой силы и другого правителя; кто туда войдет, завоюет целое царство.

— С Божьей помощью,— сказал я.— Этот поход будет успешен.

Тогда Давид велел:

— Распорядись, чтобы выбрали барашка без малейшего изъяна, и позови священника Авиафара, только передай — пусть помоет свои грязные руки, ибо я хочу вознести жертву Господу.

Исполнив повеление, я вернулся к Давиду, который тем временем выкупался, умастил себя маслом и облачился в чистые одежды. Он пошел к жертвеннику, где Авиафар пустил барашку кровь. Когда воскурилась жертва, Давид обратился к Господу и сказал:

— О, Господи....

(Здесь текст обрывается. Увы, нам уже никогда не узнать от Сераии, о чем же Давид беседовал с Богом. Так или иначе, вскоре Давид отправляется в Хеврон, где старейшины Иуды помазывают его в царя.

Но почему же филистимские князья-победители не помешали Давиду вступить на престол в Хевроне? Ответ, видимо, заключается в

том, что им был на руку совершенный Давидом откол Иуды от Израиля. А вскоре Иуда и Израиль начали друг против друга войну, за которой филистимляне преспокойно наблюдали со стороны.

О том, сколь беспощадно велась Давидом эта война, свидетельствует его спор с Иоавом, записанный Серайей. Спор произошел вскоре после известного побоища у Гаваонского пруда, где отряд Иевосфея под предводительством Авенира встретился с отрядом Давида под предводительством Иоава; каждый отряд выставил по дюжине поединщиков, те схватили друг друга за волосы, вонзили меч один другому в бок и пали замертво; «в тот же день произошло жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида; бежавший Авенир ударил своего преследователя Асаила, брата Иоава, задним концом копья в живот, под пятое ребро, так что копье прошло насквозь, и Асаил умер на месте; Иоав же затрубил трубою, и остановился весь народ и не преследовал больше израильтян». Сражение прекратилось, ибо Иоав внял увещеваниям Авенира.)

О ЕДИНСТВЕ И РОЗНИ

— ...Ты заключил перемирие с Авениром. По какому праву? Кто тебе позволил? Может, к тебе слетел Ангел Божий и дал такой совет? Авенир попался тебе в руки, достаточно было замкнуть кольцо, и мы бы навсегда покончили с Иевосфеем, сыном Саула, а вместо этого ты трубишь своей проклятой трубой.

— Да позволит мне молвить слово мой господин и брат моей матери Саруи. Она привиделась мне стоящей на холме Ама, и послышался мне ее голос: «Опомнись, Иоав, ты же с нами одной плоти и одной крови! Разве сии дети Израиля не братья тебе и твоим людям?»

— Это было до того, как Авенир воззвал к тебе, или после?

— До того, мой господин.

— Тогда это был голос Велиара, а ты не узнал его, потому что мозгов у тебя меньше, чем у курицы.

— Но разве все мы не одной крови? Разве единство не лучше розни? Разве дерево не крепче своих веток?

— По старинке мыслишь, Иоав. Чтобы наступило единство, нужна рознь; чтобы выросло новое дерево, надо свалить старое и выкорчевать корень. Разве не пророк Самуил помазал меня? Разве не Господь избрал меня на царство над Израилем, надо всем Израилем?

— Прав мой господин царь. Я отомщу за кровь моего брата Асаила, которого Авенир убил задним концом своего копья.

— Опять ты слишком чувствителен, Иоав. Оттого и не видишь, что наши дни — это время больших перемен, когда пересматривается все, что было допрежь; создаются огромные государства, человеку нельзя теперь жить, как ему заблагорассудится, и идти туда, куда его потянет; он обязан трудиться, подчиняясь твердому порядку и новому закону. А ты, Иоав, либо поймешь все правильно, приведешь в соответствие этому свои мысли и поступки, либо окажешься выброшенным на свалку истории.

— Покуда жив Господь и душа моя жива, я не хочу на свалку. Я солдат и...

(Поиски табличек с продолжением этого разговора между Давидом, царем Иуды, и его главным военачальником Иоавом успеха не принесли. Однако сомневаюсь, чтобы Иоав вполне усвоил новый образ мыслей младшего брата своей матери.)

ОТРЫВОК

«...и была продолжительная распря между домом Сауловым и до-

мом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал...»

КАК ЗАВОДИТЬ ДРУЗЕЙ И ПОДЧИНЯТЬ СВОЕМУ ВЛИЯНИЮ

«...в Хеврон прибыли два чужеземца — темные личности неопределенных занятий; сыщики Иоава схватили их и доставили к царю Давиду. Он спросил: «Кто вы такие?» Те ответили: «Баана и Рихав, сыновья беерофянина Реммона, офицеры из войска Иевосфея, сына Саула, царствующего в Маханаиме». Давид: «Зачем пришли в Хеврон? Не иначе как для злого дела?» Баана и Рихав пали на колени и возопили: «Пусть Бог то и то с нами сделает, если не пришли мы сюда с самыми благими и богоугодными намерениями, а именно затем, чтобы послужить, не щадя живота своего, Давиду, сыну Иессея, помазанному на царство в Израиле».

Тогда Давид велел им подняться и спросил: «Как же вы думаете служить мне?» Баана ответствовал, что они готовы на все, а Рихав добавил, мол, за соразмерное вознаграждение Давид спросил: «Неужели царь Иевосфей не дает вам приличной платы?» Баана сплюнул и сказал: «Разве выдавишь масло из камня или благовонье из козьих катышей?» А Рихав добавил: «Сыну Саула нечем срам прикрыть, он запродал душу ростовщикам, все его имущество уместится на одном осле».

Давид решил так: «Возвращайтесь в Маханаим, оставайтесь там со своими отрядами, продолжайте исполнять приказы Иевосфея и Авенира, но сообщайте мне все важное и все, что касается Мелхолы, моей супруги, отданной царем Саулом в жены Фалтию, сыну Лаиша. Вознаграждены будете по заслугам».

Давид велел отвести Баана и Рихава к воротам Хеврона и отпустить...»

(Приведенное ниже в основном написано на черепках кисточкой и тушью. Ненадлежащее хранение повредило ценнейшим документам, часть текстов прочитать невозможно.)

СКАНДАЛ В МАХАНАИМЕ

Давиду, сыну Иессея, помазаннику Божьему, льву Иудейскому — от Баана и Рихава, сыновей Реммона.

Да заблистает с благословения Господа многочисленное потомство твое, подобно звездам над Хевроном. Вот новости, как всегда из надежного источника...

...Авенир поддерживает дом Саула...

...спит с Рицпой, которая была наложницей царя Саула и родила ему двух сыновей. Иевосфей этим весьма обеспокоен, ибо вошедший к царской жене или наложнице заявляет тем самым свои права на царский престол. Выпив для храбрости сладкого вина с корицей и пожевав травки, называемой гашиш, Иевосфей сказал Авениру: «Зачем ты вошел к наложнице отца моего? Или мало тебе дщерей Ефремовых, Манассиевых и Вениаминовых? Или ты впрямь покушаешься на царский престол в Израиле?..»

...Авенир сильно разгневался на слова Иевосфея и сказал: «Видно, я для тебя хуже пса шелудивого, раз ты из-за бабы наговариваешь на меня такое. Я мог предать тебя в руки Давида, но был милосерден к тебе до нынешнего дня...»

...я сделал царем одного, но могу сделать и второго...

«...То и то пусть сделает Бог Авениру и еще больше сделает ему! Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему: «Отниму царство от

дома Саулова, и поставлю на престол Давида над Израилем и над Иудою, от Дана до Вирсавии...»

...И не мог больше возразить Иевосфей Авениру ни единым словом, ибо сделался подобен козьему меху без вина, съежился и поник от великого страха пред Авениром...

КОПИЯ ПИСЬМА

От Сераии, писца царя Давида — Баану и Рихаву, сыновьям Реммона, верным слугам царя Иевосфея. Да умножит Господь ваши силы для благого дела.

Мой господин царь получил ваше донесение и желает, чтобы вы были столь же усердны и впредь. Однако от вас не поступило никаких сведений о Мелхоле, дочери Саула, отданной в жены моему господину за сто краеобрезаний филистимлян. Царская казна в Хевроне выписала вам для последующего получения сотню голов скота каждому, а именно — по двадцать коров, сорок овец и сорок коз. За это вам надлежит...

(Остаток текста на черепке смазан. Но вряд ли Давид отдал бы двести голов скота за незначительную услугу.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЮЗА

Победителю Голиафа и любимцу Господа царю Давиду — от главного военачальника Авенира, сына Нира. Да умножит Господь твое потомство, да будут дни твои успешны, а ночи сладостны.

Вот мое предложение...

...ибо разве единство не лучше розни, дерево не крепче ветвей? Не затем ли дал Господь силы тебе и силы мне, чтобы исполнилась воля Его? Единый царь должен стать над Израилем и Иудой, а над объединенным войском — единый военачальник...

...заключи со мною союз, и я отниму царство у дома Саулова и отдам тебе...

...если будет на то твое согласие, мой господин, я прискачу в Хеврон с двадцатью всадниками и затрублю у ворот трубою трижды в знак мира, а когда твоя труба затрубит трижды в ответ...

МЕЛХОЛА ТОСКУЕТ

Мудрейшему из людей, щедрейшему из правителей, великодушнейшему из князей, Давиду, сыну Иессея, царю Иуды — от Баана и Рихава, сыновей Реммона. Да уничижит Господь врагов твоих и да преумножит число друзей, чтобы их было больше, чем рыб в море.

Мелхола льет слезы с утра до вечера и тоскует. Фалтий скачет вкруг нее молодым козлом, голубит, ласкает и нежит ее, так что бедняжка не знает, куда ей деться, и с охами да ахами покоряется ему. Она взяла к себе пятерых сыновей своей сестры Меровы, внуков Саула; Мерова умерла, и дети остались сиротами.

А теперь об имуществе, записанном на нас от щедрот царских в хевронской казне. Конечно, всяк человек рад и задаром потрудиться ради исполнения слова Божьего, только мы люди небогатые, а кроме того, нам еще надо кормить, одевать и вооружать наших солдат, потому двести голов скота или же их стоимость серебром — для нас что пригоршня песка умирающему от жажды. Ведь царь Давид могуществен, ему даже тысячу голов скота или две тысячи отдать нипочем...

КОПИЯ ПИСЬМА

От царя Давида — военачальнику Авениру, сыну Нира.

Я готов заключить с тобою союз, но при одном условии: требую, чтобы, явившись ко мне, ты привез с собою Мелхолу, дочь Саула; без нее не приходи.

КОПИЯ ПИСЬМА

Моему любезному зятю Иевосфею, царю Израиля в Маханаиме — от Давида, сына Иессея. Да осыплет тебя Господь своими милостями, да дарует Он тебя здоровьем, богатством и многочисленным потомством.

Верни мне мою жену Мелхолу, за которую я заплатил сто крайней филистимских; отец же твой, царь Саул, отдал ее...

(Примечательно, что уже в это время Давид считает себя достаточно сильным, чтобы приказывать своему царствующему зятю Иевосфею. Тот же и впрямь — знал он об этом или нет — находился в отчаянном положении: доходов никаких, верность колен Израилевых сомнительна, собственный дворец полон лазутчиков, главный военачальник ведет тайные переговоры с Давидом; короче, ему противостоял решительный противник, которому, судя по всему, благоволил сам Господь.)

ДЕЛА АВЕНИРА, СЫНА НИРА

Звезде Иуды, восходящей к зениту небесному, избраннику Божьему, царю Давиду, сыну Иессея — от Баана и Рихава, сыновей Реммона. Да исполнит Господь все ваши замыслы.

Иевосфей послал своих слуг за Мелхолой, чтобы забрать ее от мужа Фалтия. Авенир же обратился тайно к старейшинам Израиля, а также к вениамитянам: «Вы уже давно желали, чтобы Давид был царем над вами, теперь сделайте это: ибо Господь сказал Давиду: «Рукою раба Моего Давида Я спасу народ Мой, Израиля, от руки филистимлян и от руки всех врагов его»...

(Здесь текст таблички обрывается. Другие таблички с тем же почерком содержат отрывки из иных донесений Баана и Рихава, сыновей Реммона.)

...Авенир пришел к царю Иевосфею и сказал: плохи наши дела, воины наши голодают и разбойничают по окрестностям, либо разбегаются по домам к своим семьям. Надо заключить мир и союз с Давидом, который царствует в Хевроне, чтобы собрать силы и опять воевать против него. Я поскачу к нему с двадцатью всадниками и трубою, которая протрубит трижды...

...и уговорю Давида...

...Иевосфей позвал нас в свой дворец, где он восседает на троне меж двух деревянных херувимов, покрашенных желтой краской, потому что у него совсем нету золота. Иевосфей сказал нам: «Знаю, вы и ваши люди верно служили дому отца моего Саула и вы сделаете то, что угодно Господу. Авенир поскачет в Хеврон с двадцатью всадниками и с моей сестрой Мелхолой, которую я забрал от Фалтия; там он должен заключить с Давидом мир и союз, чтобы потом мы смогли опять воевать против него. Но пусть Бог то и то со мною сделает, если Авенир не задумал предать меня сыну Иессея, ибо была у нас ссора, мы поругались из-за Рицпы, наложницы моего отца, и Авенир грозил мне, что поставит на престол Давида над Израилем и над Иудою, от Дана до Вирсавии; он думает, я позабыл о ссоре, однако я помню каждое слово, ибо не глупее Авенира. Поэтому я велю вам, Баана и Рихав: скачите со своими отрядами следом, нападите на Авенира, поразите под пятое ребро, принесите мне его голову, а за это я сделаю вас военa-

чальниками и откажу вам десятину от колена Ефремова; мою же сестру Мелхолу приведите ко мне в целости и сохранности...

(В архиве Сераии нашелся еще один черепок, представляющий определенный интерес. Судя по содержанию и почерку, это было еще одно донесение от Баана и Рихава.)

...что касается распоряжения царской казне отписать нам для последующего получения триста пятьдесят голов скота каждому, а именно по девяносто коров, десять быков, сто двадцать пять овец и сто двадцать пять коз, либо их стоимость серебром, то на такие условия мы согласны; сердца наши обливаются кровью от известия, что сын Иессеев находится в стесненных обстоятельствах, а потому не может вознаградить нас за оказанные услуги полной мерой.

Оценка — не мое дело. Я лишь отбираю факты и привожу их в некоторый порядок, ведь я — только скромный служитель в доме знания; моя задача — по мере сил восстановить события, понять их ход. Но у слова своя жизнь, которая противится усекновению, насилию, обузданию; слово — двусмысленно, оно скрывает истину и обнажает ее одновременно, поэтому за каждой строкой притаилась опасность.

Господи Боже мой, почему изо всех Твоих чад именно я избран для того, чтобы вернуть мертвого царя из его могилы? Чем больше я узнаю про него, тем больше сливаюсь с ним; он словно нарост, опухоль на теле моем; хочу выжечь его и не могу.

13

Иоав наверняка знал, что произошло, когда Авенир приехал к Давиду. Но Иоав больше ничего мне не скажет, да я и сам опасаюсь навещать его без разрешения Ванеи, который относится ко мне с подозрением.

Значит, остается только принцесса Мелхола, ведь она прибыла из Маханаима в Хеврон вместе с Авениром. Ей ли не помнить тогдашних событий? Однако Мелхола меня к себе не зовет, а я — кто я такой, чтобы требовать приема у царской дочери, которая дважды была женой царя?

В конце концов я послал к Аменхотепу человека с пожеланиями долгих лет жизни и благополучия, а также с просьбой уделить мне немного своего драгоценного времени. Аменхотеп ответил, что послезавтра в полдень мог бы отобедать со мной в харчевне, которую царское ведомство по делам харчевен и гостиниц открыло для сынов Израиля, подвизающихся на художественном поприще, то есть певцов, сказителей, гусляров, трубачей, храмостроителей, мозаичников, а также для составителей ученых трактатов о том, как следует петь, рассказывать легенды, играть на гуслях и трубах, строить храмы и складывать мозаики.

К назначенному сроку я пришел в эту харчевню, меня провели во вполне просторную залу, набитую, однако, людьми, толпящимися вокруг вертела, на котором весьма неопрятный повар жарил довольно-таки старого барана; того, кто смог урвать кусок мяса, оттесняли те, кому пока ничего не досталось; раздавалась брань, слышались вопли. Среди давки я заметил Иорайю, Иаакана и Мешулама, сказителей предания о великой победе Давида над Голиафом. Каждый из них размахивал здоровенной костью с ошметками мяса и без разбора лупил ею по голове любого, кто подворачивался под руку; увидев меня, они бросились ко мне с криком:

— Господин, подтверди этим обжорам, что нас, как знатоков своего ремесла, приглашали в комиссию по составлению *Единственно ис-*

тинной и авторитетной, исторически достоверной и официально одобренной Книги об удивительной судьбе и т. д., стало быть, у нас есть полное право вкусить от сего дара Божьего, который жарится на вертеле; кое-кто из присутствующих хоть и учен, но низок в поступках, завистлив, а потому отказывается признавать нас, потому и достались нам лишь эти мослы, вчерашние объедки.

Я подтвердил, что Иорайю, Иаакана и Мешулама приглашали в царскую комиссию, где они рассказывали предания о великой победе Давида над Голиафом, причем их тексты совпали дословно; пророк Нафан назвал это чудом.

Иорайя, Иаакан и Мешулам вновь завопили:

— Вот именно! Слыхали, искусники с тонкими голосами и изысканными манерами, не желающие уступить простым сказителям народных преданий ни кусочка от дара Божьего? Слыхали, что мы совершили чудо? Погодите, настанет срок, Господь прогонит вас от котлов мясных, а царские денежки потекут в наши кошельки, ибо вам с вашими выкрутасами, цветистостью и изысками не понять, что от вас требуется, вам никогда не расположить к себе таких вельмож, как пророк Нафан.

Толпа почтительно расступилась и пропустила Иорайю, Иаакана и Мешулама к вертелу, где они отодрали себе от курдюка по куску сала, а от филейной части по куску мяса, после чего вернулись назад, примостились у моих ног и принялись жадно чавкать.

В это время два охранника гаркнули с порога:

— Расступись, подонки! А ну, подхалимы, льстецы и лизоблюды, дай пройти могущественному и благородному господину Аменхотепу, главному царскому евнуху, под присмотром которого находятся жены и наложницы царя, а также вдовы отца нашего царя!

Все низко поклонились, некоторые даже пали ниц прямо на пол среди объедков и мусора. Аменхотеп явился во всем своем великолепии. Смотритель харчевни почтительно приветствовал его; проходя через залу мимо вертела, Аменхотеп приподнял расшитый край своих дорогих одежд, покачал головой, сокрушаясь о диких нравах сынов Израиля и о вони, исторгаемой бараньей тушей; меня же он милостиво пригласил знаком следовать за собой. Нас проводили в отдельные покои с видом на тенистый садик, на столике перед нами стояли блюда с изысканными кушаньями — маринованными луковицами, свежим зеленым луком, нежнейшими анчоусами, грибами в уксусе, а главное — гордостью здешнего повара — ягнячьими глазами, глядящими на нас сквозь полупрозрачный кисель, который египтяне называют студнем. Смотритель хлопнул в ладоши, к нам подбежали три юные подавальщицы, нагие до пояса — их нежные груди подрагивали при каждом шаге; они принесли черепаший суп, превосходное белое вино из царских виноградников Ваал-Гамона, а также пропитанных маслом и запеченных в виноградных листьях неоперившихся голубков, охлажденную в колодце дыню, яблоки с сыром и чашу сладкого темного вина из сушеного винограда.

Закончив трапезу, Аменхотеп вытер губы салфеткой из тонкого биссийского полотна и проговорил:

— А обед недурен, не правда ли, Ефан?

Я поддакнул ему, сказал, что отобедал с огромным удовольствием и вообще не мог себе представить, насколько великолепно обслуживают и готовят в харчевне, принадлежащей правительственному ведомству.

Аменхотеп философски заметил:

— Значит, Ефан, далеко не все, что делают слуги правительства, бывает скверно, некачественно, не отличается выдумкой. Заимей хорошие отношения со смотрителем сего заведения, подмажь его соразмерной мздой, тогда и ты получишь изысканные яства, и приветят

тебя. Если же полагаться лишь на людскую добросовестность и верность долгу, то обслуживать тебя станут в последнюю очередь, а то и вовсе не станут, в супе же у тебя окажется песок, в колбасе — волосья.

— Печально,— сказал я и отпил сладкого темного вина.— Но разве не должны люди следовать Закону, слову Божьему, заветам мудрецов и пророков?

Аменхотеп внимательно взглянул на меня из-под своих подкрашенных век:

— Удивляюсь я тебе, Ефан. Вот ты изучил события недавнего и далекого прошлого. Разве ты не заметил, что мысль человека странно раздваивается, как раздваиваются и речи его. Кажется, будто мы одновременно живем в двух разных мирах: один — тот, который описан в учениях мудрецов, судей, пророков, а о другом вроде бы нигде не говорится, однако он не менее реален; в первом мире правит Закон и слово Божие; законы второго не писаны, но блюдутся так же строго. И подобная двойственность духа — благо, ибо иначе человек не смог бы жить так, как того требуют от него законы реального мира, одновременно следуя учениям мудрецов, судей и пророков; в отчаяние впадают лишь те, кто берет на себя постижение этой двойственности и пытается подчинить жизнь учению. Нет возврата назад в райский сад Эдемский, о котором я читал в ваших книгах, никто не может сделать несвершившимся грех вашего прародителя, вкусившего от древа познания добра и зла, люди научились жить с этим знанием.

— Острота ума вашего поразительна,— сказал я.— Вы затронули самую важную проблему моей работы над *Книгой царя Давида:* моя мысль тоже раздвоена, ибо я знаю одно, а говорю совсем другое, или говорю то, чего не думаю, и думаю то, чего не говорю, или хочу сказать то, чего не должен думать, и хочу узнать, чего никогда не смогу сказать, а потому верчусь в кругу, как собака, которая, силясь поймать блоху, кусает себя за хвост.

Нерешительно улыбаясь, я, из опаски запутаться еще больше, изложил без обиняков мою просьбу: хочу, дескать, еще раз переговорить с принцессой Мелхолой, чтобы расспросить ее насчет некоторых событий и обстоятельств, а поскольку Аменхотеп поставлен над царскими женами и наложницами и вдовами отца царя, то я рассчитываю на его помощь.

Подкрашенные веки прищурились.

— Я тебе друг, Ефан, сам знаешь. Однако принцесса Мелхола уже дважды беседовала с тобой, причем без свидетелей, и это обратило на себя внимание. Мудрейший из царей Соломон спросил, почему ты не докладываешь ему о том, что обсуждалось в ваших беседах с принцессой. В этом, видимо, нет особой нужды, объяснил я царю, ибо все, что обсуждалось в обеих беседах, будет включено *в Книгу царя Давида;* царь возразил, мол, еще неизвестно, куда заедет тот, кто слишком доверился ослу, а с Мелхолой неприятностей хватило и Давиду, его отцу.

Уставившись в свою пустую чашу, я со страхом подумал: о чем, интересно, говорили царь с евнухом на самом деле?

Аменхотеп сделал знак подавальщице, чтобы она наполнила мою чашу. Я вновь отпил темного сладкого вина, прислушиваясь к гортанному голосу египтянина.

— Ладно, Ефан,— говорил он,— не хмурься; может, Ангел твоего Бога еще переменит настроение Соломона, а может, Мелхола опять захочет поделиться с тобой своими воспоминаниями. Зато у меня есть для тебя приятная неожиданность, хороший хозяин всегда прибережет гостю на сладкое самое интересное.— Аменхотеп жеманно зало-

мил руки, загадочно улыбнулся и добавил: — Ты всегда интересовался прошлым, сдувал пыль с древних табличек, вглядывался в следы давно минувших лет. А я отведу тебя туда, где История творится сегодня, и ты, Ефан, увидишь ее собственными глазами.

...То ли вино то ли аромат цветов то ли жара то ли благовония этого кастрированного сына египетской шлюхи кружат мне голову до чего сильны его тонкие пальцы он сжимает мою руку наблюдая как творится история для этого он прильнул к просвету в живой изгороди за которой вот-вот сольется влюбленная пара интересно сколько еще похотливых глаз следят за этой парочкой Боже мой да ведь это же Адония верхней частью лица вылитый отец Давид зато губами и подбородком похожий на начальника лучников к которому некогда воспылала страстью его мать Аггифа... он стонет... Ависага... А-ви-са-га... тянется к ней будто она Ангел Божий только весь из плоти зрелой сочной плоти о эти глупые глаза этот глупый рот ну можно ли придумать что-либо более глупое чем прийти сюда на свидание к брату Соломона но глуп и Адония хорош из него был бы царь если в голове у него одна сунамитянка пожалуй тут он пошел в своего отца ведь и Давид не мог противостоять своим страстям он мог убить из похоти но никогда не стал бы так по-дурацки рисковать своей жизнью как его глупый сын который стонет А-ви-са-га срывая с нее покров за покровом а она покачивает бедрами проклятый евнух раздавит мне руку разве он способен что-либо чувствовать кроме умозрительного наслаждения а может ему доставляет извращенное удовольствие видеть как путается в своих одеждах уже немолодой любовник спеша освободиться от них о Боже неужели он Твое подобие неужели все мы выглядим так как сей узкогрудый пузатый тонконогий сын Израиля стонущий А-ви-са-га наверно это все-таки от вина от аромата цветов или от жары мне дурно меня тошнит когда творится История хорошо бы не извергнуть из себя черепаший суп пропитанных маслом и запеченных в виноградных листьях голубей дыню яблоки с сыром слава Богу он отпустил мою руку этот вонючий пес который остался жив по ошибке своих вонючих предков когда Господь поразил всех первенцев в Египте он беззвучно смеется над Ависагой над ее перламутрово-розовой кожей полными грудями над Ависагой которую выбрали изо всех дочерей Израиля чтобы ходить за Давидом когда он уже состарился и вошел в преклонные годы и никак не мог согреться а теперь она ласкает Адонию стоя перед ним на коленях он закатывает глаза и стонет и молит и клянется принести в жертву Господу двух козлят и бычка и снова стонет и ложится на нее этот узкогрудый пузатый тонконогий сын Израиля и пытается ублажить женщину а она извивается под ним и царапает себе лицо и визжит пусть Бог то и то со мною сделает и еще больше сделает и еще и еще еще еще...

После того как Адония, сын Давида, со слезами на глазах распрощался с прекрасной сунамитянкой Ависагой и каждый из них пошел своей дорогой, Аменхотеп, главный царский евнух, обратился ко мне:

— Хочу сделать одну поправку, Ефан. Однажды я сказал тебе, что нет никого глупее Ависаги во всем Израиле, но ни одна женщина не глупа окончательно, ибо если у нее отказывает голова, то за нее думает чрево.

— Мой господин прав,— откликнулся я,— только приходится опасаться за последствия тех мыслей, что исходят оттуда.

Тут Аменхотеп заломил руки, как бы желая показать своим жестом: это, мол, уж не его забота.

14

— О, госпожа,— сказал я,— раб ваш поспешил на зов, будто на крыльях херувима, очи мои исполнены благодарности, а сердце прыгает от радости, словно ягненок.

Принцесса Мелхола насмешливо скривила губы.

— Лучше благодари своего друга-египтянина, это по его ходатайству тебе разрешено прийти сюда; ему же царь велел внимательно слушать, что я скажу, а самое важное сообщить.

Аменхотеп вежливо поклонился:

— Уверен, госпожа не скажет ничего такого, что царю было бы неприятно.

Заметив, как принцесса закипает от возмущения, я поспешил заверить, что мои беседы с госпожой Мелхолой касаются давно минувших дней, поэтому не могут вызвать досады даже у самых щепетильных из наших современников.

— Давно минувшие дни...— повторил евнух.— А если разговоры о прошлом будут использованы для того, чтобы уничтожить нынешних высокопоставленных особ? Не вызовет ли это их гнева? Недаром у израильского народа есть пословица: «Боящемуся зеркала страшна даже лужа».

Принцесса нетерпеливо шевельнула рукой.

— Я старая женщина, которую смерть почему-то щадит.

— Вы, госпожа, неприкосновенны; никто в Израиле не смеет докучать вам,— Аменхотеп всплеснул руками,— но мой друг Ефан был так настойчив...

ЗАПИСЬ ТРЕТЬЕЙ БЕСЕДЫ ПРИНЦЕССЫ МЕЛХОЛЫ С ЕФАНОМ, СЫНОМ ГОШАЙИ, СДЕЛАННАЯ В ПОКОЯХ ГЛАВНОГО ЦАРСКОГО ЕВНУХА АМЕНХОТЕПА, ПРИСУТСТВОВАВШЕГО ПРИ БЕСЕДЕ

Вопрос: Чтобы не тратить времени зря, я вкратце перескажу, что, собственно, мне уже известно из других источников. Надеюсь, госпожа принцесса исправит вкравшиеся ошибки?

Ответ: Слушаю.

Вопрос: В ту пору, когда ваш супруг Давид, преследуемый царем Саулом, скрывался со своими людьми в Секелаге, вы оставались дома у вашего отца, а потом вас отдали Фалтию, верно?

Ответ: Да.

Вопрос: После смерти вашего отца Саула и вашего брата Ионафана вы последовали за остатками разбитого войска за Иордан и присоединились к вашему брату Иевосфею, который находился в Маханаиме; там вы жили с Фалтием, а еще взяли к себе пятерых сыновей вашей сестры Меровы.

Ответ: Да.

Вопрос: И за то время пока власть Давида все усиливалась и он стал наконец царем Иуды Давид не послал вам ни одной весточки, ни разу не дал знать о себе?

Ответ: Ни разу.

Вопрос: Вы тоже не посылали ему вестей?

Ответ: Нет.

Вопрос: Вы больше не питали к нему никаких чувств?

Ответ: Чувства женщины в расчет не берутся.

Вопрос: Но ведь вы были счастливы, узнав от Иевосфея, что Давид отправил послов сказать: «Отдай жену мою Мелхолу, за которую я заплатил сто краеобрезаний филистимских».

Ответ: Еще как счастлива... Но и горько мне было. И страшно. И Фалтия было жалко.

Вопрос: Ваш брат Иевосфей беспрекословно подчинился Давиду?

Ответ: Иевосфей, вероятно, рассчитывал, что взамен получит месяц-другой отсрочки.

Вопрос: А Давид когда-нибудь рассказывал, зачем вывез вас из Маханаима?

Ответ: Нет.

Вопрос: Каковы же все-таки, по-вашему, были причины?

Ответ: Могу только догадываться.

Вопрос: Мало кто знал Давида так близко, как вы, госпожа, поэтому очень важны и ваши догадки.

Ответ: О, для догадок у меня было достаточно времени по пути из Маханаима. Я ехала на ослике, палил зной, впереди, где скакал Авенир со своими людьми, позвякивало оружие, позади тяжело дышал Фалтий, державшийся за хвост моего осла. Я вспоминала Давида и сто, нет, двести филистимских краеобрезаний, уплаченных за меня; мне подумалось: он хочет вернуть себе приобретенное когда-то, ведь теперь Давид достаточно силен, чтобы сделать это. А потом я подумала: может, он все-таки хочет именно меня, хочет ту женщину, к которой некогда приходил и с которой спал? Но почему же он тогда так долго молчал? Из-за Авигеи, или из-за другой женщины, которых у него было великое множество, или из-за молодых мужчин, которых он порою предпочитал? И вдруг я поняла, что все его помыслы всегда занимало только одно: он — избранник Божий. Вот почему я понадобилась ему после стольких лет. На мне строились его расчеты, через дочь Саула он получал законное право на престол Саула.

(Здесь Аменхотеп перебил ее:

— Позвольте вам заметить, госпожа, что речь идет об отце мудрейшего из царей Соломона и о его троне.

— Я говорю о моем муже,— отрезала принцесса.)

Вопрос: Вернемся к путешествию. Вы остановились на том, как Фалтий шел за вашим ослом, держась за хвост.

Ответ. Бедняга. Но меня утешало то, что Фалтий рядом, пусть даже он держится за ослиный хвост; ведь Фалтий был единственным, кто действительно любил меня. Оборачиваясь, я каждый раз видела его глаза, полные любви. Ночью он прокрадывался в поставленный для меня шатер, клал голову на мое плечо, и слезы текли по его щекам, жалкой бороденке. Авенир и его люди, казалось, не замечали Фалтия, они не делились с ним съестными припасами, он довольствовался тем, что ему оставляла я. Когда мы добрались до Бахурима, границы племен Вениамина и Иуды, Авенир обернулся в седле и крикнул Фалтию: «Поди сюда!» Фалтий подошел и встал перед ним, как всегда чуть скособочившись, одно плечо ниже другого. Авенир сказал: «Ступай назад!» Фалтий поплелся назад, и больше я его никогда не видела.

(Принцесса глотнула ароматной воды из чаши на подносе, откинулась на подушки и прикрыла белесые веки.)

Вопрос: Можно ли продолжать, госпожа?

Ответ: Продолжай.

Вопрос: А те пятеро сыновей вашей сестры Меровы, ваши подопечные, они остались в Маханаиме?

Ответ: Мы с братом Иевосфеем решили, что мужскому потомству Саула безопаснее держаться от Давида подальше.

(Тут Аменхотеп опять заломил руки, причем с таким страдальческим видом, что я предпочел сменить тему.)

Вопрос: Что же произошло по прибытии в Хеврон?

Ответ: Очутившись на земле Иуды, где царствовал мой муж Давид, я ожидала, что меня встретят с почестями, достойными царской жены, впереди побегут скороходы, меня посадят в паланкин, осыплют подарками. Однако до Хеврона мне пришлось тащиться на моем усталом осле, которому седло изрядно намяло спину, хотя от самого Ба-

хурима, где мы пересекли границу Иуды, за нами постоянно следили. Когда впереди показался Хеврон, Авенир велел протрубить в трубу, от ворот прозвучал троекратный ответ, и двадцать всадников с начальником галопом выскочили из города. Отряд подъехал к нам, начальник отряда и Авенир, не спешиваясь, приветствовали друг друга, а потом они ускакали в город, оставив меня прямо в поле, посреди столпившихся бродяг и попрошаек. Те стали тянуть ко мне руки, щупали мою одежду, даже сандалии, трогали кольца, спрашивали: «Ты кто такая? Почему тебя бросили в поле с нищими?» «Я — Мелхола, дочь царя Саула!» — ответила я. Тут они принялись хохотать, кривляться, корчить рожи; я погнала осла к воротам, тогда калеки, убогие побежали за мною вслед с криком: «Глядите, люди! Царская дочь среди нищих! Великие времена настали для Иуды, разбойник и грабитель объявляет себя избранником Божьим, а шлюха — царской дочерью!»

(Аменхотеп сердито хлопнул в ладоши и гортанно приказал:

— Вычеркни это, Ефан!)

Вопрос: Но в конце концов, слуги царя Давида встретили вас и отвели к супругу, не так ли?

Ответ: О, да. Мне объяснили, что произошла ошибка; царь, дескать, сожалеет и просит извинить его. Меня выкупали, умастили маслами, надушили розами и миррой, одели в роскошные одежды. Я почувствовала, как тело мое оживает, сердце наполняется радостью; я лежала и ждала Давида, моего возлюбленного, отдавшего за меня двести краеобрезаний филистимских. С наступлением ночи он пришел. Он встал в круг света от светильника. Да, это был Давид — серые глаза с их удивительным блеском, губы, которых я не могла забыть; и все же он был мне чужим. Давид сел рядом со мною на ложе, посмотрел на меня и сказал: «Дочь Саула, несомненно!». «Отец мой, царь Саул, мертв»,— проговорила я. Давид сказал: «Ты станешь женой царя Израиля». «Иевосфей, мой брат,— царь Израиля»,— проговорила я. Но Давид лишь махнул рукой, словно стряхнул паука с одежды, и сказал...

(Тут Аменхотеп вскочил и выпалил:

— Отведайте гранатов, госпожа. Я получаю их от моего личного поставщика, он объезжает по моему поручению лучшие сады вокруг Израиля.

Он разрезал гранат, принцесса взяла сладкую мякоть плода, попробовала.)

Вопрос: Так что же сказал Давид, ваш супруг?

Ответ: Он сказал: «За последнее время я сочинил несколько недурных песен. Хочешь послушать? Сам я уже почти не пою, у меня есть начальник хора и певцы с разными голосами, высокими и низкими, они поют под лютню, псалтирь и гусли. Я пришлю их к тебе. Я поблагодарила его, сказав, что он очень добр и что я очень люблю его песни.

Вопрос: А что потом?

Ответ: Потом он положил мне на лоб четыре перста и сказал: «Да благословит тебя Господь в этом доме». И ушел.

СКОРОПИСНЫЕ ЗАМЕТКИ ЕФАНА, СЫНА ГОШАЙИ, СДЕЛАННЫЕ В ХОДЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ БЕСЕДЫ С ПРИНЦЕССОЙ МЕЛХОЛОЙ

два убийства одно за другим убраны Авенир и Иевосфей единственные кто еще мешал Давиду захватить власть надо всем Израилем
вопрос: чьей рукой убраны? рукой Господа или Давида?
совпадения:
в обоих случаях смерть выгодна Давиду который громко оплакивает покойника (к чему народ относится одобрительно)

в обоих случаях преступники твердо рассчитывают на благосклонность Давида однако тот проклинает их причем с немалой поэтической силой
различия:
возможно убийство Авенира Иоавом служит кровной местью за брата Иоава Асаила которого Авенир убил задним концом копья (см. побоище у Гаваонского пруда)
убийцы Рихав и Баан сыновья Реммона рассчитывают на вознаграждение от человека ради которого совершилось злодейство различается и то как Давид поступил с убийцами
Рихав и Баан казнены на месте (ср. казнь молодого амаликитянина сознавшегося в убийстве Саула)
когда Рихав и Баан приносят отрубленную голову Иевосфея Давиду тот говорит: «Если того, кто принес мне известие, сказав: «Вот, умер Саул», и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Секелаге, вместо того, чтобы дать ему награду; то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?»
в отличие от них Иоав лишь подвергается проклятию
Давид: «Пусть никогда не остается дом Иоава без семеноточивого, или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе». Это проклятие остается безо всяких последствий для дальнейшей карьеры Иоава (он возглавляет все военные походы Давида за исключением одного) лишь на своем смертном одре (ср. свидетельство Фануила, сына Муши) Давид говорит Соломону: «Поступи с ним по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю»
во время приезда Авенира в Хеврон Иоав отсутствует ибо участвует в небольшом военном набеге
царь Иуды Давид беседует с глазу на глаз с главнокомандующим Израиля Авениром
Давид сердечно прощается с Авениром у ворот Хеврона целует обнимает его из чего явствует что он доволен исходом переговоров
Иоав возвращается с богатой добычей узнает о приезде Авенира возмущается
Иоав Давиду: «Что ты сделал? Я слышал, к тебе приходил Авенир; зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова; он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой и разведать все, что ты делаешь».
немыслимо чтобы Давид поверил этому однако возможно он изменил свое мнение после отъезда Авенира и решил что проще заполучить трон Израиля если убрать Авенира
Иоав действует
вопрос: с ведома Давида или без?
Давид говорит по этому поводу: «Невинен я и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава»
по букве закона Давид оказывается невиновен
это вина исключительно Иоава
Иоав посылает гонцов вслед за Авениром они настигают его у колодца Сира и возвращают в Хеврон
Иоав встречает Авенира у хевронских ворот отводит в сторону как будто для того чтобы переговорить по секрету и поражает кинжалом под пятое ребро — любимый удар самого Авенира но на этот раз Иоав оказывается проворней
Давид как всегда распоряжается устроить торжественные похороны Авенира
все израильские вельможи в том числе Иоав раздирают свои одежды и переодеваются во вретища

Давид шествует за гробом на самое почетное кладбище Хеврона что находится на холме с видом на кипарисовую рощу
здесь Давид плачет над гробом Авенира плачет и весь народ

ПЛАЧ ДАВИДА О ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ КОНЧИНЕ АВЕНИРА, СЫНА НИРА

Смертию ли подлого
Умирать Авениру?
Руки твои не были связаны,
и ноги твои не в оковах,
и ты пал, как падают от разбойников.

Нашу третью беседу принцесса Мелхола заканчивала весьма раздраженно:

— Смотри-ка,— сказала она мне, кивая на главного царского евнуха,— до чего он похож на своих птицеголовых богов.

Я скромно промолчал.

— И ты, Ефан, тоже злишь меня — пишешь и пишешь. Все, что царь Соломон хочет знать от меня, я могу сказать ему прямо в лицо.

Я отложил вощеную дощечку, Аменхотеп поклонился и проговорил:

— Если госпожа желает, чтобы мы удалились...

— Оставайтесь,— сухо отозвалась Мелхола,— я хочу рассказать все до конца.— Она поднялась, худая, в черной одежде.— Не могу забыть голову Иевосфея. Остального уже почти не помню: ни походки, ни жестов, ни манеры говорить. В тот день Давид послал за мною на женскую половину хевронского дворца с приказанием: «Царь хочет видеть тебя». Я удивилась, но пошла за гонцом. Давид сидел в тронном зале меж херувимов, рядом стоял Иоав и остальные приближенные; поклонившись, я сказала: «Раба твоя пришла по зову твоему, господин». Он поднял руку, указывая на столик, где лежало что-то, укрытое темным платком. Давид проговорил: «Гляди, это брат твой Иевосфей». Слуга откинул платок, и я увидала голову; волосы сплетены в две косицы, связанные между собой, как ручка, чтобы удобнее нести; глаза, как два серых камешка; на бороде и горле — запекшаяся кровь.

Маленькими глотками принцесса отпила ароматной воды. Затем своей надменной походкой она подошла к Аменхотепу, легонько стукнула его веером по руке и сказала:

— Можешь удалиться, если это звучит слишком жестоко для изнеженного слуха египтянина.

— Будь египтяне слишком изнежены, госпожа,— отозвался он,— мы не сумели бы заставить ваших предков таскать глыбы для наших великих пирамид.

— Тем не менее мы выжили,— сказала принцесса.— Мы вообще весьма жизнестойки.— Наморщив лоб, она помолчала.— На чем мы, собственно, остановились? Ах, да... Так вот, мой муж Давид повернулся к двум мужчинам, стоявшим рядом, и велел: «Будьте любезны, Баана и Рихав, сыновья беерофянина Реммона, повторите ваш рассказ моей жене Мелхоле, дочери Саула и сестре Иевосфея». Баана и Рихав побледнели, лица их стали менее самоуверенны, они принялись рассказывать: «Мы пришли к дому Иевосфея в самый жар дня и проникли внутрь без помех, ибо Иевосфей давал нам разные поручения насчет Авенира, сына Нирова, и его стражники знали, что он ждет нас. Мы дошли до спальни, где Иевосфей лежал, похрапывая, на постели своей, а вокруг лица его летали мухи. Тут мы поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собою, и шли пустынною дорогою всю ночь. Мы принесли голову Иевосфея в Хеврон к вашему супругу царю Давиду и сказали: «Вот голова Иевосфея, сына

Саула, врага твоего, который искал души твоей; ныне Господь отмстил за господина нашего Саулу и потомству его».

Принцесса Мелхола села, скрестив руки на коленях. Я видел, как опустились уголки ее губ, видел морщины на ее лице, и думал о Давиде, о его поразительном даре устраивать зрелища, подобные тому, о котором шла речь.

— Давид поднялся,— продолжала принцесса,— и сказал: «Слушайте, сыновья Реммона, и ты, Мелхола, дочь Саула». Он заговорил об юном амаликитянине, который некогда принес ему в Секелаг венец Саула и запястье с его руки в надежде на награду, однако Давид приказал убить амаликитянина. Тут Давид, обращаясь к Баану и Рихаву, ко мне и остальным присутствующим, повысил голос: «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби, я сурово покараю негодных людей, убивших человека невинного в его доме на постели его! Неужто не взыщу я крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» Баана и Рихав взмолили о пощаде, подняли крик, но Давид отдал приказ слугам, и те убили их; братьям отрубили руки и ноги, а тела повесили над прудом в Хевроне.

Принцесса сложила руки.

— Не знаю, какая извращенная прихоть побудила Давида распорядиться, чтобы голову Иевосфея похоронили во гробе Авенира в Хевроне. Разве Иевосфей не был такой же жертвой Авенира, как и убийц Баана и Рихава? А может, смертная близость обоих была каким-то символом, тайным сравнительным знаком, понятным только Давиду и Богу?

15

ЗАМЕТКИ И СУЖДЕНИЯ ЕФАНА, СЫНА ГОШАЙИ, О ВНЕШНИХ ВОЙНАХ ДАВИДА И ОБ ИНЫХ СОБЫТИЯХ ВРЕМЕН ЕГО ЦАРСТВОВАНИЯ, ОБСУЖДЕННЫЕ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ЦАРСКОЙ КОМИССИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЕДИНСТВЕННО ИСТИННОЙ И АВТОРИТЕТНОЙ, ИСТОРИЧЕСКИ ДОСТОВЕРНОЙ И ОФИЦИАЛЬНО ОДОБРЕННОЙ КНИГИ ОБ УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЕ И Т. Д.

Всем одарит Господь Своего избранника, а кому Он судил пасть, тот будет повергнут.

Как за алефом следует бет, так за убийством Иевосфея неизбежно последовало помазание Давида. Старейшины всех колен Израиля пришли к нему и сказали: «Вот, мы — кости твои и плоть твоя; еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты водил Израиль в походы и возвращался с богатой добычей, поэтому надлежит тебе стать царем над Израилем». Давид заключил с ними завет в Хевроне пред Господом, и они помазали его в царя над Израилем.

Однако после стольких злодейств и бед, убийств и интриг такой исход не вполне устраивал Давида.

ОБРАЩЕНИЕ ДАВИДА К ВОЙСКУ ПЕРЕД ШТУРМОМ КРЕПОСТИ СИОН, ЗАЧИТАННОЕ ВАНЕЕЙ, СЫНОМ ИОДАЯ, НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ

— Сыны Израиля и Иуды, слушайте избранника Божьего. Священники принесли жертвы и вопросили Бога через урим и тумим; они клятвенно заверяют, что наступил самый благоприятный день, чтобы взять Иерусалим, город Иевусеев, отобрать его у язычников. Мне привиделся сон, в котором Бог, Господь воинств наших, явился мне и ска-

зал: «Я вывел Израиль из Египта днем. Я шел пред вами, показывая путь, в столпе облачном, а ночью — в столпе огненном; вот и теперь пойду Я пред тобой и народом твоим, если пойдете вы на стены Иерусалима».

(Крики «Ура!»)

Храбрецы мои, меч ваш ужасает врагов; падите ниц пред Господом и поклонитесь ему, и возблагодарите за то, что Он избрал вас на этот день. Во веки веков потомки станут завидовать вам, ибо изо всех сынов Израиля вам выпала честь пойти на крепость Сион и взять ее во славу Бога, Господа нашего, и во славу вашего царя Давида, и этим обессмертить свои имена, а также поживиться богатой добычей, ибо каждому многое достанется.

(Громкие крики «Ура!»)

До меня дошли разговоры, а слух у меня острый, так вот, до меня дошли такие разговоры — некоторые спрашивают: «Зачем Давиду Иерусалим? Почему он хочет сделать именно Иерусалим своим городом? Ведь это лишь груда камней, где летом жарко, зимой холодно, и вообще — место тут унылое. Но мне был сон, о котором я уже говорил: Господь сказал мне: «Тебе, Давид, царствовать надо всеми коленами Израиля, поэтому быть твоему городу не в Иуде, и не в Вениамине, и не в Манассии, и не на земле любого другого колена, у тебя должен быть твой собственный город, посредине; Я же, Господь, Бог твой, Сам приду к тебе, и буду жить в Иерусалиме на благо обитателей его и всего Израиля». Сами видите, храбрецы мои, что Господь уготовил Иерусалиму великую роль, потому нам и надлежит взять этот город.

(Крики «Ура!»)

Кроме того, поговаривают, а слух у меня воистину остр, будто крепость Сион и город Иерусалим столь неприступны, что защитить их смогут даже хромые и слепые. Эту ложь распространяют враги Давида. Во сне, который я упоминаю уже в третий раз, Господь сказал мне: «Давид, в скале есть тайный ход, он ведет под стеной города от источника к подземному водоему; кто пройдет по этому ходу и выйдет в тыл врагов и поразит их, тот совершит благо в очах Господа».

(Возгласы удивления. Крики «Ура!»)

А потому, храбрецы мои, говорю я вам: «Пусть то и то сделает со мною Бог и еще больше сделает, если Иерусалим не будет взят до наступления ночи. А кто первым спустится в подземный ход, дойдет до водоема и поразит иевусеев с их хромыми и слепыми, того назначу моим главным военачальником. Трубач, труби на приступ!»

(Нескончаемые крики «Ура!» Трубач подает сигнал «На приступ!»)

Ванея, сын Иодая, закончил чтение. Члены комиссии, явно испытывая неловкость, разглядывали ногти или почесывали носы. Причина смущения была очевидной: ведь первым спустился в подземный ход, добрался до водоема, вступил в схватку с иевуссеями и побил их не кто иной, как Иоав, однако именно об Иоаве царь Давид завещал Соломону следующее: «Поступи с Иоавом по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю».

Наконец, дееписатель Иосафат, сын Ахилуда, всплеснув руками, сказал:

— Не понимаю сомнений насчет того, как писать в нашей Книге об Иоаве. Разве Книга Бытие не повествует вполне откровенно о змие, разве не повествует она о Каине, убившем своего брата Авеля? В иных странах лицо, неугодное царю, упоминается в книгах обычно лишь мельком или не упоминается вовсе, человек не просто попадает в опалу, но как бы вообще перестает существовать, а его дети оказываются ничьими. Такой подход характерен для язычников, но, главное, он лишен мудрости, ибо полное искажение факта вводит в заблуждение

лишь полных глупцов, зато подрывает доверие ко всей книге; каждый новый языческий государь, восходя на престол, повелевает переписать историю заново, и те, кто был в опале при прежнем царе, вновь извлекаются на свет божий, а недавние любимчики впадают в немилость, таким образом, история целого народа зависит от того, какое ее издание мы читаем. Мудрейший из царей Соломон желает, чтобы роль сомнительного лица освещалась более тонко; там, где истину надо подправить, следует делать это лишь слегка, и вообще, нужно действовать более искусно, дабы народ верил написанному; короче говоря, царь весьма надеется, что *Единственно истинная и авторитетная, исторически достоверная и официально одобренная Книга об удивительной судьбе и т. д.* окажется гораздо долговечнее всех других исторических трудов.

Ванея заметно помрачнел. Яростно засопев, он проговорил:

— Довольно! Пусть Бог то и то со мною сделает, если я не устрою открытого суда над Иоавом. У меня хватит улик и его собственных признаний, чтобы повесить его дважды, даже трижды; ему отрубят голову, а тело прибьют гвоздями к крепостной стене. На этом суде он расскажет народу правду во всех подробностях, так что ничего подправлять не понадобится — ни тонко, ни как-либо иначе.

Иосафат лишь вежливо улыбнулся. Проведение суда, заметил он, безусловно относится к компетенции господина Ванеи с царского, разумеется, на то соизволения; но одно дело кого-то повесить, совсем другое — написать о нем.

Вот — царь Давид в зените славы.

Волосы повыцвели, бороду тронула седина. Постоянная необходимость быть начеку заложила у глаз морщинки, а сами глаза утратили прежний блеск.

(Иосафат: «Тут надо бы добавить, что Господь поставил Давида вождем Израиля, избранного народа Его».)

Давид поселился в крепости Сион и назвал ее градом Давидовым. Он обстроил его вокруг и внутри. Он договорился с тирским царем Хирамом, чтобы тот прислал кедровых деревьев, а также плотников и каменотесов, которые построили Давиду дворец.

К числу прежних жен и наложниц он добавил дочерей Иерусалима. Ему понадобились свежие женщины и новые сыновья, а кроме того, он надеялся вводом в свой дом здешних красавиц расположить к себе местное население.

(Елихореф: «Здесь хорошо бы перечислить имена сыновей, рожденных Давидом в Иерусалиме»).

Он бесспорно избранник Божий. Если дом Саула после смерти его основателя пал, то дому Давида — стоять во многих поколениях. Власть его освящена высокой целью. Псалмы Давида содержат прежде всего эту мысль; придворным музыкантам Давид дает не только тексты, но и точные указания для исполнения псалмов. Однако Давиду нужен более надежный символ своего божественного призвания.

Он вспоминает о ковчеге Завета.

(Нафан: «Хорошо бы посвятить особую главу переносу ковчега Божьего в Иерусалим».)

Ковчег Завета! На нем восседает меж херувимов незримый Яхве; перенести ковчег в Иерусалим, значит, перенести сюда вместе с ним и непостижимого, непостоянного Бога племен израильских; где Бог, там и власть.

Но куда подевался ковчег? Расспросы показали, что в последний раз его видели при Самуиле, когда пророк судействовал, точнее — вскоре после того, как ковчег захватили филистимляне, которых Господь поразил за это язвами и наростами, из-за чего филистимляне возвратили ковчег Израилю; с тех пор он пылился в сарае некоего Аминодава в Кириафариме, что неподалеку от холма Божьего.

(Священник Садок: «Подробности, умаляющие святость предметов культа, лучше опустить».)

Ковчег почистили от паутины и покрасили заново, после чего царь Давид с тридцатитысячным сопровождением отправился к дому Аминодава, чтобы забрать оттуда ковчег. Его поставили на новую колесницу, вести которую поручили Озе и Ахию, сыновьям Аминодава.

Давид хорошо понимает, чем обязан Господу, поэтому устраивает небывало торжественное шествие; бесчисленные музыканты «играют пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах, словом, шум страшный. И впрямь: когда колесница доезжает до гумна Нахонова, волы шарахаются в сторону, ковчег кренится набок, и Оза пытается удержать его. Господь гневается на Озу и поражает за дерзость. Оза умирает тут же, у ковчега Божьего.

(Священник Садок: «Дабы не возникло сомнений в вечном милосердии Господа, слова для этого эпизода следует выбирать поосмотрительней».)

Давид устрашается; если уж Оза погиб только из-за того, что поддержал ковчег без должного благоговения, какая же кара ждет святотатца, решившего воспользоваться ковчегом для своекорыстных целей?

Давид решает избавиться от опасной вещи. Тело Озы оставляют лежать на месте, а ковчег Господень везут в близлежащий дом гефянина Аведдара, чтобы посмотреть, что будет дальше — ведь если Господь продолжает гневаться, он поразит и Аведдара.

(Ахия: «Уместно подчеркнуть избрание для этой цели иностранца-гефянина, что свидетельствует о великой любви Давида к своим соотечественникам-израильтянам».)

За три месяца наблюдений нет ни одной дурной вести; Аведдара не только не поразили водянка, язвы или гнойные нарывы, напротив, дом его и хозяйство процветают, судя по всему, с благословения Господа.

Давид решается предпринять еще одну попытку. На этот раз через каждые шесть шагов, проделываемые шествием, приносятся в жертву телец и овен. Сам Давид, одетый в льняной священнический ефод, «скакал и плясал перед Господом изо всей силы», чем привел в ликование толпу, восхищавшуюся мужскими достоинствами Давида, зато Мелхола, увидев из окна заголившегося царя скачущим перед чернью, «уничижила его в сердце своем»; так Давид проводил ковчег до специально построенной скинии.

(Елихореф: «Дабы отметить щедрость Давида, можно указать, что в этот день израильтянам, присутствовавшим на празднике, как мужчинам, так и женщинам, было роздано по одному хлебу, куску жареного мяса и кружке вина каждому».)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОБЕД ДАВИДА НАД МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ЧУЖЕЗЕМНЫМИ ВРАГАМИ; СОСТАВЛЕН ВАНЕЕЙ, СЫНОМ ИОДАЯ, И ПЕРЕДАН КОМИССИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КНИГУ ЦАРЯ ДАВИДА

ПЕРВЫЙ ФИЛИСТИМЛЯНСКИЙ ПОХОД

Филистимляне вторгаются в Израиль через долину Рефаим. По вразумлению Господа Давид атакует их в лоб под Ваал-Перацимом. Филистимляне бегут, оставив истуканов своих, которых Давид приказывает сжечь.

ВТОРОЙ ФИЛИСТИМЛЯНСКИЙ ПОХОД

Филистимляне совершают повторный набег, причем вновь через долину Рефаим. На этот раз Господь советует совершить обходный маневр, чтобы зайти в тыл противника, и Сам подает сигнал к наступлению шумом в верхушках тутовых деревьев. Давид следует совету и поражает филистимлян от Гавая до Газера.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПОБЕЖДЕННЫХ

Сопротивление рассеянного войска окончательно сломлено; взяты филистимские города; пять царств прекращают существовать.

ПОКОРЕНИЕ МОАВА

Давид нападает на моавитян и разбивает их. Из каждых трех вражеских воинов убиты двое, остальные моавитяне стали рабами Давида, платящими дань.

ВЕЛИКИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ПОХОД

Сувский царь Адраазар грозит восстановить свое владычество на берегах Евфрата. Давид нападает на него и одерживает победу; пленены двадцать тысяч человек пеших и семьсот всадников, захвачена тысяча колесниц. Золотые щиты офицеров Адраазара, весьма много меди взято Давидом из Бефы и Берофы, городов Адраазаровых, и принесено в Иерусалим.

ЗАХВАТ ДАМАСКА

Дамасские сирийцы приходят на помощь царю сувскому Адраазару. Давид поражает двадцать две тысячи сирийцев, ставит охранные войска в Сирии Дамасской; сирийцы делаются рабами Давида, платящими дань.

ПОКОРЕНИЕ ИДУМЕИ

Возвращаясь из Сирии, из долины Соленой, Давид поражает восемнадцать тысяч сирийцев. Он ставит в Идумее охранные войска, и все идумяне делаются рабами Давида, платящими дань.

ВЕЛИКИЙ ПОХОД ЗА ИОРДАН

Разгневался царь аммонитский Аннон и обрил израильским послам каждому половину бороды, обрезал одежды их наполовину и отпустил с голым задом. Услышав об этом, Давид посылает Иоава с войском. В двойном сражении у ворот Раввы поочередно разбиты сирийцы и аммонитяне. Сирийцы вновь собираются с силами, к тому же они получают подкрепление от царя Адраазара. Давид созывает всех израильтян, переходит Иордан и направляется к Еламу, где побеждает объединенное войско сирийцев под командованием Совака, военачальника царя Адраазара. Давидово войско истребляет сорок тысяч всадников и воинов семисот колесниц, военачальник Совак умирает от ран. Все цари, покорные Адраазару, видя, что они побеждены израильтянами, заключают с ними мир и покоряются им; Аммон разорен Иоавом, Равва разрушена при осаде. Ее жители стали рабами Давида, а украшенный драгоценными каменьями венец аммонитского царя весом в талант золота Давид возложил себе на голову.

ОБЩИЙ ВЫВОД

Господь хранил Давида во всех походах.

— А теперь, господа,— проговорил дееписатель Иосафат, сын Ахилуда,— переходим к последнему на сегодня вопросу: почему царь Давид, хотя и перенес ковчег Божий в Иерусалим, однако Храм для него не стал строить сам, а уступил эту честь своему сыну и наследнику Соломону?

Я испугался, что Иосафат заставит меня отвечать на этот вопрос. Из-за непомерных расходов Храм служил постоянной причиной недовольств, и многие в народе хвалили Давида за то, что старый царь, не в пример сыну, мудро отказался от столь грандиозного строительства, пусть даже речь и шла о святом Храме.

Иосафат с улыбкой взглянул на меня:

— Что скажешь, Ефан?

Он не хуже меня, да и всех остальных членов комиссии, знал, почему Давид отказался от строительства Храма. Бережливость тут ни при чем. На постройку собственного дворца он не пожалел денег; Давид вообще не скаредничал, когда желал показать величие своего царства. Подлинной причиной было опасение распрей с духовенством. Перенос ковчега Божьего в Иерусалим и без того породил немалые обиды, ибо доходы храмов в Силоме и Сихеме сразу же упали, не говоря уж о сотнях мелких святилищ по всей стране — ведь каждое из них кормило священнослужителей; Давид тревожился, что Храм со всем его великолепием, кедровым деревом, мрамором, медью, драгоценными украшениями возбудит зависть священников, а та перерастет в открытую вражду, чем умножит заботы, которых, несмотря на многочисленные военные победы, у царя и без того хватало.

Поэтому я ответил: насчет Храма и всего, что его касается, пристало судить лишь людям Божьим, мне же бедному сосуду скудельному остается ждать, чтобы меня наполнила мудрость их слов. Тут священник Садок и пророк Нафан принялись уговаривать друг друга выступить, пока Ванея не рявкнул, что эдак комиссия прозаседает до ночи.

Наконец слово взял Садок.

— Как известно присутствующим,— начал он,— Давид собирал потребное для строительства храма; множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых деревьев без счету. Потом призвал он Соломона, который был еще молод и малосилен, и сказал: «Сын мой! У меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего, чтобы был этот дом весьма величествен, на славу и украшение пред всеми землями. Но было ко мне слово Господа: «Ты пролил много крови и вел большие войны; ты не должен строить дома имени Моему. Вот, у тебя родится сын, он будет человек мирный; я дам ему покой от всех врагов кругом, посему имя ему будет Соломон. Он построит дом имени Моему, и он будет Мне сыном, а Я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек».

Тут все захлопали в ладоши, а Иосафат сказал, что сия история весьма поучительна и глубока по смыслу, особенно там, где речь идет о мудрейшем из царей Соломоне. Однако пророк Нафан вскинул брови и спросил, считает ли комиссия целесообразным привлекать внимание к чрезмерному кровопролитию, которое якобы совершил царь Давид.

Иосафат заметил:

— Возможно, господин Нафан располагает иными сведениями и готов поделиться ими?

Охотно, сказал Нафан, тем более, что эти сведениия абсолютно достоверны, ибо получены непосредственно от Господа. В книге воспоминаний, над которой он сейчас работает и которую предполагает назвать Книгой Нафана, все доподлинно записано; он, Нафан, с удовольствием зачитает членам комиссии соответствующую главу.

Иосафат поблагодарил Нафана и от имени членов комиссии при-

нял любезное предложение; Нафан щелкнул пальцами, двое рабов тотчас внесли корзину с глиняными табличками. Он сунул руку в корзину, достал первую табличку и начал читать главу под названием «Сон Нафана».

Сон был замечателен и весьма содержателен. Разумеется, в нем явился Господь и долго беседовал с Нафаном о том, как Он вывел израильтян из Египта и расселил колена, о временах Судей; во все эти годы и до сего дня, сказал Господь, Он жил, дескать, в шатре и скинии, а потому Ему ничего не стоит потерпеть еще.

Тут Нафан возвысил голос, ибо перешел к повелению Господа: «Ступай и возвести рабу моему Давиду: «Когда исполнятся дни твои и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном, и Я утвержу престол царства его на века».

Нафан помолчал.

Потом добавил:

— Слова эти и весь сон я доподлинно передал Давиду.

Члены комиссии опять громко захлопали, а Иосафат заявил, что сон очень важен и исполнен глубокого смысла, особое значение имеет предсказание насчет семени Давида, которое произойдет из чресел его. Священник Садок недоуменно пожал плечами: чудеса да и только! Ведь в истории, которую он сам изложил комиссии, Господь произнес почти те же самые слова, что и во сне Нафана, записанном в книге воспоминаний.

Дееписатель Иосафат, сын Ахилуда, смущенно кашлянул, затем повернулся ко мне и спросил:

— Ефан, скажи-ка как редактор, который из двух материалов ты лично включил бы в Книгу царя Давида — рассказ Садока или сон Нафана?

— Схожесть слов Господа в обоих изложениях,— сказал я, помедлив,— свидетельствует об их божественном происхождении. Значит, рассудить тут может только Бог. По мнению раба вашего, придется бросать жребий или голосовать.

— Голосуем,— рявкнул Ванея,— и делу конец.

Получилось три голоса против трех, ибо Ванея, писец Ахия и Садок проголосовали за рассказ Садока, а Иосафат, другой писец Елихореф и Нафан — за сон Нафана. Поэтому вопрос был передан на решение мудрейшему из царей Соломону[1].

16

ЗАПИСКИ ЦАРЯ ДАВИДА О РАЗМОЛВКЕ С ЕГО СУПРУГОЙ МЕЛХОЛОЙ ПО ОКОНЧАНИИ ТОРЖЕСТВЕННОГО ШЕСТВИЯ В ЧЕСТЬ ПЕРЕНОСА КОВЧЕГА БОЖЬЕГО В ИЕРУСАЛИМ

Путь был долгим, день знойным, дорога пыльной, и утомился я от моего танца пред Господом. По-моему, после всего этого человек вправе рассчитывать, что дома о нем позаботятся, дадут прохладительных напитков, согреют воды, чтобы омыть ноги, разве не так?

Однако Мелхола, дочь Саула, встретила меня у дверей нестерпимо ехидным взглядом, а когда я спросил, где остальные, она ответила: «Господин мой найдет их на площади или у городских ворот среди бродячих сказителей, музыкантов, лицедеев и фокусников; ведь не каждый день царь устраивает такой праздник и зрелище». А почему

[1] Соломоново решение, принятое через несколько месяцев, гласило: «Включить в Книгу оба текста».

же ты дома? — спросил я. Она ответила: «Я — царская дочь, мне не место среди черни; кроме того, я довольно насмотрелась и из окна». Вот как, говорю, хороша картина, не правда ли?

Она глядит на меня. Вижу, она волнуется, дышит глубоко, грудь ходуном, а грудь у нее до сих пор высокая, упругая; и тут начинаются насмешки: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек!»

О, Господи! Чувствую, ярость охватывает меня, туманит голову; мне вспоминаются двести филистимских краеобрезаний, которые ее отец потребовал в качестве свадебного подарка; я говорю: «Пред Господом играл и плясал я, слышишь, пред Господом, который предпочел меня твоему отцу и всему дому его, утвердив меня вождем Израиля, народа Господнего. Я еще больше уничижусь и обнажусь пред очами Его. Что же до женщин, то я не стыжусь того, что они увидели и что кое-кому приносило наслаждение, а вот у тебя впредь не будет детей до дня смерти твоей».

«Можно подумать,— хрипло сказала она,— будто ты хоть раз приходил ко мне с любовью после того, как забрал меня от Фалтия и держал у себя в Хевроне, а потом в Иерусалиме».

На это я: «К чему умножать моим семенем род Саула, который враждебен мне?»

«О, Давид!» — воскликнула она. И еще: «Господь Бог знает, сердце твое — кусок льда, который замораживает любовь твоих близких к тебе и несет смерть душе твоей. Наступит день, когда ты сам почувствуешь, как тебе холодно, но ни одна из дочерей Израиля уже не сможет согреть тебя...»

Лицедеи разыгрывают у городских ворот представление о том, как в Гиве повесили семерых сыновей царя Саула и как Рицпа, наложница Саула и мать повешенных, сидела под виселицей, не допуская, чтобы птицы небесные днем и звери полевые ночью касались мертвых тел; она просидела так от начала жатвы до дождей и этим победила царя Давида.

Точнее, пятеро из семерых были не сыновьями Саула и Рицпы, а внуками Саула от его дочери Меровы, которая умерла молодой, поэтому ее детей взяла на воспитание сестра Меровы принцесса Мелхола; она стала им второй матерью. Значит, вновь в руке Мелхолы светильник, способный рассеять мои потемки, однако доступа к принцессе у меня нет.

Посоветовавшись с Есфирью, я предпочел не попадать в еще большую зависимость от Аменхотепа и обратился к дееписателю Иосафату с просьбой исхлопотать мне разрешение на еще одно свидание с Мелхолой. Через несколько дней Иосафат вызвал меня к себе и сказал:

— Ефан, госпоже Мелхоле нездоровится. Мудрейший из царей Соломон полагает, что тебе лучше спрашивать у меня.

У меня аж сердце захолонуло, настолько ясно я понял, что царь мне не доверяет; его советники во мне сомневаются, отсюда и запрет на беседу с Мелхолой. Однако мне удалось взять себя в руки и выразить сожаление насчет нездоровья принцессы, после чего Иосафат потребовал рассказать, о чем я намеревался расспрашивать ее.

— О, господин,— ответил я,— вопросы подобны древу, на котором из каждой ветви вырастает множество иных.

— По-моему, Ефан,— сказал Иосафат,— ты переоцениваешь собственную роль. Писцу надлежит записывать, а не размышлять. Настоящий ученый умеет обходиться тем, что ему уже известно.

— Раб ваш ведет поиски не ради поисков и не по своей прихоти,— возразил я.— Разве не сам мудрейший из царей Соломон поручил мне это дело? Разве не он обещал помощь, если я засомневаюсь

и не смогу отличить правду от кривды? Почему же мне никто не помогает? Почему от меня утаивают, скрывают то, что мне необходимо знать для Книги? Лучше уж мне вернуться в мой родной городишко и жить себе спокойно, не терзаясь из-за недомолвок и отговорок.

— Ладно, спрашивай! — сказал Иосафат и наморщил лоб.

— Мне хотелось бы услышать о том, как царь Давид плясал пред ковчегом Божьим, а Мелхола видела это из окна и уничижила его в сердце своем...

— Ясно,— проговорил Иосафат,— об этом шла речь на последнем заседании комиссии. Только неужели, по-твоему, обычная размолвка между супругами заслуживает упоминания в серьезном историческом труде?

— Пляска царя пред ковчегом Божьим есть священнодействие, а значит, вполне заслуживает упоминания в серьезном историческом труде; если же супруга царя бранится с ним по этому поводу, то стыд ей и позор.

Вздохнув, Иосафат сказал, что предвидел мой вопрос и заранее приготовился к нему, после чего вручил мне несколько глиняных табличек. Похоже, это были заметки личного характера, написанные человеком образованным, буквы — округлы, много сокращений.

Вдруг мне почудилось, будто меня опахнуло крыло судьбы, и я спросил, хотя уже знал ответ сам:

— Рука царя Давида?

Иосафат кивнул.

— Да, из моих архивов.

Он позволил мне читать без спешки. Позднее я даже переписал текст, который и приведен выше. Когда я закончил чтение, Иосафат спросил:

— Что скажешь?

— Одному Богу ведомо,— ответил я,— что творится в сердцах мужчины и женщины, когда они так связаны друг с другом, как Давид и Мелхола.

— И больше ты ничего не вычитал?

Я промолчал.

— Разве не чувствуешь страха в словах Давида, разве не видишь призраков, которых он боится? И все эти призраки на одно лицо, все похожи на Саула.

Странно, подумал я, чего это он разоткровенничался? Может, судьба моя решена, жить мне уже недолго, поэтому не надо бояться, что успею что-либо разболтать?

— Прошу прощения,— сказал я,— но, по-моему, Давид не из тех, кто боится призраков, тем более, что он общается с ангелами и даже с самим Господом Богом.

Иосафат улыбнулся.

— Хорошо, взгляни на это дело, как говорится, здраво, Ефан. Ведь Давид захватил власть силой, поэтому ему кажется, будто другие замышляют против него то же самое. Создание государства было исторически необходимо и потому угодно Господу, но ожесточились старейшины, ибо ущемлены их интересы. Войны Давида потребовали больших расходов на содержание чиновников понадобились немалые народные деньги, так что вскоре сыны Израиля затосковали о старых добрых временах царя Саула, когда венценосец еще сам ходил за плугом, а крестьянину оставалась главная часть урожая. Разве не следует ожидать в таком случае, что разочарованные и недовольные, обездоленные и несчастные вознадеются на дух царя Саула, то бишь на его живых потомков?

А уж тут, додумал я до конца рассуждение Иосафата, даже самому здравомыслящему человеку начнут мерещиться в каждой случайной кучке людей — мятеж, в каждом шепотке — заговор. Долго ли

тогда государству, созданному во славу Господа, превратиться в Молоха, питающегося телами невинных?

— Не намекает ли мой господин,— пролепетал я, пугаясь собственной смелости,— на то, что пятеро сыновей дочери Саула Меровы и двое сыновей его наложницы Рицпы повешены по приказанию Давида?

— Тебя это волнует?

— Мне прекрасно известно,— поспешил заверить я,— что эти семеро молодых людей умерщвлены не Давидом, а жителями города Гивы, которые даже не являются израильтянами, а принадлежат к прежнему населению страны, то есть к остаткам аморреев, однако я просто не представляю себе, чтобы шайка жалких туземцев посмела бы казнить израильтянина без царского на то согласия.

— И тебе чудится,— заключил Иосафат,— будто размолвка между Давидом и Мелхолой имеет какое-то отношение к казни в Гиве.

Вероятно, я сильно побледнел, потому что он как-то странно посмотрел на меня.

— Только люди злонамеренные, недоброжелатели царя Давида могут дерзнуть такое помыслить,— пробормотал я.— Но нельзя же умолчать об этой казни в нашей Книге, раз уж ее разыгрывают даже уличные лицедеи.

— Ах, Ефан,— сказал Иосафат,— хоть ты и историк, а избранника Божьего царя Давида знаешь плохо. Он сам заготовил ответ любому, кто попытался бы очернить его.

Видно, его рассмешило выражение моего лица, поэтому он весело добавил:

— Помнишь, наверно, что во дни Давида был голод? Не особенно долгий, всего три года. Однако в народе поднялась смута, пошел слух, дескать, Господь наказал Израиль за кровь на руках царя. Слух долетел до Давида, ибо у него были свои уши даже в самой захолустной деревушке. Давид сказал мне: «Иосафат, кровь, что на руках моих, пролита во славу Господа и ради благой цели, поэтому не из-за меня наказывает Господь народ Израиля. Постарайся припомнить, нет ли на ком кровной вины, которая еще не искуплена и не отпущена, тогда, возможно, нам удастся покончить и с голодом, и с нелепым слухом».

Иосафат подлил себе вина.

— Тут мне пришло на ум,— продолжил он,— что в самом начале своего царствования Саул совершил поход на Гаваон и истребил гаваонитян, хотя Израиль и давал им клятву о мире. Я напомнил Давиду эту историю, он закрыл глаза, склонил голову, будто к чему-то прислушивается, а когда очнулся, то сказал, что ему был глас Божий, который он узнает среди тысячи других; Господь поведал ему: голод послан из-за Саула и кровожадного дома его, умертвившего гаваонитян.

Иосафат поглядел на свою чашу, словно опасаясь, как бы вино в ней не прокисло.

— Царь велел мне привезти оставшихся гаваонитянских старейшин в Иерусалим и объявить им, что Давид намерен искупить клятвопреступление Саула. Когда гаваонитяне предстали перед ним, Давид спросил: «Что мне сделать для вас и чем примирить вас?» Те ответили: «Не нужно нам ни серебра, ни золота от того человека, который губил нас и хотел истребить нас, выдай нам его потомков семь человек, и мы повесим их пред Господом».

Отпив вина, Иосафат причмокнул и сказал:

— Кое-кто у нас утверждал, что гаваонитяне потребовали именно семерых потому, что без Мемфивосфея, сына Ионафана, потомков Саула осталось именно семеро, Мемфивосфей же был калекой и не мог стать царем. Впрочем, утверждавших подобное клеветников оказалось немного, зато народ считал, что Давид должен выполнить требование гаваонитян, дабы голод прекратился.

— А как отнеслась к этому прискорбному событию принцесса Мелхола? — спросил я.

— С достоинством,— ответил Иосафат.— Со всегда присущим ей достоинством. А вот другая женщина, Рицпа, доставила нам немало забот.

— Сидя под виселицей?

— Казнили их, кажется, в первые дни жатвы,— продолжил Иосафат,— да, в самом начале жатвы ячменя. Рицпа взяла вретище, разостлала на горе под повешенными и сидела при двух своих сыновьях и пятерых сыновьях Меровы до самых дождей, не подпуская к мертвым телам ни птиц небесных днем, ни зверей полевых ночью...

Голос его дрогнул и затих. Лишь через несколько мгновений Иосафат заговорил снова, теперь уже раздраженно:

— Ох, уж эта Рицпа. Она хорошо знала своих соотечественников и доброе сердце Давида, который непременно сжалится над ней, как только потихоньку пойдет молва о безутешной матери сынов Израиля, что сидит неотступно при своих детях и отгоняет от них шакалов и стервятников. Однако и Давид знал, до чего израильтяне наряду с шумными шествиями и бесплатными пирами любят пышные похороны вроде тех, какие он устроил, например, Авениру или отрубленной голове Иевосфея. Поэтому Давид распорядился забрать останки Саула и его сына Ионафана, которые некогда были отобраны у филистимлян и лежали теперь захороненными в Иависе галаадской, а также взять тела повешенных и перенести все это в землю Вениаминову, в Целу, дабы похоронить на семейном кладбище в гробнице Киса, отца Саула. Царь Давид сам подобрал траурную музыку, а мне велел возглавить скорбное шествие; надгробную речь произнес священник Садок. Народ громко рыдал и причитал, словом, все решили, что Давид поступил великодушно.

— Как всегда,— подтвердил я,— как всегда.

ИЗ ПСАЛМА ДАВИДОВА

И воздал мне Бог по правде моей,
по чистоте рук моих вознаградил меня.
Ибо я хранил пути Господни
и не был нечестивым пред Богом моим.
Ибо все заповеди Его предо мною,
и от уставов Его я не отступал.
Я был непорочен пред Ним
и остерегался, чтобы не согрешить мне.
И воздал мне Господь по правде моей,
по чистоте рук моих пред очами Его.

— У тебя нездоровый вид, Ефан, супруг мой,— сказала Есфирь, когда я вернулся в дом № 54 по переулку Царицы Савской.— Расстроился из-за беседы с дееписателем?

— Мы говорили о казни.

Она взяла мою руку.

— Да кто же таков этот Давид, сын Иессеев, что из-за него приходится бояться за свою жизнь? Бог сотворил равными и царя, и нищего, Он отпускает каждому свой срок, чтобы в назначенный час человек поник, будто колос под серпом жнеца. Может, нам лучше вернуться в Езрах, а, Ефан?

— Ах, Есфирь,— вздохнул я,— мы теперь точно овцы в загоне: куда ни ткнись, выхода нет.

На это она ничего уже не сказала.

17

Давно уже томит меня мысль о необходимости заняться историей Вирсавии.

Тут дело потруднее, чем эпизод с семерыми повешенными сыновьями и внуками Саула, ведь речь впрямую пойдет о мудрейшем из царей Соломоне, да и сама царица-мать Вирсавия жива-здорова.

В Израиле всем известно, что муж Вирсавии хеттеянин Урия погиб в подозрительно удобное для Давида время, благодаря чему Давид женился на вдове и сделал принцами обоих ее сыновей. Сплетничали об этом всюду, тем более, что главные герои этой истории почему-то не особенно скрытничали, и все же отделить выдумку от правды здесь непросто.

Пророк Нафан довольно подробно описывает эту историю в своих воспоминаниях, и я склонен в основном поверить ему, ибо он был непосредственным свидетелем того, как зарождалась эта опасная связь и даже по-своему пытался повлиять на ход событий. При всем свойственном историкам скептицизме я считаю, что нам повезло с Нафаном и книгой его воспоминаний, она вполне пригодный источник, если только не забывать, что ее писал человек себялюбивый и честолюбивый. Короче говоря, я отправился домой к пророку Нафану, коего застал в праздный час.

— Ах, это ты, Ефан. Едва я подумал о тебе, а ты и сам тут как тут.

— Ваш провидческий дар — одно из поразительнейших чудес нашего века. Воистину далеко не каждому посылает Господь сновидения, исполненные столь глубокого смысла, что наверняка способствует и написанию исторических трудов.

— Верно. Другие утруждают свою голову или роются в архивах, боятся, как бы не погрешить против фактов, я же просто жду наития от Господа.

— Но разве не надлежит воспоминаниям основываться на фактах?

— Чего стоит голый факт без живинки, без иносказания? Только не путай их с сумбуром и жалким лепетом у современных авторов, ибо та темнота не от Бога, а от простого неумения связно изъясниться.

— Полагаю, в вашем труде под предварительным названием «Книга Нафана» нашлось местечко для трогательной и прекрасной истории о том, как царь Давид полюбил госпожу Вирсавию, и о том, сколь благословенно-сладостным оказался союз двух сердец, подаривший нам после множества злоключений нынешнего престоловладельца.

— Я старался изложить ее во всех подробностях.

— Смеет ли раб ваш надеяться, что вы предоставите соответствующие главы для использования их в *Книге царя Давида;* ваше имя, разумеется, будет должным образом упомянуто.

— Но мои записи хранятся в единственном экземпляре. Сам понимаешь, я не могу выпустить их из рук.

— Тогда нельзя ли прочитать их здесь?

— Когда на меня нисходит божественное наитие, я употребляю знаки и сокращения, которых тебе не разобрать. Впрочем, я сам тебе почитаю и даже отвечу на вопросы.

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОРОКА НАФАНА; В СКОБКАХ ПРИВЕДЕНЫ ВОПРОСЫ ЕФАНА, СЫНА ГОШАЙИ, И ОТВЕТЫ НАФАНА

В тот вечер царь Давид пригласил для обсуждения кое-каких государственных дел своих ближайших сподвижников, в том числе меня, чтобы при необходимости выслушать мое прорицание. Против обыкновения царь опоздал, вид у него был чрезвычайно встревоженный, так что я почел нужным спросить, не пригрезился ли ему на послеобеденном отдыхе сон, который потребно истолковать.

Царь взглянул на меня так, будто услышал голос с того света, и сказал: «Сон? Нет, Нафан, то был не сон, а живейшая явь!»

Священник Авиафар, писец Сераия и иные присутствующие засыпали Давида вопросами: может, все-таки видение? На кого больше похоже — на ангела или на человека? Короче, начался шум и гам. Давид, погладив бороду, сказал наконец, что это существо вполне сошло бы за ангела, не совершай сей ангел омовений, положенных женщине ежемесячно, а увидел он эту женщину, встав ото сна, с крыши своего дома при свете заходящего солнца. Писец Сераия тотчас сообразил, что это была Вирсавия, дочь Елиама, вышедшая замуж за хеттеянина Урию, тысячника, который сейчас воюет под началом Иоава, осаждающего аммонитский город Равву; как раз накануне похода Урия с женой и въехали в один из домов по западную сторону от дворца. Если будет на то царская воля, добавил Сераия, он сходит к Вирсавии и передаст ей, что она понравилась царю, а уж дальше все просто.

Просто, да не очень, сказал Давид.

Разве не принадлежат царю все дочери Израиля, удивился Сераия, в том числе те, кто замужем за чужеземцем вроде хеттеянина Урии?

Разумеется, ответствовал Давид, но за исключением жен, у которых мужья находятся в действующей армии. Этих никто не смеет тронуть, ни старейшина племени, ни сам царь. Иначе кто пойдет сражаться за Господа, не будучи уверен, что дом его и жена остались под надежной защитой?

Священник Авиафар подтвердил, мол, воистину такова заповедь Господа, необрезанные называют ее табу, а царь Давид, как всегда, мудр и справедлив.

Тогда Давид стукнул кулаком по столу и воскликнул: «Значит, по-твоему, пусть царь сгорает от страсти и нельзя ему затушить это пламя?»

Авиафар аж поперхнулся от страха, пришлось хлопать его по спине. Придя в себя, он сказал: «Если царь сгорает от страсти, то пламя надо, конечно, тушить, ибо благополучие избранника Божьего — заповедь наипервейшая. Сам Господь явил Свою волю тем, что соопределил на один и тот же час омовение оной женщины, закат солнца и пребывание царя на кровле дома своего».

Писец Сераия заявил, что так называемое «табу» к данному случаю неприложимо, ибо хеттеянину Урии от сожительства его жены с царем не только не сделается никакого ущерба, но, напротив, ему выпадет великая честь, то есть внакладе он не останется.

(Пора выразить свое восхищение, подумал я, и сказал, что никогда не слышал рассказа более занимательного и наблюдений более метких. Но неужели господин Нафан, самолично участвуя в том разговоре, не высказал своего мнения о так называемом «табу»?)

Усмехнувшись, Нафан проговорил со скромной миной: «Я положил себе за правило не высказываться, пока Господь не вразумит меня Своим словом».

После чего он продолжил чтение:

«Давид послал слуг взять Вирсавию; и она пришла к нему, и он спал с нею, ибо она была чиста от нечистоты своей; потом она возвратилась в дом свой».

(Тут я опять перебил Нафана:

— От союза этой пары родился мудрейший из царей Соломон, поэтому негоже, чтобы читателю показалось, будто все ограничилось лишь грубым совокуплением. Неужели царь Давид ни разу не обмолвился, хотя бы намеком, о любезностях, нежностях или ласковых словечках, которыми он обменивался с госпожой Вирсавией в ту первую ночь любви?

— Царь Давид поведал мне однажды, что ни среди женщин, ни среди мужчин не знавал кого-либо более искусного в любви, нежели

Вирсавия, дочь Елиама. А вот насчет слов, сказанных той ночью, придется тебе, видно, обратиться к самой царице-матери.

— Мой господин близко знаком с нею? — поинтересовался я наилюбезнейшим голосом.

— Если б не мой добрый совет,— Нафан многозначительно помолчал,— и не Ванея с его хелефеями и фелефеями, то сидеть бы сейчас ее сыну не меж херувимов, а в самом темном и страшном узилище.

— Стало быть, мой господин без особого труда уговорит мать-царицу принять меня для ответов на кое-какие вопросы?

Нафан поднял белесые брови:

— Боюсь, она будет не слишком разговорчивой.

И он вновь продолжил чтение.)

«Женщина эта сделалась беременною, и послала известить Давида, говоря: я беременна».

Случилось так, вспоминал Нафан, что в тот день царь призвал меня для малых пророчеств. И сказал мне царь: «Слушай, Нафан, пусть Бог то и то со мною сделает, если она не подстроила это нарочно». Я спросил, на чем основаны его подозрения. Он ответил: «О том ведомо Господу, ибо Он смотрит не так, как смотрит человек, Господь смотрит на сердце; да и чутье мне подсказывает».

Я сказал Давиду, мол, каждый новый сын — благо, если, конечно, он от его семени.

На сей счет не приходится сомневаться, сказал Давид, к тому же он сам видел, как Вирсавия совершала положенное ежемесячное омовение, а привели ее спустя всего несколько часов «чистою от нечистот ее»; что же до ее мужа Урии, то ему сюда от аммонитского города Раввы самого спешного хода не менее четырех дней.

Тогда я говорю: «Значит, Господь благодетельствует раба Своего не только словом, но и делом, в данном случае — дитем».

Тут Давид поморщился: «А как же быть с заповедью Господней, которую язычники называют «табу»? Можно утаить любодеяние, но ребенка-то не скроешь; возможно, когда-либо в нашем роду и будет непорочное зачатие, однако до сих пор такого не слыхали».

Я спрашиваю: «Верно ли я понял, что от Раввы, которую осаждает Иоав, а вместе с ним и хеттеянин Урия, до Иерусалима всего четыре дня спешной езды?»

Царь отвечает: «Верно».

Я говорю: «Значит, от Иерусалима до Раввы тоже всего четыре?»

Царь: «Разумеется».

Тогда говорю: «Таким образом, понадобится лишь восемь дней, чтобы Урия прискакал в Иерусалим, переспал с женой и стал отцом ребенка, ибо с точностью до одного-двух дней все равно никому не дано знать, какой срок определен младенцу в материнской утробе, не так ли?»

Тут царь Давид толкает меня локтем в бок и молвит: «Нафан, друг мой, не будь ты пророком, я бы сказал, что ты отменный плут».

Господин Ванея любезно ознакомил меня позднее с несколькими письмами, сохранившимися в архиве Иоава, который командовал осадой аммонитского города Раввы.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Хеттеянину Урии, тысячнику, пребывающему ныне под Раввой — от его любящей супруги Вирсавии, дочери Елиама.

Да дарует Господь моему супругу долгую жизнь и богатую добычу. Любящую жену твою снедает тоска по твоим объятиям. Приезжай. Ласки твои — рай для меня, я таю от них, будто снег на солнце. Приезжай скорее! Царь Давид прослышал про тебя и благоволит тебе;

ты сядешь за столом его и тебе воздадут почести, а ночью ты придешь к голубке своей. Спеши же! Да донесет до тебя Господь мои воздыхания!

Судя по всему, письмо это прилагалось к прошению Урии на имя военачальника Иоава, прошение гласило:

Дважды герою Израиля, военачальнику Иоаву, сыну Саруину — от раба его хеттеянина Урии, тысячника.

Да пошлет Господь моему господину победу во всех сражениях.

Из прилагаемого к сему письма следует, что неожиданные семейные обстоятельства требуют моего приезда домой. Поскольку осада идет планомерно, полагаю кратковременную отлучку возможной. В этой связи покорнейше прошу десятидневного отпуска. Обязуюсь по прибытию в Иерусалим незамедлительно отметиться в ставке.

Прошение Урии совпадает по времени с запиской, полученной Иоавом от царя, то есть верховного главнокомандующего.

От избранника Божьего, любимца Израиля, льва Иудейского, царя Давида — военачальнику Иоаву.

Да укрепит Господь твою силу.

Прослышал я о хеттеянине по имени Урия, воине доблестном и храбром, отменном тысячнике. Не премини послать его на несколько дней в Иерусалим, хочу познакомиться лично.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ ГЛАВ ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОРОКА НАФАНА; В СКОБКАХ ПРИВЕДЕНЫ ВОПРОСЫ ЕФАНА, СЫНА ГОШАЙИ, И ОТВЕТЫ НАФАНА

Для Господа, однако, хитроумнейшие человеческие планы — лишь пыль, которую сметает любое дуновение ветра. Кто бы мог предположить, что сей хеттеянин Урия окажется столь добродетелен, воздержан и благороден?

Прибыв в Иерусалим, Урия явился ко двору; Давид позвал его к себе, расспросил об Иоаве, о духе войска, о ходе войны. Потом он сказал Урии: «Иди домой и омой ноги свои». Тот ушел из дворца, а вслед за ним понесли дареные царские кушания.

Но спать Урия лег при вратах царского дворца, у начальника стражи, и домой не ходил.

Я еще оставался с царем Давидом, когда от Вирсавии прибежал раб сказать: «Видели Урию, как он въезжал в Иерусалим, и госпожа моя согрела воды омыть ноги его и приготовила мясо, что подарено царем, и застелила супружеское ложе, но муж даже в дом не заглянул».

Тогда царь послал человека и узнал, что Урия действительно спит у ворот дворца. Давид велел привести Урию, которому сказал: «Вот, ты проделал дальний путь от Раввы до Иерусалима, четыре дня добирался сюда. Отчего же ты не пошел в дом свой?»

Урия, поклонившись, ответил: «Раб ваш, хотя и хеттеянин, однако принял истинную веру, а потому ставит долг выше удовольствий, Ковчег, Израиль и Иуда — в шатрах военных, господин мой Иоав и воины его — в поле, а я пойду в дом свой есть, пить и спать с женою? Клянусь твоею жизнию и жизнию души твоей, этого я не сделаю».

Давид мрачно посмотрел на меня, а хеттеянину сказал: «Похвалю тебя Иоаву, начальнику твоему. Но останься еще на день-два, я приглашу тебя к моему столу, посажу по правую руку, рядом с пророком Нафаном, человеком большого ума».

(Нафан остановился и метнул на меня быстрый взгляд.

Я поспешил заметить, что описание встречи Давида с Урией исполнено мастерски и будет очень ценным для *Книги царя Давида*, а побочное замечание насчет большого ума — весьма живая подробность.

Нафан кивнул:

— Тут еще много интересного!

И продолжил чтение.)

Урия остался в Иерусалиме на этот день и на следующий. Давид сказал мне: «Нафан, нужно его подпоить, больше надеяться не на что, ибо Господь нарочно создал вино, чтобы люди забывали о долге».

Давид пригласил Урию, он ел и пил с нами, а мы сидели от него по правую и по левую руку; царь превозносил Вирсавию и твердил Урии, чтобы тот не упускал случая, ибо когда мы состаримся, и войдем в преклонные лета, и нам будет холодно, а мы не сможем согреться, то станет поздно. Я тоже уговаривал Урию навестить жену, раз за разом приглашал выпить со мной, пока не испугался, что теперь ему и на ногах не устоять.

Не тут-то было. Урия поднялся с места, выпрямился во весь свой немалый рост и, слегка запинаясь, пробормотал, что ему пора спать, завтра спозаранок надо в седло, ибо до Раввы скакать не меньше четырех дней.

Царь Давид послал следом своего прислужника, чтобы тот отвел Урию домой к Вирсавии. Однако прислужник вскоре вернулся и, пав ниц, пролепетал, что хеттеянин домой не пошел, а лег спать у офицеров привратной стражи.

Швырнув в прислужника свою чашу, царь кликнул писца Сераию. Я же и остальные пошли по домам.

Здесь уместно, продолжил Нафан, привести еще несколько документов из архива Иоава, с которыми мне удалось познакомиться благодаря господину Ванее.

Во-первых, интересно письмецо, посланное через Урию Иоаву.

От любезного Господу кормильца Израиля и защитника Иуды, царя Давида — военачальнику Иоаву.

Передано с нарочным хеттеянином Урией.

Да будет тебе от Господа за верность твою новые победы.

Пошли Урию в бой, в самое пекло, и отступи от него, чтобы его поразили и он умер.

Второй документ — выдержка из ежедневной военной сводки Иоава.

Я приказал Урии выдвинуться с малым отрядом к воротам № 5, выманить противника на вылазку и взять языка, дабы узнать о положении в Равве.

Третьим документом является приписка Иоава к ежедневной военной сводке, по существу — это самая важная часть наказа для гонца, которого Иоав послал к царю Давиду.

Если при докладе царю о ходе сражения он разгневается и спросит: «Зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иероваалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене?», то скажи: «И раб твой Урия-хеттеянин также умер».

Последняя записка сделана рукой Сераии; видимо, это ответ царя Иоаву через того же самого гонца.

Так скажи Иоаву: «Пусть не смущает тебя это дело; ибо меч поедает иногда того, иногда сего; усиль войну твою против города и разрушь его».

ЗАВЕРШЕНИЕ ЧТЕНИЯ ГЛАВ ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ НАФАНА; В СКОБКАХ ПРИВЕДЕНЫ ВОПРОСЫ ЕФАНА, СЫНА ГОШАЙИ, И ОТВЕТЫ НАФАНА

Когда услышала жена Урии, что умер муж ее, то плакала она по муже своем. И Елиам, отец ее, пришел к ней, и мать, и вся семья, и племянники с племянницами, все скорбели, разрывали на себе одежды, кричали и плакали, так что донеслось и это до ушей царя Давида.

Царь сказал мне: «Разумеется, покойников надлежит достойно оплакивать, но, по-моему, Вирсавия потеряла всякую меру. Боюсь, злые языки станут болтать: не потому ли так убивается жена Урии, что не чтила мужа при жизни его? Не было ли у нее любовника? Ступай-ка, Нафан, к вдове, утешь ее и скажи, чтобы отослала свою многочисленную родню, из-за которой у дома ее неспокойно».

Отправившись к Вирсавии, я застал ее в разодранных одеждах, волосы собраны простым пучком, однако и в таком виде она была прелестна. Вирсавия возмутилась: «Почему нельзя мне плакать и скорбеть по мужу моему? Почему нельзя плакать родне моей? Разве не ношу я дитя, которое родится сиротою; ведь не будет у него ни отца, ни наследства, хотя дитя это царской крови? Одно дело — послать царю за солдатской женой, бедной и беззащитной, чтобы она спала с ним и ласкала его так и этак и по-всякому, другое дело — помочь ей в беде и сдержать царское обещание». Тут Вирсавия закрыла лицо руками и громко запричитала, как будет ужасно, если ее отец, Елиам, мать и вся родня узнают про ее несчастье.

Передав царю слова госпожи Вирсавии, я спросил, правда ли, что он давал обещание и в чем оно состоит. Давид ответил: «Разве упомнишь? Мало ли чего обещает мужчина, лежа с женщиной».

У меня возникло скверное предчувствие, ибо Господь заповедовал: «С женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и осквернишься с нею». Однако Давид велел: «Ступай к Вирсавии и передай — когда кончится срок траура, она сможет жить во дворце и станет моей женой, только без излишней огласки, ибо об этом деле в народе и так слишком много пересудов».

По окончании траура Вирсавия переехала в царский дворец со всеми своими узлами и корзинами, сосудами, коврами, серебром, рабами и прислугой; Иерусалим только об этом и говорил, а также о свадебном торжестве, на котором она настояла, ибо дитя в ее чреве стало уже большим; Вирсавия шла под балдахином об руку с Давидом, переваливаясь с боку на бок, точно утка.

(— Но откуда вдруг такая слабость, почему царь во всем уступал госпоже Вирсавии? — удивился я.

Пожав плечами, Нафан ответил, что, познакомившись с царицей-матерью, я сам увижу, насколько у нее твердый характер.

— Значит, мой господин устроит эту беседу?

Нафан недовольно отмахнулся.

— Лучше перейдем к моей знаменитой притче, упрекам царю и моему пророчеству, да не такому, какое можно по дешевке получить у городских ворот от любого гадателя, а великому, истинному пророчеству.

И он вновь приступил к чтению.)

Сделавшись женою Давида, Вирсавия вскоре родила сына. Но было это злом в очах Господа.

И послал Господь меня к Давиду сказать:

«В одном городе было два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его; от хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь.

И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку у бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему».

Сильно разгневался Давид на того богатого человека и говорит мне: «Достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо и за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания».

Я говорю Давиду: «Ты — тот человек!»

Давид: «Так я и знал, что неспроста твоя притча. Признавайся, правда ли тебя послал Господь или ты сам все выдумал?»

У меня затряслись поджилки, но Дух Господень сошел на меня, и я смело молвил: «Вот что говорит Господь, Бог Израилев: «Я помазал тебя в царя над Израилем, и Я избавил тебя от руки Саула. Я дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и, если этого тебе мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами Его? Урию, хеттеянина, ты поразил мечом аммонитян, а жену его взял себе в жены».

Давид говорит: «Либо твоими устами и впрямь молвит Господь, либо ты наинаглейший человек по нашу сторону Иордана. Не ты ли участвовал в этом деле с самого начала? Что ж тогда молчал твой голос честный?»

Сердце мое замерло от страха, но Господь продолжал вещать через меня Давиду: «Да не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег Меня и взял жену Урии, хеттеянина, чтобы она была тебе женою. Вот, я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем».

Сейчас Давид прибьет меня, подумал я, и потеряю я место за царским столом, звание и доход. Но царь, преклонив голову, сказал: «Согрешил я, Нафан, пред Господом. Только Вирсавия больше виновата: сам не знаю почему, но я в ее руках словно глина послушная».

Тогда я помолился Господу, отчего Дух Господень опять сошел на меня и молвил Давиду: «Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, то умрет родившийся у тебя сын».

С этим Дух Господень отошел от меня. Царь же ничего больше не сказал; он сидел, глубоко задумавшись, поэтому я потихоньку удалился от него и пошел в дом свой.

(Глубоко вздохнув, Нафан отложил последнюю табличку. Я тут же вскочил, схватил его за руку и воскликнул:

— Великолепно! Поистине великолепно! Потрясающе!)

18

Благословенно будь имя Господа, Бога нашего, сотворившего человека по образу Своему, образу весьма многоцветному.

Прочитав документы из архива Иоава, я отнес их Ванее, который завел со мною беседу, чтобы узнать, удовлетворился ли я прочитанным. Я сказал, что документы очень важны для *Книги царя Давида,* ибо существенно восполняют трогательную и прекрасную историю любви царя Давида и госпожи Вирсавии, изложенную в Книге воспоминаний пророка Нафана.

— Любопытно, что он там понаписал? — сказал Ванея.

Я вкратце пересказал услышанное.

— А ты и поверил? — Ванея ухмыльнулся, показав свои зубы.— Не правда ли, смерть хеттеянина пришлась как нельзя кстати?

— Если отвлечься от некоторого преувеличения своей значимости,— сказал я,— то, похоже, господин Нафан весьма достоверно и подробно повествует о том, что видел собственными глазами и слышал собственными ушами.

— Это говорит лишь о том,— заметил Ванея,— что кроме глаз и ушей человеку хорошо бы употреблять на дело и мозг, которым наградил его Господь. Разве поведение Урии тебе не кажется странным? Сам посуди, он возвращается с войны. Долгое время он жил по-походному, позади четыре дня скачки, он устал, весь в пыли, зато полон жизненных соков — и тем не менее к жене не спешит, хотя она и вызвала письмом, которое ты видел сам. Диковинно, а?

— Да простит мой господин, но, думаю, имеется достаточно свидетелей тому, что Урия действительно ночевал у офицеров дворцовой стражи и не ходил домой.

— Какова же названная причина столь незаурядного воздержания?

— Она прозвучала довольно выспренно.

— А если Урия все-таки навестил Вирсавию?

— Когда же?

— До того, как предстал пред Давидом, являя свое благородство.

— Мой господин, видно, запамятовал, что Вирсавия посылала Давиду раба сказать, мол, согрела воды омыть ноги мужу и так далее, но тот даже не заглянул домой.

— Это еще ничего не доказывает.

Тут Ванея, конечно, прав.

— Итак, допустим, Урия все-таки был дома, узнал от Вирсавии, что она беременна и кто виновник. Что бы он, по-твоему, сделал, Ефан?

— Убил бы ее!

— Ой ли?

— Во всяком случае, отверг бы.

— Поставь себя на его место.

Я сразу же вспомнил о моем страхе потерять Лилит, которую царь хочет сделать наперсницей своей жены-египтянки.

— Мой господин намекает, что Урия решил смолчать и стерпеть обиду?

— Предположим, Вирсавия сказала мужу примерно так: «Урия, дорогой, сам понимаешь, мне не оставалось ничего другого, как покориться царю. Но теперь этот старый развратник отказывается от своего слова, он задумал представить дело так, будто дитя, которое я ношу, появится на свет от тебя, тогда мы ничего не сможем потребовать от царя. Однако если ты, любимый, будешь благоразумен и не придешь вечером домой, не ляжешь на супружеское ложе, то никто не усомнится, что дитя родится от Давида; тогда тебя возвысят на царской службе, станешь вельможей, будешь есть за царским столом, а маленький принц, который зреет во чреве моем, сделается со временем царем Израиля».

Пусть неохотно, но я не мог не отдать должное проницательности Ванеи, тем более, что у него были свои уши в каждом уголке страны

и сам он плел хитроумную сеть из бесчисленных нитей, а потому я сказал:

— Подобное предположение вполне объяснило бы высокопарные речи Урии и его столь подчеркнутую перед царем самоотверженность. Но неужели Вирсавия не предвидела, что, если Давида загнать в угол, он просто уберет Урию?

— А если она это предвидела?

У меня пересохло горло.

Ванея усмехнулся.

— Остается вопрос, почему Урия четверо суток вез при себе то письмецо, но так и не заглянул в него. Ты бы удержался, Ефан?

— Полагаю,— ответил я,— что ничем не давал повода усомниться в моей преданности царю или его приближенным.

— Допустим, Урия все-таки прочитал письмо.

— Тогда он уничтожил бы его.

— Но Иоав получил бы точно такое же со следующим гонцом.

— Значит, Урии надо скакать во весь опор за сирийскую границу или в страну своих отцов. Да куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда.

— Бежать от такого будущего, которое обещано Вирсавией и вполне достижимо, если сберечь голову до той поры, когда родится ребенок?

— У покойника нет будущего.

— Сразу видать, не бывал ты на войне, Ефан, иначе знал бы то, что для Урии разумелось само собой: ни Иоав, ни царь Давид не могут послать его в «самое пекло» помимо его воли. Это рядовому солдату, вроде Авимелеха, сына Иероваалова, приходилось идти туда, где ему мог свалиться на голову обломок жернова, а уж тысячник всегда выберет место побезопаснее.

— Тем не менее Урия погиб, как и Авимелех.

Ванея хлопнул в ладоши, прибежал слуга и принес кувшин с ароматной водой, а также несколько глиняных табличек.

— На, читай,— сказал Ванея.— Это показания Иоава. Его каждодневные чистосердечные признания. Он облегчает душу.

ПРИЗНАНИЯ ИОАВА, СЫНА САРУИНА, КАСАТЕЛЬНО СМЕРТИ ХЕТТЕЯНИНА УРИИ; ЗАПИСАНО НА ДОПРОСЕ, ПРОВЕДЕННОМ ВАНЕЕЙ, СЫНОМ ИОДАЯ

Вопрос: Урия передал тебе письмо от царя Давида?

Ответ: Да.

Вопрос: И что ж ты предпринял?

Ответ: Исполнил приказ.

Вопрос: Тебе не показалось странным, что царь жертвует одним из лучших тысячников?

Ответ: Царь Давид был избранником Божьим.

Вопрос: Итак, ты послал Урию в самое пекло?

Ответ: Я послал его с отрядом к воротам № 5 выманить неприятеля на вылазку.

Вопрос: И только? Ты уж во стольком признался, что договаривай до конца.

Ответ: Я отправил в засаду лучников.

Вопрос: И Урия умер со стрелою в спине?

Ответ: Так точно.

Царица-мать Вирсавия сидела, вяло откинувшись на подушки, зато ее глаза зорко глядели из щели меж двумя покрывалами; она настороженно посматривала то на Нафана, то на меня.

Я собирался исподволь подвести ее к самому важному для меня вопросу: была ли она беззащитной женой солдата, которую принуди-

ли утолить страсть царя, или же первопричиной и главной движущей силой всех преступлений, последовавших за первым грехом, и она сама телом своим и плодом лона своего побудила царя к тому, чтобы он возвел на престол ее сына, а не Амнона, не Авессалома, не Адонию или кого-либо из других более старших сыновей от более ранних браков; нет, царем стал именно Соломон, последыш, сын женщины совсем незнатной.

Я пробовал подступиться к ней и так и эдак. Посочувствовал постигшему ее горю — преждевременной кончине первого супруга; на это она ответила почти теми же словами, которые некогда сказал Давид, мол, меч поедает иногда одного, иногда другого. Тогда я заговорил о доброте Господа, сподобившего Урию перед смертью побывать дома и повидать жену; она лишь вздохнула: «Пути Господни неисследимы!» Только когда я завел речь о ребенке, умершем в наказанье Давиду за то, что он дал своим грехом повод врагам Господа для злословия, ее веки дрогнули.

— Он был совсем крошечным,— прошептала она,— и таким беспомощным.

— Любил ли царь Давид это дитя?

— Давид молился Богу о младенце, и постился, и провел целую ночь, лежа на голой земле.

— Царь Давид любил всех своих детей,— вставил Нафан.

— Младенец умер из-за него и вместо него, почему бы Давиду его не любить? — вздохнула Вирсавия.

— Давид молил Бога оставить младенца в живых,— сказал Нафан.— Семь дней и семь ночей провел он в молитве. К нему приходили старейшины дома его, чтобы поднять с земли; но он не хотел и не ел с ними хлеба.

— Дитя было при смерти,— проговорила Вирсавия.— Давид не знал, как ему быть: то ли благодарить Бога за то, что он взял жизнь младенца взамен его жизни, то ли проклинать себя за подобную сделку; совесть мучила его безмерно.

— Это не сделка,— возразил Нафан.— Такова воля Господа, а Давид — Его избранник.

— А страдать должно невинное дитя? — спросила Вирсавия.

— Зато Бог даровал вам другого сына, моя госпожа,— сказал Нафан.— Этому сыну выпала великая честь, он воцарился над Израилем.

— В ту ночь Давид пришел ко мне,— лицо Вирсавии посуровело.— Он уже вымылся, умастился и переменил одежды; видно, душа его обрела покой. Я спросила: «Как ты мог сидеть за столом, утирать жирные губы, будто ничего не произошло?» Он ответил: «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь и дитя останется живо? А теперь оно умерло; зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне».

Вирсавия устало качнула головой.

— Давид был по-своему прав. Я перестала плакать и сказала ему: «Видать, Господь снял с тебя вину, взяв за Урию жизнь младенца. Но как быть с обещанием, данным мне тобою пред Богом? Ведь ты обещал, что наш сын воссядет на твой трон. Или и это обещание снято с тебя смертью младенца?»

Она уставилась на свои дорогие перстни.

— Давид сказал мне: «Утешься и готовь нам постель». Он вошел ко мне, и спал со мною, и я родила ему второго сына, которого мы нарекли Соломоном в память примирения Господа с Давидом, а также в память о раскаянии Давида; и Господь возлюбил Соломона [1].

Она умолкла. Я поблагодарил Вирсавию, но она нахмурилась и ушла в свои покои.

---

[1] «Соломон» означает — «возлюбленный Богом».

Нафан долго качал головой.

— Чудеса! — воскликнул он.— Никогда еще царица-мать не говорила при мне об этом, да еще с такими подробностями! Однако к сказанному нужно отнестись весьма осмотрительно.

Через несколько дней ко мне пришел царский гонец с приглашением — меня звали явиться завтра на прием к мудрейшему из царей со всеми документами, касающимися прекрасной и трогательной истории о том, как царь Давид полюбил госпожу Вирсавию, а также касающимися рождения их второго сына, нареченного Соломоном в память примирения между Господом и Давидом. Гонец вручил мне медную пластинку с выгравированной царской печатью; пластинку надлежало предъявить страже на входе во внутренние покои дворца.

Мои сыновья Сим и Селеф, восхищенно разглядывая пластинку, рассказали мне, что хелефеи и фелефеи расквартированы во многих домах города, люди Ванеи недавно побывали в школе для опроса учителей, чтобы выяснить, как те, например, относятся к мудрости мудрейшего из царей, к ценам на зерно, к Храму, который строится царем Господу. В свою очередь, Сим и Селеф допытывались от меня, правда ли, будто царь Соломон хвор от страха, дрожит и трясется, так что двум слугам приходится поддерживать его с обеих сторон, и правда ли, будто сунамитянка Ависага, ходившая некогда за царем Давидом, спит теперь с принцем Адонией, и верно ли, будто священник Садок отдает для продажи на рынке лучшие куски жертвенного мяса с алтаря, а дееписатель Иосафат, сын Ахилуда, наживается на трудовых повинностях, на строительстве Храма; правда ли, наконец, будто царская комиссия по составлению *Книги об удивительной судьбе и т. д.*, где работаю и я, на самом деле является шайкой надувал и шарлатанов, короче говоря, правда ли, будто всему царству Израильскому скоро придет конец.

Возмутившись, я выбранил скверных моих сыновей за то, что они подхватывают крамольные слухи и заражаются дурномыслием вместо того, чтобы изучать заповеди Господа, переданные нам праотцом Моисеем. Меня охватила тревога, ведь если о таких вещах болтает улица, если о них толкуют даже недоросли, значит, дело вполне может обернуться тем, что правдоискатели поплатятся головой, когда сильные мира сего чувствуют опасность, они обрушивают свой гнев в первую очередь на праведников.

Назавтра я отправился к назначенному часу во дворец, меня проводили к царю, с ним уже был дееписатель Иосафат, а также все остальные члены комиссии, за исключением Ванеи. Поднимаясь с колен, я не удержался и взглянул на царя, чтобы проверить, действительно ли он дрожит и трясется, как утверждали Сим и Селеф.

Царь, постукивавший пяткой по подножию трона и поглаживавший правого херувима, тут же спросил:

— Чего так смотришь на меня? Неужели я похож на безумного Саула, который пригласил к себе лекарем Давида?

Низко поклонившись, я сказал, что ослеплен блеском от лика царя, на котором почиет благодать Божия.

— Вот как? — мрачно проговорил Соломон.— А мне казалось, что я плохо выгляжу сегодня, так как всю ночь не сомкнул глаз, обдумывал убранство Храма. По-моему, внутри нужно обложить его золотом, на стенах пустить резьбу по дереву — херувимов, пальмовые листья, пышные цветы, а в давире сделаем двух херувимов из масличного дерева, вышиною в десять локтей; крылья херувимов будут распростерты, и будет касаться крыло одного одной стены, а крыло второго херувима будет касаться второй стены; другие же крылья их сойдутся среди храма — крыло с крылом.

Соломон пристально посмотрел на меня, будто чего-то ожидал, и я поспешил заверить, что его замысел грандиозен, Храм, несомненно, станет новым чудом света.

— Ефан,— сказал он,— ты для меня прозрачнее озерков Есевонских, что у ворот Батраббима; я тебя насквозь вижу, как сквозь их воды видны черви, что копошатся глубоко на дне. На самом деле ты думаешь: не печется ли царь Соломон больше о своей славе, нежели о славе Господа, строя Храм? Не хочет ли он, чтобы отовсюду сходились люди и говорили — поглядите на великолепие храма Соломонова! Уверяю тебя, для простолюдина роскошь царских одежд важнее собственных штанов, которыми он прикрывает срам свой, а золотой храм ему важней медяка в собственном кармане; так уж устроил Господь человека.

Он перестал теребить херувима, его ногти впились в ладонь. Человеческая натура обрисована им с изумительной проницательностью, сказал я, поэтому наивно надеяться, что можно скрыть от царя свои мысли.

— Далее, ты недоумеваешь,— продолжил Соломон,— зачем это царь всем занимается сам, не настолько же он глуп, чтобы совать нос в каждый горшок? Однако говорю тебе: если вождь желает сохранить голову на плечах, ему надо заниматься не только войной и миром, не только блюсти заповеди Господни, но и вникать в то, каким цветком украсить какую стену или какими словами должно запечатлеть то или иное событие. Власть неделима: достаточно выпасть одному камню, может рухнуть все здание.

Он поднялся с трона, шагнул в сторону, будто кого-то искал, затем снова уставился на меня. Я тут же заверил, что если здание поддерживается Господом, то оно устоит и при самом сильном землетрясении.

— А как поживает твоя наложница Лилит? — вдруг спросил Соломон.— Похоже, я возьму-таки в жены дочь фараона; придется построить ей дворец, дать прислугу, ведь негоже ей жить с другими моими женщинами.

Я сказал, что весь Израиль будет осчастливлен брачным союзом с Египтом, однако множество дев от Дана до Вирсавии куда милее, а главное, пригоднее для услужения дочери фараона, чем моя наложница.

Царь ткнул меня пальцем в грудь.

— Но я желаю почтить именно тебя, Ефан. Иосафат, Нафан и Ванея в один голос хвалят твое усердие, поэтому...

У дверей раздался шум, послышался голос Ванеи, забряцало оружие.

Царь быстро обернулся и поспешил навстречу Ванее.

— Все исполнил? — спросил Соломон.

— Исполнил.

— Ты поразил его?

— Поразил.

— И он мертв?

— Мертв.

— Слава Богу!

— Аминь,— сказал Ванея.

Меня охватил страх, ибо я догадался, чье имя вычеркнуто из списка, переданного царем Давидом на смертном ложе своему сыну; зато царь Соломон воспринял эту весть с явным облегчением, он тут же вернулся к трону и уселся на него.

— Итак,— проговорил он,— раз уж вся комиссия по составлению *Единственно истинной и авторитетной, исторически достоверной и официально одобренной Книги об удивительной судьбе и т. д.* в сборе, включая и нашего редактора Ефана, то давайте начнем заседание.

Иосафат предложил мне вкратце пересказать трогательную и прекрасную историю любви царя Давида и госпожи Вирсавии в том виде, в котором мне удалось ее восстановить. Я сделал это, опустив ряд подробностей, касающихся известных человеческих слабостей; свой рассказ я закончил словами: «И утешил Давид свою жену Вирсавию, и вошел к ней, и спал с ней, и родила она сына, которого нарекли Соломоном». Затем добавил: «И Господь возлюбил Соломона».

Царь улыбнулся.

Интересно, мелькнуло у меня в голове, как бы повел себя я, если бы мне прилюдно рассказали, что мой отец велел убить мужа моей матери, и сам я плод преступления даже более страшного, чем просто супружеская измена.

Царь продолжал улыбаться.

Наконец, Иосафат выступил вперед и сказал, обращаясь к нему:

— Моему господину известно отношение членов комиссии к вопросу о включении нежелательных фактов в историческое повествование: мы считаем, что их следует сохранить, изложить, однако с должной сдержанностью и таким образом, чтобы это было угодно Господу Богу нашему, даровавшему людям мудрость. В данном же случае все, за исключением Ванеи, сына Иодаи, считают, что как эту историю ни излагай, она бросает тень и на избранника Божьего, и на царицу-мать госпожу Вирсавию. Слишком уж мал выбор возможностей подачи столь важного события, как рождение мудрейшего из царей Соломона, тем более, что речь здесь идет о законности престолонаследия: либо мы вовсе не будем касаться этого вопроса (тогда зачем вообще нужна сама *Книга царя Давида*?), либо давайте придумаем новую, слегка исправленную версию трогательной и прекрасной истории любви, где укажем, что Урия скончался, допустим, от несварения желудка или от заражения крови, а Давид увидел Вирсавию с крыши своего дома уже после того, как она овдовела. Но, к сожалению, эти события довольно свежи, еще живы тысячи свидетелей, то есть и умолчание, и вымысел могут вызвать недовольство. Поэтому мы просим мудрейшего из царей Соломона принять столь же замечательное решение, каким было решение по знаменитому делу двух блудниц, судившихся из-за ребенка.

Царь повернулся к Ванее:

— Стало быть, ты придерживаешься иного мнения?

— Господа члены комиссии преувеличивают значимость словес.— Ванея ехидно крякнул.— Если царю угодно оказаться сыном, допустим, непорочной девы и слетевшего с небес голубка, то я разошлю по городу шесть сотен моих хелефеев и фелефеев, а завтра весь Иерусалим начнет божиться, что так оно и есть.

Выразив свое одобрение, царь подпер голову рукой и спросил меня, каковы мои соображения на этот счет.

По моему разумению, сказал я, такой человек, как мудрейший из царей Соломон, столь щедро наделен множеством талантов и столь высоко чтим народом Израиля за свое миротворчество, что он сам по себе служит наилучшим свидетельством того, как любил Господь его родителей и как благоволил им.

— Поразительно! — воскликнул царь.— В сущности, то же самое всегда говорила мне мать. Соломон, сын мой, говорила она, отец твой согрешил пред Господом, позвав к себе бедную, беззащитную жену солдата, переспав с ней и убив ее мужа. Но никому не дано судить о путях Господних, который недаром ввел твоего отца в искушение, ибо я была тогда не такой старой и уродливой, а стройной и прелестной, кожа моя была нежнее лепестков розы Шаронской; он увидел меня в лучах заходящего солнца, когда я мылась. И Господь покарал твоего отца, забрав несчастного младенца, твоего старшего брата, хотя был он еще ни в чем не повинен, ему исполнилось всего шесть недель. Но ты, Соломон, сын мой, родился уже после того, как отец твой

искупил свою вину и был прощен, ибо сказано: око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь; поэтому ты не дитя смерти, а дитя жизни; и имя твое означает мир; ты благословен Господом и возлюблен им.

Царь запнулся: видно, его разволновали слова матери и мысль о том, как ему повезло, что он родился вторым.

Потом он приказал:

— Почему бы вам не написать все сообразно с мудростью моей мамы? Или вы считаете себя умнее старой израильтянки, которая сделала сына царем?

Так все и осталось в *Книге царя Давида,* история любви Давида и Вирсавии в ней сохранена.

19

После заседания царь выказал нам свое расположение, пригласив всю комиссию, включая меня, разделить его трапезу. Тщеславные члены комиссий обрадовались, лишь Ванея попросил разрешения удалиться по неотложному делу, требовавшему его присутствия в отряде хелефеев и фелефеев.

Остальные обменялись многозначительными взглядами и направились в царскую обеденную залу, стены которой украшали изображения виноградных гроздьев, гранатов и всяческих изысканных яств. Царь усадил меня рядом, оторвал кусок курдючного сала и собственноручно сунул его мне в рот. Прожевав, я поблагодарил царя за милость и сказал:

— Гнев царя — как рев льва, а благоволение его — как роса на траву.

— Ого, недурно! — воскликнул Соломон; обернувшись к писцам Елихорефу и Ахии, он приказал: — Запишите-ка это изречение, да поточнее, ибо я задумал собрание наиболее примечательных свидетельств моей выдающейся мудрости.

Я сказал, что весьма польщен и, если мне еще придут в голову подобные изречения, обязательно сообщу их царю.

Соломона явно обрадовала возможность получить нечто задаром, поэтому он любезно поинтересовался ходом работы над *Книгой царя Давида* и спросил, какой темой мы займемся в ближайшее время.

— Восстанием Авессалома,— ответил я.

— Авессалома?.. — Похоже, это имя было ему неприятно, как, впрочем, все, что так или иначе связано с ниспровержением правителей.— С чего же ты хочешь начать?

Корни дерева сокрыты от глаз, подумалось мне, но они достигают вод. Однако мудрейшему из царей требовалось дать ответ, понятный царям.

— Пожалуй, лучше всего начать с Фамари, сестры Авессалома.

Царь взял овечьи глаза, макнул в перец, заставил меня открыть рот и сунул туда угощение. Я вновь поблагодарил его за милость, потом сказал:

— Но Фамарь похоронена в гробнице молчания; раб ваш даже не знает, кого расспросить о ней — главного евнуха или старшего похоронного церемониймейстера?

— Фамарь,— отозвался Соломон,— впала в безумие, поэтому семья отправила ее в храм Беф-Сана, подальше от Иерусалима; священники там ее кормят, моют и делают все прочее, что потребно.

Воцарилось молчание. Я вспомнил Фамарь, до чего хороша была она когда-то в вышитых разноцветных одеждах, какие носят царские дочери, пока не вышли замуж.

— Боюсь, проку тебе от нее не будет,— сказал Соломон.— Люди Божии и знахари, лекари и провидцы уже пытались выспросить, что же произошло у нее с моим братом, но она лишь бормочет какую-то несуразицу.

— Ключ к пониманию в умении слушать,— осмелился заметить я,— ибо и дух Божий глаголет порой устами безумца.

Пророк Нафан заспорил с Садоком о безумии и пророчествах, оба ужасно разволновались. Царь прервал их:

— Каждый мнит, будто истинен только его путь, однако лишь Господь дарует уверенность сердцу.

Этими словами трапеза завершилась.

О Господи!

Иерусалим стал совсем не тот, что прежде.

Стража у ворот утроилась, на улицах гром колес и стук копыт, перед общественными зданиями и на важнейших перекрестках дежурят боевые колесницы.

У язычников подобная демонстрация военной силы вымела бы улицы начисто, а вот дети Израиля ведут себя иначе, они прямо-таки расцветают в смутные дни. Они горлопанят, о чем-то громко расспрашивают друг друга, суетятся, размахивают руками, лезут под копыта лошадей, толкутся возле хелефеев и фелефеев; тут же орудуют под шумок воришки и мазурики, они опрокидывают торговые лотки, убегают с товаром; люди Ванеи шныряют в толпе, подслушивают, вынюхивают, высматривают, а потом — раз! — хватают кого-то под белые руки и куда-то волокут.

У всех на устах одно и то же имя — принц Адония, сын царя Давида; его, дескать, убили. Мол, если уж сын царя Давида прикончен в собственном доме и выброшен мертвым на улицу, будто дохлый пес, то никто теперь в Израиле не может быть спокоен за свою судьбу; говорят, на сей раз Ванея перестарался, царь Соломон такого своеволия не потерпит; некий священник, воздев руки к небу, завопил, что Адония сам навлек на себя подобную кару своим распутством и неисполнением заповедей Господних. Какой-то калека в рубище заорал, потрясая кулаками, что Ванея ничуть не лучше Адонии, все они блудодеи и лихоимцы, а пуще всех — царь Соломон; калеку тут же схватили и уволокли. Что-то будет дальше, с растущей тревогой думал я и даже вздрогнул, когда меня вдруг окликнули.

Это оказались мои сыновья Сим и Селеф, они выскочили ко мне из толпы, размахивая грязной тряпицей и крича:

— Мы видели! Мы все видели!

Сим с налета ткнул мне тряпицу.

— Это его кровь.

Селеф добавил:

— Там целая лужа.

Сим гордо объяснил:

— Я оторвал кусок от своей рубахи и обмакнул в его кровь, чтобы подарить тебе на память.

Царские яства, которыми меня потчевали при дворе, подступили мне к горлу. Зато Сим и Селеф были вне себя от возбуждения; они прослышали в школе, что против принца Адонии что-то затевается. С несколькими однокашниками они бросились к его дому, который был окружен какими-то людьми; те слонялись взад-вперед, ковыряли в зубах и иногда заглядывали во двор через щели ограды. Вскоре пробежали скороходы с белыми жезлами, они кричали: «Дорогу военачальнику Ванее, сыну Иодая!» Затем на боевой колеснице подъехал сам Ванея и прошел в дом.

— Причем,— сказал Сим,— был он очень мрачен.

Из дома донеслись громкие голоса, раздался ужасный крик, на улицу, шатаясь, вышел человек, весь в крови, с зияющей раной, и тут же рухнул наземь.

— Жуть! — воскликнул Селеф.

Люди, слонявшиеся у дома, хотели было унести труп, но тут к ним выскочила женщина, которая заголосила, взывая к Богу и ко всему народу Израиля. Она бросилась на Адонию, лежащего в луже собственной крови, принялась целовать его губы и единственный глаз (другой был выбит ударом меча), рвать на себе одежды. Наконец, те люди схватили ее и утащили.

— Причем,— сказал Сим,— она казалась совсем спятившей.

Труп внесли обратно в дом. Через некоторое время оттуда вышел Ванея. Коротко переговорив со своими людьми, он сел в колесницу и уехал.

— Причем,— сказал Сим,— вид у него был такой, будто ничего особенного не произошло.

Я отослал Сима и Селефа домой, посоветовав им сегодня ни во что больше не вмешиваться.

«Братское утешительное слово — бальзам для сердца, зато совет мудреца способен исцелить».

Я вспомнил о Фануиле, сыне Муши, делопроизводителе третьего разряда из царского казначейства, который принял живое участие в моей судьбе, когда я только что прибыл в Иерусалим; тогда он отобедал со мной и, разговорившись от вина, поведал мне кое-какие секреты, известные лишь весьма узкому кругу.

В казначейство я зашел с заднего хода, небрежно махнув рукой охранникам, как это делают вельможи, уверенные, что их никто не посмеет остановить. В коридоре было тихо, как в склепе, ибо великие события возвышают народ, царские же слуги ожидают будущего с содроганием.

Я застал Фануила, сына Муши, в его комнатенке; завидя меня, он вытянул вперед руку с растопыренными пальцами.

— Не бойся, приятель,— сказал я,— пред тобой не злой дух от Господа, а Ефан, сын Гошайи, редактор *Книги об удивительной судьбе и т. д.; я* пришел посоветоваться насчет кончины принца Адонии, ибо знаю тебя как человека, сведущего в делах гласных и негласных.

Стукнув себя кулаком по лбу, Фануил проклял тот день, который свел нас вместе, после чего принялся умолять меня уйти и впредь не говорить ни одной живой душе о нашем знакомстве, ибо уши Ванеи есть всюду. Фануил не желал слушать никаких доводов, а схватил меня за рукав, подтащил к двери и выставил за порог.

Я ушел из казначейства, будто оглоушенный. Что же это за проказа на мне, за какие провинности и с каких пор? Я брел по улицам, чувствуя себя среди толпы совершенно одиноким, и душу мою полнил страх. Но пес возвращается к своей блевотине, так и мои мысли непрестанно крутились вкруг слов, сказанных мне Ванеей в доме Иоава: «Если ты, Ефан, и впрямь знаешь столько, сколько, по-моему, знаешь, то знаешь ты, по-моему, слишком много».

Я вернулся домой, ничего другого мне не оставалось.

Дом был залит розовым светом заката, перед входом стоял зеленый паланкин с золотыми планками и красной бахромой на крыше.

Я тут же прикинул, не лучше ли заночевать в какой-нибудь гостинице или даже в любом сарае, а то и просто в подворотне. Но я совсем выдохся и был слишком обескуражен, поэтому шагнул через порог, словно баран на заклание.

Аменхотеп, поприветствовав меня своими гортанными восклицаниями, принялся оживленно расспрашивать о моем здоровье; почему это я прячусь от него, спрашивал он. Моя наложница Лилит принесла чашу с водой, омыла мне лицо, руки и ноги, Аменхотеп тем временем благосклонно поглядывал на нее; мать моих сыновей Олдана подала вина, хлеба, блюдо овечьего сыра, перемешанного с мелко порезанными оливками и тертыми орехами; Есфирь же, любимая моя супру-

га, попросила извинить ее, мол, день был долог, и сердце у нее притомилось.

Женщины удалились, Аменхотеп молча положил на хлеб ломтик сыра и довольно долго жевал. Вытерев губы тончайшим льняным платочком, он наконец проговорил:

— После такого дня, как нынешний, человеку полагается вспомнить о душе и навестить друга.

Меня вновь охватил страх.

— Смерть — жнец проворный,— сказал я.

Он кивнул.

— Давно ли мы с тобой, Ефан, видели, как Адония ублажает Ависагу по-козлиному и по-всячески, а теперь Ванея поразил его, и он мертв.

Аменхотеп многозначительно взглянул на меня, страх мой усилился.

— Ты — историк, Ефан; смерть для тебя обычное дело, но у этой есть своя особенность, которая касается и тебя. Полагаю, тебе уже известно, как все произошло?

Я качнул головой.

— Адония совсем лишился рассудка из-за Ависаги,— сказал Аменхотеп.— Он додумался до того, что попросил царицу-мать Вирсавию, именно ее, замолвить за него словечко царю Соломону. Мало того, он еще и напомнил: «Сама знаешь, царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя; но царство отошло от меня и досталось брату моему».

Аменхотеп жеманно заломил руки.

— Представляешь, каково было слышать такое старой госпоже? Неужто он позабыл, что именно Вирсавия подговорила царя Давида не отдавать царство Адонии? Неужто он забыл, что хотя Ависага и не смогла согреть Давида, но считалась его женой, а посягать на жену царя — значит посягать на царский престол.

Я вспомнил, как Адония ласкал Ависагу, а та извивалась от страсти, на сей раз меня прошиб от страха пот, сердце мое сжалось.

— Вирсавия пришла к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал, поклонился ей, велел поставить престол и для матери; она села по правую руку его и сказала: «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». Царь сказал: «Проси, мать моя, я не откажу тебе».

(Совсем прежняя Вирсавия, жена Урии; с виду тише воды, ниже травы, а у самой на кончике языка — смерть.)

— Вирсавия сказала: «Дай сунамитянку Ависагу в жены брату твоему Адонии».— Руки Аменхотепа задвигались, будто две змеиные головки, пытающиеся ужалить друг друга.— Я посмотрел на лица Иосафата и Ванеи, они застыли, как каменные. Зато царь пожелтел, словно лимон, и сказал матери: «Почему же ты просишь для Адонии только сунамитянку Ависагу? Проси ему также и царства, ведь он мой старший брат, недаром с ним дружны священник Авиафар и Иоав, сын Саруии».

(Соломон, как всегда, первым делом заподозрил заговор. Власть берет свое начало от заговоров, поэтому они всюду мерещатся сильным мира сего. А Вирсавия хорошо знала их.)

— Тут царь,— продолжил Аменхотеп,— раскричался на Ванею и на меня, дескать, хороши слуги верные, хороша бдительность, если у нас под носом его брат Адония и Ависага заводят шашни, а мы ни сном ни духом. Чего стоят все царские сановники и советники, если он лишь от матери узнает о том, что творится в его царстве? «То и то пусть сделает со мною Бог и еще больше сделает,— воскликнул Соломон,— если не на свою душу сказал Адония такое слово. Ныне же — жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего — ныне же Адония должен умереть».

Я вспомнил о темных пятнах крови Адонии на тряпице и дрогнувшим голосом спросил Аменхотепа, какое отношение эта смерть имеет ко мне.

Он пристально уставился на меня, отчего его слегка покрасневшие глаза как бы чуть-чуть выступили из орбит, потом сказал:

— Разве не долг каждого сына Израиля следовать путями Господними и сообщать властям о любом проявлении неблагонадежности? Разве тебе не стало ведомо нечто важное для слуг царя?

— Но ведь то же самое ведомо и вам! — воскликнул я.

— Конечно!

Он повернул голову и сделался похожим на фигуру, какие высекались египтянами на обелисках, и улыбка его была такой же загадочной.

МЫСЛИ ЕФАНА, СЫНА ГОШАЙИ, ЗАПИСАННЫЕ ИМ В СВОЕЙ КОМНАТЕ В ЧАС ТЯЖКИХ РАЗДУМИЙ ПОСЛЕ УХОДА АМЕНХОТЕПА, ГЛАВНОГО ЦАРСКОГО ЕВНУХА

О ПРАВИТЕЛЯХ

«Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями».

«Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей — неисследимо».

«Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою. И поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его; это — обманчивая пища».

«Когда царь боится, он рыкает, как лев; кто раздражает его, тот грешит против самого себя».

«Тяжел камень, весок и песок; но гнев глупца тяжелее их обоих».

О ДЕЛАХ И ЦАРСТВЕ

«Без откровений свыше народ необуздан, а соблюдающий закон блажен».

«Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы».

«Потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их».

«Жаждущий крови ненавидит праведников».

«Чего только не создал Господь, даже лицемеров для нечестивого дела».

«Праведник может упасть семь раз и снова встанет, а подлый человек погрязает в подлости».

ОБ УЧАСТИИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

«Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?»

«Не высовывайся пред царем, не становись туда, где стоят сильные мира сего».

«Мудрые скрывают знания, но уста глупого — близкая его погибель».

«Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых».

«Плавильня — для серебра и горнило — для золота, а сердца испытывает Господь».

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ НОВОЙ ПОЕЗДКИ

«Нечестивец бежит, даже когда никто не гонится за ним; а праведник смел, как лев».

«Погибели предшествует гордость, а падению надменность».

«Благоразумный видит беду и остерегается, а глупые идут вперед и наказываются».

«Рассудительность сбережет тебя, разум охранит тебя, дабы спасти от пути злодеев и от лжецов».

«В полу твою бросается жребий, но все решение его — от Господа».

О ПОЕЗДКЕ К ФАМАРИ, ДОЧЕРИ ДАВИДА, И О ПРОДОЛЖЕНИИ ПОИСКОВ ИСТИНЫ

«Подумай, прежде чем сделать шаг, тогда безопасно пойдешь по пути твоему и нога твоя не споткнется».

«Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом».

«Господь не оставит праведника в беде».

20

— Боже мой,— удивился начальник стражи у городских ворот,— никак наш историк? Сюда приехал с целым ослиным караваном, а уезжаешь на одном-единственном осле, стало быть, либо твоя История пришлась не ко двору, либо иерусалимская мостовая горит у тебя под ногами, а?

Похвалив офицера за столь удивительную памятливость, я сказал:

— Да, с тех пор, как я проехал через эти ворота с семьей и архивом, а потом поселился в государственном доме — № 54 по переулку Царицы Савской,— прошло действительно немало времени; теперь вот еду кое-куда по царскому поручению.

С этими словами я подал ему мои документы.

Между тем вокруг меня столпились нищие и прочий сброд, что обычно толчется у городских ворот; посыпались шуточки насчет крыс, бегущих из чумного дома, кто-то крикнул, что кровь Адонии, дескать, лишь начало, скоро на холмах иерусалимских повырастают виселицы и на каждой заболтается паразит, сосавший кровь из народа, из простого труженика.

Взмахнув многохвостной плеткой, офицер гаркнул:

— А ну молчать, чертово отродье, нечисть поганая. Видать, зады без розги зачесались; вот языки-то вам повырвут. Слишком много воли дал вам Господь, избаловал царь своими милостями. Мозги у вас ссохлись, не больше горошины стали. Или вы забыли, кто правит страной — мудрейший из царей Соломон, его верная опора Ванея с хелефеями и фелефеями, они каждого видят насквозь и умеют заткнуть рот болтуну.

Мне же он сказал:

— Убирайся отсюда поскорее. Сам видишь, вы, книжники, только возбуждаете народ, да и царским слугам от вас одни хлопоты.

И я отправился на север, к Беф-Сану, по ведущей мимо храма в Номве дороге, которой некогда воспользовался Давид, бежавший от Саула.

Меня печалила мысль об Есфири, моей оставленной дома больной жене, о моей наложнице Лилит, которая почему-то не проводила меня, и о моем собственном будущем, представлявшемся мне весьма ненадежным: допустим, покинув Иерусалим, я увернулся на сей раз от прямого удара, но я уже слишком стар и чересчур привязан к определенному жизненному укладу, чтобы привыкать теперь, скажем, к длительному прозябанию в горных пещерах или в пустыне.

Доехав до большого камня, из-под которого тек пограничный ручей, названный так потому, что когда-то он служил границей земли иевуссеев, до того, как Давид разбил их и завоевал Иерусалим, я вдруг увидел тонкую женскую фигурку, закутанную в белое одеяние; в руках женщина держала узелок.

Сердце мое радостно подпрыгнуло, ибо я узнал Лилит; горло мое неожиданно пересохло, поэтому, сойдя с осла, я некоторое время не мог вымолвить ни слова.

Открыв лицо, Лилит подошла ко мне, взяла за руку и сказала:

— Не гони меня, любимый. Я пойду за тобой; когда ты будешь есть, мне хватит крошек, а когда ты ляжешь спать, я согрею тебя, ибо люблю больше жизни.

Я обнял ее, крепко прижал к себе и подумал, что не переживу, если придется отдать ее царю Соломону, невыносимо представить себе, как он тискает ее своими жирными лапами; я понимал, сколь небезопасно одинокому путнику странствовать по дорогам Израиля с красивой женщиной; ведь всюду нас поджидают разбойники, солдатня и прочий сброд, готовый надругаться над Лилит, как это бывало во времена Судей, когда развратные жители города Гивы взяли наложницу одного молодого левита, промучили ее всю ночь и отпустили лишь на заре; весь Израиль поднялся, чтобы покарать жителей Гивы, после того как левит разрезал свою наложницу на двенадцать частей и разослал их по всем пределам Израиля. Однако это было во времена Судей, ныне режь свою невесту хоть на тысячу кусков, рассылай их блюстителям по стране. никто даже пальцем не шевельнет.

— Лилит, милая,— сказал я.— Бог — свидетель, больше всего на свете мне хочется взять тебя с собой. Все тяготы пути вмиг превратились бы в сплошные удовольствия, каждый день стал бы для нас днем медового месяца. Но в стране весьма неспокойно, именно поэтому мне приходится уезжать из столицы, а на большой дороге еще опасней.

Она взглянула на меня своими огромными глазами и сказала:

— Ведь я спала у ног твоих, мой любимый; я ласкала и нежила тебя. Когда ты купил меня у моего отца за дюжину хороших овец, четыре козы и дойную корову, то вначале ты показался мне стариком, брюзгой, мне даже чудилось, что от тебя должно пахнуть плесенью; но ты научил меня твоим песням, был добр ко мне и постепенно стал для меня возлюбленным, супругом и отцом в едином лице. Перед тем как прийти сюда, я все хорошенько обдумала, не сомневайся; я прекрасно знаю, каково молодой женщине путешествовать в такие времена с мужчиной, который учен, мягок характером, но не умеет обращаться с кинжалом. Однако даже если ты прогонишь меня, я все равно не вернусь домой, а пойду за тобой словно тень; не дано человеку уйти от своей тени, так и тебе не избавиться от меня, если только не скажешь, что разлюбил и хочешь по дороге позабавиться с другими, с деревенскими потаскушками и городскими шлюхами, тогда я стану молить Господа, чтобы он покарал тебя язвами на чреслах, геморроем и мужской немочью.

Признаюсь, была у меня мыслишка попробовать в пути чего-нибудь свеженького, хотя бы и девку деревенскую. Мужчина в дороге вроде птицы в полете — все зыркает по сторонам, нету ли где мышки полевой. Но любовь моей Лилит покорила меня; устыдившись своей мыслишки, я сказал:

— Лилит, милая, почему это мужчины устроены так, что они редко понимают всю силу любви, на какую способна женщина, и потому сами отказываются от ее чудесных даров? Пусть то и то сделает со мною Бог, если я забуду преподанный тобою урок и обману твою любовь. Нет, ты не пойдешь за мною пешком, мы по очереди поедем на осле, будем делить хлеб, на ночь укрываться одним одеялом, и согревать друг друга, и ласкать, а потом станем глядеть в небо и слушать вздохи ветра.

С тем мы и тронулись в путь от большого камня пограничного ручья, лицо у Лилит сияло, будто отражало свет сотен звезд.

На седьмой день пути, в час, когда подобное огромному красному шару солнце уже садилось, вдали показались стены Беф-Сана, низкие, местами полуразвалившиеся, как, впрочем, и дозорные башни; мудрейший из царей Соломон предпочитал расходовать деньги на строительство Храма и расширение своего дворца, а также на крепость Милло, на стены Иерусалимские, на Гадор, Мегддо, на царские склады для зерновых запасов, помещения для колесниц, конюшни и на прочее царское строительство в Иерусалиме и Ливане; все остальное приходило в упадок и запустение.

Нам повстречался человек, тянувший за собою на веревке старого упрямого козла; человек бранился, клял день своего рождения и тот день, когда на свет появился злополучный козел, но пуще всего он ругал священников Беф-Сана.

— Послушай, любезный,— обратился я к нему,— чего ты мучаешься с этой дохлятиной? Мяса-то у козла почти нет, одни кожа да кости, рога крошатся, шерсть облезла; не будет тебе от твоей скотины никакого проку, так пожалей ее ради Бога, дай спокойно околеть.

— Никакого проку? — Человек проклял мою мать за то, что родила меня на свет, и мать Лилит, а заодно ослицу, родившую осла, который меня вез. Затем он слегка успокоился и сказал: — Козел мой вполне еще в соку и силе, а пылу у него побольше, чем у тебя, чужак. Что же до его погибели, то она близка, ибо я веду его к священникам, чтобы принести в жертву Господу у храмового алтаря.

Я похвалил незнакомца за благочестие, после чего тот снова закричал, пнул козла, а мне объяснил, что первого числа каждого месяца должен жертвовать священникам Беф-Сана козу, барана или теленка на содержание своего сына, придурка от рождения; жертвы эти так разорительны, что ни жене, ни остальным детям, ни ему самому уже есть нечего.

Оставив город Беф-Сан слева, мы двинулись вслед за хозяином козла вверх по склону холма и добрались до храма уже после вечерней молитвы, когда там зажигали светильники. Неподалеку от храма мы разыскали гостиницу, где нас встретил священник, с лица и рук которого грязь отслаивалась прямо-таки кусками. Он протянул руку, чтобы получить с нас плату за ночлег вперед, сказав при этом:

— Господь зрит прямо в сердце, а для нас душа человеческая — потемки, начнешь доверяться, сразу разоришься.

Поужинали мы ломтем хлеба и куском мяса, такого жилистого, что, видно, было оно от старшего брата того козла, который попался нам по дороге. Потом залезли под одеяло, прижались друг к другу и долго не могли заснуть из-за храпа паломников, издалека пришедших к святому храму помолиться и вознести жертвы Господу, а также из-за криков, шума, стенаний, доносившихся от хижин, где ютились умалишенные: казалось, будто все злые духи собрались здесь на свою сходку. Лилит дрожала. Ей страшно не разбойников и не солдат, шепнула она мне, и не сыщиков Ваниеи; ей жутко, что злой дух вдруг накинется на нее и станет таскать за волосы, щупать за соски или того хуже — вложит в чрево урода.

— Лилит, голубка моя,— сказал я,— мне известно надежное заклятие против злых духов: перед тем как лечь, я обвел нас магическим кругом, и теперь ничего плохого с нами не случится.

Тихонько всхлипнув один-единственный раз, Лилит положила мне на плечо голову и заснула.

Утром я пошел засвидетельствовать мое почтение первосвященнику, который был розоволиц, упитан, но не менее грязен, чем прочие здешние священнослужители.

По выражению его лица я никак не мог понять, верит он мне или нет, во всяком случае, когда я кончил говорить, он сказал:

— Мы не держим болящего ни за решеткой, ни под запором и не применяем никакого насилия. Три главные вещи, твержу я собратиям, способствуют успешному лечению — терпение, сострадание и любовь. Конечно, если болящий взбунтуется, его могут стукнуть, чтобы привести в чувство и утихомирить, но ведь эта боль мгновенна, то есть ее как бы и нет. Не мучайте недужных, наставляю я братию, а молитесь с ними. Для посещений отведены определенные часы, любой может прийти и послушать, что лепечут несчастные. Есть немало серьезных и весьма состоятельных людей, которые пытаются так или иначе истолковать услышанные здесь слова и в зависимости от этого заключают крупные сделки. Кормить и дразнить больных запрещено. За наши услуги мы рассчитываем на воздаяния Господу, для чего во дворе храма имеется достаточный выбор скота, и благочестивец может купить у левита скотину для жертвы либо целиком, либо частью — короче, останешься нами доволен, а Господь возлюбит тебя за щедроты и исполнит все твои желания.

Я отправился с Лилит во двор храма, куда родные и близкие больных действительно привели множество овец, коз и телят. Эту скотину левиты тут же продавали паломникам, шел оживленный торг, слышались громкие крики, божба, жалобы на непомерные цены. В одном уголке я заметил нашего знакомого — того самого козла, что был скорее дохлым, чем живым; сжалившись, я попросил левита прикончить его одним точным ударом и отволочь к алтарю, чтобы я мог пожертвовать заднюю четверть, если цена, конечно, не превысит разумных пределов; левит пообещал назначить приемлемую цену в благодарность за то, что Господь послал меня именно к нему, тем более, что и другие благочестивцы не преминут войти в долю, стало быть, богоугодное дело скоро свершится, и несчастной скотине осталось недолго мучиться. В качестве расписки за оплату и пропуска к больному левит выдал мне глиняный черепок.

В приемный час я пошел к лачугам умалишенных, Лилит сопровождала меня, хотя очень боялась и была ужасно бледна.

Лачуг оказалось три; одна для припадочных, другая для тех, кто находился в столбняке или страдал недержанием; третья для прочих больных, включая буйнопомешанных. В каждой лачуге дежурили двое священников с железными ручищами и воловьими мордами, на которых застыло полнейшее равнодушие. Больные заметно боялись их, при появлении священника одинаково вздрагивали и жалобно скулили независимо от недуга. Смрад был столь ужасен, что душил даже шагах в двадцати от лачуг, внутри же было и вовсе невыносимо; многие из несчастных сидели голыми или в жалких лохмотьях, измаранные собственными нечистотами, исходя слюной и мокротой; кое-кто лежал трупом, не шевелясь.

Я спросил священников, где найти Фамарь, дочь Давида. Они разинули пасти, давясь от беззвучного смеха, потом один сказал:

— Что значат тут имя и звание? У нас есть царь персидский, два фараона, несколько ангелов, в том числе две женщины, а уж пророков и прозорливцев вовсе не счесть. Хочешь, покажу богиню любви Астарту? Правда, груди иссохлые, волосы посеклись, ногти послазили, глаза гноятся. Подавай ему Фамарь, дочь Давида! А Еву, жену Адама, не желаешь?

Схватив Лилит за руку, я бросился вон из лачуги, прочь от храма; отбежав на край поля, мы остановились, Лилит упала на землю, закрыла лицо ладонями. Сколь же многотрудны и извилисты пути

Господни, подумал я. Вдруг поодаль на тропинке появилась женщина в многоцветном платье, какое носят царские дочери до замужества. Странно склонив голову набок, женщина напевала тоненьким детским голоском:

...отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя,
голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся
покрыта росою, кудри мои — ночною влагою...

Я заметил, что ее многоцветное платье все в заплатах; лицо у женщины было старым, изможденным, черты искажены, глаза смотрят куда-то в пустоту. Лилит встала и почтительно проговорила:

— Госпожа Фамарь, дочь Давида...

Женщина, будто слепая, прошла мимо, продолжая напевать:

Отперла я возлюбленному моему,
а возлюбленный мой повернулся и ушел.
Души во мне не стало, когда он говорил;
я искала его и не находила его;
звала его, и он не отзывался мне.

Лилит бросилась к ней, чтобы остановить.

— Фамарь, милая сестра моя...

Но женщина шла дальше.

— Фамарь, послушай. Это, Ефан, мой возлюбленный; он нежен и добр, его руки легки, как морской ветерок...

В лице женщины вроде бы что-то промелькнуло.

— Сердце мое с тобою, Фамарь. Я хочу помочь тебе. А мой возлюбленный знает заклинание, которое прогонит от тебя злого духа...

Женщина остановилась.

— Погляди на Ефана, возлюбленного моего; он мудр, ему ведомы пути Господни и пути людские.

Женщина оглянулась. В глазах ее засветилась искорка жизни. Я шагнул к ней. Она вскинула руки, будто защищаясь от удара, потом руки поникли, но лицо перестала искажать гримаса испуга.

Лилит по-сестрински поцеловала ее, и женщина пошла с нами.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛА ФАМАРЬ, ДОЧЬ ДАВИДА, ЕФАНУ, СЫНУ ГОШАЙИ, ЛЕЖА В ПОЛЕВОЙ ТРАВЕ И ПОКОЯ ГОЛОВУ НА КОЛЕНЯХ ЕГО НАЛОЖНИЦЫ ЛИЛИТ

...Боже мой это даже не бесчестье он просто швырнул меня на кровать навалился сорвал одежду мне было больно он ударил меня в лицо чтобы я замолчала это было ужасно но еще ужасней другое ведь я понимала что без девственности царская дочь ничего не стоит правда дочерей у царя много и во всех горячая кровь Давида лет с восьми-девяти мы уже знали что творится в царском гареме девочки ходили по ночам друг к другу пробовали вино и гашиш баловались со служанками ложились вместе в постель я сама видела все это и может стала бы такой же любила бы женщин если бы не мать моя Мааха дочь гессурского царя она говорила мне Фамарь если я застану тебя в постели с одной из потаскушек и узнаю что ты лишилась девственности то запорю помни в тебе царская кровь и по отцу и по матери ты не из выскочек каких-нибудь или скоробогатчиков жаль отец твой не всегда разборчив при выборе жен — вот какой была моя мать я ужасно боялась ее не то что мой брат Авессалом тот упрямец отрастил себе длинные волосы а однажды пнул мать ногой и укусил когда она

выбранила его мать пожаловалась отцу тот велел выпороть Авессалома только я про другое — так вот я была еще девушкой а Амнон мой брат от другой отцовой жены израильтянки Ахиноамы начал приставать пробовал затащить в кусты тискал но я сказала если хочешь дружить как брат с сестрой то давай а лапать себя не позволю ты же всегда потный у тебя дурно пахнет изо рта Амнон жутко разозлился и от злости сделался совсем уродом он и от рождения бледен губы узкие а тут совсем больной сделался будто его взамен отца поразил разгневавшись Господь мать же Амнона везде носилась со своим сыночком словно с младенцем вот она и принялась жаловаться отцу довела его до отчаяния он пришел ко мне и сказал дочь моя знаешь как мне трудно оттого что Господу неугодны некоторые мои дела а тут еще Амнон захворал и твердит будто смерть как хочет поесть таких биточков которые только ты умеешь готовить из мелко порубленного мяса со всяческими приправами и запекаешь в тонком тесте и подаешь с куриным взваром Амнон говорит дескать если ты сготовишь ему биточки то он сразу поправится на это я ответила что раз дело только за биточками то я сготовлю их и отошлю Амнону домой но отец сказал мол Амнон непременно хочет чтобы ты пришла сама приготовила там и подала своими руками я говорю это уж слишком пусть не ставит условий с него довольно того что я согласилась стряпать но отец сказал дескать мальчик хворает а у больных свои причуды к тому же он тебе наполовину брат будь же доброй сестричкой ступай к нему приготовь биточки делать нечего я пошла к Амнону он лежал в постели с больным видом сказал еле слышно мол хочу биточков поднял руку как для приветствия но рука упала слуги качают головами шепчут бедняжка Амнон совсем ослаб от хворобы скорей готовь биточки а то помрет не дождавшись Амнон стонет жалуется ох как болит голова не могу слышать вашей болтовни подите прочь слуги ушли я осталась со своими горшками и сковородками биточками и куриным взваром он все стонет о Фамарь сестричка дай глоточек может полегчает я говорю осторожно не пролей, а он уже тянет меня за руку вот говорю и пролил вдруг откуда у него только силы взялись он схватил меня швырнул на постель на эти злосчастные биточки и шепчет ложись со мною нет нет нет говорю не бесчести меня ибо в Израиле так не делают куда я пойду потом с моим позором лучше поговори с отцом он тебе не откажет но Амнон уже ничего не слышит он сильнее меня поэтому вскоре совладал со мной а когда пресытился то отвернулся от меня и говорит ты не женщина а деревяшка я говорю чего же ты хочешь от девушки которую насилуешь ты причиняешь боль лишаешь девственности и ждешь страсти? когда я лежу на постели среди биточков? в другой раз все будет иначе — но Амнон кричит другого раза не будет убирайся прочь я говорю как же так изнасиловал собственную сестру а теперь гонишь ее как последнюю шлюху? так уж и изнасиловал смеется он не очень-то ты сопротивлялась но говорю я ты же меня избил чуть не до беспамятства он ухмыляется когда ты шла ко мне то знала чего я хочу короче такая кто спит с кем попало не подходит в жены царю Израиля поэтому вставай и убирайся прочь я прошу не гони меня это еще большее зло чем то что ты сделал со мной но он позвал слуг велел им выгнать меня и запереть за мною дверь а вслед мне бросил мое пестрое платьице слуги потащили меня я услышала как позади лязгнула щеколда тогда я закричала разодрала одежды посыпала голову пеплом тут меня пронзила боль она разрасталась выплескиваясь через глаза наружу лицо у меня горело его кривила судорога вдруг появился мой брат Авессалом он спросил ты была у Амнона? я только молча взглянула на него и он сказал никому ни слова Амнон твой брат — я молчала — не принимай близко к сердцу — я молчала — он взял меня за руку отвел к себе домой останься пока тут — я молчала — а боль во мне все росла и росла но я — молчала молчала молчала...

21

МОЛИТВА ГОСПОДУ ОБ ИЗБАВЛЕНИИ И ПОМОЩИ В ВЕЛИКОЙ БЕДЕ. ПЛАЧЕВНАЯ ПЕСНЬ ЕФАНА ИЗ ЕЗРАХА

Пожалей, Господи, детей Духа Твоего,
тех, кого Ты сотворил из праха земного,
Ты даровал им разум, чтобы разуметь,
и язык, чтобы говорить.
Ты даешь и берешь по мудрости Твоей.
Ты даровал им сердце, которое
достаточно сокрушить единожды.
Помилосердствуй, Господи, не закрывай Твой слух
для воплей наших и жалоб немых.
Вот она, идет в пестром платье;
она говорила пред Тобою,
а теперь встала и ушла,
и унесла обиду в своем сердце.
Унижена дочь сильного, глаза ее мертвы, руки поникли.
Я слышу голоса с темных берегов,
лепет безумцев, и молю Тебя, Господи, о моей душе.
Поспеши, Боже, избавить меня,
поспеши, Господи, на помощь мне.
Да постыдятся и посрамятся
ищущие души моей!
Да будут обращены назад и преданы посмеянию
желающие мне зла!
Я же беден и нищ; Боже, поспеши ко мне!
Ты помощь моя и избавитель мой;
Господи! не замедли.

Под вечер вдали поднялись столбы пыли, с равнины донеслись крики, затем показалось множество боевых колесниц и всадников, направляющихся к Беф-Сану.

Лилит сказала:

— Милый, не жди, пока хелефеи и фелефеи доберутся до храма, давай поскорее уедем отсюда.

Мы купили у левита солонины и хлеба, Лилит села на осла и закрылась накидкой.

— Для отца красивая дочь дороже жемчуга,— заметил левит, отвешивавший солонину.— И воистину мудр тот, кто прячет сокровище от солдатни.

Лилит хихикнула под накидкой, я разозлился, хлестнул осла, а когда он тронулся с места, объяснил Лилит, что мужчины — вроде вина: от молодого проку мало, от него только живот пучит да голова болит, зато выдержанное вино и на вкус мягче, и пьянит сильнее.

На ночлег мы устроились у русла высохшего ручья, укрывшись от чужих глаз зарослями дрока; на следующий день мы достигли предгорий и прибыли в Гило, откуда был родом Ахитофел, советник царя Давида, примкнувший к Авессалому. Ахитофел имел богатый дом, Господь щедро наградил его и иными милостями, однако он был человеком беспокойным по натуре. У торговца маринованными оливками я спросил, где найти дом Ахитофела, но торговец вытянул ко мне растопыренные пальцы и сказал:

— Дом Ахитофела? Лучше спроси, где живет Велиар, средоточие зла. По решению гилонянских старейшин Ахитофела вычеркнули из людской памяти. Улица, прежде носившая его имя, теперь называется улицей Великах Свершений Давидовых, а сиротский приют, основанный и содержавшийся Ахитофелом, ныне закрыт, сироты побираются, кто постарше — идет к разбойникам, девочки становятся шлюхами. В общем, дом — не будем говорить чей — вон на том холме, ты его сразу узнаешь, ограда у него повалилась, двор зарос бурьяном; между

прочим, в башне по соседству бродят привидения, особенно в новолуние.

Мы пошли туда, куда показал торговец, и довольно быстро разыскали дом Ахитофела. Солнце стояло в небе высоко, ни листик не шевелился в зарослях, бывших некогда роскошным садом, в тишине слышался только стрекот цикад. Мы прошлись по пустым комнатам, наши шаги гулко звучали меж стен, облицованных на сидонский манер, и потолков, расписанных по-тирски. Я думал о человеке, построившем этот дом, присоединившемся к заговору против Давида, а потом покончившем с собой, когда ему стало ясно, что восстание обречено и все его усилия оказались напрасны. Каким был Ахитофел? Что двигало им и Авессаломом, а может, и самим Давидом?

Послышался негромкий кашель. Лилит испуганно вздрогнула.

Я обернулся. В проеме двери, ведущей в сад, стоял худенький человечек, его силуэт резко выделялся на фоне ослепительного полуденного света. Но в самом человечке было нечто призрачное, казалось, он может исчезнуть так же внезапно, как появился. Однако он остался на пороге и, почесав подбородок, скромно поинтересовался целью нашего прихода; ведь по решению гилонянских старейшин имя Ахитофела вычеркнуто из памяти людей и заходить в этот дом запрещено.

Я объяснил, что путешествую — отчасти по делам, отчасти ради собственного удовольствия, а женщина меня сопровождает; дом мы увидели издалека, нам понравились его архитектура и месторасположение, поэтому захотелось взглянуть поближе.

Человек подошел к нам; место действительно удачное, подтвердил он, вообще, Гило и окрестности славятся своим прекрасным, здоровым воздухом. Конечно, дом надо отремонтировать, но даже при сравнительно небольших затратах можно превратить его прямо-таки в райский уголок, каким дом и был, пока в прежнего хозяина не вселился злой дух и он не присоединился к долгогривому Авессалому, взбунтовавшемуся против Давида. Учитывая размеры участка, замечательное расположение, все это можно приобрести за смехотворно низкую цену, которую даже неловко называть, настолько она не соответствует истинной стоимости. Мы спросили, почему же он тогда запрашивает такую цену. Человечек ответил, что, как ему кажется, он говорит с порядочными людьми, потому и сам честен; кроме того, гилоняне все равно рассказали бы нам о главном недостатке этого дома: в новолуние на башне появляется призрак бывшего хозяина. Однако если сделка интересует нас всерьез, то опасаться нечего — привидение совершенно безобидно, оно не хрипит, не воет, не чихает, просто стоит немое и белое в окне башни, где повесился прежний хозяин.

Поблагодарив за предложение, я сказал, что подумаю, и спросил, а кто он собственно сам и по какому праву ищет покупателей для дома и сада.

— Меня зовут Иоглия, сын Ахитофела.— Человек грустно пожал плечами.— Я тут последний из семьи, а когда все распродам, тоже уйду.

Вдруг Господь надоумил меня на одну мысль.

— Слушай, Иоглия,— сказал я,— а не осталось ли от твоего отца еще чего-нибудь кроме дома и сада?

— Была еще его одежда для торжеств и церемоний, золотая цепь советника, чаша и блюдо, несколько изящных вещиц, но все это давно заложено.— Он задумался.— Впрочем, за сараем стоят бочки с глиняными табличками. Я пробовал их продать, но говорят, раз это записи Ахитофела, то они наверняка богопротивны и злоумышлены против царя.

— Надо же,— я изобразил удивление,— какое совпадение! А я как раз собиратель старинных рукописей. Покажи-ка мне свои боч-

ки, глядишь — и сговоримся. Только предупреждаю: возможно, меня заинтересует лишь немногое, да и средства мои ограниченны.

Но Иоглия, сын Ахитофела, уже ничего не слышал. Не обращая внимания на цепляющийся за ноги бурьян и репейник, он бросился к полуразвалившемуся сараю, заросшему красноцветом. Там стояли три закрытые бочки. Схватив инструменты, Иоглия принялся за крышки; одолев первую, он тут же протянул мне несколько верхних табличек. На первой значилось: «Записки царского советника гилонянина Ахитофела о царствовании Давида и восстании его сына Авессалома, а также некоторые мысли общего характера».

Сердце у меня заколотилось. Лилит спросила, не дурно ли мне. Я что-то пробормотал насчет духоты в сарае и вышел на свежий воздух. Обретя наконец способность действовать более-менее здраво, я сказал:

— Вот что, Иоглия. Тут не кусок мяса и не пирог, который достаточно попробовать, чтобы все сразу стало ясно. Если хочешь, чтобы я приобрел часть табличек, дай мне возможность спокойно их изучить, для этого мне понадобится некоторое время, а также какое-либо помещение с целыми стенами и крышей, дабы защитить мою юную спутницу от дождя и зноя. Кроме того, нужна еда и кувшин вина, лучше два. Сумеешь это устроить?

Иоглия отвесил поклон, руки его от волнения задрожали. Дом в вашем распоряжении на любой срок, сказал он, а еще будет солома, чтобы спать; хлебом и сыром он поделится; если я дам ему полшекеля, можно сбегать в Гило и принести целый козий мех приличного вина.

Так мы нашли себе приют, а главное — немаловажные для *Книги царя Давида* материалы, то есть поездка вполне оправдывалась данным мне царским поручением.

Что же до призрака Ахитофела, то я успокоил Лилит: до новолуния еще не одна неделя, и, когда в окне башни вновь появится белое немое привидение, мы уже будем далеко-далеко.

ИЗ ЗАПИСОК ГИЛОНЯНИНА АХИТОФЕЛА

Поначалу все мы верили в него.

Он был избранником Господним, олицетворением великих перемен, из которых народу Израиля предстояло выйти более сильным, нравственно просветленным и обращенным к будущему, чтобы исполнилось данное Господом нашему учителю Моисею обетование: «Господь размножит сыновей Израиля и благословит все дела рук их, и плод чрева их, и плод земли их, и рождаемое от скота их».

Это означало отобрать у племенных старейшин власть и привилегии, ограничить влияние священничества, создать государство, которое обложит налогом богатых, защитит бедных, утвердит справедливость, наладит торговлю, сможет вести войны с другими царствами. Это требовало полной самоотдачи всех, кто присягнул делу Господа.

А ведь у нас не было почти никакой опоры. Законы, данные Господом Моисею, были изречены в глубокой древности, когда еще не существовало собственности на землю и каждый делал что ему заблагорассудится, зато царил мир. Но как только земля стала чьей-то собственностью, возникла несправедливость, человек человеку сделался волком. Поэтому мы провозгласили: «Каждый под виноградником своим и под смоковницею своею от Дана до Вирсавии».

Теперь кое-кто утверждает, будто Давид присвоил себе эти слова, дабы привлечь к себе народ, а великие перемены послужили ему лишь средством завоевания власти; он шел на любое преступление ради своей цели.

По-моему, все не так просто. Однажды ночью он прочитал мне на крыше своего дворца только что написанный псалом:

Я погряз в глубоком болоте,
и не на чем стать;
вошел в глубину вод,
и быстрое течение их увлекает меня.
Ненавидящих меня без вины больше,
нежели волос на голове моей.
Враги мои,
преследующие меня несправедливо,
усилились;
о мне злословят сидящие у ворот,
и высмеивают в песнях пьющие вино.
Я изнемог от вопля, засохла гортань моя,
истомились глаза мои от ожидания Бога.
Ибо ради него несу я поношение,
и бесчестием покрывают лицо мое.
Чужим стал я для братьев моих
и посторонним для сынов матери моей.

Конечно, в стихах Давид зачастую лицемерил, но только не в этих. Так говорит тот, кто унизил себя ради высокого замысла.

РАЗГОВОРЫ О ДАВИДЕ

Поначалу все мы верили в него. Позднее, когда стало ясно, что избранник Божий сделался деспотом, каждый пошел своим путем.

Иосафат, сын Ахилуда, сказал мне:

— Ты слишком многого хочешь. Даже если бы Давид и впрямь отвечал твоим надеждам, он все равно не сумел бы переустроить мир так, как ты о том мечтаешь. По-моему, при данных обстоятельствах надо ограничиться тем, что действительно достижимо, а это — сильный, единый Израиль.

— Что толку? — возразил я.— Это лишь значит поменять тысячу маленьких вонючек на одну большую вонищу. Разве ты не видишь уже сейчас те противоборствующие силы, которые развалят государство? Если не произойдет глубоких перемен, если мы позволим Давиду укрепиться еще больше, если станет верным только его решение, только его слово, тогда единый Израиль все равно рассыплется на куски, как трухлявое дерево от бури.

— Сомневаюсь.

— Или же нас ждет загнивание и гибель, и никакие царские пляски, никакое красноречие, никакие мольбы, никакие стихи не вдохнут в страну новой жизни.

— Добродетельность украшает невесту, но воину она может стоить в сражении жизни.

Иоав, сын Саруии, сказал:

— Давид — голова. А голова знает больше прочих членов.

— У тебя что — своих глаз и своей башки нет? — закричал я.

— Я солдат,— сказал он.

Архитянин Хусий, сочувственно выслушав меня, молвил:

— Я и сам вижу, что не все ладно. Буду весьма признателен, если ты и впредь будешь делиться со мною своими соображениями и планами.

НЕДОВОЛЬСТВО РАСТЕТ

В конце концов я убедился, что ради дела Господа необходимо отстранить Давида от власти. Для этого нужно объединить в стране всех недовольных, а во главе союза поставить человека, способного зажечь сердца и увлечь за собою народ.

Слава Богу, Давид сам постоянно умножал число недовольных.

Прежде всего это были старейшины племен, их семьи и приближенные; изо дня в день убывали их власть и богатство, но тем не приходилось отдавать все новых людей Давиду на его бесконечные войны; затем шли крупные землевладельцы и скотоводы, которые весьма косо смотрели на расширение царских земель за счет своих угодий; священники местных святилищ опасались за свои доходы, если будет построен единый Храм; наконец, тьма крестьян, ремесленников, носильщиков, погонщиков и прочего народа страдала под бременем налогов, долги росли настолько, что хоть себя продавай, а еще подмажь каждого царского чиновника, если родился сын Израиля или умер, если он женится или меняет место жительства, подмажь стражника у городских ворот — врат справедливости. Не стоит забывать и о молодежи, о подрастающем поколении, которое, едва вступив в жизнь, разочаровалось в вере отцов и обещанных великих переменах.

Идолом этой молодежи стал сын Давида — Авессалом. Само его имя приводило в трепет дочерей Израиля, ибо, как говорилось: «От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка! Когда он стриг голову свою — а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его,— то волоса с головы его весили двести сиклей по весу царскому».

ОХОТЯСЬ НА ЛЬВА, НЕ СТАВЬ ЗАЯЧЬИХ КАПКАНОВ

Авессалом был неглуп, однако недостаточно прозорлив и весьма своенравен.

Я навестил его, чтобы разведать его умонастроения, однако если таковые и были, то, во всяком случае, о своем отце, царе Давиде, ничего определенного он сказать не сумел; впрочем, царя он невзлюбил за безнаказанность Амнона, обесчестившего Фамарь, а самого Амнона, своего брата по отцу, Авессалом люто возненавидел. Он выкрал бы у Бога молнию, лишь бы покарать Амнона; тщетно внушал я ему, дескать, охотясь на льва, не ставь заячьих капканов, а ведь Давид дичь покрупнее, тут нужно все хорошенько обдумать, прежде чем что-либо предпринять.

У него уже имелся план. Меня он в этот план не посвятил, однако, судя по тому, что я уловил из намеков, приходилось опасаться наихудшего. Мне не хотелось быть заподозренным в причастности к этой сумасбродной и скоропалительной затее, поэтому я предпочел вернуться на некоторое время в Гило, где занялся моими розами, так что обо всех событиях я узнал позднее.

По дошедшим до меня слухам, Авессалом отправился к своему отцу, царю Давиду, и пригласил его, а также всех царских сыновей, своих братьев, на большой праздник стрижки овец в Ваал-Гацор, что граничит с Ефремом. Он прекрасно понимал, что Давид из-за занятости не пойдет на праздник, зато оценит любезное приглашение и не откажет в удовольствии сыновьям. Правда, Давид засомневался, стоит ли пускать туда Амнона, однако Авессалом заверил: мол, после происшествия с Фамарью минуло два года, к тому же, как знать, возможно, виновен не только Амнон; что же до него, Авессалома, он, дескать, питает к брату самые сердечные чувства. Тогда Давид благословил его, и, если не считать грудного младенца Соломона, все четырнадцать царских сыновей сели на своих мулов и поскакали в Ваал-Гацор, имение Авессалома.

Авессалом устроил роскошный пир. Он не поскупился и решил накормить гостей досыта, напоить допьяна, особенно Амнона, насчет которого велел слугам: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина и я скажу вам «поразите Амнона», тогда убейте его, не бойтесь: это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны».

Слуги исполнили приказ быстро и точно, Амнон даже не успел сообразить, что происходит. А царские сыновья повскакали с мест, сели каждый на мула своего и бежали.

Бежал и Авессалом — в Сирию, к гессурскому царю Фалмаю, своему деду со стороны матери.

Так я лицился вождя для задуманного мною союза против Давида, который сделал посмешище из великих перемен и дела, к коему был избран.

ВРЕМЯ ВРАЧУЕТ ВСЕ БОЛИ

Амнона оплакали, как положено: «царь разодрал одежды свои, повергая на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды, и подняли вопль, и плакали». Но мало кто скорбел по-настоящему, ибо Амнон слыл глупцом и негодяем.

— Ахитофел,— сказал мне Давид,— сердце мое печально. Я уже молился, писал стихи, замышлял новые войны, ничего не помогает.

— Время врачует все боли,— сказал я.— Сегодня из Вавилона прибыли танцоры, их весьма хвалят. Пускай выступят во дворце; ведь и ваш предшественник, царь Саул, приглашал вас к себе, чтобы вы развлекали его игрой и пением.

— Дело не только в Амноне,— проговорил он задумчиво,— Когда умер первенец Вирсавии, я сказал: «Разве я могу возвратить его?» Ах, Авессалом! Какие надежды я возлагал на него.

Он ждал, как я на это откликнусь. Но я промолчал; не хотелось, чтобы позднее мне припомнили, что именно я предложил вернуть Авессалома.

— Я уж было решил, чтоб Авиафар или Садок вопросили Бога через урим и тумим,— сказал Давид,— или чтоб Нафан попророчествовал, только знаю я этих людей Божьих: им бы мои желания угадать, а не волю Господа.

Тогда я отправился к Иоаву и напомнил ему:

— Сам знаешь, царь весьма гневается на тебя за убийство Авенира, сына Нира.

— Так ведь когда это было,— воскликнул Иоав,— я потом и Иерусалим ему взял, и множество иных побед принес, и Урию убрал, чтоб Давид мог спать с Вирсавией; кроме того, он сам назначил меня главным военачальником.

— Все верно,— сказал я.— Но недавно царь вспоминал тебя и был сердит. Впрочем, я знаю, чем снискать его благорасположение.

Иоав принялся умолять меня, чтобы я подсказал, как это сделать.

— Очень просто,— объяснил я наконец.— В Фекое живет одна умная женщина. Поди к ней, передай то, чему я тебя научу, приведи ее сюда, и, уверен, царь вновь одарит тебя своею милостью, более того — ты совершишь еще один подвиг ради Израиля и дела Господа.

Выслушав мои наставления, Иоав отправился в путь и привел к царю женщину из Фекои.

О ПОЛЬЗЕ ПРИТЧ

Притча по сравнению с жизнью — вроде чертежа по сравнению с домом.

Моя притча, которой Иоав научил фекоитянку, чтобы та пересказала ее царю, была вполне прозрачна. Женщине надлежало рассказать, будто у нее, вдовы, было два сына, которые однажды поссорились в поле, и некому было разнять их, и поразил один другого, и умертвил его. И вот восстала на эту женщину вся родня и говорит: «Отдай убийцу брата своего; мы убьем его за душу брата его, которую он погубил». «Так родня,— закончила женщина,— погасила бы последнюю искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на земле».

Спор серьезный; древний закон кровной мести против нового пра-

ва собственности на землю. Я заранее знал, чью сторону возьмет Давид.

Недаром фекоитянка слыла умной женщиной. Когда Давид объявил, что не позволит кровникам причинить еще больше бед и ни один волос не упадет с головы ее сына, дабы остался наследник имущества и продолжатель имени ее мужа, фекоитянка воздела руки и воскликнула:

— Царь, произнесши это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего.

Давид удивился, а потом, заметив, как рядом довольно щерится Иоав, будто сытый кот, сказал фекоитянке:

— Не скрой от меня, о чем я спрошу тебя.

Та молвит:

— Говори, господин мой царь.

— Не рука ли Иоава во всем этом с тобою?

Умная женщина и тут не растерялась.

— Да живет душа твоя, господин мой царь,— ответила она,— ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь; точно, раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова. Господин мой мудр, как мудр Ангел Божий, чтобы знать все, что на земле.

Можно себе представить, до чего это польстило Давиду, ибо деспоты живут лестью. Он велел Иоаву:

— Вот, я сделал по слову твоему; пойди же, возврати отрока Авессалома.

Иоав пал лицом на землю, поклонился и сказал:

— Теперь знает раб твой, что обрел благоволение пред очами твоими, господин мой царь.

Иоав отправился в Гессур и привел Авессалома в Иерусалим.

22

ИЗ ЗАПИСОК ГИЛОНЯНИНА АХИТОФЕЛА (продолжение)

ОДИНОЧЕСТВО ЦАРЯ ДАВИДА

К этому времени Давид перестал доверять кому бы то ни было; бессильный побороть неприязнь, которую открыто высказывали ему, где бы он ни появлялся, Давид отныне чувствовал себя в безопасности только среди наемников — хелефеев и фелефеев, ибо те не были сынами Израиля, а потому не заражались настроениями народа. Давид оказался одинок в начинаниях, которые он считал делом Божьим; он замкнулся, ожесточился. Когда Авессалом, вернувшись из Гессура, хотел припасть к ногам отца, Давид не принял его, сказав: «Он убил своего брата Амнона. Что удержит его от того, чтобы поднять руку и на меня?»

Авессалом остерегался любых шагов, пока не был полностью прощен.

— Слыхал о новом военачальнике, которого отец поставил над хелефеями и фелефеями? — спросил он меня однажды.— Говорят, этот Ванея, сын Иодая, хитер и бессовестен.

— Пускай Иоав замолвит за вас словечко царю,— предложил я.— Ведь ему уже доводилось это делать.

— Иоав меня избегает, потому что я в опале,— сказал Авессалом.— Я и сам уже дважды посылал за ним.

— Кажется, ваша земля в Ваал-Гацоре соседствует с землей Иоава? — спросил я.— Сейчас как раз жнут ячмень. Пусть ваши слуги выжгут одно поле Иоава.

Авессалом так и сделал, Иоав тут же пришел к нему в дом.

— Зачем твои слуги выжгли мое поле? — спросил он.

Авессалом ответил:

— Я заплачу за твой ячмень. Но почему ты не шел ко мне, когда я посылал за тобой? Прошу тебя, сходи к царю и передай от моего имени: «Зачем я пришел из Гессура? Лучше было бы мне оставаться там. Разве сердце царя ожесточилось против его сына Авессалома? Я хочу видеть царя. Если же я виноват, то убей меня».

Иоав побывал у царя, передал ему слова сына; видимо, он сумел переубедить Давида, так как тот вскоре позвал Авессалома.

Авессалом явился к царю и пал ниц; Давид был так растроган, что не мог говорить. Наконец, он поднял Авессалома, расцеловал его и сказал со слезами:

— О сын мой Авессалом, о сын мой, сын мой...

АВЕССАЛОМ ИЩЕТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИЗРАИЛЬТЯН

Навестив Авессалома, я сообщил ему, как обострилось положение в стране; самое время, сказал я, позаботиться о доброй молве, ибо кое-кто считает вас легкомысленным и непутевым.

— Станьте для народа вождем,— говорил я,— который ратует за справедливость, защищает простого труженика, а кроме того, осмотрителен и рассудителен. Учитесь пожимать руки и целовать щеки, даже если они в язвах, выслушивайте любые жалобы, какими пустяковыми они бы ни казались, не скупитесь на обещания, лишь бы обнадежить человека. Говорите языком простонародья, но не забывайте расположить к себе и людей состоятельных. Не жалейте улыбок и посулов тем, кто пойдет за вами.

Авессалом хоть и не был особенно хитер, но старался изо всех сил. Он поднимался спозаранок, становился при дороге у городских ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого ты города?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева раб твой, пришел по такому-то и такому делу», Авессалом сочувственно кивал или обращал очи к Господу и говорил: «Вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И еще говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьею в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда кто-нибудь хотел поклониться ему, он простирал руку свою, обнимал и целовал его. Время от времени Авессалом прятался в комнату над воротами, где освежал рот ароматной водой, полоскал горло и сплевывал.

Вскоре мне сообщили, что от Дана до Вирсавии разлетелся слух о том, сколь праведен Авессалом; дескать, венец Израиля вполне подошел бы его густой гриве. Правда, среди тех, кого целовал Авессалом у городских ворот, были и люди Ванеи, который, как я узнал, готовит донос царю Давиду — мол, Авессалом завел себе колесницы, лошадей и пятьдесят скороходов.

Взвесив все доводы, я решил, что пора действовать.

ПОДОБНО ЛЕСНОМУ ПОЖАРУ

Было условлено, что я уеду в Гило и буду ждать там, пока Авессалом получит у царя позволение отправиться в Хеврон, где Давид некогда сам начинал борьбу за власть надо всем Израилем. Авессалом объяснил отцу, что, бежав в Сирию, в Гессур, дал такой обет: «Если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». Поэтому, дескать, надо ехать в Хеврон к алтарю, на котором возносил жертвы Господу праотец Авраам.

Давид поверил Авессалому и сказал: «Иди с миром».

Авессалом взял с собою двести воинов. Причину и цель путешествия от них скрыли, чтобы никто не переметнулся к людям Ванеи, но когда граница Иуды была пересечена, воинам все объяснили, и они остались с Авессаломом, что лишний раз доказывало, как ненадежны царские войска за исключением хелефеев, фелефеев, а также гефян, которые тоже были наемниками.

Принеся в Хевроне жертвы Господу, Авессалом послал за мной; кроме того, он отправил лазутчиков во все колена Израилевы с наказом: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: «Авессалом воцарился в Хевроне».

Прибыв в Хеврон, я увидел там страшную толчею: на зов Авессалома отовсюду стекался народ, люди толпились в городе и за городской стеной, Авессалом же продолжал громоздить скотину за скотиной на знаменитый алтарь и молиться Господу.

— Эдак мы проиграем сражение, даже не начав его,— сказал я.— Будьте уверены, Ванея давно обо всем донес вашему отцу. Вы не думали о том, сколько лазутчиков Ванеи среди тех, кто слоняется у ворот Хеврона?

— Что же делать? — спросил он, подвязывая свои волосы, которые уже опять пора было стричь.

— Выступать.

— Выступать? — повторил он, будто впервые услышав это слово.

— Да, выступать, завтра на рассвете.

Мы двинулись из Хеврона — пятнадцать сотен пеших, немного конницы, дюжина боевых колесниц, но, как это бывает при лесном пожаре, с каждой верстой число наше стремительно увеличивалось. Под Вефцуром нас уже было шесть тысяч и десять тысяч — в Вифлееме, родном городе Давида, где мы остановились покормить и напоить животных, разбить людей на сотни и тысячи, назначить начальников; обнимая меня, Авессалом сказал:

— Ахитофел, ты мудр, как Ангел Божий.

К нам шли и шли люди — юные отроки и зрелые мужи, но в основном бедняки, полные надежды и веры в дело Господне.

ВОИСТИНУ ЦАРСКИЙ ПОСТУПОК

Когда, выйдя из Вифлеема, мы приблизились к Иерусалиму, оттуда примчались гонцы с известием, что Давид бежал из города и уже перешел реку Кедрон со всеми своими женами, священниками, слугами, хелефеями, фелефеями и гефянами; левиты несли с ним ковчег завета Божьего; впрочем, десять своих жен царь оставил для сохранения дома и всего, что было в нем.

Я спросил гонцов:

— Но город нетрудно удержать, почему же царь не пытается его отстоять?

— Нет-нет,— отвечали гонцы,— царь увидел, что сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома; он держал совет с Иоавом и Ванеей, те были в большом страхе, ибо враг может находиться не только за городскими стенами, но и внутри.

Тогда я посоветовал Авессалому:

— Вели трубить.

Иерусалимские ворота открылись, и под звуки труб и бой барабанов, под музыку цитр, псалтирей, тимпанов, систр, кимвалов мы вошли в город. Люди выбегали из домов, радостно приветствовали нас как освободителей, девушки обнимали наших молодых воинов. Когда мы направились к дворцу, я сказал Авессалому:

— Пускай приведут жен, оставленных вашим отцом, царем Давидом, чтобы вы утвердились вместо него пред народом Израиля.

— А стоит ли? — засомневался Авессалом.— Устал я от долгого перехода, от многочисленных приветствий, да и задницу я на муле отсидел.

— Взявшему царских жен принадлежит и трон,— сказал я,— вы же знаете обычай.

Привели жен.

— Боже мой! — воскликнул Авессалом, увидев их, ибо царь оставил своему взбунтовавшемуся сынку лишь тех, кто постарше и не особенно хорош собой, а самых красивых и пригожих, разумеется, увез. И все же Авессалом исполнил свой долг, то есть отправился с царскими женами на крышу дворца, где неподалеку от того места, с которого Давид увидел купающуюся Вирсавию, был поставлен на виду у всех шатер.

И пред глазами всего Израиля Авессалом вошел к женам своего отца. В толпе воцарилось молчание, которое тянулось довольно долго, зато когда Авессалом выглянул из шатра и показался народу, все закричали:

— Господу слава! Да не иссякнет сила сердца, как сила чресел.

Авессалом же пал ниц пред Господом и возблагодарил Его.

КОВЧЕГ ЗАВЕТА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Неожиданно в Иерусалиме объявляются бежавшие с царем Авиафар и Садок, а также архитянин Хусий, и все наперебой восхваляют Авессалома.

Он ликовал:

— Видишь, они вернули ковчег Божий, который забрал отец. А где ковчег, там и Бог, это вдохновит народ. Пускай Садок и Авиафар вопросят Господа через урим и тумим, когда и в каком направлении нанести удар.

— Мои урим и тумим у меня в голове,— сказал я,— и до сих пор они всегда давали вам добрый совет.

— Да, ты мудр, как Ангел Божий,— согласился он.

— Кроме того,— сказал я,— спрашивается, зачем сюда вернулись оба священника да еще архитянин Хусий, если сначала они бежали с вашим отцом? Может, царь подослал их своими лазутчиками, чтобы они посылали отсюда донесения о ваших замыслах и намерениях? И не велел ли он им давать неправильные советы, которые приведут вас к погибели?

— Ладно, я поговорю с Хусием,— пообещал Авессалом.

Придя к Авессалому, Хусий сказал:

— Да здравствует царь Авессалом.

— Ты был известен как друг царя,— удивился Авессалом,— таково-то усердие твое к твоему другу! Отчего ты не пошел с другом твоим?

Ответ Хусия прозвучал довольно искренне:

— Верность моя неизменна. Кого избрал Господь, этот народ и весь Израиль, тому я и верен.

Я заметил, что Авессалом колеблется, а Хусий добавил:

— Кому же мне еще служить, если не сыну моего друга? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе.

Это убедило Авессалома. Люди и впрямь тянулись к нему, поэтому он уверовал, что никто не может устоять перед его очарованием.

УПУЩЕННАЯ ПОБЕДА

— Помоги себе сам, тогда и Господь поможет,— сказал я Авессалому.— А кто сидит сложа руки, обречен на погибель.

— Ты напрасно беспокоишься,— возразил он.— Отец скитается по пустыне с горсткой царедворцев, от народа он отрезан; сейчас весь

Израиль возглашает: «Авессалом — вождь наш! Авессалом — царь наш!»

— Волк остается волком, хоть и воет далеко,— сказал я.— Мы теряем драгоценное время, сидя в Иерусалиме. Неужели мы хотим потерять и победу? Давайте я отберу двенадцать тысяч воинов и пойду этой ночью в погоню за Давидом. Я нападу, когда он будет утомлен, и приведу его в страх; все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью только царя, а его людей обращу к тебе. Когда не будет Давида, установится мир.

Меня поддержали старейшины племен, примкнувшие к Авессалому, они боялись Давида и желали поскорее избавиться от него. Но Авессалом вкусил сладость власти, он боялся, что останется в Иерусалиме без достаточной защиты, если я пущусь в погоню за Давидом с двенадцатью тысячами отборных воинов.

Не зная, на что решиться, он велел:

— Позовите Хусия; послушаем, что он скажет.

Пришел Хусий. Авессалом изложил ему мой план, потом сказал:

— Сделать ли по его словам? А если нет, то говори ты.

Хусий погладил бороду.

— Совет, данный Ахитофелом, хорош, но не ко времени. Вы знаете отца и людей его; они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. Отец ваш — человек воинственный. Кстати, ночует он наверняка отдельно, скрывается в какой-нибудь пещере или другом месте.

Авессалом задумался, а его приближенные закивали головами.

— Если у нас будут потери при первом нападении,— продолжил Хусий,— то пойдет слух: «Было поражение людей, последовавших за Авессаломом». Тогда и самый храбрый, у кого сердце львиное, упадет духом; ибо всему Израилю известно, как отважен отец ваш и мужественны те, кто с ним.

Авессалом закусил губу, его приближенные нахмурились.

— Поэтому советую так! — проговорил с нажимом Хусий.— Пускай соберется сюда весь Израиль от Дана до Вирсавии, многочисленный, как песок при море, и вы поведете его. Тогда мы пойдем против Давида, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, кто с ним. А если он войдет в какой-нибудь город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка.

На это Авессалом сказал:

— Аминь, да сделает Господь Бог, чтобы было по сему.

Его приближенные облегченно вздохнули.

Тщетно пытался я растолковать, что понадобятся месяцы, чтобы собрать столько народу; за это время Давид упрочит свое положение, найдет подкрепление и подготовит ответный удар.

Авессалом решил:

— Совет Хусия лучше совета Ахитофелова.

Больше мне нечего было возразить, ибо Авессалом сказал свое слово.

ТАКОВА ВОЛЯ БОЖЬЯ

Я сделал последнюю попытку.

Нескольким смышленым молодцам, которые умели не привлекать к себе внимания и пользовались моим доверием, было приказано неотступно следить за архитянином Хусием.

Вскоре один из них вернулся и доложил:

— Хусий побывал в тайном месте, где беседовал со священниками Авиафаром и Садоком; потом из этого дома вышла служанка; она миновала городские ворота и направилась к источнику Рогель. У источника Рогель служанка встретилась с Ионафаном, сыном Авиафа-

ра, и Ахимаасом, сыном Садока, после чего те двинулись к Иордану, мы — за ними.

— Хвалю за службу,— сказал я.— Служанка взята?

— Взята.

Привели служанку. Выглядела она испуганной и потрепанной, так как обращались с ней весьма сурово.

— Так что же ты передала Ионафану и Ахимаасу, сыновьям священников, при встрече у источника Рогель? — спросил я.

Она бросилась мне в ноги и заголосила:

— Раба ваша поклялась пред Богом священникам Авиафару и Садоку, что будет молчать.

Переубедить ее не удалось ни добрым словом, ни угрозами; пришлось кликнуть несколько дюжих мужчин и велеть, чтобы они развязали ей язык. Всю ночь провозились они со служанкой, но она упорствовала, а под утро ее крики стихли, она умерла, так ничего и не выдав.

К полудню прибежал другой из моих молодцов и доложил:

— Мы выследили священнических сынков до Бахурима, что на границе Иуды. В Бахуриме они зашли в один дом. Окружив его, мы ворвались туда, все обыскали, но ни Ионафана, ни Ахимааса не нашли; хозяйка уверяла, что они ушли за реку. Уже стемнело, поэтому мы дождались утра, чтобы найти их следы, однако утром никаких следов не обнаружилось; люди бранили нас, мол, слуги Давидовы их притесняли, а разбойники Авессаломовы грабят, поэтому мы поспешили вернуться и рассказать о случившемся.

Позднее было установлено, что Ионафан и Ахимаас спрятались в колодце на дворе того бахуримского дома; хозяйка растянула сверху покрывало, на которое насыпала крупы. Донесение Хусия попало через Иордан в Маханаим, где засел Давид; благодаря этому донесению Давид сумел сделать необходимые приготовления; у меня же не оказалось в руках никаких доказательств для Авессалома против Хусия, а также священников Авиафара и Садока.

Оставалось лишь следить за тем, как неспешно собирается войско Авессалома, как идут ссоры из-за нехватки припасов, как солдаты нападают на окрестные деревни и грабят крестьян, а потом пьянствуют, распутничают; многие разошлись по своим домам и кочевым шатрам. Если же кто и начинал говорить о деле Божьем, того высмеивали, называли дураком, ослиной башкой.

Этих примет было достаточно, чтобы понять, какова воля Божья; мой добрый совет отвергнут, значит, Господь обрек Авессалома на погибель. Когда Авессалом решил наконец переправляться через Иордан во главе своего разношерстного воинства, я оседлал моего осла и отправился домой, в Гило.

Там я собирался сделать кое-какие записи, привести в порядок некоторые дела и отдать последние распоряжения, прежде чем подобрать себе веревку покрепче.

Я отложил последнюю табличку; у меня было такое чувство, будто я пережил все те дни рядом с Ахитофелом.

— Гляжу, ты закончил,— сказал Иоглия.— Ну как? Хочешь купить?

Еще бы не хотеть! Записки проясняли многое из того, что раньше казалось темным. Но денег у меня было с собой маловато, а на них предстояло еще жить некоторое время. Кроме того, как перевезти столь опасный, секретный груз при моем-то опальном положении?

— Возьму недорого,— сказал Иоглия.— Всего двести пятьдесят шекелей.

Я рассеянно улыбнулся.

Он заколебался.

— Ладно. Двести двадцать пять.

Я взглянул на потолок.

— Это грабеж! Двести.

— Слушай, Иоглия,— сказал я,— можешь сохранить мне эти таблички за скромный задаток?

— Что значит «скромный»?

— Двадцать шекелей.

— Двадцать? Мой отец Ахитофел, да упокоит Господь его душу, из могилы встанет. Двадцать! Он начнет приходить ко мне не только в новолуние, а еженощно, за исключением субботы, чтобы...

Он запнулся.

— Что там такое? — вскрикнула Лилит.

— Конница,— проговорил я.— Отряд всадников.

Губы Лилит зашептали неслышную молитву.

— Хорошо, давай двадцать,— поспешно согласился Иоглия.

Всадники приближались.

— Давай пятнадцать! Только побыстрей. Я спрячу таблички. Я накрою бочки, и никто их не заметит. Давай десять! Давай...

Всадники были уже у ворот. Они орали:

— Где тут Иоглия? Где сын того, чье имя вычеркнуто из памяти людской по решению гилонянских старейшин?

— Здесь я,— промямлил Иоглия.

Во двор ворвались запыленные солдаты.

— Пусть Бог то и то со мною сделает,— гаркнул их начальник,— если это не тот пес, который бежал от царя, не сказав ни слова своему другу Ванее, сыну Иодая. Недаром мой господин Ванея приказал: «Обыщите всю страну от Дана до Вирсавии, но притащите мне Ефана, сына Гошайи. Кто найдет его, получит награду!» Ну, пошли!

Он связал мне руки за спиной, мою наложницу Лилит связывать не стали, она поплелась за мной.

23

Да славится имя Господа, который взвешивает человека на весах с чашами боли, тоски и отчаяния. Мучители привели меня к Ванее, и я пал ниц перед ним.

— Мой господин,— сказал я,— взгляните на мои кровоточащие руки, содранные до кости ноги, на мое тело, которое стало почти сплошным синяком. Меня жестоко били, подгоняли, единожды лишь сунули ковш вонючей воды, а хлеба дали столько, что и собака бы не наелась; когда я падал от слабости, меня поднимали пинками и бранью. Моя наложница Лилит хотя и ехала на осле, но ее всю дорогу оскорбляли такими словами, которые дочери Израиля и слышать-то не пристало.

Насупившись, Ванея повернулся к начальнику приведшего меня отряда:

— Разве я не приказывал, чтобы с ним обходились вежливо, сообразно его званию?

— Верно,— ответил тот,— был такой приказ, мы и обходились с ним сообразно его званию книжника, имеющего весьма сомнительные взгляды.

Ванея велел развязать мои руки. Он позволил мне подняться, предложил мяса, сладостей, ароматной воды, потом сказал:

— Видишь, до чего превратно толкуются слугами приказы господина. Впрочем, урок пойдет тебе на пользу, недаром говорит пословица: «Мудрец становится от поучения еще мудрее, а праведник еще праведнее».

Я попридержал язык, но про себя подумал: гиена скалится, даже когда улыбается.

— Ну, ладно,— Ванея жестом велел остальным выйти.— Садись-

ка, Ефан, на подушки и слушай хорошенько, ибо не из пустой прихоти приказал я искать тебя от Дана до Вирсавии, чтобы привести сюда.

— Раб ваш весь обратился в слух.

— Помнится, на одном заседании комиссии я уже говорил, что собираюсь предать Иоава суду.— Ванея поиграл желваками на скулах.— После того как брат царя Адония получил свое, Соломон одобрил мое намерение.

— Мудрость мудрейшего из царей несравненна,— сказал я.

— Поскольку Иоав доверился тебе,— продолжил Ванея,— а также поскольку ты до известной степени прикосновен к преступной связи Адонии с госпожой Ависагой, а значит, и сам совершил преступление, ибо не донес мне о ней, то я собираюсь вызвать тебя на суд свидетелем.

Он глядел на меня словно на муху, увязнувшую в густом сиропе.

— Разве Иоав не признается сам во всем, что от него ни потребуют? — спросил я, стараясь выглядеть спокойным.— Кому нужны свидетели при таком обвиняемом?

— Кому нужны свидетели! — мрачно повторил Ванея.— Признаний у нас за последнее время больше, чем нужно. Не успеешь обвинить человека, например, в недозволенных мыслях, как он тут же сознается. Обвинишь его в том или ином уклоне, групповщине, моральном разложении, заговорщицкой и подрывной деятельности, он опять сознается. Народ Израиля даже перестал сомневаться в подобных признаниях, люди только плечами пожимают. До чего же дойдет наше судопроизводство? Вот почему царю нужен свидетель, у которого не подмочена репутация и который слывет человеком ученым, а главное — честным.

— Разве свидетель, выступающий в суде, не должен быть очевидцем предполагаемого преступления или хотя бы иметь о нем сведение из первых рук? — скромно спросил я.— Ведь писано же: «Не лжесвидетельствуй!»

— Я ни в коем случае не принуждаю тебя лжесвидетельствовать,— сказал Ванея.— Все твои показания я вручу тебе самолично, и ты лишь добросовестно перескажешь то, что узнал от меня. Ничего другого от тебя не требуется.

— Что же это за показания, которые раб ваш должен добросовестно пересказать?

Ванея вызвал писца, тот принес несколько табличек и разложил их передо мной. Ванея же взял тянучку, сунул ее в рот, развалился на подушках и велел мне:

— Читай!

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ЕФАНА, СЫНА ГОШАЙИ, ПРОТИВ ИОАВА, СЫНА САРУИ, БЫВШЕГО ПРИ ЦАРЕ ДАВИДЕ ГЛАВНЫМ ВОЕНАЧАЛЬНИКОМ. ПОДГОТОВЛЕНО ВАНЕЕЙ, СЫНОМ ИОДАЯ, И ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЕФАНУ. В СКОБКАХ ПРИВОДЯТСЯ МЫСЛИ ЕФАНА, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ЧТЕНИИ ОНЫХ ПОКАЗАНИЙ

Свидетельствую высокому суду и народу Израиля о нижеследующем.

Придя в Маханаим, Давид осмотрел людей, бывших с ним, и поставил над ними тысяченачальников и сотников; он разделил свое войско на три части; одну треть он отдал под предводительство Иоава, другую — под предводительство Авессы, брата Иоава, третью — под предводительство гефянина Еффея.

Царь сказал своим людям: «Я сам пойду с вами в сражение».

(Примечательный штрих, особенно если учесть, что последнее время Давид вел свои войны из царского дворца в Иерусалиме.)

Но народ отвечал ему: «Не ходи; ты один то же, что нас десять тысяч; для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и тысячам. И приказал царь Иоаву, и Авессе, и Еффею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе.

(Даже если допустить, что столь непримиримый человек, как Давид, тем не менее сделался заботливым отцом по отношению к своему взбунтовавшемуся сыну, то зачем так подчеркнуто принародно отдавать приказы? Не хотел ли он таким образом загодя обеспечить доказательства своей непричастности к смерти Авессалома?)

Высокому суду и народу Израиля известно, чем кончилось сражение в лесу Ефремовом; двадцать тысяч человек войска Авессаломова были поражены в тот день, и лес погубил народа больше, чем истребил меч. Что же до Авессалома, то он скакал на своем муле. Когда мул пробегал под ветвями раскидистого дуба, Авессалом запутался волосами в ветвях и повис между небом и землею, а мул умчался.

И увидел это некто, и донес Иоаву. Иоав сказал ему: «Вот, ты видел; зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе десять сиклей серебра и красивый пояс».

(Эти слова Иоава, вполне сообразные тогдашним обстоятельствам, теперь как бы доказывают, что во всем виноват только он.)

Тот человек отвечал Иоаву: «Если бы положили на руки мои и тысячу сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына; ибо вслух наш царь приказывал тебе, и Авессе, и Еффею: «Сберегите мне отрока Авессалома!»

(Невиновность Давида подчеркивается снова.)

Тогда Иоав сказал: «Нечего мне медлить с тобою». И взял в руки три стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома десять оруженосцев Иоава, и били Авессалома, пока он не умер.

(При необходимости это можно выдать за еще одно доказательство вины Иоава.)

И взяли Авессалома, и бросили в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней. И все войско его разбежалось, каждый в шатер свой. Давид, сидевший между двумя воротами, узнал, что Господь отмстил за него всем, которые подняли руки свои на царя, и что Авессалом мертв, тогда Давид смутился, и пошел в горницу над воротами, и плакал: «Сын мой Авессалом! Сын мой, сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!»

(Похоже, Давид и впрямь мучился. Его скорбь кажется неподдельной, впрочем, она выражается почти так же, как тогда, когда погибли Саул и Ионафан, Авенир и другие, то есть те, кто оказывался на пути у избранника Божьего и потому был устранен.)

Господин Ванея был столь милостив, что велел доставить меня на носилках в дом № 54 по переулку Царицы Савской. Кажется, глаза мои сроду не видели ничего милее этого покосившегося домика со щербатым фасадом и просевшей крышей, за который приходилось платить в царскую казну немалые деньги.

Дома меня уже ожидала пришедшая раньше Лилит, а также мои сыновья Сим и Селеф и их мать Олдана; вот только Есфирь, любимая супруга моя, не вышла на порог приветствовать меня.

Я спросил, как она себя чувствует, меня отвели к ее постели. Есфирь лежала и улыбалась, но за время моего отсутствия она сильно

сдала. Одеяло едва приподымалось над постелью, до того она исхудала.

— Ах, Есфирь,— вздохнул я,— нельзя мне было оставлять тебя.

Она погладила мою руку.

— Сейчас же пойду в храм,— сказал я,— и пожертвую самого жирного барана, а потом куплю у левитов наилучших мазей и снадобий, которые наверняка тебе помогут.

Она подала остальным знак уйти, а мне — чтобы я сел рядом, и спросила:

— Ну как? Рассказывай.

Я попытался изложить все, что увидел или узнал, как можно занимательней: о храме в Беф-Сане с его хитрыми священниками; о биточках, обернувшихся для Фамари, дочери Давида, страшной бедой; о замечательной находке в сарае Иоглии, сына Ахитофела. О суде над Иоавом, который задумал Ванея, а об отведенной мне роли я рассказывать не стал. Есфирь, любимая жена моя, слушала, и ее очам вернулась частица их прежнего живого света. В груди моей затеплилась новая надежда на ее выздоровление, и я сказал ей об этом.

— Это правда? — спросила она вдруг тоненьким детским голоском.

Таким голоском она говорила когда-то, в дни нашей юности, когда я, чаще в шутку, обещал ей, что Господь сотворит нам то или иное чудо.

— Это правда? — повторила она.

— Разумеется,— ответил я.

Она хотела засмеяться, счастливая, как когда-то, но лишь захрипела. Лицо ее побледнело, сделалось серым, она вцепилась в мою руку.

— Есфирь! — закричал я.

Она задыхалась. Голова ее клонилась набок, казалось, Есфирь теряет сознание. Я нащупал ее пульс, он страшно частил.

— Воздуху,— прохрипела она.

Я распахнул ставни, так как вынести Есфирь на крышу побоялся. Сима и Селефа я послал за лекарем-левитом, про которого слышал, что он полагается не столько на молитвы, сколько на знание человеческого тела.

— Поторопите его,— велел я.— Пусть называет любую цену, заплачу серебром.

Сам я остался рядом с моей супругой Есфирью, чья любовь ко мне была глубже любого колодца, осушал ей пот со лба, отирал губы, беспомощно наблюдая за тем, как она борется против ангела тьмы.

Пришел левит, тщедушный и скользкий человечек, который первым делом огляделся в доме, будто прикидывал, чего стоит обстановка. Потом он осмотрел зрачки больной, прижал свое крупное ухо к ее впалой груди.

— У нее в легких вода,— сказал он наконец.

— Ты сумеешь ей помочь?

— Ей нужно побольше воздуху.

— Она будет жить?

— Надо потихоньку вынести ее наружу, посадить и обложить подушками.

— Она будет жить? — повторил я.

— Молись за нее! — ответил он.— И молись хорошенько.

...МОЛИТВА ЕФАНА, СЫНА ГОШАЙИ, ОБРАЩЕННАЯ К ГОСПОДУ В ВЕЛИКОЙ БЕДЕ

Господи, Боже мой! Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, делаешь облака Твоею колесницей, шествуешь на крыльях ветра.

Преклони ухо Твое к рабу Твоему, который поклоняется Тебе до земли.

Сердце мое трепещет во мне, и смертный ужас охватил меня.

Услышь, Боже, молитву мою и не скрывайся от моления раба Твоего, просящего толику вечной милости Твоей, чтобы облегчить муки рабы Твоей, чья любовь ко мне глубже самого глубокого колодца; помоги ей пережить эту ночь.

Велик Ты, Господи, и велики дела Твои; Ты вершишь чудеса, так сверши и это чудо, для которого Тебе довольно лишь пальцем шевельнуть.

Я же буду следить за собой, чтобы не согрешать языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною.

Я был нем и безгласен и молчал, и скорбь моя подвиглась.

Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь.

Поэтому я хочу воззвать к нему, ибо ему грозят нечестивцы; пусть бежит их, пока они не осудили его; тогда очищусь я в очах Господа и расстрою дело врагов моих.

Чего же я жду, Господи? Я уповаю на Тебя.

Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему; не будь безмолвен к слезам моим. Ибо странник я у Тебя и пришелец, как и все отцы мои.

Пощади сей живой огонек, который дорог сердцу моему; пусть он не угаснет и светит дальше; отступи от меня, чтобы я мог укрепиться, прежде нежели отойду и не будет меня.

С первыми розовыми лучами зари Есфирь, любимая жена моя, задышала легче, сердце ее забилось ровнее, пульс наполнился, и она заснула. Я пал ниц и возблагодарил Бога; левит получил пять шекелей серебром за работу, за мазь, которой он натер Есфирь, и за капли. Сам я, выпив теплого молока, ушел из дома и через южные городские ворота добрался до строения из разномастных кирпичей, в котором жил Иоав. Во мне спорили два голоса: один говорил, что надо предупредить Иоава, чтобы он бежал от суда. Другой сомневался: стоит ли, ведь он такой же преступник, как и все остальные сильные мира сего. А кроме того, я боялся стражи перед домом Иоава и гнева Ваниеи. Но слышался мне еще один голос, напоминавший о клятве и призывавший уповать на милость Божию, этот голос оказался сильнее остальных.

Подойдя к дому Иоава, я увидел там множество народа, люди суетились, бегали туда-сюда; какой-то человек Ваниеи схватил меня за рукав, спросил, кто я таков и чего мне тут надо. Я ответил, что приехал с друзьями в Иерусалим издалека, вчера мы собрались уже разъехаться, выпили на прощание в придорожной харчевне, чаша следовала за чашей, пели, веселились, а утром я очнулся в канаве, один, в плачевнейшем состоянии, а вообще-то я слыву человеком солидным, хорошим семьянином и исправно плачу все налоги или подати.

Выслушав это, человек Ваниеи велел мне убираться отсюда ко всем чертям, что я и поспешил исполнить. Тем временем у южных ворот собралась изрядная толпа, которая возбужденно гудела; говорили, будто Иоав убежал из дома и кто-то видел, как он пробирался в построенную Давидом скинию Господа. Тут же бились об заклад, спорили, удастся ли Иоаву попасть туда или же люди Ваниеи перехватят его.

Я возблагодарил Бога за то, что он милостиво принял мой обет и отозвал от Есфири ангела тьмы, однако дал событиям такой ход, который избавил меня от новых осложнений.

Затем я примкнул к толпе, которая, миновав строящийся Храм, направилась к скинии; завидев толпу, строители и ремесленники откладывали свои инструменты, торговцы закрывали свои лавчонки и бежали следом за нами.

Двери скинии оказались распахнуты; внутри стоял Иоав, ухватившись за рога жертвенника; одежда Иоава была разодрана, волосы всклочены, глаза безумны; рядом нерешительно мялись Садок и другие священники. Иоав, обращаясь к народу Израиля, крикнул:

— Слушай, Израиль! Вот подлинное признание Иоава, сына Саруии, присягнувшего некогда делу Господа, а ныне сломленного и ставшего жертвой той власти, которую он сам устанавливал.

Садок и другие священники воздели руки к небу и воззвали к Господу Богу, пытаясь заглушить Иоава; я же подумал, что такой поворот событий рушит замыслы Ванеи насчет суда над Иоавом.

— Меня били,— перекрикнул Иоав священников,— они истязали мою душу и тело, пока не ослабел я пред Господом и не признался в чудовищных преступлениях, взяв на себя чужую вину и приняв на голову мою ту кровь, в которой повинны люди выше меня. Но теперь я узнал, что Ванея, сын Иодая, готовит надо мной судилище и лжесвидетелей...

Тут появились скороходы, своими белыми жезлами они расчистили проход через толпу, следом за ними белые кони примчали боевую колесницу. Ванея, остановив коней, тяжело вылез из колесницы; на нем был шлем и панцирь, в руке — длинный меч.

К нему бросился Садок, умоляя:

— Только не мечом! И не в скинии Господней, пред Его алтарем и ковчегом Завета!

Ванея, похоже, заколебался. Потом он гаркнул с порога внутрь просторной скинии:

— Иоав, выходи! Таков приказ царя!

Иоав ответил:

— Нет, я хочу умереть здесь.

Воцарилась тишина, она простерлась от скинии до Храма, слышался только грай ворон, которые всегда караулят возле жертвенника. Ванея резко повернулся, влез в колесницу и ускакал.

Иоав продолжал цепляться за рога жертвенника.

— Слушай, Израиль! — снова завопил он.— Я беру назад все признания, которые выбили из меня в заточении, среди стен дома моего, сапогами Ванеи, кулаками людей его. Да, на моих руках кровь войны, а на поясе моем и на обуви моей кровь тех, кого я убил, как я верил, во имя святого дела. Да падет вся эта кровь на голову Давида, который приказывал убивать, и на все его потомство, ибо пролита она не во славу Господа и не ради иной благородной цели, а единственно ради усиления власти Давида, чтобы прочнее сидеть ему на шее Израиля.

Здесь Садок опомнился, вместе с другими священниками он вновь заголосил, запричитал, застенал, однако народ хотел слушать Иоава, всячески подбадривал его, отчего гвалт поднялся несусветный.

Вскоре опять появились скороходы, они колотили направо и налево своими жезлами, крича:

— Разойдись, сволочь! Дорогу Ванее, сыну Иодая, военачальнику и командиру над хелефеями и фелефеями!

Навстречу Ванее снова вышел Садок и попросил его не осквернять святыни, ибо неприкосновенен тот, кто держится за рога жертвенника.

Однако Ванея, извлекая из ножен меч, возразил:

— Разве Иоав не сказал сам, что хочет умереть здесь. Я передал его слова царю, и он велел: «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня и с дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его, поразил мечом, без ведома отца моего Давида. Да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки, а Давиду, и потомству его, и дому его, и престолу его да будет мир навеки от Господа!» Так сказал царь Соломон!

Мимо Садока и остальных священников Ванея шагнул с мечом в руке к алтарю; священники поспешили опустить завесу, чтобы загородить скинию и скрыть от глаз людских то, что там произошло.

24

Убийство Иоава пред алтарем Господним потрясло весь Израиль. Никто не знал, чей черед завтра, в каком преступлении заставят повиниться и какая кому уготована судьба: одних посылали на побережье Красного моря в царские копи, где добывали медную и железную руду, других — в каменоломни высекать огромные кубы для Храма, для зданий под царские колесницы, для конюшен и складов, третьим отрубали головы, а тела их пригвождали к городской стене.

Мне оставалось лишь гадать, как решится моя участь. Ванея недаром сказал однажды, что я слишком много знаю о таких делах, которые сильные мира сего желают сохранить в тайне. Кроме того, я прослышал, что из Египта уже вышла в море царская барка с дочерью фараона Ельанкамен, ибо Соломон решился наконец предоставить египетским торговцам право на свободный провоз товаров через Израиль. Значит, близился день, когда царь почтит меня тем, что объявит мою наложницу Лилит наперсницей египетской принцессы, чтобы потом утешиться в объятиях Лилит от холодности новой супруги, про которую поговаривали, будто она предпочитает мужским ласкам женские.

А тут еще хворь Есфири, сердце которой, боюсь, не выдержит следующего приступа.

Работал я теперь до полного изнурения, пока не валился с ног от усталости, надеясь таким образом забыться от дневных тревог и ночных страхов. Слишком уж много имелось оснований сомневаться в том, что мне позволят завершить *Книгу царя Давида;* закончить работу могли вполне поручить другому историку, более покладистому, и он навсегда похерит те крупицы истины, которые я с таким трудом добыл и надеялся сохранить; большую часть времени я проводил в конюшне, где все еще хранились царские архивы; там я уходил с головой в тексты глиняных табличек и пергаментов, стараясь пополнить мои сведения о последних годах царствования Давида.

РАБОЧИЕ ЗАМЕТКИ ЕФАНА, СЫНА ГОШАЙИ, О ПОСЛЕДНИХ ГОДАХ ЦАРСТВОВАНИЯ ДАВИДА

Подавление восстания под предводительством Авессалома не устранило ни одной из коренных причин этого восстания — ни недовольства обнищавшего народа ростом богатств у крупных землевладельцев и царского дома, ни той враждебности, с которой старейшины племен и священники относились к усилению власти царских чиновников; недаром все колена, за исключением Иуды, поддерживают ряд новых, правда более слабых, разрозненных бунтов против Давида, из которых самый значительный возглавлялся неким Савеей (его девиз: «Нет нам чести в Давиде, и нет нам доли в сыне Иессеевом!»). На этот раз Давид удержал столицу и территорию от Иерусалима до Иордана, а поскольку Савее, как и ранее Авессалому, не хватало опытных военачальников, младших командиров, Иоав оттеснил его в Авель-Беф-Маах. Тут Иоав насыпал вал перед городом и подступил к стене, но одна умная женщина догадалась, как спасти жителей — она повела переговоры с Иоавом, предлагая голову Савея, которую вскоре отрубили и перебросили осаждающим через стену; в награду Давид поставил Иоава пожизненно над всем войском израильским, но для равновесия одновременно назначил Ванею начальником над царской гвардией, хе-

лефеями и фелефеями; Давид преобразует армию (численность которой прежде зависела от настроения племенных старейшин) и государственный аппарат (которому не давал развернуться недостаток сведений о количестве народонаселения, об имуществе, о производимых товарах, о торговле, о налогах, повинностях и т. п.); Давид проводит перепись Израиля и Иуды, чем нарушает один из величайших запретов (древнее желание народа защититься безымянностью массы облечено Господом в следующую формулу: «Я сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества»); произвести перепись приказано военным, те упрямятся; Иоав говорит Давиду: «Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю?»; однако Давид настаивает на своем решении; через девять месяцев и двадцать дней все население Израиля исчислено за исключением вениамитян (горцы скрывались от счетчиков) и левитов (они не могут носить оружия и владеть имуществом); с учетом известных погрешностей итог таков: «Израильтян тысяча тысяч и сто тысяч мужей, обнажающих меч, а иудеев четыреста семьдесят тысяч мужей, обнажающих меч». Грех Давида навлек Божью кару; малый пророк Гад (Нафан в подобные дела предпочитает не вмешиваться) вещает Давиду от имени Господа: «Три наказания предлагаю Я тебе, выбери себе одно из них, которое свершилось бы над тобою: а) чтобы был голод в стране твоей семь лет, или б) чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих и они преследовали тебя, или в) чтобы в продолжении трех дней была моровая язва в стране твоей». Давид выбирает моровую язву, поскольку она поразила бы более горожан, нежели деревню, в городах же (за исключением Иерусалима, его собственного города) проживали в основном ханаанеи, обедневшее прежнее население страны, то есть не слишком большая утрата для народа Израиля. За три дня от Дана до Вирсавии умерло семьдесят тысяч человек; по словам самого Давида, «Ангел Господень стоял между землею и небом с обнаженным в руке его мечом, простертым над Иерусалимом; тут Господь пожалел о сем бедствии и сказал Ангелу-истребителю: довольно! теперь опусти руку твою. Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны Иевусеянина». Пророк Гад вновь вещает Давиду от имени Господа: «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны Иевусеянина». Давид купил гумно и прилежащую землю для строительства будущего Храма за шестьсот сиклей золотом, о чем в архиве имеется документ (одиннадцатое стойло, третий ряд, правая сторона — впрочем, документ, похоже, составлен задним числом как свидетельство щедрости Давида, когда дело касается Господа, ибо ни один земельный участок Иерусалима или окрестностей не стоил таких денег); после купли стройплощадки под Храм Давид, подобно иным деспотам, воспылал любовью к архитектуре — он самолично следит за созданием проекта, по его приказу десятки тысяч подневольных каменотесов готовят камни для дома Божия, идет сбор прочих стройматериалов: кедрового дерева, железа, меди, гвоздей, петель и крючьев. В это же время Давид осуществляет перемены в правительстве; ловко перераспределив должности и приходы, он укрепляет влияние царского дома — многочисленные священники и чиновники получают новые места (из тридцати восьми тысяч левитов двадцать четыре тысячи назначаются для храмовой службы, шесть тысяч — писцами и судьями, четыре тысячи — привратниками, и еще четыре тысячи лучших музыкантов должны славить Господа); создается государственная казна (под началом Шевуила, сына Гирсона), а также ведомство внешнего служения (то есть дипломатическая служба, возглавляемая Хенанией из племени Цугарова); старейшины племен заменяются вельможами, именуемыми «главами семейств» — причем все они отобраны из колена Иуды, откуда вышел и сам Давид (у Хашавия из Хеврона их тысяча семьсот человек, которые надзирают за племенами, что

западнее Иордана; у Иерии из Хеврона две тысячи семьсот глав семейств, они надзирают над коленами Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манассиным); закончена перестройка армии: теперь в распоряжении Давида есть наемное войско (царская гвардия — хелефеи, фелефеи и т. п.) для обеспечения внутреннего порядка и для немедленного использования в боевых действиях, а также двенадцать войсковых подразделений по двадцать четыре тысячи человек в каждом — в мирное время их призывали ежегодно на одномесячные учебные сборы; чтобы покрыть расходы блестящего царского двора, увеличиваются царские землевладения, расширяются виды хозяйственных работ: виноградарство и виноделие, изготовление оливкового масла (в Шароне и других долинах), разведение племенных верблюдов и ослов; Давид становится крупнейшим предпринимателем в Израиле, часть доходов от его личного состояния откладывается на строительство будущего храма, в том числе (по архивным записям — второе стойло, первый ряд, правая сторона): «семь тысяч талантов серебра чистого и три тысячи талантов золота офирского для светильников и лампад их, для столов предложения хлебов, для вилок и чаш, и кропильниц, и блюд, и для жертвенника курения, и для колесницы с херувимами на ковчеге Господнем, и для внутреннего убранства». Здоровье царя ухудшается, он жалуется на усталость, озноб, мужское бессилие, становится раздражителен, часто хандрит; ему ищут девицу, которая согревала бы его своими ласками, однако все усилия сунамитянки Ависаги тщетны; Давид говорит Господу: «...странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои; дни мои — как уклоняющаяся тень, никто на земле не вечен».

Зеленый паланкин с золотыми планками и красной бахромой на крыше остановился у дверей моего дома, и слуга возвестил о прибытии главного царского евнуха Аменхотепа. У меня подкосились колени, когда Аменхотеп, выйдя из паланкина и протянув мне руку, сказал:

— Ефан, друг мой, я принес тебе радостную весть от мудрейшего из царей Соломона.

Благоухая тончайшими египетскими духами, он вошел в дом, где щедро осыпал всех своими милостями — любезно поинтересовался у Есфири ее самочувствием, у Олданы здоровьем сыновей, у Лилит недавним путешествием, у Сима и Селефа школьными успехами, и каждому он сообщал, что мне оказана высокая честь.

После этого он обратился ко мне:

— Вижу, ты потупился и бормочешь себе под нос нечто невнятное. Уж не благодарные ли молитвы твоему Богу?

Я действительно молил Бога, но о том, чтобы он поразил египтянина, а заодно мудрейшего из царей и в придачу всю комиссию по составлению *Единственно истинной и авторитетной, исторически достоверной и официально одобренной Книги об удивительной судьбе и т. д.*

Положив руку на мое плечо, Аменхотеп легонько подтолкнул меня в рабочую комнату, где сообщил о царском желании в связи со скорым приездом дочери фараона незамедлительно доставить во дворец мою наложницу Лилит, а именно до завтрашнего захода солнца, таким образом царь Соломон оказывает мне высокую честь, делая Лилит наперсницей своей будущей супруги.

— А теперь скажи ей о том, какое ей выпало счастье,— заключил он.— Не сомневаюсь, она будет рада.

Я ответил, что, по-моему, лучше подготовить Лилит постепенно, ведь, как известно, неожиданные известия порой вызывают у женщин всевозможные расстройства — одни теряют дар речи, другие начинают дергаться, третьи и вовсе впадают в слабоумие. Евнух заломил руки;

этот жест означал, что сопротивление бесполезно, поэтому я встал, подошел к двери и позвал Лилит.

Когда она пришла, я взял ее за руку, подвел к Аменхотепу и сказал таким голосом, будто я ей совершенно чужой человек:

— Лилит, любимая, когда я взял тебя у твоего отца, отдав взамен дюжину хороших овец, четырех коз и дойную корову, ты стала отрадой моему сердцу, моей усладой, поэтому теперь я не уступил бы тебя за все стада Израиля. Но за тобой пришел тот, кто могущественнее меня, и он требует тебя. Так что готовься, дочь моя, умасти себя миром и розовым маслом и отврати от меня твое сердечко, ибо придется нам разлучиться и пойти каждому своим путем: мне в безрадостную старость, а тебе...

— Ефан! — воскликнула она.

— ...а тебе во дворец.

— Ефан, любимый мой,— сказала она,— когда в прошлый раз ты уезжал из Иерусалима, а я ждала тебя у большого камня, что стоит близ дороги, то я пообещала тебе сделаться твоей тенью: как не может человек избавиться от своей тени, так и меня нельзя оторвать от тебя, если только ты меня сам не разлюбишь. Разве ты больше не любишь меня?

Я заговорил о преимуществах жизни во дворце, где она будет пользоваться покровительством дочери фараона и постоянно лицезреть мудрейшего из царей.

— Ты больше не любишь меня?

Я объяснил ей, что в моем положении нельзя не ублажить царя Соломона и что она, если она действительно любит меня, не должна думать только о себе и собственных чувствах.

— Ты больше не любишь меня?

— Я больше не люблю тебя,— проговорил я.

— Тогда я покончу с собой,— спокойно решила она,— ибо только благодаря тебе я зажила настоящей жизнью.

— Именно этого я и опасался,— сказал Аменхотеп,— воистину есть женщины (слава богам египетским и твоему Господу, их немного, но все же достаточно), которые приносят немало беспокойства; никаких хранилищ не хватит для их чувствительных историй, если записать их на глиняных табличках. Ефан, друг мой, проследи, чтобы с этой барышней ничего не приключилось, пока она не очутится в царском дворце, в моих руках, иначе ты мне лично за все ответишь.

Итак, жертва моего предательства сполна изведала всю его гнусность. Я же был подобен червю, который гложет прах свой.

А что толку?

Позднее я отправился к дому пророка Нафана и уселся, как проситель, у его двери, дожидаясь, когда он соблаговолит принять меня.

Слуга проворчал:

— Мой господин занят.

Я попросил его:

— Передай, что Господь послал мне сон насчет твоего господина.

Через некоторое время слуга вернулся и сказал:

— Заходи.

Нафан сидел в спальне, вид у него был нездоровый, некогда полные щеки обвисли, глазки бегали, словно пара мышей в корзинке. Вдруг я понял, что и он боится слуг Ванеи, сына Иодая.

— Какой же тебе привиделся сон? — спросил он.— Был там Ангел Божий, если да, то откуда появился — справа или слева? Крылья его были распростерты или сложены, имел ли он меч? Я тоже видел сон, ко мне слетел с небес черный Ангел и замахнулся на меня огненным мечом.

— О, да будет Господь милосерден к моему господину,— воскликнул я,— от такого сна можно до смерти перепугаться. Нет, слава Богу,

сон мой никому не сулит смерти и для господина моего весьма приятен, ибо он отправился в нем к царю Соломону со своей знаменитой притчей.

— Это правда? — усомнился он.

— Вы поведали царю ту же самую притчу, что некогда рассказывали его отцу, Давиду, а именно историю о богатом человеке, который имел очень много разного скота, и о бедняке, у которого ничегошеньки не было, кроме одной-единственной овечки; и вот когда к богатому человеку пришел странник, скупец пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед, а взял овечку у бедняка и приготовил ее для гостя.

— Догадываюсь,— сказал Нафан,— что в твоем сне мудрейший из царей Соломон разгневался не менее сильно, чем в свое время его отец царь Давид, и тоже сказал: «Достоин смерти человек, сделавший это, за то, что не имел сострадания». А дальше я в твоем сне растолковал царю мою притчу и намекнул: дело, мол, легко поправить, надо только отказаться ему от прихоти сделать наложницу Ефана Лилит наперсницей дочери фараона.

Я восхитился великим провидческим даром Нафана и его умением заглядывать в тайники человеческих сердец.

— Ты глупец, Ефан! — сказал он.— Даже если бы я выдумал притчу в десять раз лучше, жалостливей, чем история об единственной овечке, и пришел бы с ней к Соломону, он все равно послал бы меня ко всем чертям. Его отец, царь Давид, был настоящим поэтом, он обладал поэтическим воображением, оттого и имел особые отношения с Богом; он был избранник Господа, но в то же время слуга Божий, призванный целиком отдать себя Святому делу. Царь Давид мог понять простого человека с его единственной овечкой. А этот? — Нафан сплюнул.— Жалкий подражатель, себялюбец, воображения ни на грош, сны его весьма посредственны, стихи плоски, преступления — следствие трусости, а не великих замыслов. Он жаждет преклонения. Ему нужны постоянные доказательства собственного превосходства. Вот он и собирает их всюду, где только можно, гонясь прежде всего за количеством: золото, войско, иностранные послы, женщины. Ему понадобилась твоя Лилит. Он хочет доказать самому себе, что не только мудрее тебя, но и лучше как мужчина.

Нафан выпрямился, в этот миг он казался настоящим пророком. Однако огонь его быстро угас. Какая бы причина ни вызвала той страстности, с которой он вынес свой приговор царю Соломону, она выдохлась, и остался лишь жалкий, ничтожный старик.

— Никому не передавай моих слов, Ефан,— взмолился он,— я все равно от них отопрусь. Я скажу, что это было твое наущение. Поклянусь, что злой дух перенес в мою голову твои мысли, ибо моя голова — лишь сосуд, предназначенный для заполнения.

Я сказал, чтобы он не беспокоился, встал и ушел восвояси.

Дочь фараона прибыла в Иерусалим с огромной свитой, караван верблюдов привез золото, драгоценные камни, виссон и другие тонкие ткани, а также благовония; ее сопровождало множество придворных дам. Царь Соломон со всеми своими вельможами встретил ее у городских ворот; грохотали барабаны, гремели трубы и кимвалы, шум стоял такой, что его было слышно в противоположном конце Иерусалима. Народ сбежался к воротам, обступил по обе стороны улицу, ведущую во дворец, и радостно приветствовал принцессу, славил мудрость мудрейшего из царей, воздавал хвалы его могуществу — все это было заранее разучено, подготовлено слугами Ванеи и левитами.

Есфирь, любимая жена моя, сказала:

— Ей пора!

Лилит вымылась, умастила себя маслом, Олдана убрала ее волосы, которые блестели теперь, словно лунный свет на глади озера Ки-

нареф. Ей подкрасили веки и губы, нарумянили розовой пудрой щеки, чтобы вернуть живость ее бледному лицу. Между грудей, подобных двойне молодой серны, Лилит повесила мирровый пучок, опрыснула себя розовой водой с корицей. Потом она надела зелено-алое платье и сандалии из мягчайшей кожи, подчеркивающие изящную форму ступни. Однако лицо ее оставалось неподвижным, взгляд — тупым, так что Лилит походила скорее на мертвую куклу, чем на живую женщину.

Главный царский евнух Аменхотеп прислал за Лилит свой паланкин, она села в него, и ее унесли. Я пошел рядом, чтобы провести с ней эти последние минуты, а еще потому, что Аменхотеп возложил на меня всю ответственность за ее благополучное прибытие во дворец.

Мы прокладывали себе дорогу сквозь толпу, возвращавшуюся с торжественной встречи дочери фараона у городских ворот и у царского дворца. Но я не видел ни людей, ни даже носильщиков паланкина. Я уставился на красную бахрому, лишь бы не смотреть на Лилит, мою наложницу, которая любила меня и которую я предал ради ненадежной благосклонности царя Соломона, ради того, чтобы ненадолго отсрочить неизбежную опалу. Мне казалось, будто я участвую в похоронной процессии. Хоронили же часть моей жизни и мое человеческое достоинство.

Однако по милости Божьей — благословенно будь Его имя — даже в эти минуты сильнейших душевных потрясений я не утратил способности наблюдать за собой как бы со стороны, что весьма полезно, если не хочешь вконец рехнуться. Вид у меня, бредущего рядом с паланкином, был донельзя непригляден, но я понимал, что я пленник своего века и мне не дано выскочить из его рамок. Ведь человек подобен камню, запущенному из пращи в неведомую ему цель. Человеку остается только одно — попытаться, чтобы мысль его стала хоть чуть-чуть долговечнее, нежели он сам, то есть попытаться оставить после себя некий знак, пусть невнятный, для грядущих поколений. И эту попытку я сделал.

А там пусть судят меня судом, которого я заслужил.

25

Господь послал Есфири, любимой жене моей, глубокий сон; она проспала всю ночь, а утром проснулась бодрой и сказала, что чувствует себя почти здоровой.

Я поверил, что мои молитвы, лекарства и снадобья левитов, а также воля Есфири к жизни превозмогли ангела тьмы, и тот отступился от своей жертвы. Мы знаем, смерть неизбежна, но она для нас всегда непостижима, поэтому даже мудрец не может примириться с ней.

Есфирь сказала мне:

— Ефан, супруг мой, твой труд приближается к завершению. *Книга об удивительной судьбе, богобоязненной жизни и т. д.* будет вскоре закончена, а значит, мы сможем вернуться в Езрах, в наш дом под тенистыми оливами, которые мы посадили сами. До чего же хочется попить из нашего колодца, ведь там такая сладкая и целебная вода, лучше всякого лекарства.

Мы и впрямь скоро вернемся, ответил я, сядем под оливами, будем глядеть на вьющийся виноград и слушать, как журчит вода.

— Очутиться бы там в месяце Сиф,— мечтательно сказала Есфирь.

Тут поднялся шум, в дверь дома забарабанили кулаки, к нам вбежали Сим и Селеф; они закричали, что у дома стоит боевая колесница и люди Ванеи с мечами. Рука Есфири, которую я продолжал держать в своей, дрогнула.

— Отоприте им,— велел я Симу и Селефу,— сейчас я к ним выйду.

Я чувствовал себя вполне спокойным, почему-то все мне виделось

теперь с особенной отчетливостью: пятна на стене, светильник, покрывало, едва очерчивающее изможденное тело Есфири.

Когда я поднялся, она слабым голоском спросила:

— Разве ты не поцелуешь меня в последний раз, Ефан?

Я тотчас обернулся к ней:

— Почему же в последний? Я скоро вернусь. Когда люди Ванеи забирают кого-нибудь, то берут его еще затемно.

Я нежно поцеловал ее, слегка устыдившись того, что в эту трудную минуту подумал только о себе; Есфирь же, подняв руку, коснулась моей брови и виска.

С этим я и ушел навстречу тому, что меня ожидало.

Люди Ванеи неслись по иерусалимским улицам, совершенно забыв об осторожности; они щелкали кнутами, орали, требуя освободить дорогу. Того, кто не успевал посторониться, сбивали с ног, кто-то попадал под колеса, поэтому вслед нам неслись вопли раненых, проклятья.

Меня держали в колеснице двое, на крутых поворотах скрипели оси, колесница неслась то в гору, то под горку, пока наконец мы не затормозили у одного из боковых входов царского дворца. Потом те же двое, протащив меня по лестницам и коридорам мимо молчаливых стражников, бросили в каморку, куда свет проникал лишь сквозь узкую щель под самым потолком. Здесь я пробыл, как мне показалось, довольно долго.

Я молился Господу: «Простри мне руку Твою, проведи над пропастью, чтобы вновь мне увидеть солнце и свет дневной. Не оставляй меня, будь снисходителен к прегрешениям моим и ошибкам, пожалей близких моих, вспомни о моем усердии. Ибо что есть человек в очах Твоих? Не по образу ли Твоему он создан, не отсвет ли Твой душа его? В Тебе, Господи, достигаем мы полноты своей жизни, без Тебя же мы потеряны, как песчинка в море. Не покидай меня, Господи, не дай низвергнуться в пучины темные, а вознеси на высоты Твои, к Твоей благости, чтобы встал я под небом Твоим и воспел хвалу Тебе».

Вдруг раздался скрип, часть стены отъехала в сторону, и кто-то приказал:

— Сын Гошайи, входи!

Я очутился в просторной зале. Даже тряхнул головой, не веря глазам своим, ибо мне почудилось, будто все это я прежде уже видел: царь Соломон сидел на троне между херувимов, рядом — дееписатель Иосафат, сын Ахилуда, дальше священник Садок и пророк Нафан, Ванея, сын Иодая, писцы Елихореф и Ахия, сыновья Сивы, приготовили свои восковые дощечки, чтобы записать все, что будет сказано. Точно так же здесь все и начиналось, только царь еще больше пожелтел, взгляд его стал совсем колючим, а губы скривились, отчего лицо сделалось похожим на маску, какими язычники отгоняют злых духов; впрочем, на каждом из собравшихся время оставило свой след, лишь Ванея служил исключением — недаром говорит пословица: «Кто бесчувствен, тот не стареет».

Бросившись в ноги царю, я сказал:

— О, господин, раб ваш у ваших ног, наступите на него пятой своей, но не раздавите совсем, ведь я был полезен и пригожусь еще.

Я поднял глаза и увидел, что мои слова не тронули ни царя, ни его приближенных; тогда я догадался: это — суд, я — обвиняемый, и чаша весов склоняется не в мою пользу.

Иосафат, сын Ахилуда, велел мне подняться, после чего сказал:

— Не прикидывайся невинным агнцем, Ефан, ибо мудрейший из царей разгадал твое лукавство и все твои хитрости. Лучше сознавайся. Если чистосердечно раскаешься, ничего не утаишь и назовешь сообщников, то, возможно, царь смягчит твою участь.

— Если так угодно моему господину царю и остальным господам, я тут же во всем признаюсь,— сказал я,— было бы в чем. Однако нету за рабом вашим ни малейшей вины, ибо я работал над *Книгой царя Давида* добросовестно и усердно, следуя духу и букве тех указаний, которые давались мне членами комиссии и мудрейшим из царей Соломоном.

— Ах, Ефан,— проговорил царь,— я ожидал от тебя большей находчивости; ныне любой злодей уверяет меня, что во всем признался бы, да не в чем.— Повернувшись к Иосафату, он распорядился: — Зачитай обвинение.

Обвинение оказалось весьма пространным документом, полным ссылок на слова Господа и мудрейшего из царей, оно пестрело косноязычными канцеляризмами, а главное, такими выражениями, как «клевета», «подрывная работа», «очернительство», «ложь», «фальсификация», и «литературное предательство», и «государственная измена».

Когда Иосафат закончил чтение, царь, прищурившись, спросил:

— Итак, сын Гошайи, признаешь ли ты себя виновным по сути предъявленного обвинения в государственной измене, осуществлявшейся устно и письменно путем протаскивания сомнений, нежелательных мыслей и вредных взглядов в *Единственно истинную и авторитетную, исторически достоверную и официально одобренную Книгу об удивительной судьбе, богобоязненной жизни, а также о героических подвигах и чудесных деяниях царя Давида, сына Иессеева, который царствовал над Иудою семь лет и над всем Израилем и Иудою тридцать три года, избранника Божьего и отца царя Соломона,* причем форма для протаскивания вышеупомянутых сомнений, нежелательных мыслей и вредных взглядов нарочито избиралась внешне безобидной и даже как бы угодной Господу?

— Не виновен,— сказал я.

Последовало молчание. Ванея играл желваками на скулах, Нафан с испугом глядел на меня, а царь потирал нос херувима. Наконец, Соломон обратился ко мне:

— Говори.

Если уж мне суждено быть повешенным, подумал я, надо хотя бы выговориться, поэтому начал так:

— В Уре халдейском, откуда родом наш праотец Авраам, жил некогда один мудрец. И его мудрость была столь велика, что он мог объяснить все что ни на есть на земле и под землей и в небесах: растения, которые сами себя оплодотворяют, и деревья, которые приносят плоды — каждое свой особый, и огромных рыб, которые плавают в море, и пернатых птиц, которые летают в поднебесье, и вообще все живое. Он мог объяснить даже то, чего никогда не видел: мысль, которая рождается в голове, и чувство, которое волнует сердце, и страх, который пронзает человека от головы до пят. И вот подступил однажды к этому мудрецу Ангел и стал его искушать, говоря: «Правда ли, будто ты можешь объяснить все что ни на есть на свете?» «Правда»,— ответил мудрец. Ангел спросил: «А можешь ли ты объяснить то, чего на свете нет? Можешь ли ты объяснить мысль, которой никогда не существовало, и чувство, которого никогда не возникало, и страх, которого никто не испытал?» Тогда мудрец пал ниц пред Ангелом и воскликнул: «Воистину один Бог может объяснить то, чего нет. Да смилостивится надо мною Пославший Тебя, ибо я всего лишь человек». При всем благоговении пред моим господином царем и иными присутствующими, мне, бедному сыну Израиля, никак не дано сделать того, чего не сумел великий мудрец из Ура халдейского! Как доказать вам, что у меня никогда не было ни разлагающих сомнений, ни нежелательных мыслей, ни зловредных планов?

— Мы умеем читать между строк,— сказал Ванея.

— Я руководствовался исключительно заповедями Господними, а также волей царя иметь *Книгу*, которая явила бы полную Истину и

положила бы конец всем Разнотолкам и Распрям, устранила бы неверие в Избранность Давида, сына Иессеева,— возразил я.

— Похоже, ты намекаешь на какие-то противоречия между заповедями Господними и волей царя? — спросил Иосафат.

— Воля мудрейшего из царей — закон для его слуг,— ответил я.— Но разве сам господин Иосафат не говорил о царском пожелании, чтобы мы подходили к делу тонко, и, если нужно очернить неугодного человека, достаточно возбудить относительно него подозрения, а когда нужно подправить истину, то следует подправлять ее лишь слегка, чтобы народ верил написанному?

— И ты решил, что это позволяет тебе протаскивать вредоносные мысли, возбуждать недоверие, сеять сомнения и вообще делать дело, противоположное высоким целям нашего исторического труда? — сказал Садок.

— Господам присутствующим хорошо известно,— защищался я,— что мне приходилось подчищать некоторые факты, если что-то с ними было неладно, если от них, так сказать, дурно пахло или они оказывались неугодными царю. Но история вообще без фактов немыслима, тогда никто тебе не поверит. Разве можно жарить без огня? Или стирать без воды?

— Я некоторым образом тоже историк,— вставил Садок,— однако моя книга содержит лишь возвышенные воспоминания и благородные чувства. Все зависит от настроения автора. Чего он хочет? Написать духоподъемлющее сочинение или же красить все в черный цвет?

— А разве настроение читателей нам безразлично? — возразил я.— Ведь то, что приемлемо для одного, неприемлемо для другого.

— Можно писать так, чтобы разночтения исключались,— сказал Иосафат.

— Мой господин совершенно прав,— согласился я,— но подобные книги — вроде тухлой рыбы, которую никто не берет на базаре, а потому приходится выбрасывать ее на помойку; мудрейший из царей Соломон хотел иного, он желал, чтобы его книга была долговечнее всех остальных.

Желваки на скулах Ванеи замерли.

— Готов ли ты поклясться именем Бога, жизнью твоей жены Есфири, что нигде в *Книге царя Давида* не скрыто намека на то, что подлинные события происходили иначе, чем о них написано? — спросил он.

Я вспомнил изможденную, больную Есфирь, подумал о великом милосердии Господнем, потом обвел глазами окружающие меня лица — от этих людей милосердия не жди.

— Ну? — прикрикнул Ванея.

— Как солнце пронзает тучу,— пожал я плечами,— так и правда просвечивает сквозь слово.

— По-моему, все ясно,— сказал Иосафат.

— Благонамеренностью это не назовешь,— подхватил Нафан.

Священник Садок возвел глаза к небу и проговорил:

— Стало быть, придется нам месяцами сидеть тут, как в вошебойне, выискивая, будто вшей, злоумысленные намеки и прочие мерзопакости.

Ванея ухмыльнулся:

— Знание — дар Божий, но когда человек знает лишнее, то это вроде заразы или вони изо рта. Прикажите мне убить этого умника, пусть уносит свои знания с собой в могилу.

Тут я снова бросился в ноги царю Соломону и, целуя его толстые пальцы, воскликнул:

— Выслушайте раба вашего, о мудрейший из царей, взываю не к правителю, а к поэту. Позвольте мне прочесть мой псалом «Хвала

Господу, хвала Давиду», потом решайте, заслужил ли я смерти от руки Ванеи.

Чтобы царь не успел отказать в моей просьбе, я выхватил из складок одежды кусочек пергамента и начал читать:

ХВАЛА ГОСПОДУ, ХВАЛА ДАВИДУ

ПСАЛОМ ЕФАНА ЕЗРАХИТА

(Голос Господа)

Я поставил завет с избранным Моим,
клялся Давиду, рабу Моему:
Навек утвержу семя твое,
в род и род устрою престол твой.
Я обрел Давида, раба Моего,
Святым елеем Моим помазал его.
Рука Моя пребудет с ним,
и мышца Моя укрепит его.
Враг не превозможет его,
и сын беззакония не притеснит его.
Сокрушу пред ним врагов его.
И Я сделаю его первенцем,
превыше царей земли.
Вовек сохраню ему милость Мою,
и завет Мой с ним будет верен.
Семя его пребудет вечно,
и престол его, как солнце предо Мною:
вовек будет тверд, как луна,
и верный свидетель на небесах.

Царь Соломон вежливо захлопал в ладоши, следом — остальные; писцы Елихореф и Ахия тут же поинтересовались, нельзя ли получить копию, чтобы приложить к протоколу.

Я сказал, что с удовольствием ее изготовлю, если только останусь жив на достаточное для этого время.

Царь Соломон сдвинул на лоб расшитую золотом шапочку, почесал в затылке и провозгласил следующее решение:

СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ

Исходя из того, что любого слова, неугодного царю и верховным правителям, достаточно для обвинения в государственной измене;

и учитывая недовольство царя и верховных правителей рядом высказываний обвиняемого Ефана, вписанных им в *Единственно истинную и авторитетную, исторически достоверную и официально одобренную Книгу об удивительной судьбе, богобоязненной жизни, а также о героических подвигах и чудесных деяниях царя Давида, сына Иессеева, который царствовал над Иудою семь лет и надо всем Израилем и Иудою тридцать три года, избранника Божьего и отца царя Соломона;*

и признавая подсудимого виновным в предъявленных ему злодеяниях,

я, мудрейший из царей Соломон, властью, данной мне заветом с Господом, приговариваю вышеупомянутого Ефана, сына Гошайи, к смерти.

— Отлично,— сказал Ванея и вытащил меч.

Однако царь Соломон, подняв руку, продолжил:

СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ
(Продолжение)

Принимая во внимание, что физическое умерщвление Ефана, сына Гошайи, представляется нецелесообразным, так как оно может поро-

дить среди недоброжелателей толки, будто царь Соломон подавляет свободу мысли, преследует ученых и т. п.;

принимая также во внимание, что по тем же причинам нецелесообразно отправлять Ефана, сына Гошайи, в рудники, каменоломни, к священникам Беф-Сана или в иные подобные заведения,

он приговаривается к смерти через замалчивание; ни единое слово его не должно стать известным народу — ни устное, ни записанное на глиняных табличках или пергаменте; его имя надлежит забыть, словно он никогда не рождался на свет и не написал ни единой строки.

Псалом же под названием «Хвала Господу, хвала Давиду», написанный им в духе и стиле литературных поденщиков, плоский по мысли и лишенный малейших поэтических достоинств, да будет сохранен на все времена, нося его имя.

— Воля ваша,— проворчал Ванея и вложил меч в ножны.— Что до меня, то я предпочитаю простые решения.

Ночью в дом наш вошел ангел тьмы, он распростер крылья и коснулся своей тенью Есфири, любимой супруги моей.

Я увидел, как изменилось от этого прикосновения ее лицо, закричал, рухнул на пол рядом с ее постелью: я понимал, что произошло, но не мог этого принять.

Боже мой, Боже мой, твердил я Господу, разве мыслимо никогда больше не видеть ее улыбки, не слышать ее голоса, не чувствовать ее рук? Разве может любовь навсегда исчезнуть во мраке шеола, разве может погаснуть великое сияние ее души, подобно тому, как догорает обычная восковая свечка? Без нее я что ручей без воды или кость без костного мозга. Возьми одну из рук моих, Господи, один глаз, половину сердца, только подыми ее, воскреси, дай пожить хотя бы еще пять дней, пусть даже один-единственный день. Ведь Ты сотворил целый мир и в нем все живое, неужели Тебе трудно воскресить всего лишь одну жизнь? Как ни прискорбно, я оказался недостоин ее любви, ибо моя любовь была меньше той, которой она одарила меня. Чем же я воздам ей за это, чем отплачу, если она умерла? Срубленное дерево живо надеждой на новые побеги, так неужели женщина, чье сердце было чище родника, значит для Тебя меньше любого из дерев? Умоляю Тебя, ведь это Ты сотворил ее, и каждую ее мысль, и каждое движение ее души; зачем же Ты опять обращаешь ее во прах? Ты наделил ее живою плотью и светом очей, озарявших мой путь; зачем же, Господи, разрушаешь творение рук Твоих, уничтожаешь подобие Твое? Если согрешил я, покарай меня, не отпускай моей вины. Если я поступал неправедно, да будет горе мне. Но зачем же Ты отнимаешь жизнь у той, что была праведна и добра и любила людей? Зачем посылаешь ее в бездну, откуда нет возврата?

Я укорял Господа, но он молчал, а лицо Есфири, любимой жены моей, отчуждалось все больше.

Потом пришли мои сыновья Сим и Селеф и их мать Олдана, отвели меня в мою комнату. Я разодрал свои одежды и посыпал голову пеплом. Вскоре дом заполнили соседи и левиты. Они закрыли лицо Есфири, ее бедное, изможденное тело и принялись оплакивать ее, а еще есть и пить, хлопать меня по плечу, говорить, что такова воля Божья и все мы рано или поздно отправимся в страну тьмы, в долину смерти, но я почти ничего не замечал и не слышал.

На следующий день они забрали Есфирь, положили ее на повозку, запряженную двумя коровами, вывезли за городские ворота и опустили в могилу.

26

Больше ничто не удерживало меня в Иерусалиме, к тому же царские чиновники торопили освободить дом № 54 по переулку Царицы Савской. На государственной службе ты уже не состоишь, говорили мне, поэтому поспешай с отъездом. Кое-что из своего небогатого имущества я распродал, кое-что раздарил, а записи и архив спрятал в тайном месте.

Потом я в последний раз навестил могилу Есфири, любимой жены моей, помолился там Господу. Глядя на надгробие, я припомнил слова Давида, сказанные на смерть его первого сына от Вирсавии: «Я пойду к тебе, а ты не возвратишься ко мне».

Затем я отправился к жертвеннику. За несколько из немногих оставшихся у меня шекелей купил четверть барашка и положил для всесожжения на алтарь, близ которого Ванея совсем недавно убил Иоава. К небу закурился дымок, и я понял: моя жертва угодна Господу, он дарует мне спокойное возвращение в родной город.

На пути домой я задержался, чтобы посмотреть, как идет строительство Храма, воздвигаемого Соломоном Господу; я видел тщательно обтесанные громадные камни, поставленные один на другой, притвор с колоннами, вырезанные камнерезами гранаты и лилии, однако я видел также исполосованные спины людей, сделавших все это, их изнуренные лица, измученные глаза.

Но Господь послал ко мне Ангела, который, встав за моим плечом, сказал: «Что камень и железо и медь, что троны царей и мечи сильных? Все это станет прахом, говорит Господь, зато слово и истина и любовь пребудут вечно».

Все наши пожитки мы несли на себе, тем не менее у городских ворот нас остановили для досмотра, будто у нас было сорок вьючных ослов, груженных сундуками с коврами и ящиками с архивами. Хелефей подозвал своего офицера, подошел начальник привратной стражи и ухмыльнулся:

— Никак опять наш историк? Да еще в дорожной одежде, пешком, с котомкой за спиной!

Показав разрешение на выезд с царской печатью, я попросил отпустить нас без лишних хлопот, ибо день обещал быть жарким, а нам предстоял неблизкий путь.

— Гляжу, ты кончил свою работу,— сказал начальник, обращаясь не столько ко мне, сколько к обычно толпящемуся у городских ворот сброду бездельников и мошенников,— стало быть, ты дал этим людям то, в чем они больше всего нуждаются, а именно Историю.— Он окончательно повернулся к толпе.— Возблагодарите же Ефана, сына Гошайи, за то, что трудами своими неустанными он украсил ваши язвы и вонь описанием ваших добродетелей.

Люди загоготали, зашлепали себя по ляжкам, кое-кто даже кувырнулся от удовольствия; толпа плотно обступила меня, моих сыновей Сима и Селефа, их мать Олдану.

— Расскажи-ка,— продолжал начальник,— какими ты изобразил их. Избранным народом, который следует заповедям Господа, Его закону, или же тупицами и злодеями?

— Народ,— ответил я,— источник как добра, так и зла.

— Слышите, какие вы двоедушные,— воскликнул начальник, щелкнув над толпой плетью,— но царь дан вам от Бога, а также все правители и царские слуги.— Не обращая внимания на ворчащую толпу, он обернулся ко мне.— Ну, а сам-то ты кто таков? Ни мирянин, ни священник! Ни господин, ни раб! Ты — змий, искушающий плодом с древа познания, а Господь, сам знаешь, проклял змия, сказав: «Будешь

ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей, а человек будет поражать тебя пятой в голову».

При этих словах источающая жар и зловоние толпа еще больше стиснула нас. Я видел ненависть в гноящихся глазах, угрожающе поднятые культи; Сим и Селеф закричали, Олдана впилась ногтями в лицо сунувшегося к ней охальника; не полагаясь на собственные кулаки, я озирался по сторонам, ища защиты. И тут появились скороходы с белыми жезлами, а за ними зелено-золотой паланкин с красной бахромой на крыше.

Нищие, зеваки и жулики вмиг поразбежались от ворот, разогнанные хелефеями и фелефеями. В сопровождении начальника привратной стражи главный царский евнух Аменхотеп подошел к нам; он кивнул Олдане, ласково тронул за подбородок Сима и Селефа; мне же он сказал, изящно сложив руки:

— Ефан, друг мой, я не мог отпустить тебя, не простившись. Ведь мы оба чужаки в Иерусалиме, причем во всех смыслах этого слова. Я благожелательно следил за тобой и твоей работой, а теперь, когда ты уедешь, мне будет недоставать тебя. Если это может послужить утешением, знай, что твоя бывшая наложница Лилит вполне прижилась во дворце и чувствует себя неплохо; она дарит своими ласками царя Соломона и одновременно служит наперсницей его супруге, дочери фараона. Кроме того, Лилит поет царю любовные песни, которым ты ее научил и которые так нравятся царю, что он велел их записать, собрать и издать «Книгу Песни Песней Соломона». Надеюсь, ты примешь от меня в знак дружбы прощальный подарок.

Аменхотеп достал из складок своей одежды флакончик.

— Эти духи получены из очень хорошего египетского дома в городе бога солнца Ра, от моего личного поставщика,— сказал он.— Пусть их аромат освежает тебя и напоминает о том, что в мире евнухов не стоит вести себя по-мужски.

Взяв флакон, я повернулся и пошел своей дорогой.

Когда мы пересекли Кедрон и поднялись на противоположный высокий берег, я задержался, чтобы бросить последний взгляд на град Давидов. Он простерся предо мною, раскинувшись на своих холмах, и я хотел было проклясть его, но не смог, ибо великое сияние Божие лежало на утреннем Иерусалиме.

Критика

ХУДОЖНИК И ВЛАСТЬ

Эта актуальная тема собрала за «круглым столом» Международного общественного совета «ИЛ» его членов: Чингиза Айтматова (СССР), Жоржи Амаду (Бразилия), Кристу Вольф (ГДР), Ананту Мурти (Индия), Кэндзабуро Оэ (Япония), Йордана Радичкова (Болгария), Роберто Фернандеса Ретамара (Куба), а также членов редколлегии журнала — Александра Михайловича Адамовича, Тамару Лазаревну Мотылеву, Роберта Ивановича Рождественского. За «круглый стол» сели видные советские литераторы, в том числе: Лев Александрович Аннинский, Андрей Георгиевич Битов, Георгий Дмитриевич Гачев, Даниил Александрович Гранин, Вячеслав Всеволодович Иванов, Владимир Николаевич Корнилов, Владимир Семенович Маканин. Предлагаем читателям материалы их двухдневных бесед, состоявшихся осенью прошлого года.

Ч. Айтматов. Идея нашей встречи давно уже вынашивалась в редакции «Иностранной литературы», определилась и ее тема — «Художник и власть». А когда ряд крупных зарубежных писателей дали свое согласие участвовать в работе журнала в качестве членов Международного общественного совета, мы решили, что время настало. Позвольте приветствовать зарубежных гостей и поблагодарить их за приезд.

Проблема «Художник и власть» — одна из кардинальных в интеллектуальной культуре. Чтобы представить себе, так сказать, «окружающую среду» проблемы, обратим взор на то, что мы унаследовали от нынешнего, уже истекающего века, имея в виду глобальный социум. В XIX веке лишь десять процентов населения планеты жило в странах с демократическим строем, двадцать процентов — в странах с монархическими режимами, а семьдесят — в странах-колониях. Ныне пятнадцать процентов населения Земли живет в стабильно демократических условиях, тридцать пять — в совершенно новых общественных структурах, которых не было прежде (имеются в виду те системы, главным образом в странах Восточной Европы, которые в начале века практически были лишь идеей небольших подпольных групп). И пятьдесят процентов проживает в странах, которые мы называем третьим миром. Вот такой геополитический расклад. В этих условиях, естественно, художник оказывается в той или иной политической ситуации и в той или иной форме соприкасается с тем, что мы именуем правящим элементом, то есть с проблемой, которую мы обозначили «художник и власть».

Трудно, конечно, предположить, что были времена, когда художник оставался совершенно свободен и независим в своем творчестве, независим от всего окружающего, и прежде всего от власть имущих. Вряд ли имели место столь безмятежные времена. И такое положение вещей, естественно, наложило глубокий отпечаток на взаимоотношения художника и власти, как бы утверждая некий порядок. Исходя из личного опыта, могу сказать, что я тоже, как и все, был включен в этот порядок. Вот я и беру тот случай, когда Художник — будь то певец, поэт, живописец,— соприкасаясь с властью, мягко говоря, оказывался в роли придворного служителя. В наше время — служителя партии. Подобная участь не миновала и многих выдающихся деятелей мировой и нашей отечественной культуры. Придворный поэт, придворный художник, придворный певец, придворный танцор — и так далее, и так далее — это было определенное состояние художника в разные эпохи.

Зависимость художника от власть имущих всегда была наглядной, но в наше время, особенно после Октябрьской революции, она приняла весьма своеобразный характер: диктатор выступал уже не как диктатор сам по себе, а от имени народа, заявляя, что правит от его имени и в его интересах.

Мне кажется, что многие на своем веку и сами с этим соприкоснулись и могли бы высказаться по этому поводу. Люди думали, разумеется, об этом и до нас; сохранились на этот счет предания. Я хотел бы поведать — очень кратко — одну степную легенду, которую храню в душе. Она — о той предельной зависимости от власти, в которой может оказаться художник. Известный в тех краях певец, служа при дворе своему повелителю, вынужден был сопровождать его в качестве свата к собственной невесте, воспевать достоинства хана, поздравлять свою возлюбленную с великим счастьем...

Подобных примеров немало и в прошлом и в настоящем, ибо служение власти — одна из самых драматичных и трагичных ситуаций в жизни художника. Хотя есть, конечно, и примеры иного порядка. Скажем, судьба Иисуса Христа, проповедника-философа, учившего, что человечество может восстать и отстаивать свою истину, свои убеждения даже ценой жизни перед лицом господствующей силы. Из нашей ближайшей истории мне вспоминаются такие крупные фигуры, как Максим Горький, Маяковский, Мандельштам, Платонов, Булгаков, наконец, Константин Симонов, их взаимоотношения с властью.

Мне бы хотелось обратить внимание и на то, что понятие «социалистический реализм» в таком контексте можно рассматривать как одно из проявлений проблемы «художник и власть», ибо партийность, народность литературы — составные этого понятия — как бы служили нам предписанием. Будучи самововлечены в литературу и творя ее каждый по-своему (кстати, и в этом зале [1] мы неоднократно вели себя как конформисты, и это казалось нормальным делом), мы подчинялись политической силе. И это также одно из проявлений взаимоотношения художника с властью.

А теперь, мне кажется, мы могли бы приступить к нашему общему разговору.

Жоржи Амаду. Не могу не сказать несколько слов о журнале «Иностранная литература». Я прекрасно помню, каким важным событием стало его появление, помню, как вышел первый номер. Думаю, что можно без всякого преувеличения утверждать, что выход журнала в свет означал прорыв. Словно широко распахнулись двери в большой мир. Я, конечно, имею в виду политический контекст, в котором мы жили в ту эпоху (я прежде всего говорю о политической жизни в Советском Союзе вообще и о возможности знакомства с зарубежной литературой и искусством в частности).

Ведь были такие времена — и длились они довольно долго,— когда на русском языке не издавалось ни одно произведение Хемингуэя. А «Иностранная литература» напечатала его повесть «Старик и море». И это был очень смелый шаг, по тогдашним меркам — большая дерзость. Таким образом, Хемингуэй, который был отлучен от советских читателей, вернулся к ним и вновь с ними встретился именно на страницах «Иностранной литературы». И еще один очень трудный, дерзкий и новаторский шаг сделала «Иностранная литература»: журнал решился публиковать произведения зарубежных авторов без каких-либо сокращений, без купюр — от первого до последнего слова [2]. Повторяю, это был смелый шаг, это была новация, ибо то, что происходило в Советском Союзе с публикациями зарубежных авторов, иначе чем печальной и позорной историей не назовешь. Порой книги сокращались так, что оставалась едва ли не треть оригинального текста. Существовала очень жесткая цензура, беспощадная по отношению ко всему, что казалось или только могло показаться политически неправильным, сомнительным.

Вспоминаю, как в 1948 году (если не ошибаюсь) был переведен на русский язык мой роман, который назывался по-португальски «Sao Jorge dos Ilheus» («Святой Жоржи из Ильеуса»). На русском языке он появился под заглавием «Земля золотых плодов».

В португальском тексте романа было примерно 400 страниц, а в русском издании он превратился в маленькую книжечку — в повесть, уместившуюся всего на каких-нибудь ста страницах.

Мне представляется совершенно верным и бесспорным обозначившееся в журнале направление: обязанность и долг журнала — в том, чтобы воспитывать читателя, подводить его даже к литературе в высшей степени трудной. То, что сегодня нам кажется порой трудным, абстрактным, непонятным,— завтра станет нужным и ясным для всех. Мы должны с самого начала решить для себя, что нельзя проводить водораздел между той литературой, которая нам понятна и нравится сегодня, и той литературой, которая (как нам кажется) трудна для восприятия. Никто — будь то политический руководитель, или руководитель культурного учреждения, или даже руководитель такого журнала, как «Иностранная литература»,— не вправе принимать окончательное жесткое решение относительно того, что можно, что стоит переводить и печатать сегодня, а чего не стоит и не должно публиковать сегодня. Литература не есть нечто однообразное, это в высшей степени сложная вещь, как живопись, музыка или, скажем, скульптура, танец. Литература являет нам огромное разнообразие форм, идей, мнений. И нельзя осуждать ни одну форму, ни одну идею. И все эти направления необходимо предлагать читателю. Нужно привлекать к ним чувства, мысли всех людей. Даже в том случае, если эти идеи в определенный момент не звучат в унисон с нашими нынешними, теперешними идеями или представлениями.

Единственная власть, которой художник или писатель должен служить,— это власть народа, власть культуры. Писатель не может быть слугой политической власти — на том стою, так я считаю. Я принадлежу к тем писателям, основное содержание произведений которых — критика современной бразильской политической власти. Я всегда боролся за то, чтобы бразильское общество стало более справедливым и более братским. На мой взгляд, социальная направленность облагораживает литературу, но я отнюдь не считаю и не требую, чтобы каждый писатель думал так же, как и я.

Не так давно у вас в «Библиотеке «ИЛ» вышла книжка бразильской писательницы Лижии Фагундес Теллес. Она пишет на темы, абсолютно не схожие с моими, я бы сказал, полярно противоположные. Ее интересуют психологические проблемы человеческой личности, ее интимный мир, личные отношения мужчины и женщины. Я считаю, что это большая писательница. И думаю, что, подобно моим произведениям, ее произведения должны быть донесены до советского читателя, должны дойти

[1] Встреча происходила в конференц-зале СП СССР. *(Прим. ред.)*

[2] «ИЛ» действительно удавалось публиковать некоторые произведения зарубежных писателей без тенденциозных купюр, однако нормой редакционной работы это, увы, не стало. *(Прим. ред.)*

до советских людей. Думаю также, что, когда Лижия узнает (а может быть, уже узнала) о публикации своей книги на русском языке, она будет весьма довольна...

Писательское дело требует большого мужества, ибо писатель — человек, который должен найти в себе силы сказать «нет», когда все другие говорят «да». Мы, писатели, обладаем даром обращаться непосредственно к чувствам, к эмоциям, воспроизводить, воссоздавать жизнь — и мы должны сознавать, что на нас лежит огромная ответственность перед читателями. Мы ответственны перед ними за то, чтобы всегда нести им только правду, не прикрывать обмана и лжи. Мы ответственны за то, чтобы искать и находить пути, которые действительно приведут человека к высшему гуманизму. Я имею в виду гуманизм, включающий в себя основные человеческие ценности: мир, справедливость, братство. Мы, писатели и художники, должны прежде всего свято хранить нашу независимость. Мы не должны позволять сдерживать или зажимать себя, не должны подчиняться никакому давлению, не должны допускать никакой узости в нас самих.

Мы должны жить страстно и жарко и творить страстно и жарко, от всего сердца.

Перевод с португальского Г. ВЕРЖХОВСКОЙ

Д. Гранин. Думаю, нормальное состояние художника — это оппозиция к власти. Чингиз Айтматов правильно заметил, что власть всегда старается сделать художника своим, приручить его, заставить его защищать себя, воспевать себя, но художник интересен в первую очередь своей независимостью от власти. Все великие художники были, как правило, оппозиционеры.

Власть бесчеловечна, и, находясь в оппозиции, художник старается защитить человечность. В советской литературе сейчас поднялась затопленная, задержанная литература оппозиции, которая существовала все эти десятилетия. И она, как ни странно, сохранила ныне свою оппозиционную силу.

Однако оппозиция в сегодняшней советской литературе попала в сложное положение. У нас произошла революция сверху. Навстречу этой революции с желанием поддержать ее, помочь ей рванулось много художников: режиссеры и публицисты, писатели и поэты. Это была та революция, которая несла с собой совершенно новое п о н и м а н и е жизни, мышления, открывшая людям новое п о н и м а н и е прошлого. Надо было эту революцию поддержать и защищать ее. Является ли это оппозицией? На мой взгляд, это нечто совсем иное, в какой-то мере — борьба с теми силами, которые мешают революции, перестройке, силами значительными, решительными. И борьба с ними, конечно, соответствует природе художника, она воодушевляет писателя.

Тем не менее для меня, как и для многих моих товарищей, возникает проблема независимости. Мы не привыкли поддерживать власть, мы не очень уютно чувствуем себя в роли защитников ее. И в то же время мы понимаем, что сегодня это известная необходимость. Думаю, что это не завербованность, не соглашательство, не компромисс. Очевидно, такова своеобразная историческая ситуация — в нее попали многие художники сегодня, и ничего в этом нет плохого, потому что именно литература, искусство немало делают для того, чтобы утвердилась перестройка и утвердилось новое мышление. Это скорее заслуга литературы, публицистики, в общем — всех жанров нашего искусства.

Сейчас наступает период возвращения в литературу. Боюсь тут точно сказать или определить, но, очевидно, приходит новый этап, когда художник должен вернуться к своей исконной и важнейшей обязанности собственного понимания, личного неповторимого отношения к действительности.

Криста Вольф. Думаю, что Чингиз Айтматов прав, говоря о причастности каждого художника к обсуждаемой нами теме. Во всяком случае, моя собственная биография с тех самых пор, как я начала писать, имеет к ней самое непосредственное отношение. Однако у нас в ГДР, как, может быть, ни в какой другой стране, отношения между деятелями литературы и искусства и государственной властью имеют одну особенность, в которой есть нечто схожее с тем, о чем сейчас сказал Даниил Гранин.

Когда был разгромлен немецкий фашизм, писателям того поколения, к которому принадлежу и я, было по пятнадцать-шестнадцать лет и мы всеми помыслами, всей душой стремились решительно все изменить как можно скорее. Увы, это было, конечно, заблуждением. Однако поддержка, совершенно искренняя и полная, новой власти, нового государства, сложившегося на территории нынешней ГДР,— таков был результат этого нелегкого процесса. Да и представителями новой власти были люди, которые в пору фашизма участвовали в Сопротивлении и во имя этой борьбы пожертвовали очень многим в своей жизни. Но мне бы не хотелось сейчас вдаваться в подробности развития нашего государства. Отмечу лишь, что в ходе его, как каждому понятно, были и не могли не быть переняты известные структуры и установки — сегодня мы называем их сталинскими. Литература наша была первой и, смею думать, единственной общественной силой, которая подвергла эти структуры и установки критике. Уже тогда вдохновляющий пример советских коллег был для нас и важным, и поучительным. Но в то же время необходимо было бороться за укрепление и признание нашей маленькой страны ГДР, возникшей из части бывшего германского рейха. Таким образом мы, писатели, оказались в довольно сложном положении: отождествляя себя с этой страной, мы боролись за ее признание и одновременно критиковали.

После того как в Советском Союзе начался процесс гласности и перестройки, потребность в критике у нас заметно возросла. Она и раньше выражалась посредством литературы, а теперь — особенно. Официальные структуры с завидной последовательностью игнорировали эту нашу потребность. Их представители никак не могли взять в толк, что критика эта нацелена на

позитивные перемены, что она предполагает как раз сохранение государственности. В последние два-три года литература и особенно театр немало способствовали тому, чтобы вызвать читателей и зрителей на большой публичный разговор. Ведь любой спектакль с последующим обсуждением — все равно что политическое собрание в лучшем смысле этого слова. Конечно, очень важны для нас сейчас произведения советских драматургов, в частности Михаила Шатрова, но и наши драматурги — такие как Кристоф Хайн, Хайнер Мюллер, Фолькер Браун — пишут весьма смелые, критически заостренные пьесы.

Многие последние события и особенно недавний массовый выезд из ГДР молодежи привели к тому, что заметно усилились требования провести публичный разговор. Мы находимся сейчас[1] в критической ситуации, из которой, впрочем, может быть несколько выходов. В последнее время многое указывает на то, что диалог между властью и народом (и между властью и литературой), вероятно, снова станет возможным. Однако положение, видимо, еще долго будет оставаться напряженным.

Мне кажется, что писатели и литература пользуются у населения ГДР большим авторитетом, и я думаю, что мы, сознавая всю ответственность этого шага, используем это уважение как поддержку. Вот почему от писателя в ГДР потребуется сейчас, вероятно, не столько литературная, сколько политическая, гражданская активность. Иначе говоря, нам нужно будет попытаться сделать продуктивными сложившиеся в ГДР структуры, оживить их с помощью народного движения — а оно сейчас в самом разгаре — и с помощью тех немногих институтов, которыми мы располагаем.

Возможно, я сейчас меньше говорю о литературе, чем о политике, но таков императив сегодняшней действительности, которая, естественно, снова взывает к нашему вмешательству в жизнь и в будущем потребует от нас немалых усилий. Тем самым я хотела бы сказать, что власть скорее всего не существует как абстрактное понятие, ее всегда нужно рассматривать исторически конкретно. Что же касается сомнений Даниила Гранина, то, на мой взгляд, писатель вряд ли так устроен, что всегда должен быть в оппозиции к власти. Бывают моменты, когда писатель не может не поддерживать власть. Но думаю, что в этом действительно сложном вопросе еще предстоит разобраться.

Перевод с немецкого И. ЗОЛОТАРЕВА

В. Иванов. Продолжу то, о чем начала говорить Криста Вольф,— о биографическом отношении к теме. Я позволил бы себе сказать нечто автобиографическое.

Я вырос в среде писателей, людей искусства. И жизнь моя так сложилась, что я помню их довольно рано, то есть могу положиться на свою память еще о довоенных временах, когда нашей сегодняшней темой, вероятно, определялась жизнь каждого писателя. Я бы хотел рассказать историю, которая мне была знакома с детства и произвела на меня сильное впечатление. Это история взаимоотношений моего отца, Всеволода Иванова, писателя, со Сталиным. В жизни нашей литературы и культуры был такой период (с начала 20-х годов), когда писателей окружали заботами новое правительство, новая власть, что ставило их в положение чрезвычайно трудное. С этим был связан и драматический эпизод в жизни моего отца, который стоил ему многих лет непечатанья, безденежья и разного рода жизненных невзгод. Роковую роль сыграло предложение Сталина, который в молодые годы ценил сочинения моего отца, написать предисловие к одной книге его рассказов. Мой отец решительно отказался и сказал, что он против предисловий, а особенно написанных политическими деятелями. После этого отношения между ними были порваны. И это имело самые конкретные последствия. Например, роман моего отца «У», написанный в год моего рождения (там в одном эпизоде говорится о том, как он приходит в родильный дом и впервые видит своего сына), закончен ровно 60 лет назад, а у нас вышел только что. Это первое его издание.

Я мог бы вам рассказать еще много и о других писателях, которых знал близко и чьи тяжелейшие конфликты с властью наблюдал. В один из этих конфликтов я был вовлечен лично: после присуждения Нобелевской премии Пастернаку мне, как его другу, пришлось сменить тогдашнюю работу и заняться несколько другой наукой — из гуманитарных наук уйти в кибернетику. Кстати, должен сказать, что зал, где мы присутствуем, для меня тоже связан с этой темой. Я пришел в него только третий раз в жизни, хотя я давно уже член Союза писателей и даже чем-то сейчас заведую, поскольку в эпоху перестройки все мы стали в какой-то степени частью той самой власти. Но в первый раз я стоял у дверей этого зала, чтобы передать тогдашнему, вероятно, самому страшному человеку в Союзе писателей Воронкову письмо Пастернака.

Пастернак в то утро плохо себя чувствовал и при мне набросал письмо, где подробно объяснял, почему его в Союзе писателей неправильно понимают. Кроме неопубликованного (также) письма к Фурцевой, которое не было передано и адресату, это единственно подлинное его письмо по поводу «Доктора Живаго». К сожалению, оно пропало где-то в архивах Союза писателей. Его до сих пор не напечатали. Это несколько страниц замечательного, подлинного пастернаковского текста.

А второй раз я был на заседании комиссии по литературному наследию Пастернака, когда принималось решение о посмертной отмене всех принятых против него санкций.

В издательстве «Советский писатель» выходит книга о «Докторе Живаго», где будут напечатаны не его письма правительству. Одно из них — письмо к Хрущеву — по обстоятельствам, которые я в этой книге

[1] К. Вольф выступила на нашем «круглом столе» еще до того, как в ГДР начался бурный процесс обновления. *(Прим. ред.)*

объясняю, было написано моей рукой, оно не принадлежит Пастернаку. Речь шла о том, что Пастернак не хотел эмигрировать. И своей рукой он в уже готовый текст вписал только фразу: «Я связан с Россией рождением, жизнью и работой и не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее». Вот это его собственная фраза. Все остальные письма, которые вы читали в газетах (а также и в американском собрании его сочинений), были составлены друзьями, боявшимися за его жизнь и судьбу.

Таковы фрагменты некоторых биографий, относящихся к теме, и сейчас, чтобы не быть слишком многословным, я хотел бы в двух словах сказать то, что мне кажется важным, когда мы обозреваем по возможности объективным взглядом происшедшее с литературой и культурой не только в России, но и во всем мире. Не надо скрывать, что в 30-е годы не только в России, в разных странах писатели тянулись к сильной авторитарной власти. Томас Манн сжег дневники, но оставшиеся куски как будто говорят, что даже и он, как и Готфрид Бенн и другие замечательные писатели, в какой-то момент поддался соблазну авторитарной власти и лишь потом пришел к отрицанию фашизма.

Я привожу примеры людей наиболее замечательных. Не буду говорить о Бернарде Шоу, который одновременно сочувствовал Гитлеру, Муссолини и Сталину. Это все не были случайности. Европейская культура прошла через страшный период. Помните: «С кем вы, мастера культуры?» Так мастера культуры во всех странах оказывались на стороне сильной власти, хотя иногда это прикрывалось очень высокой риторикой.

На нашей памяти мы вступили в другую эпоху, о которой здесь начала говорить Криста Вольф. Пал немецкий фашизм. Через некоторое время после смерти Сталина стал распадаться, разваливаться тоталитарный режим в нашей стране. И перед литературой возник другой страшный соблазн. Соблазн строить судьбу писателя, суть произведения на отрицании.. На политическом отрицании. Это облегчается тем, что в странах, потерпевших эти катастрофы, кроме литературы, не существует пока другой формы политического самосознания. Литература раздавлена колоссальностью своей общественной миссии. Мы не можем упрекать в этом писателей. Мы можем им только сочувствовать.

До отъезда Солженицына я был с ним в близких, дружеских отношениях. Не так давно долго говорил с ним по телефону в США, он сказал, что готов приехать, когда будут напечатаны его книги. Вот он — пример писателя, который оказался в труднейшей ситуации, о которой я говорил. Он для всех нас много сделал. Мы должны быть ему всегда благодарны; что бы он ни написал и ни сделал потом, задача, выполненная им в «Архипелаге ГУЛАГ» и в других его книгах, по существу, гораздо бо́льшая, чем задача литературы. Это что-то вроде построения памятника, такого, какой хочет воздвигнуть наше общество «Мемориал» — памятника жертвам сталинизма. Под силу ли это одному человеку? Может быть, даже целой литературе не под силу.

Я могу быть очень субъективным, но мне кажется, что самое главное для литературы в таких странах, как наша и другие, прошедшие через похожий исторический опыт,— это добиться абсолютной свободы литературы, искусства и культуры.

Абсолютная свобода означает свободу от власти и свободу ее отрицания тоже. Литература становится самой собой тогда, когда она не должна думать о том, кто сегодня правит страной. Я недавно испытал по этому поводу очень сильное переживание. Валентин Плучек поставил «Трибунал» — пьесу Войновича. Актер, игравший второго из пародийных персонажей властителей, явственно имитирует Горбачева. Думаю, что это — колоссальное достижение. Жаль, что оно прошло пока незамеченным. Я, как многие, высоко ценю политические заслуги Горбачева. Дело не в том, что мне приятно, что его пародируют. Но колоссальное достижение — и его самого тоже — то, что это возможно. Это означает, что мы входим действительно в новый период истории. И я надеюсь, что поэтому мы можем не только приветствовать издание «Улисса» Джойса в «Иностранной литературе», но и думать о том, что в нашей литературе вскоре сможет появиться нечто в этом же роде. Почему «Улисс» так плохо принят многими читателями «Иностранной литературы»? Потому что они привыкли читать книги, где ставится знак плюс или знак минус. А огромная область литературы находится за пределами этого.

Кэндзабуро Оэ. Я с величайшим интересом отношусь к тому, что происходит сейчас, в эпоху перестройки, в СССР, в России. То же можно сказать практически обо всей японской интеллигенции. И я приехал на эту встречу не столько для того, чтобы говорить самому, сколько для того, чтобы слушать и передать услышанное своим друзьям в Японии.

Как мне кажется, центральным, приковывающим всеобщее внимание событием перестройки в мире литературы стало опубликование одного за другим литературных произведений, принадлежащих перу авторов, до сих пор в Советском Союзе не печатавшихся. Так же, как и я, думают многие образованные люди в Японии. Ведь в среде японской интеллигенции всегда бытовало представление о русской литературе как литературе «всеохватывающей, разносторонней и многообразной». По попадавшим к нам произведениям и другим материалам мы старались восстановить для себя целостный облик «всеохватывающей, разносторонней и многообразной» русской литературы также и революционной эпохи, получая при этом, так сказать, и интеллектуальное удовольствие от нового открытия.

Русское искусствоведение, в частности русская теория формализма, творчество Михаила Бахтина оказали значительное воздействие на современную мысль Европы и Америки. Японцы тоже многому у них научились. Я начал писательскую карьеру тридцать лет назад, находясь под сильным влиянием Достоевского, но только благодаря разработанной Бахтиным теории «системы

образов гротескового реализма» смог найти средства превратить мифы и предания окруженной лесами деревушки на Сикоку, окраине Японии, где я вырос, во всем понятное литературное произведение. И только тогда я впервые осознал себя писателем. В то время постоянным вдохновляющим началом для меня служили повести Булгакова.

В настоящее время японскую интеллигенцию, особенно молодежь, в советском искусстве больше всего привлекает фигура кинорежиссера Тарковского. Японская молодежь смотрит его «Солярис», сравнивая фильм с романом Станислава Лема. Она гоняет видеозаписи «Сталкера», сопоставляя их с повестью братьев Стругацких «Пикник на обочине» и текстом их сценария «Машина желаний». Так делал и я. То есть мы стремимся и современное советское искусство воспринимать во всех его связях, как целостную структуру, «всеохватывающую, разностороннюю и многообразную».

Япония — это сложное, подчас причудливое культурное образование, соединяющее черты Востока и Запада, Севера и Юга, это страна, в которой невероятным образом переплелись самые разные культурные традиции. В нашей стране переведены и Евтушенко, и Вознесенский, и Распутин, и Айтматов. Но вместе с тем переведены и Солженицын, Синявский, Аксенов. А недавно молодые японцы заново открыли для себя русский мистический романтизм конца XIX века, прежде всего творчество Алексея Константиновича Толстого. Да и я сам в последний свой роман включил главу, где сравниваю мироощущение жителя японской провинции с тем деревенским бытом, который описал Белый. Японской интеллигенции, с огромным интересом наблюдающей за происходящим в Советском Союзе, очень радостно видеть, как по мере развертывания перестройки возвращаются имена все новых и новых выдающихся писателей, как все больше забытых произведений приходит к читателю. Мы лелеем надежду увидеть, как сами советские люди представят миру «всеохватывающую, разностороннюю и многообразную» русскую литературу, о которой мы так мечтали.

Но почему, собираясь говорить о художнике и власти, я начал с вопроса о восстановлении облика «всеохватывающей, разносторонней и многообразной» русской литературы в эпоху перестройки? Если тем, что я сейчас скажу, мне удастся снять этот вопрос, я буду считать, что цель моего выступления достигнута.

Попробуем слово «власть» перевести английским power, тут же в противовес ему всплывает слово powerless — «бессильный». Я никогда не забуду одного японского писателя, который всем своим существованием ярче кого-либо другого в мире современной японской литературы олицетворял б е с с и л и е. Его звали Хара Тамики. Он был прозаиком, но писал и тонкие и нежные, как цветы, лирические произведения. Писал до последнего вздоха. Он не мог говорить, а вести социально полезную жизнь стал лишь благодаря жене, его опекунше. Но вот она умерла от туберкулеза, и Хара стал абсолютно б е с с и л е н в противоборстве с жизнью. Он решил похоронить жену на родине и, написав за полгода красивую повесть о ней, уйти из жизни.

Поехав на родину, в Хиросиму, Хара стал жертвой атомной бомбардировки, но выжил. И тогда писатель принял новое решение. Он видел собственными глазами ужасы Хиросимы: израненных, страдающих и умирающих женщин и детей, кошмарную жизнь тех, кто уцелел после бомбардировки. Пережитое он решил описать в книгах.

Все тем же красивым, спокойным и нежным слогом, но с полной достоверностью он рассказал о трагедии Хиросимы. Пять лет спустя, когда началась война в Корее и распространились слухи, что, возможно, на Азию вновь будет сброшена атомная бомба, Хара, не перенеся охватившего его страшного беспокойства, покончил жизнь самоубийством.

Еще один автор произведений о Хиросиме — журналист, скончавшийся от рака,— дал такое определение миру, в котором мы живем. Говорить сейчас о Хиросиме — значит говорить о тысячах погибших. В этом мире с одной стороны — власть атома, с другой — его жертвы. И никого больше.

Перед лицом гигантской «власти атома» Хара Тамики был действительно бессилен. И то, что, испытав на себе ужас атомного взрыва, он писал о нем в книгах, вряд ли оказало какое-либо влияние на «власть атома». «Жертва атома», он умер в одиночестве. Но если к произведениям, которые оставил Хара Тамики, добавить все написанное другими очевидцами событий в Хиросиме и Нагасаки — будь то писатели или совершенно неизвестные люди, получится послание к человечеству, обладающее огромной силой воздействия: «Люди в Хиросиме и Нагасаки испытали такую страшную трагедию. В муках они умирали. Если кто-то выживал, муки эти возвращались к нему вновь и вновь. Атомный взрыв породил еще и лучевую болезнь, передающуюся детям и внукам». Это послание к нам есть вместе с тем и символ чести людей, японцев, которые выстояли, презрев муки. Не тех японцев, которые во время второй мировой войны принесли столько страданий народам Азии. И не тех японцев, которые достигли экономического процветания после войны. Но б е с с и л ь н ы х, жалких, страдающих японцев. Тех японцев, которые стремятся выжить в атомный век, сохраняя особое человеческое достоинство.

Я считаю, что писатель наших дней не столь могуществен, чтобы в одиночку противостоять силе. Наш век вряд ли породит художника, равного Толстому. Это невозможно даже в странах Европы и Америки, в странах, где писательское мастерство и литературная мысль находятся на самом высоком уровне. Разве я не прав? Япония также не исключение в этом плане. Да и современный писатель, мне кажется, не способен вывести в одном произведении по-настоящему крупный, покоряющий персонаж. Вероятно, единственное, что они могут,— это добиться художественной выразительности, изобразив атомизированный, разобранный на составляющие характер. Я вынужден это признать как человек, уже тридцать лет занимающийся писательской деятельностью. Вместе с тем я должен так-

же признаться, что сам одержим мыслью создать по-настоящему значительный образ.

И вот что я думаю по этому поводу. Литература сейчас находится в таких условиях, что каждый писатель сам по себе подобен бессильному страждущему. Но не родится ли новое впечатляющее послание к человечеству, когда наложатся друг на друга многие произведения многих писателей? Подобно тому как, слившись воедино, породили послание к человечеству рассказы Хары Тамики и еще многих известных и безвестных свидетелей трагедии Хиросимы и Нагасаки.

Именно это я имел в виду, говоря, что возлагаю большие надежды на «всеохватывающую, разностороннюю и многообразную» русскую литературу, чьи контуры все отчетливее вырисовываются по мере развития перестройки. «Всеохватывающее, разностороннее и многообразное» — то единственное, что бессильный индивид, объединившись с другими такими же индивидами, может противопоставить власти, то есть силе. И я хочу, чтобы не только здесь, в Советском Союзе, но и в Европе, Америке, Латинской Америке, Африке, Азии создавалась такая литература. Что до меня — я продолжу деятельность в Японии, на японском языке.

Перевод с японского А. ВИНОГРАДОВОЙ

Ч. Айтматов. Я хотел бы сказать несколько слов в связи с тем, что чувствую свою ответственность и ответственность редакции за то, чтобы состоялся разговор, действительно достойный темы, которую мы вынесли на обсуждение. Мы рассматриваем здесь подобный вопрос впервые, не говоря уже о том, что некоторые из нас впервые встречаются между собой.

Выступления, которые прозвучали, дали пищу для размышлений каждому из нас. Что же нас заставило в это время, очень неспокойное, очень сложное для нашего общества, для страны и культуры в том числе, собраться и попытаться осмыслить вечную загадку вечной взаимосвязи художника и власти?

Мне думается, есть путеводная звезда, влекущая всех нас. Я имею в виду идею свободы — к ней стремится человеческий дух с тех пор, как осознал себя. Идея эта вечна, потому что недостижима в той степени, в какой нам хотелось бы этого. На путях обретения свободы неизбежно сталкиваются два начала — власть и художник. С тех пор как слово возымело силу внушения, силу акта воли, слово и все с ним связанное — искусство постижения мира и внутреннего духа человека — находится в определенном противостоянии тому, что есть власть изначально в человеческом обществе. И вовсе не случайно власть всегда заинтересована в привлечении на свою сторону художника — большого ли, малого ли; как показала наша жизнь, власть не особенно разборчива в этом смысле. Любыми путями она стремится использовать искусство в эгоистических, политических, государственных интересах. Художник, напротив, постоянно озабочен тем, в каком положении он находится по отношению к власть имущим. Речь, конечно, идет не о личных взаимоотношениях, хотя, впрочем, личные взаимоотношения бывают разные, они могут быть даже и дружескими, но тем сложнее становится положение художника, особенно если он пытается включиться в правящую систему, пытается определить свои позиции через творчество. Это, как правило, приводит к драме духа. Мне хотелось бы обратить ваше внимание именно на это противостояние, изначальное, историческое и в чем-то предопределенное.

Слушая здесь ваши выступления, я вспомнил фильм «Конформист» итальянского режиссера Бертолуччи. Эта картина долгое время не выходила у меня из памяти. Я не сразу ее понял. Я все раздумывал, что же, в сущности, там происходит, что же гипнотически привязывает меня к этому фильму, в чем там трагедия, в чем драма героя. И вот в последние годы, когда благодаря перестройке, гласности наше мышление поднялось на новый уровень, когда мы историю пытаемся увидеть по-новому и себя представить по-новому, мне показалось, я понял, в чем дело: этот фильм — как бы одна из наших судеб. Для меня фильм Бертолуччи — шедевр на тему «художник и власть». В силу обстоятельств художник идет на компромисс с властью и становится фигурой конформистской. Такое положение вещей оборачивается трагедией для художника: он — жертва, а приобретающая, побеждающая сторона — власть.

С одной стороны, нам не избежать власти, с другой — мы не можем ей полностью подчиняться, как того хотелось бы власть имущим. В этом споре, мне кажется, особенно горький опыт и великие драмы выпали и на долю художников XX века — довоенного и послевоенного периода. Ведь фашизм и сталинизм действовали удивительно одинаково. Неугодный мыслитель, неугодный художник, неугодный поэт, неугодный философ — все, что не вписывалось в орбиту официальной идеологии, не только порицалось, но объявлялось враждебным, чуждым народу и обществу явлением. Носители неформальных идей неизбежно подвергались гонениям, даже уничтожению.

Риторика и демагогия фашизма и сталинизма поразительно близки: все время шла спекуляция понятиями народности, воспитательной, дидактической роли искусства, его служения каким-то общественным идеалам. Вместе с тем «забывались» другие качества литературы и искусства, способные пробуждать дух протеста, внести дисбаланс в официальную идеологию. Оглядываясь на путь, пройденный нами, мы видим: художник стоял перед великим соблазном. Тоталитарные режимы умели искушать и завлекать художника, поощрять его и награждать всяческими званиями с тем, чтобы полностью «освоить» его, втянуть в свою идеологическую орбиту. И если королю, князю или самодержцу можно было возразить хотя бы в качестве шута, то в эпоху фашизма и сталинизма даже такой жалкий протест художника был начисто исключен.

Существование тоталитарных режимов было поучительнейшим уроком для исто-

рии в целом и особенно для нас, деятелей литературы и искусства. Режим Гитлера, режим Сталина, режим Мао Цзэдуна оставили на нас свою печать. Глубокую печать. Мы до сих пор еще носим в себе то, что было внушено нам в те годы. И если сейчас мы говорим о перестройке и гласности как о революции, то революционность этих процессов как раз и заключается в том, что они освобождают нас от оков и пут прошлого.

На мой взгляд, пагубность и ошибочность нашей идеологии состояли в том, что мы уверяли себя и других, что такие категории, как правда и справедливость, окончательно познаны, раз и навсегда определены. Однако достигнутый сегодня уровень правды и справедливости завтра станет пройденным этапом. Нас же пытались убедить, что мы уже служим некой абсолютной истине — и в этом была наша беда. Многие пытались отстоять себя как художника, но художник может быть и слаб. Как человек. И все же его творчество и творчество ему подобных выражают извечный порыв человеческого духа к свободе, красоте. В наши дни он находит конкретное выражение в неприятии тоталитарных режимов, в борьбе за демократию, за свободу слова и за права личности. На этой арене художник сейчас сталкивается с тем, что являет собой та или иная власть. Власть эта не всегда персонифицируется в каком-то одном имени или человеке. Это система современных государственных структур, современных политических организаций.

Самой идеальной для художника ситуацией, конечно, были бы условия независимости от внешних обстоятельств, которые создает та или иная власть. Но, наверное, это неосуществимое мое мечтание. Вряд ли это возможно. Художник так или иначе включен в реальную жизнь. Важно, чтобы каждый из нас ответил себе, насколько он как художник в ладу со своей совестью, в гармонических ли он отношениях со своим временем и возможна ли эта гармония.

А. Битов. Тот предельный опыт взаимоотношений с властью, который мы все, люди советского периода, включая художников, включая писателей, приобрели за свою жизнь,— настолько ни с чем не сравним, что его и опытом не назовешь, да и взаимоотношениями тоже. Что тут взаимного? Сначала попытка оправдаться перед властью, потом попытка оправдать ее, потом попытка расправиться с ней; наступает, наконец, попытка оправдаться перед собой... И только она, последняя, отчасти дышит свободой, то есть может стать т е м о й для художника.

То есть, все мы так много знаем про эту проблему, что практически нам трудно сказать что-либо, потому что мы с ней «прожили», она, так сказать,— состав всего, что мы написали, состав почти телесный. Это так же трудно выразить, как самого себя. Но тогда это художника и должно занимать — сказать, или выразить то, что не поддается выражению.

Поэтому я могу лишь удивляться, что власть как объект использована художником так мало и слабо даже в мировой литературе. Наверное, люди, представляющие власть, ее персонифицирующие, далекие от художника и далекие художнику, не всегда являются известным или соблазнительным объектом для творчества. Может, люди эти настолько утрачивают человеческие черты, что уже не поддаются гуманной обработке, какой является искусство. Тут-то с нас и сдирают шекспировскую шкуру. Или пытаются ее напялить. Не получается.

Хотя писать можно обо всем, выходит, что писать можно только о том, о чем м о ж е ш ь написать. На что у тебя хватит художественной силы. И поэтому, я думаю, власть занимала истинного художника всегда, если брать его в полном, более или менее абстрактном или идеальном значении слова. Она скорее занимала его метафизическим смыслом, нежели конкретным выражением, с которым он сталкивался на протяжении жизни. Вот и сейчас, когда стало можно, становится ясно и то, чего нельзя. Историография наша пополняет жизнеописания убийц. Жизнеописание убиенных остается лишь художникам — Шаламову, Солженицыну, Домбровскому.

По-видимому, не в этом дело. Дело продолжает заключаться в искусстве, а не в теме. Само же соотношение — художник и власть — настолько любопытно, что если вычесть наше правовое ощущение, что художник всегда гоним, а власть всегда убийца, то получится, что нам за многими нашими художественными страданиями, за всей нашей гонимостью нет времени ощутить эту проблему в себе. Ибо каждый художник обладает огромной властью, независимо от степени его признания. И, будучи гоним, он не только страдает, но и разлагается от власти. Не только от той, что на него давит, но и от той, которой он обладает.

И вот эта функция власти самого художника довольно редко подвергается рассмотрению им самим. И даже у крупнейших фигур, с которыми мы себя не сравниваем, держась в их тени, у подножия, но поглядываем не только на писателя, но и в его судьбу (Толстой, Достоевский), мы видим, что отношения их с собственной властью были отнюдь не так гармоничны и влекли за собой значительные искажения.

Как всегда, для нас солнце — Пушкин. И на примере Пушкина, пожалуй единственном, мы можем увидеть, что он сумел все-таки совладать со своей властью и удержать ее в пределах гармонии, а не посягновений. Потому что власть над душой, конечно, гораздо крупнее власти над телом. И этой властью нельзя п о л ь з о в а т ь с я.

Когда художник подчиняет себя прямой борьбе с властью, он уже герой, а не художник. Природа искусства и власти разная. Совесть одна. Корректируется все это параметрами личности и таланта. Борьба с властью оборачивается смертью так и так.

Поэтому отнюдь не смелость или трусость художника не позволяет ему писать непосредственно об этом зле, а сами возможности художника. Бывают смелые люди, да робкие художники. Наоборот — реже.

Чтобы немножко эту метафизику разба-

вить, я вспомню сейчас одного старшего своего коллегу, который в ту зиму 1962—1963 годов, когда за взлетом «Одного дня» заморозилась вся наша «оттепель», реагировал на наши либеральные «охи» достаточно парадоксально: «А я вот горжусь. Они все еще считаются с нами». «Как?» — поражались мы. «Боятся нас»,— гордо утверждал он.

Продолжать, правда, столь оптимистическое толкование я не стану. Тогда может получиться, что у Сталина был не такой уж плохой вкус, если он самолично выбирал самые лучшие жертвы, иногда даже опережая признание критиков.

Допустим, Платонова еще только-только начинали обсуждать, а он уже красным карандашом написал на полях его рукописи самую крупную ему похвалу. Он посчитался с ним как с опасностью. Столь же высокую оценку выдал он и Клюеву. С Булгаковым даже повозился, чтобы сам умер. Но зачем было в 1946 году убивать именно Зощенко и Ахматову? Это довольно странно. Если оценить реальный вес этих писателей в общей жизни... Пропорции не соответствуют. Почему нужно было так ударить?

А сейчас это ясно. Остались единственные живые два великих писателя. Всех остальных уже сбросили со счетов. Кроме Платонова, который был уже в таком загоне. И убивали-то всех не за самые главные произведения. А так, за безделицу — почему-то за «Приключения обезьяны»...

И вот когда мы, писатели, вдруг начинаем жаловаться, что нас — не за что, надо всегда вспоминать, что все-таки есть за что. С их точки зрения. И немножко этим гордиться.

Если мы говорим о власти и о художнике, то к этому вечному неравенству как знак примыкает понятие о смелости художника.

Мы обычно называем художника смелым, потому что он единственный человек, который отваживается продолжать свою человеческую линию как художественную. Последним уходит художник, будто это он вел корабль. И режим должен дойти до окончательности, чтобы художника совсем не стало, то есть до его полного уничтожения.

И вот когда мы думаем о смелости художника, то совмещаем смелость человека и действительно художественную смелость, смелость проникновения в материал жизни с темой, требующей смелости. Совмещает их разве гений. Мандельштам, Платонов, Шостакович.

Но гений есть гений, и судьба за ним как-то следит и еще может его поправить, как Шостакович поправил кое-что после смерти в книге Соломона Волкова.

Это сказочка про мальчика, который очень хотел открыть какую-то тайну и очень боялся, потому что за это грозило большое наказание. И в результате он нашептал в ямку, в землю тяготивший его секрет. А он пророс. Пророс тростник. Была срезана дудочка, и дудочка эта повествовала всему миру.

Нам надо помнить наш опыт. Если мы как художники погрязнем только в политических взаимоотношениях с властью, то власть станет настоящим нашим соавтором и низведет нас на свой уровень. А это не только падение для художника, но и абсолютизация власти. Следующий шаг власти — подмена собою самой жизни. То есть гибель.

Вот почему художнику надо быть смелым именно в искусстве, а не в политике. В искусстве ему нет замены, нет соавтора. Именно в нем он оплот всей жизни.

Л. Аннинский. Надо ли входить туда, откуда нет выхода? Не подумайте, что это шутка,— на Западе действительно бытует следующее определение: интеллигент — российский тип интеллектуала, находящегося в оппозиции к власти. Тот факт, что мы сейчас посреди перестраивающейся России обсуждаем эту проблему, в высшей степени характерен для нашего бытия, где литература от веку вынуждена тащить также крест гражданственности, религиозности, воспитания и всего прочего, включая и «оппозицию» к существующей власти (любой, так сказать).

Интересно: а что мы, литераторы, будем делать, если этот крест в ходе нынешней перестройки с нас снимется? Если вся гражданская, юридическая, парламентская, религиозная и прочая жизнь будет осуществляться и без помощи художников? И если от нас не потребуется оппонировать власти, потому что это и без нас будет происходить по нормальной демократической процедуре, то есть в другой, не художественной жанровой системе?

В этой ситуации есть смысл для начала выяснить, что же это такое — власть. Мы по традиции ее трактуем как власть административную, бюрократическую, военно-полицейскую, что называется, «верхнюю». Но это еще не вся власть, что связывает руки и душу художнику — как, впрочем, и другим согражданам. Существует еще и власть общественного мнения, иногда — прямо-таки диктатура общественного мнения. В либеральные времена такая диктатура («диктатура совести», как неосторожно обозвал ее один драматург) может соперничать даже и с давлением «верха» (то есть бессовестности).

Я думаю, правда, что категория совести тут вовсе ни при чем, а речь идет о соотношении сил, причем силы эти действуют и сверху и снизу. Если вы спуститесь еще глубже и упретесь в те фундаментальные слои, которые вроде бы далеки и от политики, и от литературы,— вы обнаружите то, что Лев Толстой называл в л а с т ь ю т ь м ы. При некотором навыке эту власть можно высветлить и изобразить как власть святости, что при нашем российском народопоклонстве — дело совершенно обычное.

Вот в окружении всех этих вариантов власти человек, рискующий быть художником, и должен решать, что есть для него свобода и что ему с этой свободой делать. Если он скажет, подобно Даниилу Гранину, что видит свой долг в оппонировании власти,— то что он скажет в следующий исторический момент, если власть изменяется? Художник запросто оказывается в составе нового истеблишмента и попадает в ловушку, о которой я распространяться не буду, потому что сейчас в этой ловушке

находятся многие из тех, кто видел свой долг в специальном сопротивлении власти.

Фактически Криста Вольф обрисовала здесь близкую нам драму: писатель не может не критиковать ситуацию вокруг себя, но вместе с тем не может не отождествлять себя с этой ситуацией. У нас на эту тему рассуждал Василий Розанов: сам я все время ругаю русских, но не выношу, когда при мне их ругают другие... Где логика? Нет логики. Нет решения вопроса ни на уровне той или иной системы власти, ни вообще на уровне рационального сознания. Наш русский рецепт — покаяние. Покаяние может облегчить душу, но оно не дает выхода из ситуации.

Выхода вообще нет. Так же как «несть власти, аще не от Бога». То есть, люди всегда чувствовали, что в институте власти заключена какая-то неодолимая сила, объяснение которой они найти не могли и потому подчинялись ей (или боролись против нее) без объяснений.

Не с тем, чтобы исчерпать эту загадку, а лишь с тем, чтобы осознать ее неразрешимость — два слова о моем опыте. Я свои пятьдесят сознательных лет прожил при разных режимах: и при относительно либеральных, и — большею частью — при диктаторских. И понял одно: за всякою властью так или иначе стоит народ, в том числе и за спиной самой страшной диктатуры. И если народ ее, ликуя, одобряет, то это и есть реальность, как бы она ни была чудовищна. Потому что чудовищные вещи делает не власть с народом, а сам народ с собой. Власть — исполнитель. Власть вербуется из народа. С его согласия. И держится только та власть, которую народ в конечном счете терпит, изменить которую у народа нет сил или желания.

И в этой реальности художник должен творить. Я думаю, что вдохновенные стихотворения о товарище Сталине, которые писали великие и честнейшие поэты того времени, обусловлены не тем, что товарищ Сталин сумел их «обаять» или обмануть (хотя обаяния у него было достаточно и обманывать он умел, но дело не в этом). А просто любой сколько-нибудь чуткий поэт понимал, что если он может не любить лично товарища Сталина, который носит усы и курит трубку, то игнорировать миллионы портретов этого усатого человека с трубкой невозможно, потому что за этими портретами стоит народная ярость. С ней приходится считаться. Не буду приводить имена и цитаты: все мы и так знаем, кто и какие писал строки о великом вожде. Но знаем ли объяснение? В обман и самообман я не верю. А вот в гипнотическое давление масс — верю. Во власть тьмы — верю. В диктатуру миллионов, взывающих к совести,— верю. Попробуй не поверь... «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе...»

Так что никуда не денешься. Разумеется, в идеале художник должен бы игнорировать всякую власть. Ни в коем случае не быть «непременным оппонентом» и ни в коем случае не кричать непременную осанну. Нужно каким-то образом спасать свою независимость. Но как? Ведь независимость художник может обрести только через отказ от дела всей жизни. Потому что он творит свое дело из того же материала, из которого творит и власть.

Да, они работают на одном материале — художник и власть. Они, по определению, друг другу «мешают», друг друга вытесняют. Или — сливаются ценой утраты. Как при этом «игнорировать» друг друга — непонятно. Игнорировать могла святость в религиозной системе: когда святой просто у х о д и л о т в с е г о. Но и это абсолютное неучастие мгновенно интерпретировалось властью либо как предательство, либо как поддержка. Что же делать художнику? Некуда ему уйти из этой реальности. Он вынужден отстаивать свою независимость в ситуации, когда независимость абсурдна. Это суть его трагедии. Осознает ли ее художник? Знает ли он меру своей связанности даже в оппозиции?

К сожалению, как правило, знает. Поэтому и вступает в эти игры, лезет в эти ловушки. Лучше бы ему не знать этой правды, лучше бы — быть святым. Разумеется, я говорю о художнике в тот момент, когда он творит, потому что любой художник является еще и гражданином («жить в обществе и быть свободным от общества нельзя»), и как гражданин он втянут во все неизбежные движения и контрдвижения сверху и снизу. И как гражданин, обладающий еще и колоссальным авторитетом, особенно в России, где профессия писательства практически, в силу того, что церковь была связана по рукам и ногам, приравнивалась к пастырству,— он, хочет не хочет, играет эту роль. Так что у нас поэт, написавший скорострельные стихи против Сталина, становится почти автоматически народным трибуном и имеет возможность думать, что он делает это как поэт. Меж тем если он что-нибудь делает к а к п о э т, то и в этом качестве он должен «не знать» ничего из того, что он делает как гражданин. Как поэт он свидетельствует о своих взаимоотношениях с абсолютом, опираясь на реальность, увы, пронизанную отношениями власти. Власти толпы, власти тьмы, власти администрации, власти общественного мнения. На что опереться в этом кольце неволи? На самого себя? Но ты сам состоишь из вещества этой неволи....

И все-таки: на себя. На свою неволю. На свою волю к этой неволе. Простите мне этот абсурд, но он — в природе вещей.

Я думаю, что, если художник сумеет соткать свою независимость из зависимости, все остальное произойдет «само собой». Прибегут, вовлекут, полюбят, возненавидят, завербуют, прогонят, проклянут, простят. Ни власть, ни народ не оставят художника в покое. Художник должен понимать, что иначе они не могут. Так устроено. Но ведь и он, художник, так устроен, что его независимость — вызов. Вызов тому самому «миру», который на него наваливается.

Утешение есть: мир наваливается («всем миром» люди наваливаются) не только на художника — мир наваливается на любого человека, который сознает свою «отдельность», но художнику дано еще и орать об этом «на весь мир».

Из этой загадки нет выхода. Но в х о д в нее есть начало драмы, в которой осуществляется художник.

В. Корнилов. Если отношения писателя с властью чем-то и похожи на сказочные (Красная Шапочка и Волк), то лишь потому, что в конце сказки приходит Охотник (в нашем случае — Читатель) и власть, хотя и с большим запозданием, карается за свою жестокость: Платонов и Сталин, Мандельштам и Сталин.

Однако надо признать, что писатель и сам обладает немалой властью, хотя она выражена и не столь явно.

Помню, как в пору первой оттепели мой друг, прекрасный поэт Борис Слуцкий, впервые поехал в Италию. Его там принимали коммунистические издатели, они не жалели фимиама, и он, человек наивный, от этих похвал буквально потерял голову. «Борис, не хвастайтесь,— сказал я ему, когда он вернулся.— Стоит Пальмиро Тольятти выступить против вас — и все эти издатели дружно вас заругают». На что Слуцкий мне ответил: «Если Пальмиро Тольятти посмеет меня тронуть, трудно ему придется в его партии». Тогда я спросил: «А если против вас выступит Хемингуэй?» Слуцкий нахмурился и пробормотал: «Тогда трудно придется мне».

Вот примерно какими видятся мне отношения писателя и власти.

Я понимаю, что хотя обычно власть и схожа с дьяволом, однако и писатель далеко не ангел, и, к великому сожалению, от игры с дьяволом писателю, а еще шире — художнику — почти никогда уберечься не удавалось. И все же добровольно затевать такую игру не стоит. Ведь художник как-никак носитель нравственности, носитель моральных ценностей, и мне до сих пор горько, что Шостакович подписывал письма против Сахарова и Солженицына. Во время травли лучших людей России он своим авторитетом гениального композитора поддержал преследователей и ввел в заблуждение миллионы людей, особенно самых молодых и неопытных. Вряд ли можно исчислить, какой нравственный ущерб он тем самым нанес стране и народу. Хорошо, что вышла книга Соломона Волкова. Но даже ее выход мало что изменил: множество людей уже прочно поверило прежним высказываниям Шостаковича. А не найдись Соломона Волкова, мы все до сих пор бы принимали слова Шостаковича за чистую монету, считая, что игру с дьяволом он начисто проиграл.

Конечно же, каждый художник ценен прежде всего своей работой. Но в нашей особой, веками безгласной стране любое высказывание великого мастера, особенно писателя, тотчас приобретает силу поступка. Писатель ведь прежде всего личность, и как личность он дорог нам своей цельностью. Помню, еще в ранней юности меня потрясло и огорчило письмо Пушкина Вяземскому. Восхищаясь храбростью поляков (дело было во время восстания 1830—1831 годов), Пушкин писал: «Все это хорошо в поэтическом отношении. Но все-таки их надобно задушить, и наша медлительность мучительна». Разумеется, никаких следов гармонии в этом письме не найдешь. И точно так же меня огорчил стих Лермонтова «Спор», посвященный завоеванию Кавказа. Сейчас, после кровавых событий в Сумгаите, Нагорном Карабахе и в других местах, мы наконец поняли, какую цену приходится платить за давнее покорение народов.

Так уж случилось, что в России в силу ряда причин — географического положения, татарского ига, крепостного права, сельской общины и так далее — отдельная личность почти всегда принижалась, зато превозносился народ в целом. Однако отсутствие личностного начала рождает в человеке дикую зависть. Сегодня возникла явная опасность: мы все можем погибнуть от зависти.

Я прошу прощения у иностранных гостей за то, что сосредоточиваюсь на наших, сугубо отечественных проблемах, но, боюсь, что они вскоре могут стать бедой всей Земли. Всеобщая зависть — одна из личин популизма — уже немало повредила нашей перестройке. Она загубила на корню наши кооперативы и грозит нашей земельной реформе. А без такой реформы стране не выбраться из трясины. То, что власть улицы — страшная власть, мы знаем по фашистской Германии. Поэтому настоящий писатель как носитель интеллектуального, личностного начала ни при какой погоде не может поддерживать популизм.

Сейчас мы все погружены в круговерть событий, и в этом шуме и грохоте, в этих скоростных переменах трудно по-пастернаковски «услышать будущего зов». Но видимо, удалясь от шума и потрясений эпохи, будущего тоже не услышишь. Словом, пишущему предстоит трудный выбор. Впрочем, его положение всегда было не из легких. Но сегодня оно особенно сложно. Писатель, чтобы найти моральную опору, должен погрузиться в себя и одновременно подняться над собой и над событиями, чтобы ему, как сказал Гоголь, стало далеко видно на четыре стороны света.

Следует добавить, что пишущий вступает в спор не только со своим временем и противостоит не только одной современной ему власти. Чем крупнее писатель, тем длинней череда эпох, с которыми он в конфликте. В этом споре он как раз и обретает высшую гармонию. И наоборот, всякое, хотя бы сиюминутное, соглашение с властью тотчас выбивает его (как в приведенных выше случаях с гениальным Пушкиным и мятежным Лермонтовым) из присущей ему гармонии.

Возможно, писателю особенно трудно, когда власть прогрессивна, когда у него как гражданина почти нет с ней противоречий. Но даже в таком редком и счастливом случае писательская задача совершенно отлична от задачи самой благородной власти. Может быть, в такое время и возникает в душе пишущего самый трагический разлад. Но, думаю, даже он преодолим. Впрочем, это уже проблема не нашего и не следующего за нами, а более молодых поколений литераторов.

Роберто Фернандес Ретамар. Прежде всего благодарю за приглашение принять участие в работе Международного общественного совета журнала «Иностранная литература».

Только что закончил выступление наш коллега Владимир Корнилов, и я невольно вспомнил слова испанского философа Ортеги и Гассета: «Великие авторы всегда за-

имствуют идеи у нас». То, что мне хотелось сказать, уже было сказано — и прекрасно — многими выступавшими. Обсуждение такой волнующей темы, как «Художник и власть», думаю, ни у кого из нас не вызывает возражений. Жоржи Амаду, ярчайший представитель старшего поколения латиноамериканских писателей, высказал мысль, что художник должен прежде всего свято хранить свою независимость. На первый взгляд, легко признать, что писатель, оказавшись перед лицом власти, должен и умом и душою отвергать ее. Но тут могут возникнуть сложности — по-моему, Даниил Гранин обратил на это наше внимание. Писатель оказывается в трудной ситуации, когда чувствует некое совпадение между ним и властью. В свое время я сам пережил нечто подобное.

Здесь уже говорилось, что мы часто становимся «автобиографичны», но это неизбежно, ведь лучше всего мы знаем собственную жизнь, собственную биографию. Я изучал лингвистику в Париже, это было до революции на Кубе, затем преподавал в Йельском университете США, то есть получил классическое западное образование и воспитание. У себя в стране был очень близок к известной группе литераторов, которая сложилась вокруг журнала «Орихенес». Помню, тогда меня заинтересовала небольшая книжка нашего известного поэта Элисео Диего. В ней разоблачалось лицемерие буржуазного правительства и говорилось о неприятии власти, но не в форме прямого выпада, а в виде размышлений по поводу моральных, духовных проблем.

Мы ставили перед собой задачу открыть кубинскую революцию. Очень хорошо помню, как воспринял победу революции на Кубе мой отец... Небольшое пояснение. Куба, к несчастью, испытала на себе и власть Испании, будучи в течение четырех веков ее колонией, и власть Соединенных Штатов, будучи в течение шести десятилетий их неоколонией. Это означает, что страна никогда не была свободной, и у кубинцев сложилась прочная традиция — ненавидеть любую власть. У отца, интеллектуала, профессора, естественно, выработалось устойчивое сопротивление всем правительствам, какие он знал. Но вот пришла революция, он стал сторонником нового правительства, и его жена, и трое сыновей тоже стали сторонниками правительства. Настоящая трагедия! Разве может достойный человек отрешиться от неприятия всякого правительства?! Именно так мы рассматривали эту дилемму.

Для многих вопрос оставался серьезным, продолжал всех волновать, даже когда в 1961 году революция стала социалистической и мы унаследовали проблемы не только колониальной страны, но и проблемы социалистических стран. И вот я задал себе вопрос: «Кубинская культура теперь тоже будет «переживать» социалистический реализм?» Я столкнулся с проблемой Бабеля, Мандельштама, Маяковского — поэтов, близких мне по духу.

При моем воспитании по западному образцу нелегко было входить в контакт с культурой стран, о которых мы мало знали и где никогда не были. Но для нас, кубинцев, для всех (а нас чуть больше, чем москвичей) очень важно также не отчуждаться от духовной общности с культурой Латинской Америки, чьей неотъемлемой частью является культура Кубы.

В Советском Союзе хорошо известен Хулио Кортасар — я видел его книги в переводе,— знают и Габриэля Гарсиа Маркеса, Марио Варгаса Льосу, Алехо Карпентьера и немало других писателей из Латинской Америки.

Мы всегда понимали, что кубинская революция и вслед за ней никарагуанская — не только революция одной страны, но всего нашего континента. Все последние годы многие значительные писатели активно участвовали в дискуссиях по теме «Художник и власть». Этот вопрос неотделим от конкретного поведения и творческой деятельности Гарсиа Маркеса или Хулио Кортасара, от того, что делал Алехо Карпентьер или делает Эрнесто Карденаль, когда появляется позитивная власть.

На эту тему теоретизировал крупный перуанский писатель Марио Варгас Льоса. Он развивал тезис (его высказал сегодня Даниил Гранин) о том, что писатель всегда в оппозиции к власти. Однако, похоже, Марио Варгас Льоса скоро станет президентом своей страны. И получится, что ближе всех к власти окажется именно он. Возникает вопрос: в какой степени он как политический деятель защитит статус-кво и в какой степени его творчество защитит статус-кво? На мой взгляд, его творчество имеет более счастливую судьбу, чем его политическая трибуна. И с его произведениями происходит то же, что с произведениями Селина или Паунда. Не политическая деятельность, а литературное творчество их принадлежит настоящему и будущему. Тут возникает еще один вопрос, возможно наиболее для нас важный: что такое писательское мышление? То ли это, что воплощается в нашем творчестве? Способно ли оно устоять даже перед политической властью? Конечно, идеальна гармония сознания таких писателей, как Хосе Марти, Гарсиа Маркес, Карденаль или Кортасар.

В заключение хочу сказать, что наш обмен мнениями было бы хорошо продолжить. Уверяю, для меня это важно, наверное, более чем для остальных: ведь я, наверное, самый «далекий» гость. Разумеется, я имею в виду лишь удаленность моей страны от СССР. Впервые я был в Советском Союзе четверть века назад, и мне не только важно, но и необходимо возобновить диалог, который стал возможен сегодня, здесь, на этой земле. Терпеливой земле Достоевского.

Перевод с испанского А. ЗОЛОТОВОЙ

В. Маканин. Скажу вот что. За исключением, может быть, Кэндзабуро Оэ, выступления тех, кого я слышал, напомнили мне одну старую-старую притчу. Притча эта о каменщике, который умер, но на час-два сумел все же вернуться с того света в родной дом. Отпустили его или же он сам хитростью отлучился, чтобы наведать родных, этого я не помню. Помню, что сын спрашивает каменщика: «Что ты, отец, на том свете делаешь?» — а каменщик отвечает: «Да то же самое. Таскаю камни. Кладу дома...» — «Что таскаешь?» — переспрашивает

потрясенный сын.— «Камни,— говорит тот,— опять таскаю камни». Притча проста — мол, каменщик получает как каменщик. Но я сейчас не о том, как и кому воздается. А о том, что прослеживается в выступлениях лейтмотив: и кубинский писатель Роберто Фернандес Ретамар, и Криста Вольф из ГДР говорят, что и после революции проблема оппозиции осталась проблемой оппозиции и власть осталась властью. Но разве это удивительно?.. Быть может, оттого, что у нашей страны больший послереволюционный стаж, чем у них, я могу их словам уже вовсе не удивляться. Если в притче даже ее величество Смерть не способна скоро изменить человека, чего же хотеть от социальных преобразований? «Камни стали еще тяжелее, отец?» — спрашивает сын. А тот, уходя, уже не слышит. «Камни,— отвечает,— опять камни».

Если же смотреть на этот наш разговор чуть веселее, мне кажется, что неплохо бы переставить слова: не «художник и власть», а «власть и художник». Вот тогда это действительно проблема. Это если по-человечески. Если всех жалеть. То есть, у власти, у властей — вот у них-то воистину проблема с писателями. Такие они бедные.

Что касается писателей, то ведь пишущий человек остается самим собой. Он живет своей жизнью, вот и все. Если жизнь оказывается короткой, он живет короткую жизнь. То есть, если уж договаривать до конца, каждый конкретный писатель — это и есть конкретное решение проблемы отношений с властью. Этих решений тысячи. Федор Достоевский — это одно решение. Булгаков — другое решение этой же проблемы. Зощенко — третье, Солженицын — четвертое... Сколько писателей, столько и возможностей. Я бы даже настаивал сейчас на том, что проблемы отношений с властью нет, проблемы не видно, видны только решения этой проблемы.

И каждый пишущий преотлично знает про себя, что он тоже одно из решений отношения с властью; более того, он знает и, даже если обманывает себя, все равно догадывается — что̀ это за решение, каково оно.

Как следует из выступлений, мы в процессе разговора, кажется, подменили проблему «писатель и власть», сведя ее к общественной деятельности писателя. То есть, свели к известным разговорам, должен ли писатель и в какой степени заниматься общественной деятельностью, функционерствовать или только выступать на разного рода собраниях, подобных нашему. Между тем проблемность тут различная, и говорить следует разно.

Во время обеденного перерыва, за столом каким-то образом, меж супом и вторым блюдом, возникла у говоривших тема апостольской деятельности былых времен. Вкушая — вкусили. Сейчас это может показаться смелым ассоциативным прыжком, но во время обеда переход возник довольно естественно. Так что, продолжая, скажу сразу о возникшем вопросе: можно ли рассматривать писателей как огромное количество маленьких апостолов? Можно ли спроецировать былую апостольскую деятельность на текущую общественную писательскую жизнь?

Заметно вот что: самые знаменитые апостолы, конечно же Петр и Павел, они всюду ездили, выступали, слали смелые послания. И люди почтили их славу. Все самые большие соборы — это соборы в их честь. Конечно, и города — Петропавловск и другие. И корабли. Однако не эти знаменитые апостолы написали евангелия. Написал Евангелие апостол Иоанн, написали ученики-евангелисты Матфей и Лука. Усиливая, но не искажая сравнения, я не хотел бы разделять писателей на тех, кто пишет Евангелие, и на тех, кто выступает с посланием «к римлянам». Я не хотел бы даже и тонкой нитью отделить тех, кто пишет, от тех, кто говорит. Есть два способа самовыражения, оба наши. Если хотите — есть два способа жизни. Лестно думать, что всякий пишущий человек находится между, где-то в неточной середине, в большей или в меньшей степени тяготея к тому полюсу и к другому.

Р. Рождественский. Художник и власть. Эта проблема интересна еще и потому, что в ней соединяется великое множество проблем. Над каждой из них можно размышлять очень долго и все равно оставаться лишь на подступах к главному.

Для начала надо заметить, что власть, если иметь в виду вождя первобытного племени, возникла на нашей планете вместе с появлением человека.

Так что власть древнее любого художника.

А профессия руководителя (то есть, по-нашему — чиновника!) является самой древней профессией на земле.

Однако от признания этого факта сама проблема проще не становится. Ее нельзя решить раз и навсегда, ибо в каждом конкретном времени, в каждом обществе и стране она приобретает свои — порою весьма неожиданные — оттенки...

Художник и власть.

Открывая нашу встречу, Чингиз Айтматов уже вспоминал о придворных живописцах и поэтах. Сюда же можно прибавить придворных архитекторов, композиторов, музыкантов, скульпторов, актеров.

Любопытно, что почти все величайшие творения тех достаточно далеких эпох были построены, созданы «по заказу». То есть, художник откровенно работал «на потребу» церковной или светской власти. Ибо только эта власть давала ему деньги, предоставляла ему возможность р а б о т а т ь.

Некоторым властелинам нравилось, когда их считали «знатоками и покровителями искусства», «просвещенными монархами». И художники участвовали в создании такого образа.

Но власть, приближая художника к себе, одновременно боялась его. Будто понимала, что он, художник, внешне соблюдая правила «придворной игры», в душе своей, в работе своей все равно оставался свободным, был самим собой. И произведения, созданные им, каждый раз говорили не о величии власти, а о величии человеческого духа.

Справедливо замечено, что история человечества есть история войн. Хронология этих войн известна, и мы ею пользуемся

Иногда говорим: «во времена походов Тамерлана...», «в эпоху крестовых походов...», «в разгар наполеоновских войн...»

Но гораздо чаще мы вспоминаем другую хронологию: «в эпоху Гомера...», «в век Леонардо...», «во время Шекспира...», «во времена Пушкина...»

Мы говорим так с полным правом, ибо история человечества есть история развития человеческой культуры. История войн должна кончиться, а история культуры будет продолжаться всегда.

Художник и власть.

Когда люди вспоминают о Боге или начальнике, они одинаково показывают на потолок. Власть «прекрасна» своей хорошо организованной многоступенчатостью. Практически у каждого начальника есть начальник вышестоящий. Поэтому любому просителю можно всегда сказать: «Лично я — не против, но Вы же понимаете...» И — показать пальцем на потолок.

Если говорить о нашей стране, то эта привычка у нас по-прежнему распространена, хотя вроде бы многое делается для того, чтобы она исчезла.

Власть привычек, догм, стереотипов.

Говоря о власти догм, вспоминаю наш давнишний, очень популярный лозунг: «Кто не с нами, тот против нас!»

К этому лозунгу я бы добавил еще один, не менее популярный: «Если враг не сдается, его уничтожают!»

Итак, два лозунга. Поставленные один за другим, они не только провозглашали целую жизненную программу, но и доходчиво отвечали на вопрос: что надо делать?

Причем сразу же эти однозначные лозунги (а точнее, их первые половины) приобрели достаточно расширенное толкование. К примеру, человек провозглашал: «кто не с нами...», а имел в виду несколько другой вариант: «кто не со мной...» или: «кто против меня...» Нередким было и совсем простое объяснение: «кто мне не нравится, тот против нас!» Враг, значит.

Ну а само понятие «враг» скоро стало таким необъятным, что даже крохотное сомнение в чьей-нибудь виновности моментально признавалось антисоветским.

Такова была она — власть тогдашних лозунгов и догм. Однако нужно обязательно сказать, что власть эта никогда бы не стала такой всесильной, если бы не поддерживалась и не утверждалась всепроникающей властью государства, властью Сталина.

Власть стереотипов. Власть неполной информации.

Долгое время мы говорили о своей стране, как принято говорить о покойниках: только хорошее. Так было принято.

Если судить по газетам, у нас никогда не тонули корабли, не сталкивались поезда и не падали самолеты. То есть они, конечно, тонули, сталкивались и падали, но сообщалось об этом лишь в случаях, когда умолчать было невозможно: среди пассажиров находились граждане других стран.

Мы существовали, были и — одновременно — хотели казаться.

Казаться лучше, чем есть. Поэтому мир считал нас непонятными, загадочными.

Он мог повернуться к нам сразу же после Чернобыля, но ведь страна жила тогда еще по старым пропагандистским меркам. И мы снова попробовали скрыть аварию, всячески приуменьшить ее размеры.

Только во время землетрясения в Армении мы стали для мира такими, какие есть в действительности: оглушенными страшной вестью, плачущими, не делающими вида, что нам все нипочем и что мы все знаем, все умеем и все можем.

Впервые для мира мы повели себя нормально, по общечеловеческим меркам. Всего лишь н о р м а л ь н о. (Господи, как это просто и как это, оказывается, много!) Вся планета пришла к нам на помощь. И выяснилось, что «кто не с нами», тот за нас!

Художник и власть. Власть общечеловеческих ценностей.

Мы — дети жестокого века, воспитанные на том, что существует некое нечто, которое неизмеримо выше таких понятий, как человечность, совесть, любовь, сострадание, милосердие.

Однако сами эти понятия настолько высоки, что выше их, сразу же за ними в человеческой душе начинается мертвое безвоздушное пространство. За этой чертой, за этой границей человек перестает быть человеком.

Ананта Мурти. На стыке веков великий русский оказал влияние на великого индийца — оба пытались раз навсегда решить проблему власти. Я говорю о Льве Толстом и его переписке с Ганди.

Толстой к тому времени, когда он вступил в диалог с Ганди, связывал проблему власти с неуемным стремлением человека подчинить себе природу.

Если бы человек отказался от попыток покорения природы, он положил бы этим начало совершенно новому образу мышления, который соединил бы Запад и Восток, писал Ганди в ответном письме. Единственный способ обуздания имперских инстинктов — в обуздании желания человека властвовать над природой.

Ганди считал, что на этом желании зиждется то, что он называл современным общественным устройством. Это общественное устройство целиком построено на подавлении, на жажде власти, поэтому любая из форм власти — капиталистическая или пролетарская, авторитарная или империалистическая — неизбежно приводит к появлению Гитлера или Сталина.

Ганди извлек этот урок из учения Толстого.

Более того, Ганди даже утверждал, что Англии удается удерживать Индию в подчинении, потому что индийцы тянутся к современному общественному устройству, и делал из этого вывод — англичане сохранят свою власть до тех пор, пока будет существовать эта тяга.

Ганди изложил эти размышления в книге «Хинд сварадж», написанной в 1908 году под сильным влиянием Толстого.

Создание современного общественного устройства требует повсеместного уничтожения крестьянства и ремесленников, ибо их труд и образ жизни предполагают связь с природой, а не покорение ее. С исчезновением крестьян и ремесленников иссякает та сила, которая извечно питает собой литературу.

Современное общественное устройство строится на концепции природы, как неиссякаемого рога изобилия, который и ныне, и присно, и во веки веков будет давать человечеству материальные блага, необходимые для его счастья, на вере в неограниченные возможности материального прогресса. Ни Ганди, ни Толстой не верили в это, и их взгляды оказали большое влияние на формирование представлений об экологической гармонии мира.

Здесь много говорилось о трагедии литературы, об уроне, нанесенном ей структурой власти. Я хотел бы сказать, что современное капиталистическое общество, достаточно хорошо знакомое мне, поскольку мне пришлось преподавать в Америке, да и в других странах тоже, разрушает великую литературу, тривиализируя ее.

У меня сложилось впечатление, что в советской литературе одержала победу посредственность, охотно обслуживавшая власть имущих. Однако остались жить и сохраняют значение для общества великие писатели, которым достало отваги быть собой. Не уверен, что для западного общества великая литература столь же значима, сколько для вас.

Но я хотел бы вернуться к вопросу о власти, которой обладает писатель. В индийской традиции Слово издавна рассматривалось как м а н т р а, как вместилище магической силы. Например, вся тантрическая традиция Индии есть поиск способов обретения человеческой душой особых сил и качеств. Иными словами — индийская традиция постоянно искала источники альтернативной власти, альтернативы власти политических сил.

Можно сказать, что проблема власти составляет суть двух великих эпических поэм Индии «Рамаяны» и «Махабхараты». Суть «Рамаяны» — в поиске идеального правителя, который не злоупотреблял бы своей властью, а точнее, в поиске идеальной политической системы, где вообще не было бы места принуждению.

«Махабхарата» повествует о том, к чему ведет злоупотребление властью: к катастрофе, к трагедии самой власти, вызванной постоянным желанием все больше наращивать власть.

Обе поэмы не утратили своего значения и сегодня, ибо вопрос стоит следующим образом: что есть человек? Если человек — это его «я», то ему соответствует одна структура власти, но если человек — это его «душа», то структура власти должна быть совершенно иной.

Когда на первое место ставится человеческое «я», то на свет появляется философия Ницше, появляется тот западный образ мысли, который требует верховенства человека над природой.

Когда же на первое место ставится человеческая душа, то это дает миру Ганди, дает миру Толстого, внушает миру надежду на то, что политическая власть может занять меньшее место в жизни, нежели сейчас, а альтернативная — большее.

С другой стороны, выбирая современное общественное устройство, человечество открывает путь гитлерам и сталиным, централизации в ущерб многообразию, что рано или поздно приводит к нарушению экологического баланса, открывает путь к уничтожению плюрализма в образовании, к исчезновению крестьян и ремесленников.

Современное общественное устройство неизбежно ведет к гибели малых языков, к размыванию малых этносов, а это означает полное исчезновение свободы творчества, в частности — в литературе.

Именно так следует подходить к рассматриваемой нами проблеме, ибо дело в самом общественном устройстве, а не в злокозненности отдельных людей, которые и сами являются продуктом общего направления развития человеческого сообщества. Его проявления не ограничиваются Западом — третий мир тоже может пойти по этому пути.

Ну, а если выбор делается в пользу человеческой души? Пять веков назад, во времена великой империи Виджаянагара, жил поэт, который сказал: величайшие из империй все равно кончаются ничем. Этот поэт обладал подлинной силой и властью, к которой может приобщиться любой из нас.

Перевод с английского М. САЛГАНИК

Йордан Радичков. Дорогие друзья, от всего сердца благодарю Чингиза Айтматова и всех организаторов нашей встречи за приглашение участвовать в беседе о художнике и власти. Говорить в Москве — на мой взгляд, особенно высокая честь и высокая ответственность, потому что, когда говорят в Москве, говорят перед всем миром.

О чем, в сущности, идет речь? Рассматривая тему о художнике и власти, о комплексе, который порождает у нас власть, мы пытаемся найти, где у змеи ноги.

До времени перестройки и гласности эту тему старались не обсуждать, я бы не сказал, что и сейчас[1] эта тема так уж и стала у нас достоянием гласности, но что-то все же сдвинулось. Подписана конвенция о правах человека, заговорили о расширении демократии, а это показывает, что та демократия, которая была у нас и которая есть, слишком узка, раз мы говорим о ее расширении. Часто повторяются слова «мы учимся демократии», а это означает, что до сих пор мы были ограниченными и невежественными... Боюсь только, что эти слова не имеют особого значения в мире, который, так сказать, завшивел словами, погряз в словах, и сам я, чувствую, завшивел словами, увяз в словах. Но что я могу сделать, коли у писателя только и есть что горстка слов? Когда-то люди, встречаясь, обменивались золотыми монетами — теперь мы обмениваемся бумажными банкнотами.

Власть всегда напоминала мне острый нож, оставленный на дороге. С какой стороны ни возьмешься за него — порежешься, потому что нож этот без рукояти.

Разговор наш для меня не только труден, но в известной степени и деликатен. Дело в том, что и меня самого приглашали, бывало, на трапезу власти. Не в центр стола, конечно, а на краешек, но, как говорится в таких случаях, хоть мы и сидели на краю трапезы, но ели и пили вместе с властью... Мы суетны и любим, когда нас замечают,— это потому, что мы не вышли ростом, мы маломерны. В руках у власти

[1] Й. Радичков выступал до того, как у него на родине произошли радикальные перемены. *(Прим. ред.)*

и хлеб и нож, она отрезает ровно столько, сколько считает необходимым. Тем самым она дружелюбно похлопывает нас по плечу, но не улыбается и не интимничает. Послушных она поощряет и выказывает им доверие.

Это начинается у нас с первого же школьного года, наша педагогика поощряет послушных, старается, чтобы у учеников было примерное поведение. Оно культивируется в человеке, когда он только начинает получать образование. Правда, у нас больше говорится об обучении и меньше — об образовании. Послушные и удостоенные доверия писатели, подобно усердным первоклашкам, стараются заслужить еще большее доверие и постепенно (как отличники в школе) начинают подниматься по ступенькам власти. Это превращается в комплекс старания... Но чрезмерное старание — это и проявление малограмотности, ограниченности, невежества. У Толстого два солдата — два мужика — охраняют пороховой погреб, вблизи которого разбита палатка генерала. Ночью один снаряд в пороховом погребе самовозгорается, солдаты хватают снаряд и бегом относят его подальше, но подальше — заметьте — не от погреба, а от генерала, потому что снаряд может взорваться и разбудить генерала. Они вообще не задумываются над тем, что снаряд может взорваться в их руках.... Нас с самого детства обучают (а не дают образование) — обучают служить. Обучение — это казарменный термин.

Подымаясь (точнее — карабкаясь, а еще точнее — всползая) по этим проклятым ступеням, по этой лестнице власти, где взбираются наверх сотни, а скатываются вниз тысячи, удостоенные доверия писатели начинают, со своей стороны, делить писателей на лично преданных, на послушных и непослушных. Следующий шаг — писатели начинают преследовать писателей, и, к сожалению, самыми лучшими цензорами оказываются именно писатели. Другое дело — какие они писатели, насколько они писатели и писатели ли они вообще. Однако они становятся привилегированными, обретают власть и входят в номенклатуру. Замечу, между прочим, что номенклатура кажется мне похожей на старую, потрепанную колоду карт. С тех пор как я себя помню, у нас в игре все одна и та же колода. Стараясь поглубже внедриться в систему, которую мы обозначаем благопристойным названием «командно-административная», писатель оказывается в сложном положении. С одной стороны, мы все браним власть, сплетничаем на ее счет, с другой стороны, хотим к ней приблизиться, об нее потереться. Получается вроде как с женщиной легкого поведения — все ее осуждают, а про себя каждый не прочь с ней переспать.

Беда заключается в том, что, обслуживая власть, мы отвернулись от жизни народа. Мы имели наглость говорить о жизненной правде! Никакой жизненной правды, это была чистейшая ложь. Многие писатели занимались в своих книгах лжесвидетельством. Достойно сожаления, что они этим кормились, просто превращали литературу в средство существования. Я думаю, что время больших писателей прошло и что начинается время маленьких писателей. Современный человек скроен уже по меньшей выкройке, уменьшился его духовный объем, меньше его размеры. Эти его габариты определила научно-техническая революция, и мы все уже с этим считаемся. Кажется, у Горького есть такая мысль: после того как человек придумал самолет, он перестал удивляться себе, а стал удивляться самолету.

Мы потеряли высоту, привыкли к тому, что нам неудобно. Жизнь диктовала невыгодные условия, но мы их принимали, потому что хотели уцелеть. Жизнь неуютна, жизнь — это прежде всего страдание, мы бьемся над тем, чтобы приручить эту жизнь, превратить ее в своего союзника, но быстро устаем. Бернард Шоу утверждал, что умный человек приспосабливается к среде, а глупый приспосабливает среду к себе, поэтому прогресс человечества — дело рук слабоумных.

Оглядываясь вокруг и заглядывая в себя, мы можем сказать, что ситуация напоминает африканскую поговорку. Африканцы говорят: «Господь сделал крокодила, посмотрел на него, тот ему не понравился, но — что сделано, то сделано!»

Мы в Болгарии находимся сейчас на особенно трудном отрезке пути — отрезке гористом, с пропастями и теснинами, где падают камни и сходят снежные лавины. Вернуться назад мы уже не можем, а другого пути, к сожалению, нет! Все мы должны пройти этот отрезок, вместо нас никто этого сделать не может, как никто не может выкупаться вместо другого.

О таком времени, как нынешнее, у нас в Болгарии говорится, что наступило время, когда господь срывает с дерева черешни по одной, чтобы их не помять, а дьявол сбивает их палкой. Я полагаю, что в этом случае мы, писатели, должны быть на стороне Бога.

Под конец позвольте мне рассказать кое-что о себе. Когда я был маленьким — и еще не ходил в школу,— меня напугала собака и я потерял дар речи. Дети стали меня избегать. Со мной играла только глухонемая девочка, постарше меня, летом она водила меня на реку и ловила мне головастиков. Однажды наши матери повезли нас в ближний городок. Там жил один очень старый священник, и наши несчастные матери прослышали, что, если этот священник почитает нам тексты из старых священных книг, к нам вернется речь. Священник почитал нам, но мы не заговорили. На обратном пути в село, на повороте дороги, на нас налетели взбесившиеся лошади, запряженные в повозку. Ржание, топот копыт и грохот повозки внезапно обрушились на нас как второе пришествие. По счастью, меня отбросило с дороги в сторону. Я встал, начал отряхиваться от пыли и вдруг — заговорил. И говорил, не умолкая, всю дорогу. От страха я лишился дара речи и от страха обрел его снова... А девочка так и осталась глухонемой... С течением лет, когда я начал писать, у меня возникло странное чувство, будто я пишу и говорю не только от своего имени, но и от имени глухонемой... Вот что я хотел вам рассказать и думаю, что вы меня поймете. Писатели живут на разных континентах, в разных социальных условиях и политических системах, но принадлежат к одному созвездию. На мой взгляд, писатели относятся к тем немногим людям, кто

сохранил еще доброе мнение о человеке и кто вопреки всем превратностям продолжает нести свою караульную службу во имя человека.

Перевод с болгарского Н. ГЛЕН

Г. Гачев. Наш разговор все расширяется. Я хотел бы ввести еще две волны: философско-религиозную и национально-историческую. Выйдем на уровень сверхидей.

Власть-Воля, Сила, стихия «огне-земли», жесткость и жестокость, предел, форма, граница, членораздел, «разделяй и властвуй!». Власть — Суд, рассудок, Право, прямая линия. Власть — Бог в ипостасях: Господь, Царь и Судия.

Писатель — это Бог в ипостаси Слова, Бог как Любовь, Дух, стихия воз-Духа, свобода, вездесущие полета воображения и всеприсутствие во всесимпатии со всяким существом. Тут Любовь, сострадание, тогда как орудие Власти — меч, зло, ненависть, отрицание: они блюдут стойкость и нераспад формы, отличение «я» от «не-я», «наших» от «немцев» (= кто «не мы»).

Власть блюдет страну, землю; наземен ее взгляд. Государство совпадает со «страной». Власть — орган самодержавия страны как целостности и формы среди других подобных же.

Власть — вертикаль сверху вниз: давление, гнет, пресс, держит структуру и иерархию от Жизни, которая — рост, гниль, изменение, расползание.

Поэт — вертикаль вверх, взлет, «небес посланник» и Божий шпион на Земле и в стране, соглядатай: каково там духу, и душе живой, и личности?

Власть не творит: управляет готовым и за неизменность.

Художник — Бог — Творец, создает новые существа, как и Матерь Природа рожает,— и стыкуется с нею, с женским началом, как Сын против Отца — Государя,— в эдиповом комплексе. Поэтому Поэт женствен и любвеобилен. Кесарь-Царь — «Батюшка». Власть — Отцово начало.

Сатана искушал Христа в пустыне Властию: вот все царства будут твои, стань Кесарем. Значит, Сатане дано Богом правление в мире, что во зле лежит. Власть — сатанинское дело. И у нас Сатаналин-Сталин («Сатанаил» почти) ее осуществлял. Но и Сатана — служитель Бога. Потому и Христос уважителен к Власти — любой, и «несть власти, аще не от Бога», и исповедует разделение сфер Бытия: «Богу — Богово, Кесарю — Кесарево». Так и—продолжим—«Поэту — Поэтово»: есть свое измерение Бытия, куда Кесарь не вхож. «Ты — царь; живи один». Но зато и Кесарь имеет свое таинство, мистерию и мир, неисповедимый Поэту, и тем вечно влечет к себе. Кесарь же — на кромке бездны греха его бытие. И «Житие именно Великого грешника» намеревался писать Достоевский.

Поэт и Царь — меж ними «влеченье — род недуга». Пушкин и Петр. Поэт нежится к Царю, тянет его иметь с Кесарем прямые, интимные отношения — не как прочие граждане и подданные. Да и в наше время — инфернальная эстетика Сталина (а она есть в нем) влекла и завораживала и Пастернака, и Булгакова, и Мандельштама. Последний прямо попер на рожон стихотворением «Волк»: раздраэнить Кесаря лично, чтобы и с ним был разыгран пушкинский гамбит «Поэт и Царь» — чтоб погибнуть не от быдла, но от высочайшей руки: чтоб лично был замечен и причтен!..

Да и сам я, у кого отец погиб в ГУЛАГе, себя ловлю на том, что когда идешь по улице и душа звучит радостию — какой мотив наполняет душу и движет ноги? «О Сталь-и-не-е муд-ром, ро-о-дно-о-ом и лю-би-имом / Пре-кра-а-сну-ю пе-е-сню слагает на-род». Или «Гремя огнем, сверкая блеском стали...» — и так далее. А ведь прекрасная музыка, и песенное то время было и пропитало поддон Психеи — в разлад с судом рассудка нынешнего.

И кто же привилегированный предмет литературы во все времена? Цари, властители: от Гомера чрез Шекспира до Толстого и Маяковского (за «Ленина» принялся), до Рыбакова и Пикуля (потереться о постель Потемкина и Екатерины...) — пощупать Власть, ее пружины, в ее мистерии и в ее ад сошествие воображением учинить.

Ну а если писатель встает в оппозицию к Власти, бичует ее и «Не могу молчать!», пороки властителей и судей указует, как пророк и защитник народа,— да ведь тут он тоже на грехе Властителя паразитирует: на том все вины, а я — видите, какой хороший, народный, смелый!..

Но постойте: святые отцы почитали себя худшими из людей — оттого что в себя вглядывались и видели свою чернь: любое пятнышко на чистом экране — жутко. А у нас писатели — обличители Сталина и прочих ужасов Власти в XX веке,— когда пишут об этом, весь грех и чернь отчуждают, сосредоточивают в предмете, и забывает такой писатель, что сам он — помойка и себя ему выгребать лопатами надо в Исповеди, как делали Августин, Руссо, Толстой и прочие многие...

Так что Властитель — козел отпущения наших грехов: История наваливает на него «пекката мунди» — грехи мира, как на Агнца Божия,— и вот мы чистенькие в сравнении с сим исчадием ада — этакое чувство писателю-обличителю Властитель дает испытывать. Дешевка это и паразитизм на чужом зле и грехе, если уж честно-то вдуматься.

Ну а сюжеты-то кто нам непрерывно поставляет — исторические, гражданские, или как ныне мы страшными сказками каждодневно новых разоблачений, как дети на сон, зачитываемся? Нет, тут — плен нам! Литература непрерывно льстит Власти и Политике, занимаясь ею, борясь, вцепляясь, будто нет сюжетов и миров опричь!.. Наше дело — их открывать людям: чтоб имели чем жить независимо от власти (хорошей или плохой — это ее собачье дело) и, забыв про нее,— жить по истине, по существу, в добре и красоте, в интересности. Роман, эпос частной жизни, как раз и пришел на смену «книгам царств», эпопеям и трагедиям и открыл огромные просторы Бытия, существенной жизни человеку вне власти и политики. К чему толочься всем на этом плоском горизонте и на тесной площадке давиться, когда кругом и внутри души человека — безбрежные просторы и ценности? Молодец Достоевский, сравнительно даже с Толстым: не оскоромился государевыми и воинскими сюжетами, но целую Вселенную

внекесаревых интересов и содержаний развил и нам подал: где жить и о чем печься. «А «Бесы»? — тут же себе возражаю.— Да тем и отринул это дело, политическое: «Изыди от меня, Сатана!» — и показал, как человек, влипая в жидкое марево политиканства, теряет Абсолют и Любовь, существенные ценности и начинает жить мнимо»... Так же и Пушкин: «Повести Белкина», «Евгений Онегин» — частная честная жизнь. А Кесарева и общая — во зле и во лжи. Игнорировать ее.

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв —

это, что трактовали узко, как манифест «чистого искусства»,— теперь понимается как отвоевание человеком внеполитических миров, пространств позитивного существования вне площадной потасовки и брани, не дать маниакально приковать свой ум и душу к этой майе...

Ну а как вести себя, когда Власть отовсюду лезет, как в тоталитарном режиме, орет: «Политика — жизненная основа нашего советского строя» и требует участия и вывалять непременно твою душу в единодушном дерьме?.. Тут уж — берегись, убегай, не давай себя поймать. Пиши в стол — ты же не режиссер, тем более — кино-... Средства твоего производства, слава Богу, примитивны и при тебе: бумага и ручка, так что ты можешь свой труд вполне соделать, никого не спросясь. Я, когда понял это во времена не печатавшего меня «застоя», ушел со сцены, заглянул в глубь себя — и увидел, никакой Брежнев столько зла мне и моим домашним не может причинить, сколько я сам — себе и им. Я, повернувшись внутрь и от ворот политики отворот осуществив, обнаружил такие божественные миры для страстных занятий и писаний: любовь, семья, природа, книги, культура... Стал жить в опровержение Ленина, который запрещал: «Жить в обществе и быть свободным от общества — нельзя!» — «А я попробую! Ишь, опоясали, политиканы!», «Изыди от меня, Сатана!», «Подите прочь — какое дело Поэту мирному до вас!» Писатель побеждает Власть не тем, что борется с ней, а тем, что игнорирует ее.

А жуткое существование народа в крови и нищете — суметь сделать предметом совершенного художественного произведения и так превозмочь трагедию существования, «возвести в перл создания» — а не тем, чтобы на улицах митинговать за послабления... Ну а нам XX век ужасов и страданий заготовил просто несметные сокровища сюжетов и проблем для обдумывания, тут золотое дно для работы Духа, что и выводит нас ныне — в духовную столицу мира. И если Слово в этом разберется, тогда не напрасны были страдания поколений...

Теперь — вдумаемся в национальный аспект отношения «Писатель и Власть». Мы — в России, потому тут оно каково?

Россия-мать-сыра, а над нею два мужика: Государство (Кесарь) и Народ, как и при русской женщине в романах двое: генерал — и Онегин (демон-дух); министр Каренин — и Вронский, солдат, перекати-поле; немец-работник Штольц и голубь-байбак Обломов; комиссар Стрельников и поэт-доктор Живаго; есаул Листницкий и непутевый, *бесстанный* Григорий и так далее. Россия — огромная, белая, расползающаяся вширь баба, что распростерлась от Балтики до Китайской стены, а «пятки — Каспийские степи» (по образу Ломоносова). По ней гуляет народ — «СВЕТЕР» (Свет + ветеР — по составу стихий, при «Водоземле»-Сырой России. И сирой...), летучий, легко съемный в путь-дорогу, плохо укорененный странник и солдат. Плохо он ее пашет, как и муж бабу — по вертикали, так что даже крепостным правом его пришпиливать приходилось, а то все — в бега норовил... И потому второго мужа России-бабе понадобилось в дополнение, который бы ее продраил по вертикали и крепко обнял-охватил обручем с боков, чтобы она не расползалась: заставой богатырскою, пограничником Карацупой, железным занавесом — бабу в охряпку... И этот мужик — чужеземец. Охоча Мать-сыра земля до огненного чужеземца в дополнение к своему реденькому, как иная бороденка, народу, кто — свой, родной, любимый, да больно малый да шалый... И вот варягов зовет, из грек христианство, половца и турка с юга притягивает, татаро-монгола — с Востока. Потом немцы с Петра правили... Грузин Джугашвили, в ком соединились Петр и Тамерлан (догматический марксизм и талмуд идеологии с Запада — и султан «секим-башка» с Востока). Уж он-то так продраил Русь-бабу, что бездыханная лежит...

Даже стратегия русских войн — от охоты России-бабы на чужеземца. Она его приманивает (поляка, француза, немца), затягивает в глубь себя: никогда не на границах ему отбой, а взасос его вовлекает — и уж тут, во глубине России, самый оргазм битв: летят головушки и тех и других, орошают ее топкое лоно огненной кровушкой, как спермою; им смерть, а ей — и сласть и страсть. Так ведь еще и в «Слове»: битва как свадьба видится, как смертельное соитие. Если германская тактика — «свинья», «клин»-стержень, то русская — «котел», как вагина, влагалище...

В этом треугольнике — Родина-Кесарь-Народ — где Поэт? «И неподкупный голос мой / Был эхо русского народа». Но не торопитесь отождествлять. Ведь и сам Народ-сын тут про себя хорошо знает, что он — недостаточный муж своей жене-матери России, и имеет совесть, застенчив-стеснителен и терпит при ней и чужеземного супруга, и мучения от него принимает, как заслуженные... Правда, иногда вздыбливается в отроческом «рессантимане», в обидчивости, как вон и ныне «русичи» иные на русскую женщину (Белов «Все впереди»), что охоча на чужеземца и «предательница», и хотят заколотить ее в терем; но все же русский человек к бабе мягок, уступает.

Ну а что Писатель, Поэт? Он тоже совесть имеет к Власти: понимает, что он сам тут негож и трудно здесь править,— и потому воздает Правителю и даже благоговеет перед таинством Власти.

Во всяком случае он — Всепонимание. Это качество, что Жуковский, Достоевский, Блок приписывали русскому народу,— относится именно к художнику тут, к Слову России, но не к народу: народ-то как раз

мало видит иностранного и чужого трудно понимает.

Итак, в России Писатель — в треугольнике витает. Лежит Россия, а над нею скрестились, прислонились Кесарь (Отец-Царь-Батюшка) и Народ-Сын. А Поэт — между Небом и Землей, как жаворонок...

Ну а на советчине то еще добавилось, что само Государство стало Писателем. Партия, идеология, резолюции, реляции-отчеты. Пошла Власть на Слово: столько словесности производится Властию, что в ней — потеряться художественной литературе и не отличиться. Где резолюция пишется как роман, там и роман толкуется как резолюция. А и народ, люди, лишенные средств производства, пишут письма в газеты и заявления — во всенародную, как Волга, Жалобную Книгу. Государство писателей! Нешто человек, что сам может свое дело делать и справить, стал бы время на эту писанину тратить?.. Кстати, начало этому спутыванию ремесел литературы и партии положил сам Ленин. На вопрос анкеты о профессии он написал не «политик», «вождь» (вариант Кесаря, кем и имел в мечте стать), а — «литератор»... И партийность литературы съедать стала художественность...

Вот наша ситуация.

Теперь для сравнения короткого — Штаты, Соединенные. Там нет сюжета: Писатель и Власть. Америка формировалась из плебеев Старого Света, могучих и хищных работяг, но без всякой тонкости души и аристократизма. Потому нежная душа художника тут — среди примитивной черни и вкусов толпы, которые через рынок и бизнес душат писателя. Тут проблема: Писатель и Бизнес, Успех — и чрез то — удушение его сути. Вспомним Мартина Идена, удаление Сэлинджера в молчание...

Ну, и я замолкаю. Ибо: Писатель и Власть — тайна сия велика есть, и я развернул тут лишь несколько вариантов.

Т. Мотылева. Мы выслушали выступление Георгия Гачева — по оригинальности и глобальной широте обобщений с ним, наверное, не может соперничать никто из нас. К этому громокипящему выступлению я присоединяю свой тихий голос по очень естественной ассоциации.

В журнале «Дружба народов» напечатаны недавно письма заключенного — одного из многих, загубленных сталинским террором,— болгарина, коммуниста, человека сильной души, Дмитрия Гачева. Письма к сыну, который выступил сейчас перед нами.

Это заставляет задуматься о той неожиданной преемственности, которая связывает коммунистическую несгибаемость Дмитрия Гачева и парадоксальную, дерзновенную мысль Георгия Гачева. Это очень интересный пример диалектики во взаимодействии поколений.

Гачев-отец заслуживает того, чтобы мы о нем вспомнили уже хотя бы потому, что это был человек нашего цеха, наш коллега, автор работ о Роллане и Дидро, литературовед-зарубежник.

О работе нашего цеха я и хочу поговорить под углом зрения той простой истины, которая мне была подсказана одним давним личным письмом Кристы Вольф: надо делать свою работу возможно лучше, возможно более честно. В редакции нашего журнала сквозь все смены эпох, руководителей, редакторов, литературных начальников, теоретиков, командующих литературой находились люди, которые — часто в нелегких условиях — старались честно делать свое дело. И я об этом могу свидетельствовать, начиная не только с возникновения «Иностранной литературы», но и с гораздо более раннего времени, потому что у «Иностранной литературы» были журналы-предшественники, с которыми я была связана — хотя бы эпизодически — начиная с 1930 года.

Когда я студенткой-практиканткой пришла в редакцию «Вестника иностранной литературы», этот журнал, малотиражный, опиравшийся на небольшой круг читателей, доживал свои последние дни. На смену ему пришел другой журнал, отчетливо политизированный — «Литература мировой революции»: у него были свои читатели, свои сотрудники, свои энтузиасты, принимавшие его название совершенно всерьез (в том числе и я, грешная). Концепция литературного процесса там была поразительно узкой, замыкалась в пределах антитезы: буржуазный писатель — пролетарский писатель. Это лобовое противопоставление совершенно деформировало картину международной литературы, раскрывавшуюся в журнале. Но ее революционное крыло находило в нем свое выражение: в числе его заметных публикаций были «Красный фронт» Арагона, «Великий план» Бехера.

Проблема «власть и литература», «власть и писатель» нередко осложняется тем, что между властью и писателем стоят проводники той или иной политики, разного рода командующие инстанции. Я еще застала время, когда такой инстанцией была РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей. Она претендовала на роль руководителя литературных сил не только советских, но в какой-то мере и международных. И вдруг — гром среди ясного неба! — появилось постановление ЦК от 23 апреля 1932 года о ликвидации РАПП. Сейчас может показаться странным, что можно было вот так сверху, решением ЦК партии, вмешаться во внутрилитературные дела. Но было так принято.

«Литература мировой революции» была преобразована в «Интернациональную литературу» — это была не только перемена названия. Международное положение, угроза войны, наступление фашизма — все диктовало необходимость расширения той социальной, идеологической базы, на которой работали литературные журналы.

У нас существуют разные точки зрения насчет того, чем был Первый съезд советских писателей, создание единого Союза. Что это было — сталинский маневр или попытка сплочения литературных сил? Для Сталина и его окружения это был скорей всего именно маневр. Но многие писатели на первых порах восприняли реформу литературной жизни вполне положительно.

Сегодня и Первый съезд, и утвердившаяся на нем формула социалистического реализма принадлежат истории литературы.

Но что такое все-таки был социалистический реализм? Сталинский кнут над писателями — или поиски общей творческой основы? Конечно, это был не «метод» — невозможно замкнуть громадную, многосложную литературу в рамки единого «основного метода». Скорей это была идейная платформа, достаточно широкая, чтобы на ней уместились разные произведения, разные герои (в том числе, если не ошибаюсь, и очень мне симпатичный Буранный Едигей). Когда о социалистическом реализме говорили Горький и Бухарин — это был, при всей спорности их положений, разговор о литературе, внутри литературы. А речь, которую на съезде произнес Жданов с такой самоуверенной, директивной интонацией,— это был голос власти в чистом виде, жесткая схема, сковывающая, не оставляющая никакой почвы для свободы творчества. Среди участников съезда был Вилли Бредель, немецкий писатель, только что вырвавшийся из гитлеровской тюрьмы,— ему предстояло возглавить в Москве антифашистский журнал «Ворт». Ему речь Жданова очень не понравилась, он сказал мне: «Такими выступлениями вы западную интеллигенцию не привлечете». Но это он мог сказать мне, потому что он мне доверял. С трибуны он этого сказать не мог.

Когда у нас отмечали 50-летие Первого съезда писателей, его постарались представить как идиллию. Но идиллией он не был, на нем возникали не только подспудные, но и открытые разногласия.

Доклад Радека о международной литературе, длинный и насыщенный материалом, был, в сущности, очень поверхностным и удивительно безапелляционным по оценкам сложных явлений. Мимоходом Радек наложил запрет на роман Джойса «Улисс», о котором у нас много слышали и который интересовал нашу публику. С ним спорили Виланд Херцфельде, Жан-Ришар Блок, спорил и тот же Вилли Бредель. Но Радек представлял официальную точку зрения и настаивал на своем.

Так или иначе, журнал «Интернациональная литература» в 30-е годы смог напечатать, полностью или в отрывках, много выдающихся произведений, печатал Хемингуэя, Генриха Манна, Уэллса и авторов более далеких идейно — Олдоса Хаксли, Жана Жионо. И еще многих других. Журнал активно поддерживал западную интеллигенцию в борьбе против фашизма, освещал конгрессы в защиту культуры.

Правда, в 1936 году снова грянул гром с ясного неба: в связи с несправедливой критикой оперы Шостаковича началась бешеная кампания против формализма (или того, что называли формализмом). Редакция с перепугу прекратила чуть ли не на полуслове печатание романа «Улисс», сопроводив последний фрагмент сердитой статьей.

Когда возникают размышления о судьбах мировой литературы в трагические 30-е годы, то (внутри нашей редакции и вне ее) обязательно встают вопросы: почему западные мастера культуры не противостояли сталинизму, а порой даже неуверенно подпевали ему? Или — лишь немногие противостояли? Или — лишь подспудно и скрытно противостояли? Ведь им, казалось бы, в любом случае ничего не угрожало.

Мне думается, что им угрожало в случае каких-либо открытых протестов нечто очень серьезное: поссориться с советским народом. А на это не хотели идти ни Ромен Роллан, ни Томас Манн, ни Стефан Цвейг, ни Хемингуэй, ни Брехт; не хотел по сути дела и Андре Жид. В позиции каждого из них были свои оттенки, свои особенности, но были и общие факторы, которые определяли их образ мыслей. Взгляд на Советский Союз как на самый надежный оплот против фашизма. Романтически идеализированные представления о внутренней жизни СССР. Неверие в возможности буржуазной демократии. И главное, симпатия к советскому народу — героическому, многострадальному, так много сделавшему и испытавшему за короткий исторический срок. И в тех случаях, когда западные писатели (скрепя сердце) говорили любезности по адресу советского руководителя, они имели в виду не столько руководителя, сколько народ.

Но вот что любопытно. В декабре 1939 года Сталину исполнилось 60 лет. Думаю, что редакция, согласно нравам тех лет, постаралась получить международные отклики на эту дату. Но декабрьский номер «Интернациональной литературы» в этом смысле крайне беден. В нем дана статья Молотова, а также статьи и стихи трех писателей-эмигрантов, живших в Москве. Из-за рубежа прислал отклик только один автор — старый и наивный Мартин Андерсен-Нексё.

По этому поводу можно вспомнить, что, когда Маркса спросили, какой недостаток он скорее всего склонен извинить, он сказал: «Легковерие». К сожалению, некоторые зарубежные (и не только зарубежные) писатели этим недостатком страдали и отрешились от него не сразу.

В 1939 году состоялось страшное, черное, унизительное, позорное событие — пакт СССР о ненападении, а потом и о дружбе и границах с гитлеровской Германией. И широкие круги западной интеллигенции отвернулись не только от Сталина, но и от нашей страны. Этого нашего позора и Роллан не мог перенести. Лишь в дни Отечественной войны начался обратный приток симпатий к нам.

Во время действия пакта с гитлеровской Германией у нас был наложен запрет на антифашистскую литературу: от этого «Интернациональная литература» сильно побледнела — на многие годы оказался задержанным, в частности, замечательный роман Анны Зегерс «Седьмой крест». Но и в это время у журнала были свои выдающиеся успехи, достаточно назвать публикацию «Гроздьев гнева» Стейнбека. Весной 1941 года начал печататься роман Томаса Манна «Лотта в Веймаре» — у цензуры он не мог вызвать подозрений, ведь там идет речь «всего только» об одном эпизоде из жизни Гёте. Но в этом романе содержатся — во внутреннем монологе Гёте — размышления о немецком национализме, настолько гневные, что они впоследствии были процитированы в речи обвинителя на Нюрнбергском процессе... Поистине: гони политику в дверь, она влетит в окно!

Как известно, «Интернациональная литература» в условиях военного времени перестала выходить. После победы над фашизмом, казалось бы, самое время было восстановить ее. Но не тут-то было. Выход журнала возобновился лишь после смерти Сталина. Так было лучше.

В самом деле. Что бы было, если бы «Интернациональная литература» оказалась вынужденной реагировать на постыдное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград»? И если бы пришлось ей откликнуться на кампанию против космополитизма? Ведь было время, когда всякий серьезный разговор о западных литературах, всякая попытка задуматься над международными литературными связями оценивались как «низкопоклонство перед Западом»! Пожалуй, лучше, что наш журнал в это время не существовал.

Но когда на Втором съезде писателей, в декабре 1954 года, было оглашено приветствие ЦК партии и там было прямо сказано, что советские писатели могут «использовать ценный опыт» зарубежных друзей в борьбе за высокое художественное мастерство,— это было сенсационно радостное событие. Я помню то легкое движение в зале, которым были встречены эти слова. Они знаменовали открытый разрыв с литературной практикой предыдущих лет. И с практикой не только литературной.

Вот отсюда берет свое начало наш новый — или возобновленный на новой основе — журнал «Иностранная литература». Первый номер его вышел в июле 1955 года. Исходный тираж был сорок тысяч экземпляров, теперь он почти в десять раз больше — и это отнюдь не предел.

«Иностранная литература» имеет свою историю, не лишенную драматизма. Тут были и столкновения с цензурой, и навязанные нам публикации, и необъяснимые пробелы. Пример: роман Хемингуэя «По ком звонит колокол», одно из великих революционных произведений литературы XX века, несмотря на все старания покойного Бориса Рюрикова, не нашел себе места в журнале; в данном случае «телефонное право» оказалось сильнее логики. Роман вышел, но не в журнале, а в собрании сочинений Хемингуэя. В иных, и даже в довольно многих случаях, журнал запоздал со своими публикациями. Не говорю уж о догматической антитезе «реализма» и «модернизма», которая не раз вызывала перекосы в подборе произведений для печатания.

И все-таки были у «Иностранной литературы» и свои блестящие победы. Именно она впервые познакомила советских читателей и с Фолкнером, и с Кафкой, и с Бёллем, и с Грином, и с Кэндзабуро Оэ, и с другими выдающимися художниками, которые присутствуют здесь. В любых условиях коллектив журнала старался и старается честно делать свое дело. И никогда еще не было для этого столь благоприятных условий, как сейчас.

А. Адамович. Георгий Гачев сказал, что наилучший способ бороться с властью — это игнорировать ее. Превосходная формулировка, и дай нам бог дожить до тех времен, когда мы сможем ею руководствоваться на практике. Но мы погружены в такую реальность, когда власть всегда с нами — она в самой литературе, и та, что вне литературы, для нас сегодня менее тягостна, чем власть, которая вгнездилась в саму литературу. За благословенные годы сталинизма и досталинизма была создана целая армия псевдописателей, псевдолитература, которая, собственно говоря, и осуществляет власть над литературой.

В Америке (Гачев тоже заметил разницу в нашей ситуации и американской) я читал интервью Курта Воннегута. И поразился сходству наших эмоций. Правда, эмоции Воннегута направлены вниз, в читательскую толпу. Это протест против власти толпы, которая теснит таких писателей, как Воннегут или Сэлинджер, и делает их ненужными рядом с американской псевдолитературой — у них она возникает в результате власти толпы. У нас псевдолитературу создавали мичуринским методом, как бы прививая к литературе, спуская нам сверху партфункционеров, которые становились руководителями литературы и сами обильно и неудержимо начинали писать. У нас в Белоруссии в 30-е годы был такой Михась Климкович, пришедший в литературу из ЦК КПБ. Он видел, как все писатели — и настоящие писатели тоже — внимательно прислушиваются к любому его слову, трепетно прислушиваются. (Будешь прислушиваться, если половина писателей уже посажена, объявлена «нацдэмами», «врагами народа»!) И тогда у него появилось естественное чувство: если я могу их учить, даже Купалу, даже Коласа, почему я сам не могу писать? И он начал писать, стал драматургом и прозаиком. Вот таких «писателей» превеликое число возникло и в белорусской, и в русской, и в других литературах. Они заняли в основном руководящие посты, стали первым эшелоном литературы. Они заняли первые строчки в историях нашей многонациональной литературы, а уже где-то там Платонов, Булгаков, Ахматова, Заболоцкий — на втором плане. Это разлагающе действовало и на настоящих писателей. А почему бы им тоже не стать «первыми»? Хороший писатель Катаев сделал себя вот таким псевдописателем, «соцреалистом», и только к концу жизни стал просто писателем. Писатель Леонид Соболев начал хорошо — с «Капитального ремонта», но предпочел судьбу псевдописателя, да таким и умер.

Помнится, в жизнеописаниях двенадцати римских цезарей у Светония есть такой пассаж. Когда умирал очередной тиран, всех доносчиков сажали на судно без руля и ветрил и пускали в океан. Эти пропадали, но племя их все равно не изводилось. Когда умер Сталин, псевдописатели ничуть не потеряли уверенности, они не боялись, что их посадят на какую-нибудь баржу и отправят в Лету. И они не ошиблись: слишком силен был еще сталинский аппарат. Но изменилась ситуация, мы уже прошли через хрущевские оттепели, и вот сместили Хрущева, и как раз в этом здании, где мы беседуем сейчас, было писательское собрание. В президиуме сидят Леонид Соболев, Николай Грибачев и другие недобрые «гении» только что смещенного генсека, вся «секретарская» литература, рать, которая была изначально или стала псевдолитературой. Выступает Степан Злобин, автор зна-

менитого романа «Степан Разин». Он прошел через немецкий плен, через испытания ГУЛАГа. Он выходит на трибуну и, обращаясь к этим писателям, уже знавшим, что их очередного патрона, Хрущева, в руководстве больше нет (я не характеризую здесь самого Хрущева, а лишь ситуацию, когда всякого генсека плотно облепляли псевдописатели), и гневно бросает в президиум: «Вы, жадною толпой стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи!» Вскакивает Соболев и кричит: «Я не стоял толпою жадною у трона!» Николай Грибачев, который никогда не терялся (не теряется и сейчас), бежит куда-то испуганно в зал. Казалось, псевдолитература бросилась врассыпную, но напрасно она испугалась. И волос не упал с ее головы.

Совершенно другая ситуация возникла, когда началась горбачевская перестройка. Появился новый лидер, Горбачев, которому (им все еще казалось) можно служить, как служили прежде. Они все бросились к нему. Это можно было наблюдать на любых банкетах и собраниях: тут же стали предлагать свои услуги, чтобы славить лидера, воспевать и двигать перестройку. И вдруг Горбачев говорит: «А зачем нам скороспелые, поспешные романы о перестройке? Нам этого не надо». И не только слова это. Почувствовали наши всегда поспевающие к столу, что нет настоящей отдачи, благодарности от нового руководителя. И тогда стали возникать альтернативные связи литературы и руководства. Например, «ось»: Юрий Бондарев — Егор Лигачев. Двойной тягой взялись за прогрессивные издания: например, за «Октябрь». А до того силовой прием применен был к редактору «Литературной России». Жадная на власть псевдолитература стала искать своего хозяина. И, похоже, что нашла. Но изменилась ситуация внутри литературы. Литература стала уходить из-под власти псевдолитературы. Возник вдруг «Апрель», куда ушла значительная часть лучших писателей Москвы. Но тут сразу обнаружилось, что настоящие писатели не умеют играть в эти игры: в борьбу за власть. Вот бороться с властью они умеют. Они это показали. А бороться за власть с псевдолитературой и псевдосоюзом писателей они не умеют и не могут. Они буквально все проиграли. В Москве организуется специальное столичное издательство — они и там все проиграли. Но происходит главное: процесс разрыва литературы с псевдолитературой неизбежен. Псевдолитература — главный рычаг власти в литературе и над литературой, но эта власть кончается. Не получается абсолютной, как бывало прежде, полной поддержки у нового лидера, эта псевдолитература начинает ориентироваться на толпу, как и на Западе. Но им можно и не ориентироваться на читательскую толпу, хотя есть и такое. У нас своя специфика: у нас есть толпа писателей — тысячи.

Я помню, как мы поехали от Союза писателей на Дальний Восток. Нас было сто человек: так называемый «писательский десант», марковский. Кто придет слушать сто писателей? Если бы приехал один — Евтушенко, Астафьев, Айтматов, Распутин, Быков,— собирались бы аудитории. Но примчались сто писателей, все понимают, что это бюрократическое мероприятие. Людей приводили в зал (солдат, моряков) и оттуда не выпускали. Но не везде это удавалось, и тогда наши руководители поступили очень просто: в президиуме усаживались пять человек, а девяносто пять сидели в зале. И там и там — писатели. И вели беседу о наших успехах. Имея писательскую «массу», аппарат СП имеет возможность маневрировать (что и делает сейчас), чтобы сохранить власть псевдолитературы над литературой.

Но хватит о псевдописателях, расскажу о писателях. Когда-то писатель Альберт Швейцер высказал такую парадоксальную для нас мысль: нравственность выдающегося индивидуума, личности способна подняться выше нравственности общества. У нас же всегда было аксиомой, что есть какие-то нравственные императивы общества (нашего, конечно), до которых человек только может дотянуться. Швейцер говорил, что любое общество, даже идеальное, а тем более государство не может не приходить в столкновение с высшей нравственностью из-за практических своих целей. Мы убеждаемся сейчас в результате многих событий в нашей стране, особенно межнациональной розни, а точнее сказать, межнациональной резни, что и нравственность народа, когда он одержим страстями толпы, не всегда высшая инстанция. У нас в стране писатель сегодня очень серьезно испытывается дилеммой: соответствовать ли всегда и во всем чувствам своего народа или позволить себе подняться над ними, а то и отойти в сторону. Не всегда это удается. Мы можем прямо сказать, что мы в большой растерянности от того, что ни армянские писатели, ни азербайджанские не смогли подняться над страстями, которыми одержимы толпы на улицах их городов и сел. Даже разговаривать с братьями-писателями на эту тему невозможно: вы получите десятки гневных, оскорбительных писем, как получал Андрей Сахаров от азербайджанцев, Вячеслав Иванов от грузин, а если вы заденете нас, белорусов (то есть, не встанете на все сто процентов на нашу позицию), то получите и от нас, а если в абсолютной правоте киргизов усомнитесь, то вам, может быть, и Айтматов напишет. Или ты, Чингиз, не напишешь? Мы одержимы бесом слитности с массой своего народа, даже если он не во всем прав (в чем-то прав, но не во всем). Тем же испытывались когда-то немецкие писатели, и не все они выдержали это испытание. Я не провожу тут обидной параллели, но все-таки события кровавые и жестокие и у нас. И возникает проблема больших, настоящих писателей. Наши писательские баталии важны, но много и парадоксального, идущего от амбиций, самолюбий. В конце концов, не это характеризует нашу драму сегодня. Можно ходить и по разным сторонам улицы, как, скажем, ходят «Апрель» и Союз писателей РСФСР, это не так страшно. А вот как можно ходить по разным сторонам улицы с собственным народом, когда бес неприязни к другим народам вдруг начал овладевать некоторыми регионами? Когда даже писатели кое-где стали заложниками национальной нетерпимости в их республиках. Конечно, все объяснимо: нашим прош-

лым, сталинизмом, экономической ситуацией, мафиозностью правящих кланов. Но когда я по телевизору вижу детей и женщин, заживо сожженных в Фергане, любые объяснения моего друга-писателя, что это имеет какие-то объяснения в безработице и тому подобном, для меня так же неубедительны, как если бы мне немецкий писатель объяснял, почему немецкий солдат зверствовал в годы войны в Белоруссии, требовал бы от меня «объективности», ссылаясь на Версальский грабительский договор....

Конечно, сейчас мы далеко ушли от давления власти сверху, но давление власти сбоку, со стороны псевдолитературы, псевдописателей остается, а кроме того, мы сейчас под давлением власти страстей, которые раздирают наши народы, и эта проблема драматичнее и трагичнее, чем проблема борьбы просто с государственной властью.

От редакции

К сожалению, на нашу дискуссию не смог приехать член Международного общественного совета «ИЛ» Грэм Грин. С согласия писателя мы публикуем его речь «Добродетель нелояльности» — ее проблематика вполне соответствует теме «круглого стола».

Грэм Грин

ДОБРОДЕТЕЛЬ НЕЛОЯЛЬНОСТИ

(Речь, произнесенная 6 июня 1969 года, по случаю присуждения Гамбургским университетом Шекспировской премии)

Предмет, на котором я сегодня остановлюсь,— добродетель нелояльности — вряд ли, думаю, понравился бы самому поэту.

Если когда-либо существовал великий поэт-охранитель, певец того, что мы называем установленным порядком вещей, то это прежде всего Шекспир. Свое поэтическое воссоздание английской истории он начал с Генриха VI, с эпохи, столь же близкой его времени, как, скажем, для нас — война 1870 года, а потом стал отступать все дальше вглубь, удаляясь от опасного настоящего, от Англии гонений и казней, уходя в более надежное прошлое. Отец Шекспира был католиком и не отрекся от своей Церкви. Однако в произведениях Шекспира я нашел лишь одну-единственную стихотворную строку (из его сонетов), которая выражает неприятие Реформации [1],— к тому же метафора эта может быть интерпретирована и по-иному:

На хорах, где умолк веселый свист[2].

Одно слово звучит лейтмотивом в ранних произведениях Шекспира, слово это — «мир». Идеал, к которому Власть всегда призывает в политически смутные времена:

Чтоб божий тихо спящий мир нарушить[3].

Тебя, что в бедном мире мир разрушил[4].

Мир — как ностальгия по утерянному прошлому: такой мир, который для Шекспира — словно для колониального администратора в отставке — ассоциируется с твердой рукой правительства:

Мир предвещает тишину, любовь,
Власть справедливую и к ней почтенье[1].

Порой, когда он высмеивает бедного Джека Кейда и его взбунтовавшихся крестьян, этот поэт-буржуа, мечтавший о фамильном гербе и доме в Стратфорде, вызывает у нас негодование. Даже великие трагедии, где блистательная поэзия сглаживает остроту обличений, утомляют нас неизбежностью благополучной развязки, когда вместе с появлением какого-нибудь Фортинбраса, Малькольма или Октавия Цезаря восстанавливается порядок. А нас в такой момент подмывает вернуть самому писателю предостережение, обращенное к Антонио из «Венецианского купца»:

Печетесь слишком вы о благах мира;
А тот, кто покупает их избытком
Своих забот,— на деле их теряет[2].

Шекспир, безусловно, величайший из поэтов, но время, в которое мы живем, такое же тревожное, как и его эпоха,— время смерти тиранов и время шпионов, убийц, заговоров всякого рода, камер пыток,— и потому порой нам ближе разъедающий гнев Данте, отвращение к себе Бодлера, богохульство Вийона: поэты, которые осмелились выражать свои чувства без оглядки на опасность, а опасность была реальной. Первый был награжден за это ссылкой, второй — судебным процессом, а третий, быть может, веревкой виселицы.

Вспомним теперь о судьбах писателей нашей эпохи: Пастернак, Даниэль, Синявский, Гинзбург, Солженицын в России[3], Роа Бастос, бежавший из Парагвая, Георгос Сеферис, смело поднимавший голос протеста в Греции. В этом почетном списке имя Шекспира не могло бы появиться. И все-таки... Все-таки мне хотелось бы верить, что, проживи он чуть дольше, он бы в этом списке не отсутствовал.

Несколько искусственная проблема принца Датского к концу начинает надоедать (смерть отца и измена матери не являются тем непосредственным жизненным опытом, который мы с легкостью можем соотнести с собственным). Маловероятно, что молодой кандидат в самоубийцы наших дней размышлял бы — с виттенбергским хладнокровием — над дилеммой «быть или не быть». Но вот в последних произведениях Шекспира мы услышим тот же гнев, что у Данте и Вийона, в словах двух его персонажей, которые для меня сливаются в единое существо: Тимон-Калибан.

Да, говорить ты научил меня —
Чтоб проклинать я мог[4].

---

[1] Акт о супрематии, 1534 г., провозгласил монарха главой англиканской церкви; связи с Римом были окончательно разорваны, монастыри упразднены, церковные земли конфискованы. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] 73-й сонет; перев. С. Маршака; букв.: пустые, разоренные хоры, где когда-то пели птицы.

[3] «Ричард III», акт I, сц. 3, перев. Анны Радловой.

[4] Там же.

[1] «Укрощение строптивой», акт V, сц. 2, перев. А. Курошевой.

[2] «Венецианский купец», акт I, сц. 1, перев. И. Б. Мандельштама.

[3] В течение почти двадцати лет Грэм Грин, как известно, запрещал печатать свои произведения в Советском Союзе в знак протеста против преследования писателей за их творчество.

[4] «Буря», акт I, сц. 2, перев. Т. Щепкиной-Куперник.

Если бы только Шекспир прожил еще хоть несколько лет, чтобы мы смогли увидеть, как этот великий поэт истеблишмента в конце концов выберет сторону нелояльных, таких как поэт Саутвелл, осужденный по пресловутому обвинению в измене, сторону всех тех, кто по самой природе своего призвания всегда будет «разрушать мир в бедном мире»,— Золя, писавшего «Я обвиняю», Достоевского, ожидавшего казни, Виктора Гюго, вслед за Данте отправившегося в ссылку, русских писателей в исправительно-трудовых лагерях. Трудно не увидеть нравственного превосходства того, что власти объявляют нелояльностью, над верноподданническими сантиментами, выраженными устами неправдоподобного Джона Ганта:

Счастливейшего племени отчизна
Сей мир особый...[1]

Мы помним эти строки со школьной скамьи:

Англия, священная земля,
Взрастившая великих венценосцев[1].

Дышащие самодовольством строки эти были опубликованы в 1597 году. За два года до того Роберт Саутвелл, брат Шекспира по поэзии, был повешен после трех лет пыток. Если бы Шекспир оказался среди таких изменников, он стал бы — как человек — нам еще дороже.

Государство всегда было заинтересовано в том, чтобы отравлять самые истоки человеческой психики, разжигать распри, всячески препятствовать возникновению чувства общности всех людей. Легче управлять, когда люди кричат друг на друга: Папист, Галликанин[2], Фашист, Коммунист. Но человек, избравший профессию повествователя,— разве его долг не в том, чтобы стать адвокатом, пусть даже дьявола, чтобы пробуждать сочувствие, понимание тех, кто вышел за пределы одобренного Государством? Истинное призвание побуждает писателя быть протестантом в католической стране, католиком — в протестантском обществе, в коммунистической стране уметь видеть достоинства капитализма, а в капиталистической — коммунизма. «Мы должны защищать от несправедливости даже своих врагов»,— утверждал Томас Пейн.

Если бы только писатели умели сохранять уникальное достоинство, каким является нелояльность — для них более важная добродетель, чем жизнь в любви,— против посягательств внешнего мира! Всякого рода почести — хотя бы вручение этой премии,— покровительство Государства, успех, уважение коллег — все это незаметно начинает подтачивать вашу независимость: не следует рисковать домом в Стратфорде. Бывает и так, что писатель связывает себя лояльностью по отношению не к какой-либо Церкви или Государству, но идеологии собственного изобретения, разработанной до мельчайших звеньев, во что бы то ни стало пытается сохранить ее целостность. Писатель же должен чувствовать себя готовым в любую минуту переменить сторону. Он всегда защищает жертву, а жертва не всегда остается таковой. Лояльность ограничивает вас общепринятыми мнениями, сужая способность к сопереживанию, к сочувствию вашим братьям-диссидентам; нелояльность, напротив, побуждает вас исследовать духовную жизнь любого человека, она обогащает восприятие романиста.

Я не ратую за пропаганду, какие бы цели она перед собой ни ставила. Пропаганда занимается тем, что привлекает симпатии к определенной стороне: той, которую автор считает правой. И тогда он в свою очередь отравляет воды источника. Но задача романиста — перевоплощаться в каждое человеческое существо, будь то невинный или виновный,— да простит меня Бог, я сам могу им оказаться.

Насколько мы расширим чувство общности наших читателей, настолько же мы ослабим давление Государства. Быть скребущей песчинкой в государственном механизме — в этом наш подлинный долг перед обществом. Каким бы терпимым ни показалось на первый взгляд отношение советского государства к Достоевскому, Толстому, Тургеневу, Гоголю, Чехову, великие русские классики неуловимо препятствуют вербовке русского духа или хотя бы ограничивают ее. Невозможно думать о братьях Карамазовых в классовых категориях или произносить гневные речи о кулаках, когда вспоминаешь похождения героя «Мертвых душ»,— разве эти персонажи не разрушают чувство ненависти? Раньше или позже трубный зов лоялизма, призывы к социальной ответственности, обещания материальных благ для большинства неизбежно начинают звучать слабее, и тогда, быть может, в нашей памяти оживут долгие бесцельные беседы под луной об искусстве и жизни, стук бильярдных шаров, полуденный зной того месяца в деревне.

В самые черные дни нашей эпохи крупнейший немецкий богослов оказался перед выбором между лояльностью и нелояльностью. «Перед немецкими христианами,— писал он,— встает ужасная альтернатива: в чем состоит их долг — в том, чтобы желать поражения собственной стране ради выживания самой христианской цивилизации, или в том, чтобы желать национальной победы и, следовательно, всеобщего краха цивилизации. Я знаю, какой выбор следует сделать мне».

Дитрих Бёнхоффер выбрал виселицу, как когда-то наш поэт Саутвелл. Поэтому для писателя он больший герой, чем Шекспир. Самой глубокой трагедией, пережитой Шекспиром, была его собственная: невидящий взгляд — за фамильный герб, благоразумные речи — за милость Двора и лучший дом в Стратфорде.

Перевод с английского Т. ЛАНИНОЙ.

[1] «Ричард II», акт II, сц. 1, перев. Мих. Донского.

[2] Галликанство — движение, добивавшееся автономии французской католической церкви от папства (Эти идеи были выражены и в выступлениях на 2-м Ватиканском соборе 1962—1965 гг.)

Ч. Айтматов. Разговор наш, видимо, подходит к концу. По-моему, он был достаточно свободным, содержательным и плодотворным — позвольте поблагодарить всех выступавших за этим «круглым столом».

А теперь — несколько слов в заключение. В своем творчестве, в своем святом предназначении художник остается художником, он все-таки остается тем, кем рожден,— если он действительно рожден для этой миссии. Его независимость не следует понимать однозначно, как полный уход, полное игнорирование реальности или полную оппозицию. Хотя так может быть — не отрицаю. Независимость духа, независимость творчества, независимость конечной творческой цели, независимость в движении к этой цели — вот, мне кажется, главное, что должно отличать художника перед лицом своего времени, перед лицом власти и народа.

Мне представляется, что нам удалось рассмотреть проблему «художник и власть» многосторонне, в самых разных срезах и аспектах. Государство и художник, диктатор и художник — это все реалии нашего времени, это все касается нас. Иные из нас успели даже написать произведения на тему афганской войны, причем однозначно оправдывая ее. Это ведь мы, наши современники, это ведь мы оправдывали афганскую авантюру — никто иной! И это тоже одна из форм зависимости, или одна из форм сотрудничества, одна из форм верноподданничества. Думаю, что сейчас наступает время по-новому взглянуть на проблему конформизма. Ведь она имеет многие оттенки, многие грани.

Мы знаем, что Восток и Запад — это современные исторические реалии. И между ними — хотим мы того или нет,— между этими системами мы находимся и должны это глубоко осмыслить.

И еще одна «сверхзадача» — выживание человечества. Этот вопрос также имеет свои оттенки, свои альтернативы, я бы даже сказал — свой диктат.

Художник во всяком случае обязан решить для себя, в какой роли, с какой миссией он должен выступать, учитывая современное состояние нашего мира. Советская литература, российская литература — в этом смысле святая литература, великомученица. Великомученица потому, что пыталась взять на себя непосильную ношу. Ведь народ всегда апеллировал к литературе, почему она и оказалась у нас такой: с одной стороны, служила властям, с другой — аккумулировала в себе народные проблемы, народные горести, страдания, отсутствие свободы, отсутствие свободы личности... Так создавался определенный тип литературы — советская литература, заключающая в себе, в подтексте, гораздо больше, чем видно на поверхности....

Все чаще я думаю, что помимо необъятной, бесконечной, так сказать, физической вселенной существует некая «вторая вселенная». Эта вселенная — наш внутренний мир, а он беспределен. И в этом, мне кажется, бессмертие человеческого духа. Каждый из нас — это целый мир, «вторая вселенная». Какой простор для художника развернуться! Выразить себя со всей полнотой, если это ему дано! И даже если не дано, все равно «вторая вселенная» — наше великое достояние; обладая им, мы можем понимать друг друга, она же связывает всех нас воедино и в планетарном, глобальном масштабе. И может быть, когда-нибудь, хотя бы в отдаленной перспективе, мы примем как постулат, что мир не должен жить, испытывая очередные катаклизмы, катастрофы, войны, уничтожения, что человек не должен быть жертвой насилий ни у себя дома, ни за пределами своей страны. Мы на пороге новой, постиндустриальной цивилизации. Может быть, нам откроются и новые духовные горизонты. То, что я позволил себе назвать нашей «второй вселенной».

Публицистика

Тема для дискуссии:
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ

Переписка ГЕНРИХА БЁЛЛЯ с АНДРЕЕМ САХАРОВЫМ

Кёльн, 30 мая 1979 г.

Дорогой Андрей!

Недавно Клаус Беднарц задал мне по телефону Ваш вопрос о моем отношении к атомным станциям, и я ограничился коротким и категорическим «нет», поскольку времени на разговор не было. Теперь я хочу написать Вам об этом подробнее, не как специалист, но как думающий современник, который — не сумев стать специалистом — все чаще оказывается в роли верующего или неверующего, когда речь заходит об атомных станциях. Да ведь и специалисты, как продемонстрировали слушания в Ганновере, разделились на два лагеря, и для каждого встает вопрос: кому же верить? Конечно, я ничего не имею против собственно атомной энергии — кто же будет возражать против такой полезной вещи, как энергия! — но атомные станции действительно представляют собой угрозу, да еще к тому же вовсе не доказано, что мы нуждаемся в большем количестве энергии. По этому пункту у ученых тоже есть разногласия, а я снова оказываюсь в положении верующего.

Я думаю, что ключевое слово дебатов об энергии — это слово «прогресс», экономический прогресс, и если сказать Вам, что наш совокупный прогресс в прошедшие годы концентрировался в основном в области автомобилестроения и строительства дорог (а обе сферы требуют, как Вам известно, огромного количества энергии), не вызывает ли это у Вас скептицизма? В США, как я недавно узнал, 154 миллиона машин, у нас — всего 25 миллионов: огромная змея, постоянно пожирающая себя самое, а для такой страны, как Федеративная Республика, это гораздо опаснее, чем для США или СССР, это ведет к превращению всей нашей земли в сплошное шоссе — а ведь у нас ее и без того мало! — это ведет к тому, что каждый день поглощается кусок земли величиной с два футбольных поля. Строительство дорог, раньше бывшее актом культуры, теперь превращается в акт антикультуры: машины требуют дорог, дорога поглощает ландшафт — и это называется прогрессом. Я мог бы сообщить Вам подробности из моего собственного опыта, которые заставят Вас схватиться за голову: чтобы сэкономить пятидесяти автомобилистам объезд, занимающий четыре-пять минут (это статистические данные!), прокладывают шоссе прямо через одну из последних прекрасных, нетронутых долин, которая является местом отдыха для жителей близлежащих больших городов Кёльна и Аахена. Подобных примеров очень много — и для этого тоже нужна энергия, тогда-то и получается прогресс (лично я подозреваю, что мы в один прекрасный день задохнемся от машин, и уж несомненно это произойдет в городах, где уже сейчас пешеход или велосипедист передвигается быстрее, чем человек за рулем).

Но если я сомневаюсь в необходимости «прогресса» такого рода, в необходимости энергии для таких целей, то при мысли о проблемах безопасности мне становится попросту страшно. Техника безопасности — это такая штука, при которой вероятность несчастного случая, может быть, и мала, но Вы ведь знаете, что ничтожная вероятность не является гарантией и что теоретически техника безопасности не исключает человеческие ошибки (в США целая атомная станция вышла из строя, потому что кто-то при ремонте оставил не в том месте горящую свечу, которая прожгла кабель). Я прошу Вас задуматься над проблемой, которая не существует ни в США, ни в СССР, но только в Западной Европе: это — наша теснота. Пожалуйста, дорогой Андрей, возьмите в руки карту Европы и отыщите место, где планируется построить реактор «Калкар» (это примерно сто километров к северу от Кёльна), отмерьте циркулем расстояние всего лишь в 150 километров и обведите кружок вокруг этого «Калкара» — в Вашем кружке окажутся Роттердам, Амстердам, Кёльн, Брюссель, Ганновер, Дортмунд, то есть почти вся Рурская область, большая часть Голландии и Бельгии, густо населенные промышленные районы Западной Европы, примерно 20—25 миллионов жителей, которым некуда эвакуироваться. А что будет, если Вы отложите циркулем 300 километров! И даже если несчастный случай внутри самой станции представляется почти невероятным (но все же не исключенным полностью), то уж для безопасности за ее стенами не существует и вовсе

21 мая 1990 года Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 69 лет, и эту публикацию в майском номере «ИЛ» мы посвящаем его памяти.

никаких гарантий, особенно если принять во внимание постоянно переполненные гражданскими и военными самолетами воздушные коридоры! Не случайно о «почти катастрофах» говорят как о чем-то само собой разумеющемся. Я очень прошу Вас принять во внимание это отсутствие пространства. У нас тут жуткая теснота.

К этому еще добавляется проблема необходимой полицейской охраны — от саботажей и террористических актов: для этого понадобится охрана, которая приблизит нас — и не только немцев — к тотальному полицейскому государству. Но ведь вы, русские и советские люди, мыслите совсем другими масштабами! Разумеется, от Бреста до Владивостока расстояние больше, чем от Касселя до Кале!

И, дорогой Андрей, Харрисбург был вовсе не так уж безвреден: выяснилось, что никто толком не знал, что там на самом деле произошло, и никто не знал, что делать,— так что пришлось всерьез задуматься об эвакуации примерно миллиона человек.

Я всерьез спрашиваю себя, уж не путают ли на Западе прогресс с выгодой (прогресс — для кого? выгода — для кого?). Для миллионов людей было бы естественно желать прогресса, который выражался бы в росте безопасности, дохода, даже потребления, даже количества машин (у меня нет против этого никаких идеологических возражений, я только вижу, как регулярно пожирается наш маленький ландшафт, и всякому в нашей стране известно, что наши реки стали каналами сточных вод, что Рейн, наш восхитительный Рейн, превратился в клоаку, и Вы тоже знаете, сколько охлаждающей воды вытекает из рек и сколько теплой воды снова втекает в них). Не подумайте, кстати, что те, кто в нашей стране выходят на улицу на демонстрации протеста, это сплошные «левые» или «коммунисты», которые, впрочем, тоже имеют право на землю своей страны — это вполне консервативные молодые крестьяне, которым мешают вести нормальный образ жизни!

По этим причинам я выступаю не против атомной энергии «вообще», но против строительства атомных станций здесь, в этом районе, и сомневаюсь насчет «идеологии прогресса», которая определяется почти исключительно одними машинами.

Я уже сказал Клаусу Беднарцу, что Вас здесь использовали в «Ойе цюрихер цайтунг» как рекламу строительства атомных станций (в прошлом году я сам видел такое объявление на целую страницу, составленное из Ваших высказываний). А Вы ведь знаете, каким авторитетом Вы пользуетесь у нас. Я не сомневаюсь в точности Ваших научных познаний и суждений на тему ядерной энергии, но существует опасность, что Вашими высказываниями злоупотребляют — и не потому, что хотят осчастливить человечество новым видом энергии, но из стремления к извлечению выгоды любой ценой. Вот ведь и «диссидентов» тут тоже превращают в некий объект коммерции и злоупотреблений. И я прошу Вас, глядя на карту Европы, задуматься не только о внутренних причинах — о географических понятиях, расстояниях, надежности реакторов, но также и о внешних, о технических, о проблемах безопасности и — я позволю себе употребить метафизическое понятие «непредвиденного», которое я не хочу называть «случайностью»: «предвидение» — это одно, непредвиденное, непредсказуемое — другое.

Доводы специалистов — и данные о резервах энергии — настолько противоречивы, что я — повторяю — оказываюсь в роли «верующего», который видит, что происходит с землей, который носом чует, что течет из уже имеющихся заводов, когда по ночам (они спускают отходы только по ночам!) едет на машине, и — если бы Вы могли хоть раз окунуть палец в Рейн, по берегам которого я так часто гуляю!

Признаюсь Вам, что во время предстоящих выборов буду голосовать за «зеленых», а не за какую-либо другую партию. В партии зеленых состоят два моих друга — Йозеф Бейус и Карл Амери (написавший лучшую, на мой взгляд, книгу о «прогрессе» «Конец предвидения — безжалостные итоги христианства». Я Вам ее перешлю или привезу в следующий раз). Конечно, никакая социалистическая страна не потерпит демонстраций против атомных станций, а коммунисты, которые выходят на демонстрации здесь, числятся среди шизофреников, но неужели действительно энергию следует выдавать любой ценой?

Я очень надеюсь увидеть Вас летом в Москве и продолжить этот разговор. Целую и обнимаю Вас, привет Вашей жене. Моя жена передает приветы Вам обоим.

Всегда Ваш
Генрих Бёлль

Дорогой Генрих!

Постараюсь ответить на Ваши аргументы.

Я не согласен с оценкой роли прогресса (роста) как в основном разрушительного фактора жизни общества. (Вы не сказали этого, но я позволю себе заострить Вашу позицию, чтобы лучше прояснить свою.) Прогресс снимает остроту распределения материальных благ (питания, одежды, жилья, возможности отдыха и лечения, материальных основ — книг, радиоприемников, средств транспорта). В этом смысле прогресс демократичен и несет освобождение всем людям — конечно, в каждый данный момент относительное и неполное. В чьих при этом руках капитал, являющийся средством расширенного воспроизводства,— вопрос относительно второстепенный. Естественно, что каждый хочет иметь (используя Ваш пример) свой автомобиль, дающий невиданную в прошлом свободу передвижения, это демократично. Я думаю, что тот ущерб, который несет при этом ландшафт, конечно, очень печален, но не столь трагичен, как Вы изображаете. Законодательные меры охраны ландшафта рано или поздно создадут в этом вопросе какое-то равновесие, и я не беспокоюсь, так как уверен, что демократическое общество позаботится об этом, это тоже будет в демократических традициях. В частности, я уверен, что Ваша свободная от правительственного диктата пресса поможет защитить интересы большинства. Я знаю, как настороженно Вы относитесь к прессе, но это как раз то,

чего так не хватает нам в нашей стране. Возвращаясь к теме прогресса вообще, я не могу не отметить, что именно он продлил в развитых странах жизнь человека почти вдвое за последние несколько десятилетий — за счет лучшего питания, жилья, прививок, антибиотиков и многого другого. Пользуясь всем этим, нельзя забывать, что прогресс представляет собой единый процесс.

Технический прогресс (не только количественный, но и качественный) зависит от энерговооружения (расхода энергии на душу населения). Несомненно, можно и нужно улучшать структуру энергобаланса (больше более дешевой тепловой энергии за счет уменьшения доли дорогой электроэнергии, например для целей отопления), можно и нужно поощрять менее энергоемкие производства, с применением более уточненной технологии. Но все это *детали*, которые не могут изменить общей закономерности, математически выражающейся в виде пропорциональности национального дохода энерговооруженности.

В особенности я хочу подчеркнуть совершенно недопустимые последствия попыток ограничения развития энергетики в реальной современной обстановке. Это прекрасно иллюстрируется последствиями энергетического кризиса семидесятых годов — в первую очередь пострадало производство минеральных удобрений и тем самым производство продовольствия в мире, увеличилась угроза голода, уменьшились возможности помощи менее развитым странам, увеличилась угроза политической независимости Запада.

Развитие ядерной энергетики в ближайшие десятилетия станет абсолютной экономической необходимостью, по мере истощения запасов нефти и газа и их удорожания. Другие, так называемые «мягкие» источники энергии — солнечная энергия, гидростанции, геотермия, использование приливов и т. п. — не в состоянии полностью решить энергетическую проблему. Угольные электростанции наносят (на единицу производства энергии) гораздо больший вред среде обитания и за счет аварий, профессиональных болезней горняков и отравления воздуха уносят гораздо больше человеческих жизней, чем ядерная энергетика. Преимущество ядерной энергетики — меньшая объемность отходов. Гораздо легче справиться с несколькими килограммами радиоактивных отходов, чем с тысячами тонн топочных газов, содержащих двуокись и окись углерода, сернистый газ, окись азота, канцерогенные вещества. Реально ядерная энергетика уже сейчас безопасней и безвредней тепловой, и этот разрыв будет только увеличиваться. Опасения ядерных аварий — крайне преувеличены. Ядерный реактор — не бомба. Утечка радиоактивных веществ из него всегда будет иметь ограниченный характер. Примеры аварий в США только подтверждают это (к слову сказать, не была ли последняя авария следствием диверсии?).

Сейчас на Европу нацелены сотни советских ракет с ядерными боеголовками. Вот реальная опасность, вот о чем надо думать, а не о том, что вахтер на АЭС нарушит чьи-то демократические права. Европа (как и Запад в целом) должны быть сильными в экономическом и военном смысле и независимыми в политическом отношении. Если Европа будет критически зависеть от советских или арабских нефтепоставок, то о политической независимости не может быть и речи. Возникает реальная угроза свободе Запада. Нельзя не учитывать, что в СССР ядерная энергетика несомненно будет интенсивно развиваться в ближайшие десятилетия. Если в то же время Европа наложит на себя добровольные путы отказа от ядерной энергетики, то это приведет к потере экономического равновесия между Востоком и Западом и рано или поздно обречет Европу на общее отставание. Каковы будут последствия этого унижения? Унижения Версальского мира явились одной из причин выхода на политическую арену Гитлера (об этом мне на днях напомнил Е. А. Гнедин). Что может произойти сейчас, в частности в Германии? Боюсь, что возможны большие неожиданности. Пятьдесят лет назад рядом с Европой была сталинская империя, сталинский фашизм, — сейчас советский тоталитаризм. Хотя наша система стала менее жестокой, но она по-прежнему остается потенциально опасной для соседей. Я убежден, что, обсуждая свое отношение к ядерной энергетике, нужно мыслить в этих широких масштабах, учитывая трагичность стоящих перед миром проблем.

По складу характера мне гораздо легче переписываться, чем говорить. Однако простите, что я даю Вам второй экземпляр. У меня оказалась очень плохая лента.

28 июля 1979 г.

Андрей Сахаров

Андрей Дмитриевич всегда считал, что ядерная энергетика (если не сейчас, то в будущем) абсолютно необходима человечеству. Однако со временем, особенно после катастрофы в Чернобыле, он стал придавать все большее значение совершенствованию безопасности реакторов и ядерной энергетики в целом. В своем выступлении на форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества» в феврале 1987 года Андрей Дмитриевич говорил о необходимости размещения АЭС под землей. Это явилось бы гарантией безопасности на случай аварии, военных действий, террористических актов. Кроме того, он напомнил, что реактор служит в среднем 30—40 лет и работы по его захоронению стоят очень дорого. А при размещении АЭС под землей эти затраты будут минимальными, что компенсирует стоимость подземного строительства. Андрей Дмитриевич также считал, что по мере строительства подземных АЭС все станции наземного размещения будут постепенно демонтироваться. Он был убежден в необходимости принятия международного закона об обязательном размещении ядерных реакторов под землей

Публикация и послесловие Е. Г. БОННЭР

Вера и мораль

К. С. ЛЬЮИС

ХРИСТИАНСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

■

Перевод с английского И. ЧЕРЕВАТОЙ

Клайв Стейплз Льюис и «просто христианство»

— Почему вы пришли ко мне? Я должен предупредить, что я убежденный протестант.

— Я очень люблю убежденных протестантов,— сказал отец Браун.

Г. К. Честертон

Этой публикацией журнал начинает как бы новый раздел — размышления о вере представителей разных вер [1]. Точнее было бы сказать: разных вер и разных исповеданий одной веры, христианства. Но и это не совсем точно, по нескольким причинам. Прежде всего, мало-мальски сведущий читатель может сказать, что «верой» мы вправе назвать лишь христианство, ислам, иудаизм; можно ему и возразить: да, это — веры «сынов Авраамовых», тут единобожие, Бог-Личность, Бог-Творец, но ведь и прочие цивилизации **верят** пусть не в Кого-то, так в кого-то или во что-то.

Второе уточнение печальней: далеко не все признают единое христианство. Чаще всего — если бы только на бытовом уровне! — христианством считают лишь свою конфессию. Так, в Москве спрашивают: «Вы христианка или католичка?»; в Литве: «Вы христианка или православная?» (позже скажу о том, что современное, так называемое послесоборное, католичество считает такой вопрос в лучшем случае бессмысленным).

Христианских богословов много, среди них есть поистине великие, есть и просто хорошие. В нашем веке, например, замечательны католик Жак Маритэн, протестант Карл Барт, православный Георгий Федотов. Последнее имя сразу вызывает в памяти другие — а Булгаков, а Бердяев, а Флоренский? Я назвала не самых-самых лучших, это было бы очень трудно, просто привела примеры. Но не случайно, как бы терпимы эти богословы ни были, я определила конфессию. Маритэн именно католик, томист и т. д. Когда мы обратимся к тем, кого называли иногда «религиозными журналистами», а можно назвать апологетами — скажем, к Честертону,— конфессия тоже чрезвычайно значима. Ничего страшного в этом нет, если ты не презираешь других; но лучше всего, по-видимому, предоставить первое слово человеку, который подчеркнуто ставил во главу угла «просто христианство».

Вернемся, однако, к тому, с чего мы начали. Публикации наши — не религиозная проповедь, хотя такая проповедь очень нужна. Сейчас и здесь мы решили познакомить читателей со свидетельствами людей, серьезно думавших об истине и добре — серьезно, но по-разному. Люди эти вообще думали немало; что-то нашли, чему-то поверили, делятся найденным. Естественно (и немаловажно), что свидетельства их — «литературные памятники», хотя бы потому, что хорошо написаны. Но еще важнее, что это — памятники нравственные, опыт тех, для кого истина и добро выше всего на свете.

Примерно год тому назад в «Вопросах философии» был напечатан трактат о любви английского филолога и мыслителя Клайва С. Льюиса (1898—1963). До этого у нас Льюиса почти не знали; в Англии же и в других странах, особенно англоязычных, известность его неуклонно возрастает. Написал он много. Филологических книг мы сейчас касаться не будем, а другие — это трактаты («Страдание», «Чудо», «Размышления о псалмах»), притчи («Письма Баламута», «Расторжение брака», «Кружной путь»), четыре романа, несколько рассказов, семь сказок, составляющих цикл. Подробную библиографию читатель найдет в примечаниях к трактату «Любовь» («Вопросы философии», № 8, 1989), там же найдет он и биографические сведения. Сейчас наша тема иная.

В трактате Льюиса о любви есть глава, где он рассуждает о патриотизме — от самых бесспорных и добрых его проявлений

[1] Следующий материал рубрики «Вера и мораль» будет опубликован в «ИЛ», № 9: главы из книги главного раввина Румынии Мозеса Розена «Уроки Библии».

до жестоких, жесточайших. Страницы эти очень важны сами по себе; но здесь, теперь нас непосредственно касается одна, завершающая. Льюис пишет: «Понятно, что все это может относиться и не к стране (...) Может относиться к тому, что выше естественной любви,— к Церкви, к одной конфессии, к монашескому ордену. Это страшно, и об этом надо бы написать другую книгу». Прямо так: «страшно». Многие ли решатся это сказать?

Именно потому, что он это сказал и думал, слово его особенно уместно, когда читателю предстоит услышать свидетельства разных конфессий, более того — разных религий. Многим покажется, наверное, что это недопустимо. Льюису так не казалось.

Он заметил и несколько раз написал, что ему легко беседовать и переписываться с теми, кто прежде всего «радуется о Боге» и доверился Ему; тогда и общение полно радости и доверия. Поистине, тут «радость узнавания» — в той же книге о любви Льюис пишет, что дружба начинается с вопроса: «Как, и ты тоже?» А трудно бывает с «религиозными людьми». Одну из глав трактата о чуде он назвал «Христианство или религиозность». Второе понятие для него примерно соответствует и тому, что зовется фарисейством, и тому, что зовется мнимой духовностью.

Сейчас, когда так внезапно стали рассказывать и писать о вере, возникли по меньшей мере две опасности. Первая была всегда и везде, у нас ее не было не от хорошей жизни: если ты не сам выстрадал веру, она может оказаться некрепкой, хуже того — может оттолкнуть как раз очень искренних, глубоких людей. Но тут ничего не поделаешь. Искусственно создавать катакомбы ради вящей «окупленности» так же нелепо, как утяжелять жизнь художника или писателя. Мучение — это мучение, страх — это страх, и очень хорошо, когда их нет. Бороться надо бы с другой опасностью: неверующие люди увидели и услышали верующих — и несколько удивились. Больше всего, быть может, удивила их нетерпимость друг к другу.

Чтобы уберечь хотя бы от этого соблазна, Льюис подходит как нельзя лучше. Прежде всего, он не был нетерпим к неверующим. Он глубоко почитал своего учителя Керка, вообще высоко ценил благородство и совесть в любом человеке (об этом см. подробнее в предисловии к «Любви», а у Льюиса, из напечатанного у нас — в трактате «Человек отменяется», реферативный журнал ИНИОН, 1989). Однако сейчас и здесь важнее другое: он умел видеть христианство не в разделенности его, а в целостности.

Ему было нетрудно смотреть так — он очень хорошо помнил, каким единым и поразительным оно было для него, когда он еще не обратился. Во многих трактатах он подчеркнуто защищает не какое-то одно исповедание, скажем, «англо-католичество», к которому он принадлежал,— а «просто христианство».

Например, в эссе «О старых книгах» он посвящает полторы страницы рассказу о том, каким особенным и цельным казалось ему христианство извне. Он уверяет, что многие, почти все, не отличат отрывка из Аквината от проповеди англиканина Хукера. Словом — то, что объединяет конфессии, гораздо весомей, четче, поразительней, чем то, что их разделяет.

Нетрудно чувствовать так и в совсем другом случае: если человек, веря в Бога с детства, живет среди лишенных или лишившихся веры. Я помню, как в 30-х годах почитали друг друга православные и евангелисты. Помню, как обрадовалась сама, когда в конце 50-х, в Литве, увидела маленькую улицу, где люди стояли на коленях перед Остробрамской Божьей Матерью. Тогда я еще не слышала, как часто представители одной конфессии отказывают всем другим в имени христиан. Спешу обрадовать читателя: услышать это от нынешних католиков он может, но католичества такого теперь нет. Что до православных, тут уж как кто. Слава Богу, от очень многих вы такого не услышите.

Беседы по радио, составившие позже книгу под вызывающим названием «Просто христианство» (1952), не лучшее, что создал Льюис, но начинать лучше всего именно с них. Это — чистейшей воды апология, защита христианства перед неверующими, и христианства в е г о ц е л о с т н о с т и. Здесь мы публикуем только часть бесед, ту, что касается поведения. Слово это Льюис выбрал очень точно — именно «поведение», а не «убеждения» или «идеалы». Существует понятие «проповедовать жизнью»—жить так, чтобы каждый поступок, самый мелкий, становился свидетельством. Стоит ли говорить, как отвращает людей разница между словами христиан и их делами?

Льюис не считает, что христианство сводится к нравственности. Но проверка для него, как и для многих, была проста — он судил не по словам. Воплощенный Бог его сказок, лев Аслан, говорит тем, кто спорит о вере в него и в жестокую богиню Таш: «Если кто клянется именем Таш и сдержит клятву правды ради, это мною он клялся, того не зная, и я отвечу ему. Если кто сотворит жестокость именем моим, он скажет Аслан, но служит он Таш, и Таш примет его дело».

После таких слов многим покажется, что он — просто очень добрый, расплывчатолиберальный; но это не так. Трудно быть дальше, чем он, от того, что Ахматова назвала «благодушный, потому что равнодушный». Недавно один читатель восхищался его мягкостью. До чего же озверелыми, видимо, представляют себе христиан! Льюис милостив — иначе его вообще нельзя назвать христианином,— но как раз очень суров. Он с исключительной строгостью воспринимает зло; твердая вера в реальность зла — едва ли не главное его отличие. Книгу о бесах он написал не смеха ради (многие считают ее только смешной), а потому, что верил в них. Часто мне кажется, что совсем не случайно мы, здесь, нашли его в начале семидесятых годов — он особенно хорош, особенно полезен, когда границы между добром и злом размываются. Уточню: не тогда, когда зло принимают за добро, а именно в такие; не при тирании, скажем, а при развале и рас-

паде. Но это — особая тема, заслуживающая особого исследования.

Итак, Льюис суров. Человек, по его мнению, не таков, каким его замыслил и создал Бог. Пределы, да и самый жанр информативной статьи не позволяют изложить христианское учение о первородном грехе. Однако учение это — не тайна, о ней можно прочитать у многих богословов, в том числе у Льюиса. Как бы то ни было, Льюис твердо его придерживается. Человек, постоянно напоминает он, очень подпорчен, хотя и не испорчен начисто; грех притупил наше зрение, но «есть разница между слабым зрением и полной слепотой». Именно «напоминает», ведь в наше время почти исчезло ощущение греха, а без такого ощущения христианства просто быть не может. В трактате о страдании он говорит, что благая весть пришла к людям, знавшим о своей болезни, теперь же они считают себя здоровыми, и потому сперва приходится нести им горькую весть, дурную новость. Ощущение греха исчезает по разным причинам. Наш век считает добром лишь ту «доброту», которую благополучный человек может легко приписать себе без малейших оснований, ибо понимает под ней не подвиг милосердия, не милость к врагам или к «плохим» людям, не мужество кротости ,а что-то вроде «любви к своим» или равнодушного добродушия. Кроме того — Льюис часто это подчеркивает,— сейчас очень расшатан стыд, тогда как даже в нехристианских обществах он считался непременным условием нравственности. Достойней быть лицемерным, полагает Льюис, чем «современным». Бес-инструктор в «Письмах Баламута» рад, что нынешняя девица просит Бога сделать ее «нормальной и современной» — благодаря именно бесам, это значит: «Сделай меня потаскухой, дурой и потребительницей».

Наконец, даже заметив свои недостатки, человек теперь сваливает их на кого-нибудь или на что-нибудь — на обстоятельства, наследственность, общественный строй или что-нибудь еще.

Льюис напоминает о зле, учит видеть его, учит с ним бороться не где-то, а в самом себе. Он знает, что каждый, самый лучший из нас, способен на любое зло. На самом дне души, говорит он, никто из нас не отличается от Гитлера или Сталина. Многие его книги — «Расторжение брака», «Баламут», романы, сказки — исследуют с удивительной дотошностью, как опускаемся мы на это дно. Иногда недоумевают, зачем он описывает мельчайшие грехи в эпоху, породившую Освенцим. Однако для него суть именно в том, что «самая верная дорога в ад — пологая, постепенная». Он повторял, что искушения, которые он описывает,— те, с которыми он сам «встретился в битве».

Словом, чего-чего, а мнимой терпимости в нем нет. Именно ей посвящены две замечательные главы в «Размышлении о псалмах» — «Проклятия» и «Попустительство». В притче же «Расторжение брака» обитатели ада, который назван там «Серым городом», ненавидят друг друга, но и совершенно не способны даже удивиться злу.

Мир Льюиса меньше всего на свете похож на «Серый город». Наверное, многие замечали, что особенно мучительны не те книги, в которых есть страшные события, а те, в которых мир — плоский, безысходный, бессмысленный. Всякому, кто с этим согласен, книги Льюиса страшными не покажутся. Что бы ни происходило, кто бы какое зло ни делал, в этом мире есть правда, есть Бог. Должно быть, мало кто из писателей мыслил тогда Бога так конкретно. Мало у кого Бог настолько непохож на умилительную или стертую картинку. В одной своей книге Льюис пишет: «Всякий, здравый разумом, быстро поймет, что смирный Бог, Бог ручной — просто выдумка». Недаром воплощенный Бог в его сказках — это Лев.

Тем самым Бог совсем не так уж «удобен», ибо истинно-любящим небезразлично, каков любимый. «Мы хотели, чтобы Бог нас любил? — пишет Льюис в трактате о страдании.— Вот Он и любит нас. Такой Господь у нас и есть — не благодушный старичок (...) и не холодный человеколюбец, вроде справедливого судьи, не радушный хозяин, но огнь попаляющий, чья любовь упорна, как любовь к творению, властна, как любовь к собаке, мудра и достойна, как любовь к сыну, ревнива, крепка и трогательна, как любовь к женщине». Столь взыскательная любовь может причинить страдание, которое надо принять терпеливо и благодарно; но человек свободен, и Бог идет на риск, поскольку страдание непринятое приведет лишь к злобе и цинизму. Может быть, нигде суровость Льюиса не проявляется так явственно, как в рассуждениях о том, что страдание — «мегафон Божий» — вернее всего заставит разжать руку, отдать «свое», поступиться «раскормленным, укорененным, воспаленным своеволием».

Мысли эти суровы, но не жестоки: Льюис предлагает «христианский парадокс» — как бы полезно ни было страдание, человек никогда, ни в коем случае причинять его не вправе. Если же мы решим причинять его в благих целях, мы выполним дело сатаны и заплатим полным отдалением от Бога. Не правда ли, радостно это читать? Как часто пытаются доказать обратное?

Вот мы и видим, что Льюис не только не страшен, но и не жесток. Более того, он ничуть не мрачен. В самом «Страдании» — одна из самых радостных его глав, глава о рае. Вообще, очищение, предвосхищение рая удивительно сильно у него. Надеюсь, что скоро в этом убедятся те, кто прочитает роман «Переландра» и сказки о Нарнии. Один исследователь говорит: «Сила его и умение в том, что он представляет добродетель более реальной и привлекательной, чем грех». Образов ада много в нынешней словесности: у Орвэлла, у Хаксли, у Сартра. Льюис же дает нам образ рая, «ощутимый и реальный, как воскресный завтрак».

Такой писатель ничуть не похож на тех неопределенно-равнодушных людей, для которых все исповедания едины, потому что все они расплывчаты и туманны. Суровость его — не меньше, чем в столь

любимом им Ветхом завете, у самых суровых святых, у Паскаля, у протестантов. Радость, ощущение рая, ощущение преображенного мира хочется сравнить с опытом православных и францисканских мистиков. И все же — конфессии для него второстепенны; первостепенно же «просто христианство». Когда читатель увидит в этом разделе журнала проповедь католика, православного, евангелиста, даже иудаиста или мусульманина,— он может вспомнить, что Льюис был рад всякому, кто верит в Бога и любит Его. Если же читатель этому обрадоваться не в силах, может он вспомнить и другое: Льюис понимал такое расположение сердца, уважал, но не разделял.

Да, не разделял, особенно в свое (собственно, в наше) время. Он очень боялся тех, кто «никому не служит», и говорил студентам в 1954 году, что разрыв между ними и «теми, кто служит»,— самый серьезный, самый существенный. Поэтому его особенно огорчало, когда «те, кто служит Богу», враждовали между собой. Его — огорчало, а бесов из его притчи — радовало. Маститый бес рассуждает так: «Мы уже порядком выветрили из сознания людей то, чему учил их этот несносный Павел, а именно—человек, терпимый к частностям, должен уступать придирчивому. (...) Казалось бы, один преклонит колени и перекрестится, дабы не смутить ближнего, а другой воздержится от этих знаков благочестия. (...) Так оно и было бы, если бы не наша неустанная работа. Без нее разница в обычаях (...) стала бы, чего доброго, порождать милосердие и смирение».

Конечно, дело не в одних обычаях; но хорошо было бы, если бы все различия между теми, кто действительно верит Богу, породили наконец только смирение и милосердие.

Н. ТРАУБЕРГ

1

Три части морали

Рассказывают об одном ученике, которого спросили, как он представляет себе Бога. Тот ответил, что, насколько он понимает, Бог — это «такая личность, которая постоянно следит, не живет ли кто в свое удовольствие. И когда Он замечает такое, то вмешивается, чтобы прекратить это». И я боюсь, что именно в таком духе понимают многие люди слово «мораль»: как нечто, препятствующее нам получать удовольствие.

В действительности же моральные нормы — это инструкции, обеспечивающие правильную работу человеческой машины. Каждое из правил морали нацелено на то, чтобы предотвратить поломку, или перенапряжение, или трение в процессе работы этой машины. Вот почему на первый взгляд кажется, будто они постоянно вмешиваются в нашу жизнь и препятствуют проявлению наших природных наклонностей.

Когда вы учитесь, как работать на какой-нибудь машине, инструктор то и дело поправляет вас: «Нет, не так, никогда не делайте этого»,— потому что в обращении с машиной у вас постоянно возникает искушение что-то попробовать или сделать, что вам представляется естественным и удачным, но на самом деле ведет к поломке машины.

Некоторые люди предпочитают говорить о нравственных «идеалах» вместо того, чтобы говорить о правилах морали, и о нравственном «идеализме» — вместо подчинения правилам морали. Конечно, совершенство в вопросах морали — это «идеал» в том смысле, что мы не можем его достичь. В этом смысле все, что совершенно является для нас, людей, идеалом; мы не можем стать совершенными водителями или совершенными теннисистами, мы не можем провести совершенно прямую линию. Но с другой точки зрения называть моральное совершенство «идеалом» — значит вводить людей в заблуждение. Когда человек говорит, что какая-то женщина, или дом, или корабль, или сад является идеалом, он не имеет в виду (если он не совсем дурак), что все остальные должны иметь тот же самый идеал. В таких вопросах наше право — иметь разные вкусы и, следовательно, разные идеалы. Но называть идеалистом человека, изо всех сил старающегося соблюдать законы морали, было бы делом опасным. Потому что это может навести на мысль, что стремление к моральному совершенству — дело его вкуса и что мы, остальные, не обязаны этот вкус разделять. Подобная мысль была бы катастрофической ошибкой.

Совершенное поведение может быть таким же недосягаемым, как совершенное переключение скоростей в автомобиле, но это необходимый идеал, предписанный для всех людей самой природой человеческой машины. точно так же, как совершенное переключение скоростей является идеалом, предписанным для всех водителей в силу самой природы автомобиля. И еще более опасно было бы считать самого себя человеком высоких идеалов, оттого что вы стараетесь никогда не говорить лжи (вместо того, чтобы лгать лишь изредка), или никогда не совершать прелюбодеяния (вместо того, чтобы совершать его крайне редко) или никогда не впадать в раздражение (а не просто быть умеренно раздражительным). Вы рисковали бы стать педантом и резонером, полагающим, что являетесь чем-то особенным, человеком, заслуживающим поздравлений за свой идеализм.

На деле у вас столько же оснований ожидать поздравлений за то, что при сложении чисел вы стараетесь получить правильный ответ Нет сомнений в том, что совершенное вычисление — это идеал; вы, безусловно, делаете временами ошибки при подсчетах Однако нет особой заслуги в вашем старании быть внимательным при выполнении подсчета. Предельно глупо было бы не стараться. потому что любая допущенная ошибка принесет вам неприятности позд-

нее. Точно так же каждый моральный проступок чреват неприятностями — возможно, для других, и непременно — для вас. Когда мы говорим о правилах и подчинении, вместо «идеалов» и «идеализма», мы тем самым напоминаем себе об этих фактах.

Теперь сделаем еще один шаг вперед. Человеческая машина может выходить из строя двумя путями. Один — это когда человеческие индивиды удаляются друг от друга или, наоборот, когда они сталкиваются и причиняют друг другу вред обманом или грубостью. Второй — когда что-то ломается внутри индивида, то есть, когда то, что является частью его, его атрибутами (например, его способности, желания и т. п.), противоречат одно другому либо приходят в столкновение друг с другом.

Вам проще будет понять эту идею, если вы представите нас в виде каравана кораблей, плывущих в определенном порядке. Плавание будет успешным только в том случае, если, во-первых, корабли не сталкиваются и не преграждают пути друг другу и, во-вторых, если каждый корабль годен к плаванию и двигатель у каждого — в полном порядке. Необходимо, чтобы исполнялись оба эти условия. Ведь если корабли будут постоянно сталкиваться, они скоро станут непригодными к плаванию. С другой стороны, если их штурвалы не в порядке, они не смогут избежать столкновений. Или, если хотите, представьте себе человечество в виде оркестра, исполняющего какую-то мелодию. Чтобы игра получалась слаженной, необходимы два условия. Каждый инструмент должен быть настроен, и каждый должен вступать в положенный момент для того, чтобы не нарушать общей гармонии.

Но мы с вами не учли одну вещь. Мы не спросили, куда собирается наш флот или какую мелодию хочет сыграть наш оркестр. Инструменты могут быть хорошо настроенными, и каждый из них может вступать в нужный момент, но в этом случае выступление не будет успешным, если музыкантам была заказана танцевальная музыка, а они исполняют похоронный марш. И как бы хорошо ни проходило плавание кораблей, оно обернется неудачей, если корабли приплывут в Калькутту, тогда как порт их назначения был Нью-Йорк. Соблюдение моральных норм, как представляется, связано таким образом со следующими тремя вещами. Первое — честной игрой и гармоническими отношениями между отдельными людьми. Второе — с тем, что можно было бы назвать наведением порядка внутри самого человека. И наконец, третье — с определением общей цели человеческой жизни; с тем, для чего человек создан; с тем, по какому курсу должен следовать весь флот; какую мелодию избирает для исполнения дирижер оркестра.

Вы, быть может, заметили, что наши современники почти всегда помнят о первом условии и забывают о втором и третьем. Когда люди пишут в газетах, что мы боремся за доброту и честную игру между нациями, классами и отдельными людьми, это и значит, что они думают только о первом условии. Когда человек говорит о том, что он хочет сделать: «В этом нет ничего плохого, потому что это никому не вредит»,— он думает только о первом условии. Он считает, что внутреннее состояние его корабля не имеет значения, если только оно не грозит столкновением соседнему кораблю. И это вполне естественно, что, когда мы начинаем думать о морали, первое, что нам приходит в голову,— это общественные отношения. Почему? Да потому что, во-первых, последствия низкого морального состояния общества очевидны и давят на нас повседневно: это война и нищета взяточничество и ложь, работа спустя рукава. И кроме того, по упомянутому первому пункту у нас почти не бывает разногласий с другими людьми. Почти все люди во все времена соглашались (в теории) с тем, что человеческие существа должны быть честными, добрыми, должны помогать друг другу. Однако, хотя и естественно с этого начинать, нельзя ставить на этом точку, ибо в таком случае вообще не было бы смысла размышлять о вопросах морали. До тех пор пока мы не перейдем ко второму условию — к приведению в порядок своего внутреннего «я»,— мы будем лишь обманывать самих себя.

Разумно ли ожидать от капитанов, что они станут так поворачивать штурвалы, чтобы корабли их не сталкивались между собой. если сами корабли — настолько старые. разбитые посудины, что их штурвалы вообще никуда не поворачиваются? Какой смысл записывать на бумаге правила общественного поведения, если мы знаем, что на деле наша жадность, трусость, дурной характер и самомнение помешают нам эти правила выполнить? Я ни на секунду не предлагаю вам отказаться от мысли, и мысли серьезной, об улучшении нашей общественной и экономической системы. Я только хочу сказать, что все эти размышления о морали останутся просто «солнечным зайчиком», пока мы не поймем, что ничто, кроме мужества и бескорыстия каждого отдельного человека, не в состоянии заставить какую бы то ни было общественную систему работать так, как надо. Не так уж трудно избавить граждан от тех или иных, процветающих при данной системе, нарушений уголовного кодекса, скажем, взяточниками и хулиганами; но пока остаются взяточники и хулиганы, сохраняется угроза, что они протопчут себе новые дорожки, чтобы продолжить старую игру и при новой системе. Вы не можете сделать человека хорошим с помощью закона. А без хороших людей у вас не может быть хорошего общества Вот почему нам не избежать рассмотрения второго условия: нравственного преобразования самого человека.

Здесь, я думаю, мы не сможем остановиться. Мы подходим сейчас к той точке, откуда расходятся различные линии поведения, в зависимости от несхожих представлений о Вселенной. Возникает соблазн тут и остановиться и стараться лишь придерживаться тех нравственных норм, с которыми соглашаются все разумные люди. Но можем ли мы это сделать? Не забывайте, что религия включает в себя ряд таких утверждений, которые либо соответствуют истине, либо — они заблуждение. Если они истинны, из этого следуют одни заключения относительно того, правильным ли кур-

ском следует человеческий флот, если ошибочны — то совершенно другие. Вернемся, например, к тому человеку, который утверждает, что поступок, не причиняющий вреда другому, не может считаться плохим. Он прекрасно понимает, что не должен причинять повреждений ни одному кораблю в плавании. Но он искренне полагает: что бы он ни делал со своим кораблем — это касается лишь его одного. Однако вопрос заключается в том, является ли этот корабль его собственностью? Разве не важен тот факт, являюсь ли я господином моего собственного разума и тела, или я только квартирант, ответственный перед настоящим хозяином? Если меня создал кто-то другой для своих целей, то в таком случае я несу перед ним ответственность, которой бы не имел, если бы принадлежал только самому себе.

Далее: христианство заявляет, что каждый отдельный человек будет жить вечно, и это заявление должно быть либо истиной, либо заблуждением. Из этого вытекает, что если мне суждено прожить каких-нибудь 70 лет, то о множестве вещей мне едва ли надо беспокоиться, но о них стоило бы беспокоиться, и очень серьезно, если бы мне предстояло жить вечно. Возможно, мой дурной характер становится все хуже или присущая мне зависть постоянно прогрессирует, но это происходит настолько постепенно, что изменения в худшую сторону, накопившиеся во мне за семьдесят лет,— практически незаметны. Однако на протяжении миллиона лет эти мои недостатки могли бы развиться во что-то ужасное. И если христианство не ошибается, то термин «Ад» является абсолютно верным техническим термином, передающим то состояние, в какое приведут меня за миллионы лет моя зависть и мой дурной характер.

Затем: проблема смертности или бессмертия человека обусловливает в конечном счете правоту тоталитаризма или демократии. Если человек живет только семьдесят лет, тогда государство, или нация, или цивилизация, которые могут просуществовать тысячу лет,— безусловно представляют большую ценность, чем индивидуум. Но если право христианство, то индивидуум — не только важнее, а несравненно важнее, потому что он, человек, вечен, и жизнь государства или цивилизации — лишь мгновенье, по сравнению с его жизнью.

Вот и выходит, что, если мы намерены задуматься о морали, нам придется думать обо всех трех разделах: об отношении человека к человеку, о внутреннем состоянии человека и об отношениях между человеком и той Силой, которая сотворила его. Мы все в состоянии прийти к согласию относительно первого пункта. Разногласия начинаются со второго и становятся очень серьезными, когда мы доходим до третьего пункта. Именно здесь проявляются основные различия между христианской и нехристианской моралью. В остальной части книги я собираюсь исходить из предпосылок христианской морали и из того, что христианство не заблуждается. На этом основании я и попытаюсь представить картину в целом.

2

Главные добродетели

Предыдущий раздел был первоначально составлен как краткая радиобеседа.

Если вам разрешается говорить только 10 минут, то приходится жертвовать всем ради краткости. Одна из основных причин, почему, рассуждая о морали, я как бы поделил ее на три части (предложив пример с кораблями, плывущими караваном) — состояла в желании охватить вопрос в целом и при этом быть как можно лаконичнее. Ниже я хочу познакомить вас с тем, как подразделяли этот вопрос авторы прошлого. Они подходили к нему очень интересно, но для радиобесед их метод неприменим, так как требует очень много времени.

Согласно этому методу, существуют семь добродетелей. Четыре из них называются главными (или кардинальными) добродетелями, а остальные три — богословскими. Главные добродетели — это те, которые признаются всеми цивилизованными людьми. О богословских, или теологических, добродетелях знают, как правило, только христиане. Я подойду к этим теологическим добродетелям позднее. В настоящий момент меня занимают только четыре главные добродетели. Кстати, слово «кардинальные» не имеет ничего общего с «кардиналами» римской католической церкви. Оно происходит от латинского слова, означающего дверную петлю. Эти добродетели были названы кардинальными, потому что являются, так сказать, основой. К ним относятся: **благоразумие, воздержанность, справедливость и стойкость.**

Благоразумие означает практический, здравый смысл. Человек, обладающий им, всегда думает о том, что делает и что может из этого выйти. В наши дни большинство людей едва ли считают благоразумие добродетелью. Христос сказал, что мы сможем войти в Его мир, только если уподобимся детям, и многие христиане сделали из этого вывод: если вы «хороший» человек, то тот факт, что вы глупы, роли не играет. Это явное недопонимание. Во-первых, большинство детей проявляют достаточно благоразумия в делах, которые действительно для них интересны, и довольно тщательно их обдумывают. Во-вторых, как заметил апостол Павел, Христос совсем не имел в виду, чтобы мы оставались детьми по разуму. Совсем наоборот: Он призывал нас быть не только «кроткими, как голуби», но и «мудрыми, как змеи». Он хочет, чтобы мы, как дети, были просты, недвуличны, любвеобильны, восприимчивы к учебе. Но Он также хочет, чтобы каждая частица нашего разума работала в полную силу и пребывала в первоклассной форме. Тот факт, что вы даете деньги на благотворительные цели, не означает, что вам не следует попытаться проверить, не идут ли ваши деньги в руки мошенников. Тот факт, что ваши мысли заняты Самим Богом (например, когда вы молитесь), не значит, что вы должны довольствоваться теми детскими представлениями о Нем, которые были у вас в пятилетнем возрасте. Нет сомнений в том, что людей с недалеким от рождения разумом Бог будет любить и исполь-

зовать не меньше, чем наделенных блестящим умом. У Него и для них есть место. Но он хочет, чтобы каждый из нас в полной мере пользовался теми умственными способностями, которые нам отпущены. Цель не в том, чтобы быть хорошим и добрым, предоставляя привилегию быть умными другим, а в том, чтобы быть хорошим и добрым, стараясь при этом быть настолько умным, насколько это в наших силах. Богу противна лень в области интеллекта, как и в любой другой области.

Если вы собираетесь стать христианином, я хочу предупредить вас, что это потребует от вас полной отдачи всего себя: и разума вашего, и всего остального. Но, к счастью, это полностью компенсируется: всякий, кто искренне старается быть христианином, вскоре начинает замечать, как все острее становится его разум. Здесь одна из причин, почему не требуется специального образования, чтобы стать христианином: христианство является образованием само по себе. Вот почему такой необразованный, но верующий человек, как Беньян, сумел написать книгу, которая поразила весь мир.

Воздержанность — одно из тех слов, значение которых, к сожалению, изменилось. Сегодня оно обычно означает полный отказ от спиртного. Но в те дни, когда вторую из главных добродетелей окрестили «воздержанностью», это слово ничего подобного не означало. Воздержанность относилась не только к выпивке, но и ко всем удовольствиям. И при этом вовсе не предполагала абсолютный отказ от них, но способность чувствовать меру, предаваясь удовольствиям, не переходить в них границы. Было бы ошибкой считать, что все христиане обязаны быть непьющими; мусульманство, а не христианство является религией, запрещающей всякое употребление спиртных напитков. Конечно, в какой-то момент долгом христианина может стать отказ от крепких алкогольных напитков — либо оттого, что он чувствует, что не может вовремя остановиться, если начнет пить, либо оттого, что он находится в обществе людей, склонных к чрезмерной выпивке, и поэтому не должен поощрять их своим примером. Но суть состоит в том, что он воздерживается в силу определенных разумных причин от того, чего вовсе не клеймит, как таковое. Некоторым скверным людям свойственна такая особенность: они не в состоянии отказаться от чего бы то ни было «в одиночку», им надо, чтоб от этого отказались и все остальные. Это не христианский путь. Какой-то христианин может счесть для себя необходимым отказаться от целого ряда вещей в силу тех или иных причин: от брака, от мяса, от кино. Но в тот момент, когда он начнет утверждать, что все эти вещи плохи сами по себе, или начнет смотреть свысока на тех людей, которые в этих вещах себе не отказывают, он встанет на неверный путь.

Большой вред был нанесен смысловым сужением слова «воздержание». Благодаря этому люди забывают, что точно так же можно быть неумеренным во многом другом. Мужчина, который смыслом своей жизни делает гольф или мотоцикл, либо женщина, думающая лишь о нарядах, об игре в бридж или о своей собаке, проявляет такую же «неумеренность», как и пьяница, напивающийся каждый вечер. Конечно, их «неумеренность» не выступает столь явно наружу — они не скатываются на панель из-за своей бриджемании или гольфомании. Но можно ли обмануть Бога внешними проявлениями!

Справедливость относится не только к судебному разбирательству. Это понятие включает в себя честность, правдивость, верность обещаниям и многое другое. И **стойкость** предполагает два вида мужества: то, которое не боится смотреть в лицо опасности, и то, которое дает человеку силы переносить боль. Вы, конечно, заметите, что невозможно достаточно долго придерживаться трех добродетелей без участия четвертой.

Есть еще один пункт, связанный с этими добродетелями, на который необходимо обратить внимание: совершить какой-нибудь благоразумный поступок и проявить выдержку — это не то же самое, что быть благоразумным и воздержанным. Плохой игрок в теннис может время от времени делать хорошие удары. Но хорошим игроком вы называете только такого человека, у которого глаз, мускулы и нервы настолько натренированы в серии бесчисленных отличных ударов, что на них действительно можно положиться. У такого игрока они приобретают особый настрой, особое качество, которые свойственны ему даже тогда, когда он не играет в теннис. Точно так же уму математика свойственны определенные навыки и угол зрения, которые постоянно присущи ему, а не только когда он занимался математикой. Подобно этому человек, старающийся всегда и во всем быть справедливым, в конце концов развивает в себе то качество характера, которое называется справедливостью. Именно качество характера, а не отдельные поступки имеем мы в виду, когда говорим о добродетели. Различие это важно понять по следующим причинам: приравнивая совершение отдельных поступков к качеству характера, мы рискуем ошибиться трижды.

1. Мы могли бы подумать, что если в каком-то деле поступили правильно, то не имеет значения, как и почему мы так поступили — добровольно или по принуждению, сетуя или радуясь, из страха ли перед общественным мнением или ради самого этого дела. Истина же заключается в том, что добрые поступки, совершенные не обязательно из доброго побуждения, не способствуют формированию того качества нашего характера, имя которому — добродетель. А именно такое качество и имеет значение. Если плохой теннисист ударит по мячу изо всех сил не из-за того, что в данный момент такой удар требуется, а из-за того, что он потерял терпение, то по чистой случайности его удар может помочь ему выиграть эту партию. Но это никак не поможет ему стать надежным игроком.

2. Мы могли бы подумать, что Бог лишь хочет от нас подчинения определенному своду правил, тогда как на самом деле Он хочет чтобы мы стали людьми особого сорта

3. Мы могли бы подумать, что добродетели необходимы только для этой жизни, в другом мире нам не надо будет стараться быть справедливыми, потому что там нет

причин для раздоров; нам не придется проявлять смелость, потому что там не будет опасности. Возможно, что все это так, что в мире ином нам не представится случая бороться за справедливость или проявлять храбрость. Но там нам безусловно потребуется быть людьми такого сорта, какими мы могли бы стать, только если б мужественно вели себя здесь, боролись за справедливость в нашей земной жизни. Суть состоит не в том, что Бог не допустит нас в Свой вечный мир, если мы не обладаем определенными свойствами характера, а в том, что если здесь люди не обретут, по крайней мере, зачатков этих качеств, то никакие внешние условия не смогут создать для них «Рая», то есть дать им глубокое, незыблемое, великое счастье, такое счастье, какого желает для нас Бог.

3

Общественные нормы поведения

Относительно той части христианской морали, которая касается человеческих взаимоотношений, в первую очередь необходимо уяснить следующее: Христос приходил не для того, чтобы проповедовать какую-то совершенно новую мораль. Золотое правило Нового Завета — поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой,— лишь резюме того, что в глубине души каждый принимает за истину. Великие учителя нравственности никогда не выдвигали каких-то новых правил: этим занимались лишь шарлатаны и маньяки. Как сказал некто: «Людям гораздо чаще надо напоминать, чем учить их чему-то новому». Истинная задача каждого учителя нравственности состоит в том, чтобы снова и снова возвращать нас обратно к простым, старым принципам, которые мы все то и дело упускаем из виду: подобно тому, как вы снова и снова приводите лошадь к барьеру, через который она отказывается прыгать; подобно тому, как вы снова и снова заставляете ребенка возвращаться к тому разделу урока, от которого он норовит увильнуть.

Вторая вещь, которую следует себе уяснить относительно христианства, состоит в следующем: у него нет (и оно не утверждает, что есть) детально разработанной политической программы для применения в каком бы то ни было обществе в некий определенный момент упомянутого принципа: «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». Нет и быть не может. Ведь христианство рассчитано на всех людей, на все времена, а конкретная программа, подходящая для какого-то одного времени и места, не подошла бы для других. Да и принцип работы у христианства совсем иной. Когда оно говорит вам, чтобы вы накормили голодного, то не дает вам урока кулинарии. Или когда говорит, чтобы вы читали Библию, то не преподает вам древнееврейскую, или греческую, или, скажем, английскую грамматику. Христианство никогда не преследовало цели подменить собою или вытеснить ту или иную отрасль человеческого знания; оно, скорее, выступает как направляющий фактор, как некий руководитель, который каждой отрасли знания (или искусства) отводит соответствующую роль; оно также — источник энергии, который способен во всех них вдохнуть новую жизнь, если только они отдадут себя в полное его распоряжение.

Люди говорят: «Церковь должна руководить нами». Это верно, если верно их представление о церкви; и ошибочно, если их понимание, что такое церковь,— неправильно. Под церковью следует подразумевать всех истинно и активно верующих христиан земли, вместе взятых. И тогда этот тезис: «Церковь должна руководить нами» — обретает следующее содержание: те христиане, которые наделены соответствующими талантами, должны быть, скажем, экономистами и государственными деятелями, и все экономисты и государственные деятели должны быть христианами; и все их усилия в политике и экономике должны быть направлены на претворение в жизнь Золотого правила Нового Завета.

Если бы так случилось и если бы мы, остальные, были действительно готовы принять это, тогда мы нашли бы христианское решение всех наших социальных проблем довольно быстро. Но на деле под руководящей ролью церкви большинство людей понимает некий направляемый духовенством политический курс или разработку церковными деятелями особой политической программы. Это глупо. Церковнослужители — особая группа людей в пределах церкви, которые избраны и специально подготовлены для наблюдения за такими вещами, которые важны для нас потому, что мы предназначены для вечной жизни. А мы просим этих людей взяться за дело, которому они никогда не учились. Политика и экономика — это то, чем следует заниматься, за что надо отвечать нам, рядовым верующим. Применение христианских принципов к профсоюзной деятельности или к образованию должно исходить от христианских профсоюзных деятелей и христианских учителей; точно так же, как христианская литература создается христианскими писателями и драматургами, а не группой епископов, собравшихся вместе и пытающихся писать в свободное время повести и романы.

И тем не менее Новый Завет, не вдаваясь в детали, дает нам довольно ясный намек на то, каким должно быть истинно христианское общество. Возможно, он дает нам немного больше, чем мы готовы принять. В Новом Завете говорится, что в таком обществе не место было бы паразитам: «Кто не работает, да не ест». Каждый должен был бы трудиться, и труд каждого приносил бы пользу, такое общество не нуждалось бы в производстве глупой роскоши и в еще более глупой рекламе, убеждающей эту роскошь покупать. Этому обществу чужды были бы чванливость, зазнайство, притворство.

В каком-то смысле христианское общество соответствовало бы идеалу сегодняшних «левых». С другой стороны, христианство решительно настаивает на нашем послушании — покорности (и внешнем проявлении уважения) представителям власти, которые соответствовали бы занимаемому им положению, на покорности детей роди-

телям и (я боюсь, это требование прозвучит крайне непопулярно) — на покорности жен своим мужьям. Далее, общество это должно быть жизнерадостным, полным песен и радости. Проявления беспокойства и страха должны в нем рассматриваться как отклонение от нормы. Естественно, члены его должны быть взаимно вежливы, так как вежливость — тоже одна из христианских добродетелей.

Если бы такое общество действительно существовало и нам с вами посчастливилось бы его посетить, оно произвело бы на нас любопытное впечатление. Мы увидели бы, что характер экономической политики в этом обществе напоминает социалистический и по существу — прогрессивный; а семейные отношения и стиль поведения выглядят в этом обществе довольно старомодно — возможно, они даже показались бы нам церемонными и аристократическими. Каждому из нас понравились бы отдельные частицы такого общества, но я боюсь, что небольшому числу из нас понравилось бы все общество в целом.

Именно этого и следовало бы ожидать, если бы христианство легло в основу генерального плана развития всего человеческого содружества. Ведь все мы так или иначе отошли от этого всеобщего единого плана. И каждый из нас пытается сделать вид, будто изменения, вносимые в него им лично, являются самим планом. Вы убеждаетесь в этом всякий раз, когда сталкиваетесь с теми или иными аспектами христианства: каждому нравятся те или иные стороны его, которые он хотел бы объявить незыблемыми, отказавшись от всего остального. Поэтому-то нам не слишком удается продвинуться вперед, поэтому-то люди, борющиеся, в сущности, за противоположные вещи, утверждают, что именно они борются за торжество христианства.

Еще один пункт: древние греки, евреи Ветхого Завета и великие христианские мыслители средневековья дали нам один совет, который совершенно игнорируется современной экономической системой. Все эти люди прошлого предостерегали: не давайте деньги в рост. Однако одалживание денег под проценты — то, что мы называем «помещением капитала»,— является основой всей нашей системы. Делать отсюда категорический вывод, что мы неправы, не следует. Некоторые люди говорят: Моисей, Аристотель и христиане потому едины во мнении, что «ростовщичество» следует запретить, что они не могли предвидеть появления акционерных обществ. Они якобы имели в виду только индивидуальных ростовщиков. и поэтому их предостережение не должно нас беспокоить.

По этому вопросу я ничего не могу сказать. Я не экономист и просто не знаю, виновата или нет эта система вложения капитала в состоянии современного общества. Это именно та область, где нам нужен христианин-экономист. Но я чувствую, что с моей стороны было бы просто нечестно не сказать вам, что три великие цивилизации единодушно (по крайней мере, на первый взгляд) сошлись на осуждении того, на чем основана вся наша жизнь.

Еще одно, прежде чем я покончу с этим вопросом. В том стихе Нового Завета, где говорится, что каждый должен работать, указывается причина — почему: «...трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Ефесянам 4, 28). Благотворительность, то есть забота о бедных, является существенной частью христианской морали. В пугающей притче об овцах и козлах дается как бы стержень, вокруг которого вращается все остальное. В наши дни некоторые люди говорят, что в благотворительности не должно быть необходимости. Вместо этого мы должны создать такое общество, в котором не будет бедных. Они, возможно, абсолютно правы в том, что мы должны создать такое общество. Но если кто-нибудь думает, что из-за этого мы можем уже сейчас прекратить благотворительную деятельность, то такой человек отходит от христианской морали. Я не думаю, чтобы кто-нибудь мог точно установить, сколько нам следует давать бедным. Я боюсь, единственный способ избежать ошибки в этом вопросе — это давать больше, чем мы можем отложить. Иными словами, если мы расходуем на удобства, роскошь, удовольствия и т. п. приблизительно столько же, сколько другие люди с аналогичным доходом, то на благотворительные цели мы, видимо, даем слишком мало. И если давая мы не ощущаем никакого ущерба для себя, значит, мы даем недостаточно. Должны быть такие желанные для нас вещи, от которых нам приходится отказываться, потому что наши расходы на благотворительность делают их для нас недоступными. Я говорю сейчас об обычных случаях благотворительности. Особые — когда случается несчастье с нашими родственниками, друзьями, соседями или сотрудниками, на что Бог побуждает нас обратить внимание, могут потребовать гораздо большего — вплоть до того, что наше собственное положение окажется под угрозой. Для многих из нас величайшим препятствием к благотворительности является не любовь к роскоши или деньгам, а неуверенность в завтрашнем дне. Этот страх чаще всего следует рассматривать как искушение. Иногда нам мешает тщеславие; мы поддаемся искушению истратить больше, чем следует, на показную щедрость (чаевые, гостеприимство) и меньше, чем следует, на тех, кто действительно нуждается в помощи.

А сейчас, прежде чем я закончу, я постараюсь угадать, как подействовал этот раздел книги на тех, кто его прочитал. Я предполагаю, что среди читателей есть так называемые «левые», которых возмутило, что я не пошел дальше в вожделенном для них направлении Люди же противоположных взглядов, вероятно, думают, что я, наоборот, слишком далеко зашел влево. Если так, то в наших проектах построения христианского общества мы наталкиваемся на камень преткновения. Дело в том, что большинство из нас подходит к этому вопросу не с целью выяснить, что в действительности говорит по этому вопросу христианство, а с надеждой найти в христианстве поддержку собственной точке зрения. Мы ищем союзника там, где нам предлагается либо Господин, либо Судья. К сожалению, в этом вопросе я сам — такой же. В этом разделе есть некоторые мысли, которые я хотел бы опустить. Вот почему все подоб-

ные разговоры ни к чему не приведут, если мы не готовы пойти длинным, кружным путем. Христианское общество не возникнет до тех пор, пока большинство людей не захочет его по-настоящему. Но мы не захотим его по-настоящему, пока не станем полностью христианами. Я могу до посинения повторять Золотое правило — «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтоб поступали с тобой»,— однако я не стану ему следовать, пока не научусь любить ближнего, как самого себя. А я не научусь любить ближнего, как самого себя, до тех пор, пока не научусь любить Бога. Но я могу научиться любить Бога только тогда, когда я научусь повиноваться Ему. И таким образом, как я и предупреждал вас, это ведет нас к проблеме нашего внутреннего «я», то есть от вопросов социальных — к вопросам религиозным. Ибо самый длинный, кружной путь оказывается кратчайшим путем домой.

4

Мораль и психоанализ

Я сказал, что нам не удастся установить христианского общества до тех пор, пока большинство из нас не станет христианами. Это, конечно, не означает, что мы можем отказаться от всех дел по преобразованию общества — вплоть до какой-то воображаемой даты в будущем. Напротив, это означает, что нам следует взяться за два дела одновременно: первое — мы должны искать все возможные пути для применения Золотого правила в современном обществе; и второе — мы сами должны стремиться стать такими людьми, которые действительно будут применять Золотое правило, если увидят, как это делать. А сейчас я хочу начать разговор о том, что такое «хороший человек» в христианском понимании.

Прежде чем я перейду к деталям, я хотел бы остановиться на двух пунктах более общего характера.

Во-первых, поскольку христианская мораль объявляет себя инструментом, который способен наладить человеческую машину, я думаю, вам интересно было бы узнать, есть ли что-нибудь общее у христианства с психоанализом, который как будто бы предназначен для той же цели. Тут нам придется установить четкое разграничение между двумя вопросами: между существующими медицинскими теориями и техникой психоанализа, с одной стороны, и общим философским взглядом на мир, который Фрейд и другие связывали с психоанализом,— с другой. Философия Фрейда прямо противоречит христианству и философии другого великого психолога Юнга. Важно заметить, что, когда Фрейд говорит о том, как лечить неврозы, он рассуждает как специалист в своей области. Но когда он переходит к вопросам философии, то превращается в любителя. Поэтому есть все основания прислушиваться к нему в первом случае, но не во втором. Именно так я и поступаю. И с тем большей уверенностью, что убедился: когда Фрейд оставляет свою тему и принимается за другую, которая мне знакома (я имею в виду языкознание), то проявляет крайнее невежество. Однако сам психоанализ, независимо от всех философских обоснований и выводов, которые делают из него Фрейд и его последователи, ни в какой мере не противоречит христианству. Его методика перекликается с христианской моралью во многих пунктах. Было бы поэтому неплохо, если бы каждый проповедник познакомился более или менее с психоанализом. Но надо при этом помнить, что психоанализ и христианская мораль не идут рука об руку от начала и до конца, поскольку задачи перед ними поставлены разные.

Когда человек делает выбор в области морали — налицо два процесса. Первый — сам акт выбора. Второй — проявление различных чувств, импульсов и тому подобного, зависящих от психологической установки человека и как бы являющихся тем сырьем, из которого «лепится» решение. Существуют два вида такого сырья. В основе первого лежат чувства, которые мы называем нормальными, поскольку они типичны для всех людей. Второй — определяется набором более или менее неестественных чувств, вызванных какими-то отклонениями от нормы на уровне подсознания человека.

Страх перед теми или иными вещами, которые действительно представляют опасность, будет примером первого вида; безрассудный страх перед кошками или пауками — примером второго вида. Стремление мужчины к женщине относится к первому виду; извращенное стремление одного мужчины к другому — ко второму. Что же делает психоанализ? Он старается избавить человека от противоестественных чувств, чтобы предоставить ему более доброкачественное «сырье» в момент морального выбора. Мораль же имеет дело с самими актами выбора.

Давайте рассмотрим это на примере. Представьте себе, что трое мужчин отправляются на войну. Один из них испытывает естественный страх перед опасностью, свойственный каждому нормальному человеку; он подавляет этот страх с помощью нравственных усилий и становится храбрецом. Теперь предположим, что двое других в результате отклонений в их подсознании страдают преувеличенным страхом, победить который не дано никаким нравственным усилиям. Далее представим, что в военное подразделение, где они служат, приезжает психоаналитик и исцеляет их от свойственного им противоестественного страха, добивается, что теперь эти двое ничем не отличаются от первого, нормального мужчины. Это и является разрешением психологической проблемы. Однако тут-то только и возникает проблема нравственного характера. Почему? Да потому, что теперь, когда оба страдавших отклонениями от нормы излечились, они могут избрать совершенно различные линии поведения. Первый из них может сказать: «Слава Богу, я избавился от этого идиотского страха. Теперь я могу делать то, к чему всегда стремился — исполнять свой долг перед родиной».

Однако другой может рассудить иначе: «Ну что ж, я очень рад, что сейчас я чувствую себя сравнительно спокойно под пулями. Но это, конечно, не меняет моего на-

мерения вместо того, чтобы лезть в пекло самому, позволить кому-нибудь другому, если только представится возможность, принимать огонь на себя. Что хорошо в этом моем исцелении — так это то, что теперь я с большим успехом смогу уберечь себя, не привлекая при этом внимания других».

Разница в подходе к вопросу двух исцеленных — чисто морального характера, психоанализ в этом случае бессилен. Как бы вы ни улучшали исходное «сырье», вам все-таки придется столкнуться со свободным выбором человека, который в конечном счете будет продиктован тем, на какое место намерен он ставить свои собственные интересы — на первое или на последнее. Именно характером нашего свободного выбора — и только им — определяется мораль.

Плохой психологический материал не грех, а болезнь. Тут требуется не покаяние, а лечение. И это, между прочим, очень важно понять. Люди судят друг о друге по внешним проявлениям. Бог судит нас на основе того морального выбора, который мы делаем. Когда психически больной человек, испытывающий патологический страх к кошкам, движимый добрыми побуждениями, заставляет себя подобрать котенка, вполне возможно, что в глазах Бога он проявляет больше мужества, чем здоровый человек, награжденный медалью за храбрость, проявленную в сражении. Когда человек, крайне испорченный с детства, привыкший думать, что жестокость — это достоинство, проявляет хоть немножечко доброты или воздерживается от жестокого поступка и таким образом рискует быть осмеянным своими друзьями, он, быть может, в глазах Бога делает больше, чем сделали бы мы с вами, пожертвовав жизнью ради друга.

К этой же самой идее можно подойти и с другой стороны. Многие из нас производят впечатление очень милых, славных людей. Но на деле, возможно, мы приносим лишь незначительную часть той пользы, которую могли бы принести, принимая во внимание нашу хорошую наследственность и отличное воспитание. И поэтому в действительности мы хуже, чем те, кого сами считаем злодеями. Можем ли мы с уверенностью сказать, как бы мы себя повели, если бы были наделены психологическими комплексами да вдобавок плохо воспитаны и сверх всего получили бы власть, ну, скажем, Гиммлера? Вот почему христианам сказано: не судите. Мы видим только плоды, которые получились из сырого материала вследствие выбора, сделанного человеком. Но Бог судит его не за качество сырого материала, а за то, как он использовал его. Большая часть психологических свойств человека зависит от его физиологических особенностей, но когда тело отмирает, остается лишь нетленный истинный человек, который выбирал и теперь несет ответственность за лучшее или худшее использование им того «сырого материала», что был в его распоряжении. Всевозможные добродетельные поступки, которые мы считали проявлением наших собственных достоинств, были, оказывается, результатом нашего хорошего пищеварения, и они не зачтутся нам; также не зачтется другим многое плохое, что совершали они по причине различных комплексов или плохого здоровья. И тогда, наконец, мы впервые увидим каждого таким, каков он есть в действительности. Нас ожидает немало сюрпризов.

Все это ведет ко второму пункту. Люди часто думают о христианской морали как о своего рода сделке, при заключении которой Бог говорит: «Если вы выполните столько-то правил, я награжу вас. А если вы не будете их соблюдать, то поступлю с вами иначе». Я не думаю, что это наилучшее понимание христианской морали. Скорее, мне думается, делая выбор, вы чуть-чуть преобразуете основную, истинную часть самого себя, ту часть, которая ответственна за выбор, во что-то новое, чем она прежде не была. И если взять всю вашу жизнь в целом, со всеми бесчисленными выборами, то окажется, что на протяжении всей жизни вы медленно обращали эту главную часть себя либо в небесное, либо в адское существо; либо в такое, которое пребывает в гармонии с Богом, с другими, себе подобными созданиями и с самим собой, либо в иное — пребывающее и с Богом, и с себе подобными, и с собою — в состоянии войны. Относиться к первой категории — значит принадлежать небу, то есть вкушать радость и мир, обретать знание и силу. Быть же существом второй категории означает терзаться безумием и страхом, страдать от гнева, бессилия и вечного одиночества. И каждый из нас в каждый данный момент своего существования прогрессирует либо в том, либо в другом направлении.

В этом — объяснение одной особенности, которая постоянно озадачивала меня у христианских авторов: в иной момент они кажутся крайне строгими, а в иной — чересчур снисходительными и либеральными. Они говорят о грешных мыслях как о чем-то невероятно серьезном; а затем, касаясь самых страшных убийц и предателей, заявляют: стоит им только раскаяться, и они будут прощены. Позднее я пришел к выводу, что они правы. Ведь их мысли прикованы к той зарубке, которую оставляет каждый наш поступок на крошечной, но главной части человеческого «я»; никто в этой жизни его не видит, но все мы будем терзаться или — наоборот — наслаждаться им вечно. Один человек занимает такое положение, что его гнев приведет к кровопролитию и гибели тысяч людей. Положение другого таково, что каким бы гневом он ни пылал, над ним будут только смеяться. Однако маленькая зарубка на внутреннем «я» каждого из них может быть одинаковой в обоих случаях. Каждый из них причинил себе вред, и если каждый из них не покается, то в следующий раз ему будет еще труднее противиться искушению гнева, и с каждым новым разом гнев его будет становиться все яростнее. Однако если каждый из них всерьез, по-настоящему, обратится к Богу, то сумеет выпрямить тот вывих, который исказил его внутреннее «я». и каждый из них в конечном счете обречен, если не сделает этого. Масштабы поступка, как они видятся со стороны, роли не играют.

И еще одно, последнее. Помните, я говорил, что правильно взятое направление ведет не только к миру, но и к знанию. По мере того как человек становится лучше, он яснее видит то зло, которое еще остается в нем. Становясь же хуже, меньше замечает его в себе. Умеренно плохой человек знает, что он не очень хорош, тогда как человек насквозь испорченный полагает, что с ним все в порядке. О том, что это так, говорит нам здравый смысл. Вы понимаете, что значит спать, когда бодрствуете, а не когда спите. Вы в состоянии заметить арифметические ошибки, только когда голова ваша работает четко и ясно: делая ошибки, вы их не замечаете. Вы можете понять природу опьянения, только будучи трезвым, а не когда сами пьяны. Хорошие люди знают и о добре, и о зле; плохие не знают ни о том, ни о другом.

5

Нравственность в области пола

А теперь мы должны рассмотреть, как относится христианская мораль (нравственность) к вопросу половых отношений и что христиане называют добродетелью целомудрия. Христианское правило целомудрия не следует путать с общественными правилами скромности, приличия или благопристойности. Общественные правила приличия устанавливают, до какого предела допустимо обнажать человеческое тело, каких тем прилично касаться в разговоре и какие выражения употреблять — все это в соответствии с обычаями данного социального круга. Таким образом, в то время, как нормы целомудрия являются одними и теми же для всех христиан во все времена, правила приличия меняются. Девушка с тихоокеанских островов, которая едва-едва прикрыта одеждой, и викторианская леди, облаченная в длинное платье, закрытое до самого подбородка, могут быть в равной степени приличными, скромными или благопристойными, согласно стандартам общества, в котором они живут; и обе, независимо от одежды, которую носят, могут быть одинаково целомудренными (или — наоборот — распутными). Отдельные слова и выражения, которыми целомудренные женщины пользовались во времена Шекспира, можно было бы услышать в девятнадцатом веке только от женщины, потерявшей себя. Когда люди нарушают правила пристойности, принятые в их обществе, для того, чтобы разжечь страсть в себе или в других, они совершают преступление против нравственности. Но если они нарушают эти правила по небрежности или невежеству, то повинны лишь в плохих манерах. Если, как часто случается, они нарушают эти правила намеренно, с целью шокировать или смутить других, это не обязательно говорит об их нескромности, скорее — об их недоброте. Потому что только недобрый человек испытывает удовольствие, ставя других в неловкое положение. Я не думаю, чтобы чрезмерно высокие и строгие нормы приличия служили доказательством целомудрия или помогали ему. И поэтому значительное упрощение и облегчение этих норм в наши дни рассматриваю как явление положительное.

Однако при настоящем положении вещей существует одно неудобство, а именно: люди различных возрастов и несхожих типов признают различные стандарты приличия. И от этого создается большая неразбериха. Я думаю, что, пока она остается в силе, старым людям или людям со старомодными взглядами следует быть очень осторожными в их суждении о молодежи. Они не должны делать вывод, что эти молодые или «эмансипированные» люди испорчены, если (согласно старым стандартам) они ведут себя неприлично. И наоборот, молодым людям не следует называть старших ханжами и пуританами из-за того, что те не в состоянии с легкостью принять новые стандарты. Подлинное желание видеть в других все хорошее, что в них есть, и делать все возможное, чтобы эти «другие» чувствовали себя как можно легче и удобнее, привело бы к решению большинства подобных проблем.

Целомудрие — одна из наименее популярных христианских добродетелей. В этом вопросе нет исключений; христианское правило гласит: «Либо женись и храни абсолютную верность своей супруге (или своему супругу), либо соблюдай полное воздержание». Это настолько трудное правило, и оно настолько противоречит нашим инстинктам, что напрашивается очевидный вывод: либо неправо христианство, либо с нашими половыми инстинктами в их теперешнем состоянии что-то не в порядке. Либо то, либо другое. И конечно, будучи христианином, я считаю, что неладно с нашими половыми инстинктами.

Но рассуждать подобным образом у меня есть и другие основания. Биологическая цель сексуальных отношений — это дети. Точно так же, как биологическая цель принятия пищи — это восстановление нашего организма. Если мы будем есть когда нам хочется и сколько нам хочется, то, скорее всего, мы будем есть слишком много. Но все-таки не катастрофически много. Один человек может есть за двоих, но никак не за десятерых. Аппетит переходит границу биологической цели, но не чрезмерно. А вот если молодой человек даст волю своему половому аппетиту и если в результате каждого акта будет рождаться ребенок, то в течение десяти лет этот молодой человек сможет заселить своими потомками небольшой город. Потому что этот вид аппетита несоразмерно выходит за границу своих биологических функций.

Или давайте рассмотрим это дело с другой стороны. На стриптиз вы можете легко собрать огромную толпу. Всегда найдется достаточно желающих посмотреть, как раздевается на сцене женщина. Предположим, мы приехали в какую-то страну, где театр можно заполнить зрителями, собравшимися ради довольно странного спектакля: на сцене стоит блюдо, прикрытое салфеткой, затем эта салфетка начинает медленно подниматься, постепенно открывая взгляду содержимое блюда; и перед тем, как погаснут театральные огни, каждый зритель сможет увидеть, что на блюде лежит баранья отбивная или кусок ветчины. Когда вы увидите все это, не придет ли

вам в голову мысль, что у жителей этой страны случилось что-то неладное с аппетитом? Ну, а если кто-то, выросший в другом мире, увидел бы сцену стриптиза, не подумал ли он, что с нашими половыми инстинктами явно что-то не в порядке?

Один критик заметил, что, если бы он обнаружил страну, где пользуется популярностью «стриптиз» бараньей отбивной, он решил бы, что народ в этой стране голодает. Критик хотел этим сказать, что увлечение стриптизом похоже не на половое извращение, но, скорее, на половое голодание. Я согласен с ним, что если в какой-то неизвестной стране люди проявляют живой интерес к упомянутому «стриптизу» отбивной, то одним из объяснений этого мог бы быть голод в стране. Однако давайте сделаем следующий шаг и проверим нашу гипотезу, выяснив, много или мало пищи потребляется жителями предполагаемой страны. Если наши наблюдения покажут, что едят здесь вовсе не мало, то нам придется отказаться от нашей первоначальной гипотезы и поискать другое объяснение. То же верно и в отношении зависимости между половым голоданием и интересом к стриптизу: мы должны выяснить, превосходит ли половое воздержание нашего века половое воздержание других столетий, когда стриптиз не существовал. Вне всякого сомнения, такого повышенного воздержания в наш век мы не находим. Противозачаточные средства резко снизили риск, связанный с половыми излишествами, и ответственность за них как в пределах брака, так и вне его; общественное мнение стало гораздо более снисходительным к незаконным связям и даже к извращениям, по сравнению со всеми остальными веками с послеязыческих времен. К тому же гипотеза о «половом голодании» не является единственным возможным объяснением. Каждый знает, что половой аппетит, как и всякий другой, стимулируется излишествами. Вполне возможно, что голодающий много думает о еде. Но то же самое делает и обжора.

И еще одно, третье соображение. Вы встретите немного людей, желающих есть то, что пищей не является, или делать с пищей что-либо другое, вместо того чтобы есть ее. Иными словами, извращенный аппетит — вещь крайне редкая. А вот извращения сексуальных инстинктов — многочисленны, пугающи и с трудом поддаются лечению. Мне не хотелось бы вдаваться во все эти детали, но придется. Делать это приходится потому, что в последние двадцать лет нас день за днем кормили отборной ложью о сексе. Нам повторяли до тошноты, что половое желание в такой же степени правомерно, как и любое другое естественное желание; нас убеждали, что, если только мы откажемся от глупой викторианской идеи подавлять это желание, все в нашем человеческом саду станет прекрасно. Это — неправда. Как только вы, отвернувшись от пропаганды, переведете взгляд на факты, вы увидите, что это ложь.

Вам говорят, что половые отношения пришли в беспорядок из-за того, что их подавляли. Но в последние 20 лет они не подавлялись. О них судачат повсюду днями напролет. А они все еще не пришли в норму. Если вся беда заключалась в подавлении сексуального начала, в замалчивании этого вопроса, то с наступлением свободы проблема должна была бы разрешиться. Однако этого не случилось. Я считаю, что все было как раз наоборот; что когда-то, в самом начале, люди начали обходить этот вопрос стороной, именно из-за того, что он выходил из-под контроля, превратился в чудовищную неразбериху.

Современные люди говорят: «В половых отношениях нет ничего постыдного». Под этим они могут подразумевать две вещи. Они могут иметь в виду, что нет ничего постыдного как в том, что человечество воспроизводит себя определенным способом, так и в том, что способ этот сопряжен с получением удовольствия. Если так, то они правы. Христианство полностью с этим согласно. Беда не в самом способе и не в получаемом удовольствии. В старину христианские учителя говорили: «Если бы человек не пал, то получал бы гораздо больше удовольствия от половых отношений, чем получает теперь». Я знаю, что некоторые туповатые христиане создали своими высказываниями впечатление, будто с точки зрения христианства половые отношения, тело, всякого рода физические удовольствия являются злом сами по себе. Эти люди совершенно неправы. Христианство — почти единственная из великих религий, которая одобрительно относится к телу, которая считает, что материя — это добро, что Сам Бог однажды облекся в человеческое тело, что нам будет дано какое-то новое тело даже на небесах и это новое тело станет существенной составной частью нашего счастья, нашей красоты, нашей энергии. Христианство возвеличило брак больше, чем любая другая религия, и почти все величайшие поэмы о любви написаны христианами. Если кто-нибудь говорит, что половые отношения являются злом сами по себе, христианство тут же возражает ему. Однако, когда сегодня люди говорят: «В половых отношениях нет ничего постыдного», они могут под этим подразумевать, что нет ничего предосудительного в том положении, в котором пребывают эти отношения сегодня.

Если они это имеют в виду, то, я думаю, они неправы. Я считаю, что сегодняшнее положение с сексом — весьма и весьма постыдное. Нет ничего постыдного в наслаждении едой; но было бы крайне позорно для человечества, если бы половина населения земного шара сделала пищу главным интересом в своей жизни и проводила свое время, глядя на картинки, изображающие съедобное, облизываясь и пуская слюну при этом. Я не хочу сказать, что мы с вами лично ответственны за сложившуюся ситуацию. В этом отношении мы страдаем от искаженной наследственности, которую передали нам наши предки. Кроме того, мы выросли под гром пропаганды в пользу невоздержания. Существуют люди, которые ради получения прибыли желают, чтобы наши половые инстинкты были постоянно возбуждены, потому что человек, одержимый навязчивой идеей или страстью, едва ли способен удержаться от расходов на ее удовлетворение. Бог знает о нашем положении. И когда Он будет нас судить, Он примет во внимание все трудности, кото-

рые нам приходилось преодолевать. Важно только, чтобы у нас было искреннее и настойчивое желание преодолеть эти трудности.

Мы не можем исцелиться прежде, чем захотим этого. Те, которые действительно ищут помощи, получают ее. Но многим современным людям даже пожелать этого трудно. Легко думать, будто мы хотим чего-то, когда на самом деле вовсе этого не хотим. Один известный христианин сказал, что когда он был молодым, то постоянно молился, чтобы Бог наделил его целомудрием. И лишь много лет спустя он осознал, что, пока его губы шептали: «О Господи, сделай меня целомудренным», сердце его втайне добавляло: «Только, пожалуйста, не делай этого прямо сейчас». То же самое может случиться и с молитвами о других добродетелях.

Существуют три причины, почему в настоящее время нам особенно трудно желать целомудрия; я уже не говорю о его достижении.

Во-первых, наша искаженная природа, бесы, искушающие нас, и вся современная пропаганда похоти, объединившись, внушают нам, что желания, которым мы противимся, так естественны и разумны и направлены на укрепление нашего здоровья, что сопротивление им есть своего рода ненормальность, почти извращение. Афиша за афишей, фильм за фильмом, роман за романом ассоциируют склонность к половым излишествам с физическим здоровьем, естественностью, молодостью, открытым и веселым характером. Подобная параллель — лжива. Как всякая сильно действующая ложь, она замешена на правде, о которой мы говорили выше: что половое влечение само по себе (за исключением излишеств и извращений) является нормальным и здоровым инстинктом. Ложь состоит в предположении, что любой половой акт, которого вы желаете в данный момент, является здоровым и нормальным. Даже если оставить христианство в стороне, подобное заявление с точки зрения элементарной логики лишено смысла. Ведь очевидно, что уступка всем нашим желаниям ведет к импотенции, болезням, ревности, лжи и всему такому, что никак не согласуется со здоровьем, веселым нравом и открытостью. Чтобы достичь счастья даже в этом мире, необходимо быть как можно более воздержанным. Поэтому нет оснований заявлять, что любое сильное желание всегда естественно и разумно. Каждому здравомыслящему и цивилизованному человеку должны быть присущи какие-то принципы, руководствуясь которыми он одни свои желания осуществляет, а другие отвергает. Один человек руководствуется христианскими принципами, другой — гигиеническими, третий — социальными. Настоящий конфликт происходит не между христианством и «природой», а между христианскими принципами и принципами контроля над «природой». Потому что «природу» (то есть естественные желания) так или иначе приходится контролировать, если мы не желаем разрушить свою жизнь. Следует признать, что христианские принципы строже других. Но христианство само помогает верующему в соблюдении их, тогда как при соблюдении других принципов вы никакой внешней помощи не получаете.

Во-вторых, многих людей отпугивает самая мысль о том, чтобы всерьез попытаться следовать христианским принципам целомудрия, потому что они считают (еще прежде, чем попробовали), что дело это — невозможное. Но, приступая к испытанию чего бы то ни было, нельзя думать о том, возможно это или нет. Ведь над обязательной экзаменационной задачей человек не раздумывает, но старается сделать все, на что способен. Даже самый несовершенный его ответ будет как-то оценен; но если он вообще не ответит на вопрос, то и оценки никакой не получит. Не только на экзаменах, но и на войне, либо занимаясь альпинизмом или когда учатся кататься на коньках, плавать, или ездить на велосипеде, даже застегивая тугой воротник замерзшими пальцами, люди часто совершают то, что казалось невозможным прежде, чем они это попробовали. Поразительно, на что мы способны, когда нас заставляет необходимость.

Мы можем быть уверены в том, что совершенное целомудрие — так же как и совершенное милосердие — не могут быть достигнуты одними человеческими усилиями. Вы должны попросить Божьей помощи. Но даже после того, как вы ее попросили, долгое время вам может казаться, что вы этой помощи не получаете или получаете ее недостаточно. Не падайте духом. Всякий раз, когда оступаетесь, просите прощения, собирайтесь с духом и делайте новую попытку. Очень часто в качестве помощи поначалу Бог дает не самую добродетель, а силы на все новые и новые попытки. Потому что, какой бы важной добродетелью ни было целомудрие (или храбрость, или правдивость, или любое другое достоинство), но самый процесс развивает в нас такие душевные навыки, которые еще важнее. Этот процесс освобождает нас от иллюзий относительно эффективности собственных усилий и учит во всем полагаться на Бога. Мы учимся, с одной стороны, тому, что не можем полагаться на самих себя даже в наши лучшие моменты, а с другой — тому, что и в случае самых ужасных неудач нам не следует отчаиваться, потому что неудачи наши — прощены. Единственной роковой ошибкой для нас было бы успокоиться на том, то мы есть, не стремясь к совершенству.

В-третьих, люди часто превратно понимают то, что в психологии называется «подавлением». Психология учит, что «подавляемые половые инстинкты» представляют из себя серьезную опасность. Но слово «подавляемые» является техническим термином. Оно не значит «подавляемые» в смысле «пренебрегаемые» или «отвергаемые». Подавленное желание или мысль отбрасывается в наше подсознание (обычно в очень раннем возрасте) и может после этого возникнуть в сознании только в видоизмененной до неузнаваемости форме. Подавленные половые инстинкты могут проявляться в сознании пациента как нечто, не имеющее к сексу никакого отношения. Когда подросток или взрослый человек сопротивляется какому-то осознанному желанию, он ни в коей мере не создает для себя опас-

ности «подавления». Напротив, те, кто всерьез пытается хранить целомудрие, лучше осознают половую сторону своей природы и знают о ней гораздо больше, чем другие люди. Они познают свои желания, как Веллингтон изучил Наполеона или Шерлок Холмс — Мориарти; они разбираются в них, как крысолов в крысах, а слесарь-водопроводчик — в протекающих трубах. Добродетель — пусть даже не достигнутая, но желаемая — приносит свет, излишества лишь затуманивают наше сознание.

И наконец, несмотря на то, что мне пришлось так долго говорить о сексе, я хочу, чтобы вы ясно поняли, что центр христианской морали находится не здесь. Если кто-нибудь полагает, что отсутствие целомудрия христиане считают наивысшим злом, то он заблуждается. Грехи плоти — очень скверная штука, но они наименее серьезные из всех грехов. Самые ужасные, вредоносные удовольствия являются чисто духовными; это удовольствие соблазнять других на зло; желание навязывать другим свою волю, клеветать, ненавидеть, стремиться к власти. Ибо во мне живут два начала, соперничающие с тем «внутренним человеком», которым я должен стремиться стать. Это — мое животное начало и присущее мне дьявольское начало. Последнее — наихудшее из них. Вот почему холодный самодовольный педант, регулярно посещающий церковь, может быть гораздо ближе к аду, чем проститутка. Но конечно, лучше всего не быть ни тем, ни другой.

6

Христианский брак

Последняя глава преимущественно в отрицательном свете трактовала проявление сексуальных импульсов в человеке; я почти не коснулся в ней положительных их аспектов, а именно: христианского брака.

Обсуждать вопросы супружеских отношений я не хотел бы по двум, в частности, причинам. Первая заключается в том, что христианская доктрина о браке крайне непопулярна. А вторая — в том, что сам я никогда не был женат и, следовательно, могу говорить на эту тему только со слов других. Но, несмотря на это, я полагаю, что, рассуждая о вопросах христианской морали, едва ли можно обойти ее стороной.

Христианская идея о браке основывается на заявлении Христа, что мужа и жену следует рассматривать как единый организм. Ибо именно это означают его слова «одна плоть». И христиане полагают, что, когда Иисус произносил их, Он констатировал факт так же, как констатацией факта явились бы слова, что замок и ключ составляют единый механизм или что скрипка и смычок являются одним музыкальным инструментом. Он, Изобретатель человеческой машины, сказал нам, что две ее половины — мужская и женская — были созданы для того, чтобы соединиться в пары, причем не только ради половых отношений; союз этот должен быть всесторонним. Уродство половых связей вне брака состоит в том, что те, кто вступает в них, пытаются изолировать один аспект этого союза (половой) от всех остальных. Между тем именно в неразделимости их — залог полного и совершенного союза. Христианство не считает, что удовольствие, получаемое от половых отношений, более греховно, чем, скажем, удовольствие от еды. Но оно считает, что нельзя прибегать к ним лишь как к источнику удовольствия: это так же противоестественно, как, например, наслаждаться вкусом пищи, избегая процесса глотания и пищеварения, то есть жуя пищу и выплевывая ее.

И как следствие этого, христианство учит, что брак — союз двух людей на всю жизнь. Верно, что разные церкви придерживаются на этот счет не совсем схожих мнений. Некоторые не разрешают развода совсем. Другие разрешают его очень неохотно, только в особых случаях. Очень печально, что между христианами нет согласия в таком важном вопросе. Но справедливость требует отметить, что между собой различные церкви согласны по вопросу брака все же гораздо больше, чем с окружающим миром. Я имею в виду, что любая церковь рассматривает развод как ампутацию части живого тела, как своего рода хирургическую операцию. Одни церкви считают эту операцию настолько неестественной, что вовсе не допускают ее. Другие допускают развод, но как крайнюю меру в исключительно тяжелых случаях.

Все они согласны с тем, что эта процедура скорее похожа на ампутацию обеих ног, чем на расторжение некоего делового товарищества. Никто из них не принимает современной точки зрения на развод, утверждающей, что он совершается партнерами как своего рода реорганизация, необходимая, если между ними больше нет любви или если один из них полюбил кого-то другого.

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению этой современной точки зрения на развод в связи с целомудрием, нам следовало бы проследить ее связь с другой добродетелью, а именно — справедливостью. Эта последняя включает в себя, помимо всего прочего, верность данным обещаниям. Каждый, кто венчался в церкви, давал торжественное публичное обещание хранить верность своему партнеру до смерти. Долг сдержать его не находится в специфической зависимости от характера половых отношений. Обещание, данное при заключении брачного союза, схоже с любым другим. Если, как утверждают наши современники, половое влечение ничем не отличается от других наших импульсов, то и относиться к нему следует как к любому из них. Как всякая тяга к излишествам, он должен контролироваться. Если же, как я думаю, половой инстинкт отличается от других тем, что болезненно воспален, то мы должны реагировать на него особенно осторожно, чтобы он не толкнул нас на совершение бесчестных поступков.

На это кто-нибудь может возразить, что считает обещание, данное в церкви, простой формальностью, которую не имел намерения соблюдать. Кого же тогда он старался обмануть, давая это обещание? Бога? Это было бы очень неумно. Себя самого? Тоже не намного умнее. Невесту, ее родственников? Это было бы предательством. Чаще всего, я думаю, брачная пара (или один из них) надеется обмануть пуб-

анику. Они желают респектабельности, связанной с браком, но не желают платить за это. Такие люди — обманщики и самозванцы. Если они к тому же испытывают удовлетворение от своего обмана, то мне нечего им сказать, ибо кто станет навязывать высокий трудный долг целомудрия людям, у которых еще не пробудилось желание быть честными? А если к настоящему моменту они уже образумились и возымели такое желание, то обещание, данное ими, послужит им сдерживающей силой. И они станут вести себя, откликаясь на зов справедливости, а не целомудрия. Если люди не верят в постоянный брак, им, пожалуй, было бы лучше жить вместе, не вступая в него. Это честнее, чем давать клятвы, которых нет намерения исполнять. Верно, что совместная жизнь вне брака делает их виновными (с точки зрения христианства) в грехе прелюбодеяния. Но нельзя избавиться от одного порока, добавив к нему другой: распущенность нельзя исправить, добавив к ней клятвопреступление.

Очень популярная в наши дни идея, что единственным оправданием брака является любовь между супругами, не оставляет места для брачного контракта или брачных обетов. Если все держится на влюбленности, то обещание теряет смысл. Значит, и давать его не следует. Любопытно, что сами влюбленные, пока еще влюблены, знают это лучше, чем те, которые рассуждают о любви. По замечанию Честертона, влюбленным присуща естественная склонность связывать друг друга обещаниями. Любовные песни во всем мире полны клятв в вечной верности. Христианский закон не навязывает влюбленным чего-то такого, что чуждо природе любви, а лишь требует, чтобы они с полной серьезностью относились к тому, на что вдохновляет их страсть.

И конечно, обещание, данное, когда я был влюблен, и потому, что я был влюблен, обещание хранить верность на всю жизнь, обязывает меня быть верным даже в том случае, если моя любовь прошла. Ведь обещание может быть дано в отношении действий и поступков, то есть того, что я могу контролировать. Никто не может обещать, что будет постоянно испытывать одно и то же чувство. С таким же успехом можно обещать никогда не страдать головной болью или всегда быть голодным. Возникает вопрос: какой смысл держать двух людей вместе, если они больше не любят друг друга? На это есть несколько серьезных причин социального характера: не лишать семьи детей; защитить женщину (которая, возможно, пожертвовала своей карьерой, выходя замуж) от перспективы быть брошенной, как только она наскучит мужу. Но существует еще одна причина, в которой я убежден, хотя мне не совсем легко объяснить ее.

И вот почему: слишком многие люди просто не в состоянии понять, что если Б лучше, чем В, то А может быть еще лучше, чем Б. Они предпочитают понятия «хороший» и «плохой», а не «хороший», «лучший» и «самый лучший» или «плохой», «худший» и «самый худший». Они хотят знать, считаете ли вы патриотизм хорошим качеством. Вы отвечаете, что, конечно, патриотизм — хорошее качество, гораздо лучшее, чем эгоизм, присущий индивидуалисту, но что всеобщая братская любовь — выше патриотизма. И если они вступают в конфликт между собой, то предпочтение следует отдать братской любви. Казалось бы, вы даете полный ответ, но ваши оппоненты видят в нем лишь желание увильнуть от ответа. Они спрашивают, что вы думаете о дуэли. Вы отвечаете, что простить человеку оскорбление гораздо лучше, чем сражаться с ним на дуэли. Однако даже дуэль может быть лучше, чем ненависть на всю жизнь, которая проявляется в тайных попытках унизить человека, всячески повредить ему. Если вы дадите им такой ответ, они отойдут от вас, жалуясь, что вы не хотите дать прямого ответа. Я очень надеюсь, что никто из читателей не сделает подобной ошибки в отношении того, о чем я собираюсь сейчас говорить.

«Быть влюбленным» — это восхитительное состояние, во многих отношениях оно полезно для нас. Любовь помогает нам быть великодушными и мужественными, раскрывает перед нами не только красоту любимого существа, но и красоту, разлитую во всем, и, наконец, контролирует (особенно вначале) наши животные половые инстинкты. В этом смысле любовь — великая победа над похотью. Никто в здравом уме не станет отрицать, что влюбленность лучше обычной чувственности или холодной самовлюбленности. Но, как я сказал прежде, опаснее всего следовать какому-то из импульсов нашей природы любой ценой, ни перед чем не останавливаясь. Быть влюбленным — вещь хорошая, но не лучшая. Есть много вещей, которые меркнут перед чувством влюбленности, но есть и такие, которые выше его. Вы не можете класть это чувство в основание всей своей жизни. Да, оно благородно, но оно всего лишь чувство. Поэтому нельзя рассчитывать на то, что оно с одинаковой интенсивностью будет длиться всю жизнь. Знание, принципы, привычки могут быть долговечны. А чувство приходит и уходит. И в самом деле, что бы люди ни говорили, состояние влюбленности обычно скоропреходяще. Да и то сказать: если бы люди на протяжении пятидесяти лет испытывали друг к другу точно то же, что в день перед свадьбой, их положение было бы не слишком завидным. Кто смог бы вынести состояние постоянного возбуждения и на протяжении пяти лет? Что сталось бы с нашей работой, аппетитом, сном, с нашими дружескими связями? Но конец влюбленности, конечно, не означает конца любви. А любовь — именно любовь, в отличие от влюбленности, не просто чувство. Это глубокий союз, поддерживаемый волевыми усилиями, укрепляемый привычкой. Любовь укрепляется (в христианском браке) и благодатью, о которой просят и которую получают от Бога оба партнера. Поэтому они могут иметь любовь друг к другу даже тогда, когда испытывают обоюдную неудовлетворенность. (Ведь любите же вы себя, даже когда недовольны собой.) Они в состоянии сохранить эту любовь и тогда, когда каждый из них мог бы влюбиться в кого-нибудь еще, если бы позволил себе. Влюбленность в самом начале побудила их дать обещание верности друг другу. Вторая, более спокойная любовь, дает им силы хранить это обещание. Именно на такой

любви работает мотор брака. Влюбленность была только вспышкой для запуска его. Если вы со мной не согласны, то, конечно, скажете: «Он ничего об этом не знает, потому что сам не женат». Очень возможно, что вы правы. Но прежде чем вы это скажете, убедитесь, пожалуйста, в том, что судите о моем заявлении на основе вашего личного опыта или на основании наблюдений за жизнью своих друзей. Не судите о нем на основании идей, почерпнутых из романов и фильмов. И требуется много терпения и умения, чтобы выделить из него те уроки, которые нам в действительности преподаны жизнью.

Из книг люди нередко получают представление, будто влюбленность может длиться всю жизнь, если вы не ошиблись при выборе партнера. Отсюда следует вывод: если на деле этого не произошло, значит, допущена ошибка. И остается лишь сменить партнера. Думающие так не осознают, что и восторг их новой любви постепенно угаснет, точно так же, как это было при первой любви. Ведь и в этой форме жизни, как и в любой другой, возбуждение приходит вначале, но не остается навсегда. То возбуждение, которое испытывает мальчишка при первой мысли о полете, уляжется, когда он придет в авиацию и на деле приступит к учебным полетам. И восторг, который теснит вам душу, когда вы впервые попадаете в какое-то прекрасное место, постепенно гаснет, если оно становится местом вашего постоянного обитания. Значит ли это, что было бы лучше вообще не учиться летать и не переселяться на жительство в красивейшие места? Отнюдь нет. В обоих случаях, пройдя через первую фазу, вы почувствуете, как первоначальное возбуждение сменяется более спокойным и постоянным интересом. Более того (и я едва могу найти слова, чтобы выразить, какое большое значение придаю этому), только те люди, которые готовы примириться с потерей трепета и довольствоваться трезвым интересом, способны обрести новые восторги в несколько ином направлении. Человек, который научился летать и стал хорошим пилотом, внезапно слышит музыку сфер. Человек, который поселился в прекрасном месте, открывает для себя радость еще больше украшать его, насаждая в нем сад.

В какой-то мере, я думаю, Христос имел в виду и это, когда сказал, что ничто не может жить, пока оно не умрет. Негоже пытаться удерживать удовольствие, питаемое возбуждением. Это было бы самой опасной ошибкой. Дайте возбуждению пройти, дайте ему умереть, переживите этот период умирания и перейдите в следующий за ним период спокойной заинтересованности и счастья. Сделайте это, и вы увидите, что вы все время живете в мире новых восторгов и нового трепета. Но если вы попытаетесь искусственно включить восторженное состояние в свое повседневное «меню», то обнаружите, как оно постепенно слабеет и все реже вас посещает, и вот уже вы доживаете свою жизнь преждевременно состарившимся, утратившим иллюзии человеком, которому все наскучило. Именно из-за того, что очень немногие люди это понимают, вы встречаете вокруг так много людей среднего возраста, ворчащих, что юность прошла попусту. Нередко они сетуют на прошедшую юность в таком возрасте, когда перед ними еще должны открываться новые горизонты со всех сторон! Гораздо интереснее по-настоящему научиться плавать, чем бесконечно (и безнадежно) стараться вернуть то чувство, которое вы испытали, когда впервые ребенком надели ласты и поплыли...

Очень часто в романах и пьесах проводится мысль, будто влюбленность — это такое чувство, которому невозможно противиться. Будто это что-то такое, что просто поражает вас, как, к примеру, корь. И поскольку некоторые люди в это верят, то и, будучи женаты, срывают предохранитель со своих чувств и капитулируют при встрече с новой привлекательной знакомой. Однако я склонен думать, что в жизни такие непреодолимые страсти посещают нас гораздо реже, чем в книгах, во всяком случае взрослых людей. Когда мы встречаем человека красивого, умного, привлекательного, мы в каком-то смысле должны полюбить эти его прекрасные качества, должны восхищаться ими Но не от нас ли в основном зависит: перерастет это чувство восхищения в то, что мы зовем влюбленностью? Нет сомнений, что если мы напичканы романтическими сюжетами и любовными песнями, да к тому же пребываем под действием алкоголя, то в состоянии превратить любое восхищение в любовь такого рода. Точно так же, как если вдоль тропинки вырыта канава, то вся дождевая вода будет собираться в нее; или, если мы носим синие очки, все вокруг кажется нам синим. Но это — наша собственная вина.

Прежде чем мы оставим вопрос о разводе, я бы хотел разграничить две вещи, которые часто смешивают. Христианский принцип брака — это один вопрос. Совсем другой вопрос: как далеко могут идти христиане — если они избиратели или члены парламента — в старании привить свой взгляд на брак остальным членам общества? Очень многие люди считают, что если вы христианин, то должны стараться затруднить развод для всех остальных. Я с этим не согласен. Я, например, знаю, что возмутился бы, если бы мусульмане постарались запретить всем нам, остальным, совершенно воздерживаться от вина. Я придерживаюсь следующего мнения: церковь должна была бы откровенно признать тот факт, что граждане Великобритании в большинстве своем христианами не являются, и, следовательно, от них нельзя ожидать, чтобы они вели христианский образ жизни. Необходимо иметь два рода браков: один, регулируемый государством на основании законов, обязательных для всех граждан; другой — регулируемый церковью на основании тех законов, которые обязательны для всех ее членов. Различие должно быть очень четким, чтобы людям было ясно, какая пара вступает в брак по-христиански, а какая — нет.

Я думаю, я сказал достаточно о постоянстве и неразрывности христианского брака. Нам остается разобраться с одним, еще более непопулярным вопросом. Христианские жены дают обещание повиноваться своим мужьям. В христианском браке главой семьи является мужчина. В связи с этим возникают два вопроса: 1. Почему в

семье обязательно должен быть глава? Почему нельзя допустить равенства? 2. Почему главой должен быть мужчина?

1. Необходимость иметь главу в семье вытекает из идеи, что брак — союз постоянный. Конечно, когда муж и жена живут в согласии, вопрос о главенстве не возникает. И мы должны надеяться, что именно это является нормой в христианском браке. Но если возникает разногласие, что тогда? Тогда супругам не избежать серьезного разговора. Допустим, они уже пытались говорить и тем не менее к согласию не пришли. Что им делать дальше? Они не могут решить вопроса с помощью голосования, потому что при наличии лишь двух сторон голосование невозможно. В таком случае остаются две вещи: либо им придется разойтись в разные стороны, либо один из них должен получить право решающего голоса. При постоянном браке одна из сторон должна в предвидении крайнего случая иметь власть решать вопросы семейного союза. Ибо никакой постоянный союз невозможен без конституции.

2. Если в семье должен быть глава, то почему именно мужчина? Ну что ж, во-первых, есть ли у кого серьезное желание, чтобы главную роль в семье играла женщина? Как я уже сказал, я сам не женат. Однако я вижу, что даже те женщины, которые хотят быть главою в своем доме, обычно не приходят в восторг, наблюдая такую же ситуацию у соседей. Скорее всего, они скажут: «Бедный мистер Икс! (Имея в виду соседа.) Почему он позволяет этой ужасной женщине верховодить? Я просто не могу его понять!» Я даже не думаю, что эта женщина будет польщена, если кто-нибудь заметит, что она сама «верховодит» в своей семье. Должно быть, есть что-то противоестественное в женском руководстве мужьями, потому что сами жены несколько смущены этим и презирают мужей, которыми верховодят.

Но есть еще одна причина: и здесь, скажу откровенно, я говорю как холостяк, потому что причину эту лучше видно со стороны, чем с позиции женатого человека. Отношения семьи с внешним миром — так сказать, внешняя политика семьи — должны находиться в конечном счете под контролем мужа. Почему? Потому что он всегда должен быть и, как правило, бывает более справедлив по отношению к посторонним. Женщина сражается в первую очередь за своих детей и своего мужа — против всего остального мира. Для нее, вполне естественно, их требования, их интересы перевешивают все другие соображения. Она чрезвычайный поверенный их интересов. Задачей мужа является следить за тем, чтобы это ее естественное предпочтение не ставилось постоянно во главу угла в отношениях их семьи с окружающими. За ним должно оставаться последнее слово, чтобы он мог в случае необходимости защитить других людей от сильного семейного «патриотизма» своей жены. Если кто-нибудь из вас сомневается в этом, позвольте мне задать вам вопрос. Если ваша собака укусила соседского ребенка или если ваш ребенок ударил соседскую собаку, с кем вы предпочли бы иметь дело — с хозяином или с хозяйкой? Или, если вы замужняя женщина, позвольте мне спросить вас: как бы вы ни обожали своего мужа, не признаетесь ли вы, что его главным недостатком является его неспособность постоять за свои и ваши права при столкновении с соседями настолько, насколько вы хотели бы?

7

Прощение

Я сказал в одной из предыдущих глав, что целомудрие является наиболее непопулярной из всех христианских добродетелей. Но я не уверен, что был прав. Пожалуй, есть добродетель еще менее популярная, чем целомудрие. Она выражается в христианском правиле: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Непопулярна она потому, что христианская мораль включает в понятие «твоего ближнего» и «твоего врага».... Итак, мы подходим к ужасно тяжелой обязанности прощать своих врагов.

Каждый человек соглашается, что прощение — прекрасная вещь, до тех пор, пока сам не окажется перед альтернативой прощать или не прощать, в ситуации, когда прощение должно исходить именно от него. Мы помним, как оказались в такой ситуации в годы войны. Обычно само упоминание об этом вызывает бурю возмущения. И не потому, что люди считают эту добродетель слишком высокой и трудной. Нет, просто прощение такого рода кажется им недопустимым, им ненавистна самая мысль о нем. «Нас тошнит от подобных разговоров»,— заявляют они. И половина из вас уже готовы меня спросить: «А как бы вы относились к гестапо, если бы были поляком или евреем?»

Я сам хотел бы это знать. Точно так же, как хотел бы знать, что мне делать, если передо мной встанет необходимость выбора: умереть мученической смертью или отказаться от моей веры... Ведь христианство прямо говорит мне, чтобы я не отказывался от веры моей ни при каких обстоятельствах. В этой книге я не пытаюсь сказать вам, что я мог бы сделать — ибо я могу сделать крайне мало. Я лишь пытаюсь показать вам, что представляет из себя христианство. Не я его придумал. И в самой сердцевине его я нахожу эти слова: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Здесь нет ни малейшего намека на то, что прощение дается нам на каких-то других условиях. Слова эти совершенно ясно показывают, что если мы не прощаем, то не можем быть прощены. Двух путей здесь нет. Так что же нам делать?

Что бы мы ни пробовали делать, все будет трудно. Но я думаю, две вещи мы можем сделать, и они облегчат нам нашу трудную задачу. Приступая к изучению математики, вы начинаете не с дифференциального исчисления, а с простого сложения. Точно так же, если мы действительно хотим (а все зависит именно от нашего желания) научиться прощать, нам, наверное, следует начать с чего-то полегче, чем гестапо. Например, с того, чтобы простить своего мужа, или жену, или родителей, или детей, или ближайших соседей за что-то, что они сказали или сделали на прошлой неделе. Это, возможно, захватит наше внимание в данный момент. Затем нам надо по-

стараться понять, что означает любить ближнего своего, как самого себя. А как я люблю самого себя?

Вот сейчас, когда я подумал об этом, я понял, что у меня нет особого чувства нежности и любви к себе самому. Я даже не всегда люблю свое собственное общество. Значит, слова «возлюби ближнего своего», очевидно, не означают «испытывай нежность к нему» или «находи его привлекательным». Впрочем, так это и должно быть, потому что, конечно же, как бы вы ни старались, вы не можете заставить себя почувствовать нежность к кому бы то ни было. Хорошо ли я отношусь к самому себе? Считаю ли я себя приятным человеком? Что ж, боюсь, что минутами — да (и это, несомненно, худшие мои минуты). Но люблю я себя не поэтому; не потому, что считаю себя славным парнем. На деле все происходит наоборот, а именно: любовь к себе заставляет меня думать, что я, в сущности, славный парень. Следовательно, и врагов своих мы можем любить, не считая их приятными людьми. Это великое облегчение. Потому что очень многие думают, что простить своих врагов — значит, признать, что они, в конце концов, не такие уж плохие ребята, тогда как на самом деле всем ясно, что они действительно плохие.

Давайте продвинемся еще на шаг вперед. В моменты просветления я не только не считаю себя приятным человеком, но, напротив, нахожу себя просто отвратительным. Я с ужасом думаю о некоторых вещах, которые я совершил. Значит, мне, по всей видимости, дозволяется ненавидеть и некоторые поступки моих врагов. И вот уже мне вспоминаются слова, давно произнесенные христианскими учителями: «Ты должен ненавидеть зло, а не того, кто совершает его». Или иначе: «Ненавидеть грех, но не грешника». Долгое время я считал это различие глупым и надуманным: как можно ненавидеть то, что делает человек, и при этом не ненавидеть его самого? Но позднее я понял, что годами именно так и относился к одному человеку, а именно — к самому себе. Как бы я ни ненавидел свою трусость, или лживость, или жадность, я тем не менее продолжал любить себя. И мне это было совсем нетрудно. Фактически я ненавидел свои дурные качества потому, что любил себя. Именно поэтому так огорчало меня то, что я делал, каким я был. Следовательно, христианство не побуждает нас ни на гран смягчить ту ненависть, которую мы испытываем к жестокости или предательству. Мы должны их ненавидеть. Ни одного слова, которые мы сказали о них, не следует брать обратно. Но христианство хочет, чтобы мы ненавидели их так же, как ненавидим собственные пороки, то есть, чтобы мы сожалели, что некто мог поступить так, и надеялись, что когда-нибудь где-нибудь он сможет исправиться и снова стать человеком.

Проверить себя можно следующим образом. Предположим, вы читаете в газете историю о гнусных и грязных жестокостях. На следующий день появляется сообщение, где говорится, что опубликованная вчера история, возможно, не совсем соответствует истине и все было не так страшно. Почувствуете ли вы при этом облегчение: слава Богу, мол, они не такие негодяи, как я думал. Или же будете разочарованы и даже попытаетесь держаться первоначальной версии: просто ради удовольствия думать, что враги, те, о ком вы читали,— законченные мерзавцы?.. Если человек охвачен вторым чувством, тогда, боюсь, он вступил на путь, который — пройди он его до конца — заведет его в сети дьявола. В самом деле, ведь он начинает ждать, чтобы черное было еще чернее.

Стоит дать волю этому чувству, и через какое-то время захочется, чтобы серое, а потом и белое тоже стало черным. В конце концов появится желание все, буквально все — Бога, и наших друзей, и себя самих — видеть в черном свете. Подавить его уже не удастся. Атмосфера безудержной ненависти поглотит такую душу навеки.

Попытаемся продвинуться еще на шаг вперед. Означает ли «Возлюби врага своего», что мы не должны его наказывать? Нет, потому что и то обстоятельство, что я люблю самого себя, не значит, что я всячески должен «спасать себя» от заслуженного наказания — вплоть до смертной казни. Если вы совершили убийство, то по христианскому принципу надо сдаться в руки властям и испить чашу свою даже до смерти. Только такое поведение было бы правильным с христианской точки зрения. Поэтому я полагаю, что судья-христианин абсолютно прав, приговаривая преступника к смерти; прав и солдат-христианин, когда убивает своего врага на поле сражения. Я всегда придерживался этого мнения с тех пор, как сам стал христианином, задолго до войны. Я и сегодня, в мирные дни, все еще держусь его. Известное «Не убий» приводится в неточном переводе. Дело в том, что в греческом языке есть два слова, которые переводятся глаголом «убивать». Но одно из них значит действительно — просто «убить», тогда как другое — «совершить убийство». И во всех трех Евангелиях — от Матфея, Марка и Луки,— где цитируется эта заповедь Христа, употребляется именно то слово, которое означает: «не совершай убийства». Мне сказали, что такое же различие существует и в древнееврейском языке. «Убивать» — далеко не всегда означает «совершать убийство», так же как половой акт не всегда означает прелюбодеяние. Когда воины спросили у Иоанна Крестителя, как им поступать, он и намека не сделал на то, что им следует оставить армию. Ничего такого не требовал и Сам Иисус, когда, например, встретился с римским сотником. Образ рыцаря-христианина, готового во всеоружии защищать доброе дело,— один из великих образов христианина. Война — вещь отвратительная, и я уважаю искреннего пацифиста, хотя я считаю, что он полностью заблуждается. Кого я не могу понять, так это полупацифистов, встречающихся в наши дни, которые пробуют внушить людям идею, что если уж они вынуждены сражаться, то пусть сражаются, как бы стыдясь этого, не скрывая, что делают это по принуждению. Подобное чувство стыда нередко лишает прекрасных молодых военных из христиан того, что принадлежит им по праву и является естественным спутником мужества, а именно — бодрого, веселого настроения и сердечности.

Я часто думаю про себя, что бы случилось, если бы, когда я служил в армии во время первой мировой войны, я и какой-нибудь молодой немец одновременно убили друг друга и сразу же встретились после смерти. И, знаете, я не могу себе представить, чтобы кто-то из нас двоих почувствовал обиду, негодование или хотя бы смущение. Думаю, мы просто рассмеялись бы над тем, что произошло.

Я могу себе представить, что кто-нибудь скажет: «Если человеку позволено осуждать поступки врага, и наказывать, и даже убивать его, то в чем же разница между христианской моралью и обычной человеческой точкой зрения?» Разница есть, и разница колоссальная. Помните, мы, христиане, верим, что человек живет вечно. Поэтому значение имеют только те маленькие отметины или вехи на нашем главенствующем внутреннем «я», которое в конечном счете обращают душу человеческую либо в райское существо, либо в исчадие ада. Мы можем убивать, если это необходимо, но не должны ненавидеть и упиваться ненавистью. Мы можем наказывать, если надо, но не должны испытывать при этом удовольствие. Иными словами: мы должны убить глубоко гнездящееся в нас чувство враждебности, стремление отомстить за нанесенные обиды. Я не хочу сказать, что любой человек может прямо сейчас принять решение покончить с этими чувствами. Так не бывает. Я имею в виду следующее: всякий раз, когда это чувство шевелится в глубине нашей души, заявляя о себе, день за днем, год за годом, на протяжении всей нашей жизни, мы должны давать ему отпор. Это тяжелая работа, но не безнадежная. Даже когда мы убиваем или наказываем, мы должны стараться так относиться к врагу, как относились бы к себе, то есть желать, чтобы он не был таким скверным, надеяться, что он сумеет исправиться. Короче, мы должны желать ему добра. Вот что имеет в виду Библия, когда говорит, чтобы мы возлюбили своих врагов: мы должны желать им добра, не питая к ним особой нежности и не говоря, что они — славные ребята, если они вовсе не таковы.

Да, это значит любить и таких людей, в которых нет ничего вызывающего любовь. Но с другой стороны, есть ли в каждом из нас что-нибудь, так уж достойное любви и обожания? Нет, мы любим себя только потому, что это мы сами. Бог же предназначил нам любить внутреннее «я» каждого человека точно так же и по той же причине, по которой мы любим свое «я». В нашем собственном случае Он дал нам готовый образец (которому мы должны следовать), чтобы показать, как эта любовь работает. И, воспользовавшись собственным примером, мы должны перенести это правило любви на внутреннее «я» других людей. Возможно, нам легче будет его усвоить, если мы вспомним, что именно так любит нас Бог — не за приятные, привлекательные качества, которыми, по нашему мнению, мы обладаем, но просто потому, что мы являемся одухотворенными личностями. Помимо этого нас, право же, не за что любить. Ибо мы создания, способные так упиваться ненавистью, что отказаться от нее нам не легче, чем бросить пить или курить.

8

Величайший грех

Я перехожу сейчас к той части христианской морали, в которой она особенно резко отличается от всех других норм нравственности. Существует один порок, от которого не свободен ни один человек в мире. Но каждый ненавидит его в ком-то другом, и едва ли кто-нибудь, кроме христиан, замечает его в себе. Я слышал, как люди признаются, что у них плохой характер, либо в том даже, что они трусы. Но я не припомню, чтобы когда-либо слышал от не христианина признание в этом пороке. И я очень редко встречал неверующих, которые были бы хоть немного снисходительны к проявлению этого порока в других. Нет такого порока, который делает человека более непопулярным, и нет такого порока, который мы менее замечаем в себе, чем этот. Чем больше этот порок у нас, тем больше мы ненавидим его в других.

Я говорю о гордости (гордыне) или самодовольстве; противоположную ему добродетель христиане называют смирением. Вы, быть может, помните, что когда я говорил о морали в вопросах пола, то предупредил вас, что центр христианской нравственности лежит не там. И вот сейчас мы подошли к этому центру. Согласно христианскому учению, самым главным пороком, самым страшным злом является гордость. Распущенность, раздражительность, пьянство, жадность и тому подобное — все это мелочь по сравнению с ней. Именно гордость сделала дьявола тем, чем он стал. Гордость ведет ко всем другим порокам; это абсолютно враждебное Богу состояние духа.

Возможно, вы думаете, я преувеличиваю. В таком случае вдумайтесь еще раз в мои слова. Несколько мгновений назад я сказал, что, чем больше гордости в человеке, тем сильнее он ненавидит это качество в других. Если вы хотите выяснить меру собственной гордыни, проще всего это сделать, задав себе вопрос: «Насколько глубоко я возмущаюсь, когда другие унижают меня, или отказываются меня замечать, или вмешиваются в мои дела, или относятся ко мне покровительственно, или красуются и хвастают в моем присутствии?» Дело в том, что гордость каждого человека соперничает с гордостью всякого другого. Именно потому, что я хотел бы быть самым заметным на вечеринке, меня так раздражает, что кто-то другой привлекает к себе всеобщее внимание.

Нам следует ясно понять, что гордости органически присущ дух соперничества, в этом состоит сама ее природа. Другие пороки, если и вступают в соперничество, то, так сказать, случайно. Гордость не довольствуется частичным обладанием чем бы то ни было. Она удовлетворяется только тогда, когда имеет чего-то больше, чем сосед. Мы говорим, что люди гордятся своим богатством, или умом, или красотой. Но это не совсем так. Они гордятся тем, что они богаче, умнее или красивее других. Если бы все стали одинаково богатыми, или ум-

ными, или красивыми, людям нечем было бы гордиться. Только сравнение возбуждает в нас гордость: сознание, что мы выше остальных, приносит нам удовлетворение. Там, где не с чем соперничать, гордости нет места. Вот почему я сказал, что гордости дух соперничества присущ органически, тогда как о других пороках этого не скажешь. Половое влечение может пробудить дух соперничества между двумя мужчинами, если они желают обладать одной и той же женщиной. Но это только случайность. Ведь они с таким же успехом могли бы увлечься двумя различными девушками. Между тем гордый человек уведет вашу девушку не потому, что он ее желает, а только для того, чтобы доказать самому себе, что как мужчина он лучше, чем вы. Жадность может толкнуть людей на соперничество, если они испытывают недостаток в тех или иных вещах. Но гордый человек, даже если у него этих вещей больше, чем ему хотелось бы, будет стараться приобрести их еще больше просто для того, чтобы утвердиться в силе своей власти. Почти все зло в мире, которое люди приписывают жадности и эгоизму, на самом деле больше всего является результатом гордости.

Возьмите, к примеру, деньги. Желание лучше проводить отпуск, иметь лучший дом, лучшую пищу и лучшие напитки делает человека жадным до денег: он хочет иметь их как можно больше. Но это до определенного предела. Что заставляет человека, получающего 40 000 долларов в год, стремиться к 80 000? Теперь уже не просто жадность к удовольствиям. Ведь при 40 000 долларов роскошная жизнь становится для него вполне доступной. Это гордость вызывает в нем желание стать богаче других и желание еще более сильное обрести власть. Потому что именно власть доставляет гордости особое удовольствие. Ничто не дает человеку такое чувство превосходства, как возможность играть другими людьми, будто оловянными солдатиками. Что заставляет молодую девушку сеять несчастье повсюду, где она появляется, собирая вокруг себя поклонников? Конечно, не ее половой инстинкт. Девушки подобного рода очень часто бесстрастны. Ее толкает на это гордость. Что заставляет политического лидера или целую нацию постоянно стремиться к новым успехам и достижениям, не довольствуясь прежними? Опять-таки гордость. Гордости присущ дух соперничества. Вот почему ее никогда невозможно удовлетворить. Если я страдаю гордостью, то до тех пор, пока в мире остается хоть один человек, который обладает большей властью, богатством или умом, чем я, он будет моим соперником и моим врагом.

Христианство право: именно гордость порождала главные несчастья в каждом народе и в каждой семье с начала мира. Другие пороки могут иногда сплачивать людей; так, среди тех, кто жаден до выпивки и чужд целомудрия, вы можете обрести веселых приятелей. Но гордость всегда означает враждебность — она и есть сама враждебность. И не только враждебность человека к человеку, но и человека к Богу.

В лице Бога вы встречаетесь с чем-то таким, что во всех отношениях неизмеримо превосходит вас. Пока вы не осознали этого, а следовательно, и того, что в сравнении с Ним вы — ничто, вы вообще не в состоянии познать Бога. Вы не можете познать Его, не отрешившись от своей гордости. Ведь гордый человек всегда смотрит свысока на все и на всех, то есть сверху вниз: как же увидеть ему то, что находится над ним!

Возникает ужасный вопрос. Как возможно такое, что люди, пожираемые гордостью, говорят, будто они верят в Бога и считают самих себя очень религиозными? Я боюсь, что эти люди поклоняются воображаемому Богу. Теоретически они признают, что перед лицом этого призрачного Бога они ничто. Но им постоянно представляется, будто этот Бог одобряет их и считает их лучше других; они платят Ему воображаемым грошовым смирением, переполняясь в то же время горделивым высокомерием по отношению к окружающим. Я полагаю, Христос думал и о таких людях, когда говорил, что некоторые будут проповедовать Его и именем Его изгонять бесов, но при конце мира услышат от Него, что Он никогда их не знал. Любой из нас в любой момент может попасть в эту ловушку. К счастью, у нас есть возможность испытывать себя. Всякий раз, когда у нас возникает ощущение, что наша религиозная жизнь делает нас лучше других, мы можем быть уверены, что ощущение это не от Бога исходит, а от дьявола. Вы можете быть уверены, что Бог действительно присутствует в нашей жизни только тогда, когда либо совсем забываете о себе, либо видите себя незначительным и нечистым. Лучше совсем забыть о себе.

Это ужасно, что самый страшный из всех пороков способен проникнуть в самую сердцевину нашей религиозной жизни. Но это и вполне понятно. Другие, менее вредоносные пороки исходят от дьявола, воздействующего на нас через нашу животную природу. А этот порок проникает в нас иным путем: он приходит непосредственно из ада. Ведь природа его — чисто духовная, а следовательно, и действие его гораздо более утонченно и смертоносно. По этой причине гордость часто может служить для исправления других пороков. Учителя, к примеру, нередко взывают к гордости учеников, или к их самолюбию, как они это называют, чтобы заставить их вести себя прилично. Многим людям удается преодолеть трусость, приверженность к дурным страстям или исправить скверный характер, убеждая себя, что пороки эти ниже их достоинства; они достигают победы, разжигая в себе гордость. И, глядя на это, дьявол смеется. Его вполне устраивает, что вы становитесь целомудренными, храбрыми, владеющими собой, если при этом ему удается подчинить вашу душу диктату гордости,— точно так же он бы не возражал, чтобы вы излечились от озноба, если взамен ему позволено было бы передать вам рак. Ведь гордость — это духовный рак: она пожирает самую возможность любви, удовлетворения и даже здравого смысла.

Прежде чем мы покончим с этой темой, я должен предостеречь вас против возможного недопонимания:

1. Если вы испытываете удовольствие, когда вас хвалят, это не свидетельствует о вашей гордости. Ребенок, которого похлопали по плечу за хорошо выученный урок, женщина, чьей красотой восхищается воз-

любленный, спасенная душа, которой Христос говорит: «Хорошо, верный раб»,— все они чувствуют себя польщенными, и это вполне закономерно. Потому что здесь удовольствие вызывается не тем, чем вы являетесь, а сознанием, что вы сделали приятное кому-то, кого хотели (и правильно!) порадовать. Беда начинается тогда, когда вы от мысли: «Я доставил ему удовольствие; как хорошо!» — переходите к мысли: «Должно быть, я очень хороший человек, раз сделал это». Чем больше вы нравитесь себе и чем меньше удовольствия испытываете от похвалы, тем хуже вы становитесь. Если похвала вообще перестает занимать вас и любование самим собою становится единственным источником вашего удовольствия, значит, вы достигли дна. Вот почему тщеславие — тот сорт гордости, который лежит главным образом на поверхности,— пожалуй, наименее опасно и наиболее простительно.

Тщеславный человек жаждет похвалы, аплодисментов, обожания и всегда напрашивается на комплименты. Это недостаток, но недостаток детский и даже, как ни странно, не очень вредоносный. Он лишь показывает, что полностью довольствоваться самообожанием вы пока не можете. Вы еще достаточно цените других людей, чтобы привлечь их внимание. Иными словами, вы еще сохраняете в себе человечность. Воистину черная, дьявольская гордость приходит тогда, когда вы начинаете считать всех остальных настолько ниже себя, что вас уже не волнует, как они о вас думают. Подчас нам действительно не следует обращать внимание на мнение людей, если в своих словах и поступках мы руководствуемся правильными соображениями, тем более что для нас несравненно важнее, что об этом думает Бог. Но гордый человек не обращает на других внимания совсем по иной причине. Он говорит: «Почему я должен добиваться аплодисментов этой толпы, как если бы мнение всех этих людей имело какую-то ценность? Да если бы оно и было так, я не тот человек, чтобы краснеть от удовольствия при комплименте, словно девчонка, впервые приглашенная на танец. Я самостоятельный взрослый человек. Все, что я сделал во имя своих собственных идеалов, я сделал или потому, что одарен артистическим складом ума, или — следуя традициям моей семьи, короче, потому, что я такой, какой я есть. Толпе это нравится? Ее дело! Для меня она ничто». В подобном случае настоящая, достигшая предела гордость может выступать противницей тщеславия. Потому что, как я сказал выше, дьявол любит лечить мелкие недостатки, подменяя их крупными. Стараясь излечиться от тщеславия, мы не должны звать на помощь нашу гордость.

2. Мы часто слышим, как человек гордится своим сыном, или отцом, или своей школой, или своей службой. Возникает вопрос: является ли грехом такого рода гордость? Я думаю, все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в это слово — «гордиться». Часто оно звучит в наших устах как синоним словосочетания «восхищаться от всего сердца». А такое восхищение, безусловно, весьма далеко от греха.

Но бывает и по-другому: слово «гордиться» может означать, что человек чувствует себя важной персоной на основании заслуг своего выдающегося отца или из-за принадлежности к знаменитому роду. Хорошего в этом мало. И все-таки это лучше, чем гордиться самим собой. Любить кого-то и восхищаться кем-то, помимо себя,— означает шаг в сторону от полного духовного крушения. Однако подлинное духовное оздоровление не придет к нам до тех пор, пока мы будем любить что-то и преклоняться перед чем-то больше, чем мы любим Бога и преклоняемся перед Ним.

3. Мы не должны думать, будто Бог запрещает гордость по той причине, что она оскорбляет Его; что Он требует от нас смирения с целью подчеркнуть Свое величие, как если бы Он Сам был болен гордостью. Думаю, Бога меньше всего занимает вопрос Его достоинства. Все дело в том, что Он хочет, чтобы мы познали Его. Он хочет дать Себя нам. И если мы действительно по-настоящему соприкоснемся с Ним, то невольно и с радостью покоримся и почувствуем при этом бесконечное облегчение, отделавшись наконец от надуманной чепухи о нашем достоинстве, которая всю жизнь не дает нам покоя, лишает радости. Он старается сделать нас покорными, чтобы мы могли пережить этот момент облегчения. Он пытается освободить нас от фантастического уродливого наряда, в который мы все рядимся и чванливо расхаживаем, как маленькие глупцы. Хотелось бы и мне стать еще более покорным и смиренным. Если бы я добился этого, то смог бы побольше рассказать вам об облегчении и удобстве, которые приходят к нам, когда мы снимаем с себя наш пышный маскарадный наряд, когда отделываемся от своего фальшивого «я» с его позами и вечными претензиями: «Ну, посмотрите на меня, разве не славный я парень?» Даже приблизиться к такому состоянию, пусть на мгновение, равносильно тому, что получить глоток холодной воды в пустыне.

4 Не думайте, что настоящее смирение означает вкрадчивость и елейность, нарочитое подчеркивание собственного ничтожества. Встретив действительно смиренного человека, вы, скорее всего, подумаете о нем, что он веселый, умный парень, который проявил неподдельный интерес к тому, что вы говорили ему. А если он не понравится вам, то, наверное, потому, что вы ощутите укол зависти к этому человеку, который способен так легко и радостно воспринимать жизнь. Он не думает о своем смирении: он вообще не думает о себе.

Если кто-то желает стать смиренным, я полагаю, что могу подсказать ему первый шаг: осознайте свою гордость. Этот шаг будет и самым значительным. По крайней мере, ничего не может быть предпринято, пока он не сделан. Если вы думаете, что не страдаете гордыней, значит, вы действительно страдаете ею.

9

Любовь

В предыдущей главе я сказал, что существуют четыре основные и три теологические добродетели. К теологическим относятся: вера, надежда и любовь. О вере я

буду говорить в двух последних главах. О любви мы уже частично беседовали в главе 7-й, но там я сконцентрировал все внимание на той ее стороне, которая выражается в способности прощать. И вот сейчас я хочу кое-что добавить к сказанному выше.

Любовь есть не состояние чувств, а скорее — состояние воли, которое мы воспринимаем как естественное по отношению к самим себе и которое должны научиться распространять на других.

В главе «Прощение» я указал, что наша любовь к себе не свидетельствует о том, что мы себе нравимся. Она означает, что мы желаем себе добра. Точно так же христианская любовь к ближним не обязывает нас восхищаться ими. Одни люди могут нам нравиться, а другие — нет. Важно понять, что наши симпатии и антипатии не являются ни грехом, ни добродетелью, как не являются ими те или иные вкусы по отношению, скажем, к еде. Это просто факт. Но то, как мы претворяем наши склонности или неприязнь в жизнь, может стать либо грехом, либо добродетелью.

Симпатия к определенным людям облегчает нам благотворительность. Следовательно, мы должны всемерно поощрять в себе природное свойство любить людей (как поощряем мы нашу склонность к физическим упражнениям или к здоровой, натуральной пище) не потому, что в этом заключается любовь, а потому, что это помогает нам любить. С другой стороны, нам надо постоянно следить, чтобы наша приязнь к одним людям не сказалась на нашей любви к другим, не толкнула нас на несправедливый поступок. Ведь бывает и так, что наша склонность вступает в конфликт с нашей любовью по отношению к тому человеку, к которому мы эту склонность питаем. Например, ослепленная любовью мать может в силу своей естественной нежности к нему избаловать собственного ребенка: свое пылкое чувство к сыну или дочери она удовлетворяет (не сознавая того) за счет его (или ее) благополучия в будущем.

Но хотя естественную симпатию к другим нам и следует поощрять в себе, это не означает, что для развития в своей душе любви мы должны сесть и всячески разжигать в себе чувства симпатии. Некоторые люди наделены холодным темпераментом. Возможно, в этом их несчастье. Но это не больший грех, чем плохое пищеварение. Однако такой темперамент не освобождает их от обязанности учиться любви. Правило, которое существует для всех нас, предельно ясно: не теряйте времени, раздумывая над тем, любите ли вы своего ближнего, поступайте так, как если бы вы его любили. Как только мы начинаем делать это, мы открываем один из великих секретов: ведя себя по отношению к человеку так, как если бы мы его любили, мы постепенно действительно начинаем любить его. А причиняя вред тому, кто нам не нравится, мы замечаем, что от этого он не нравится нам еще больше. Сделав же по отношению к нему добрый жест, чувствуем, что наша нелюбовь к нему стала меньше. Но в этом правиле есть одно исключение. Если вы совершили хороший поступок не ради того, чтобы угодить Богу и исполнить закон любви, а для того, чтобы продемонстрировать, какой вы, в сущности, славный, умеющий прощать человек, чтобы заставить облагодетельствованного вами чувствовать себя вашим должником и предвкушать от него благодарность в будущем, вас, по всей видимости, ждет разочарование. Ведь люди не глупы. Они сразу видят, когда что-то делается из расчета и напоказ.

Зато всякий раз, когда мы делаем добро кому-то другому только потому, что этот другой — тоже человек, созданный (как и мы с вами) Богом, и потому, что желаем ему счастья, как желаем его себе, мы научаемся любить его немножко больше. Или, по крайней мере, меньше не любить его.

Вот и получается, что, хотя христианская любовь представляется чем-то бесстрастным для тех, кто чрезмерно склонен к чувственности, хотя она и сильно отличается от пылкой симпатии и нежных чувств, в конечном счете она ведет именно к симпатии и нежности. Разница между христианином и мирским человеком состоит не в том, что мирскому человеку присущи лишь симпатии, а христианину — только любовь. Она заключается в том, что мирской человек относится с добротой к тем, кто ему нравится. А христианин старается быть добрым к каждому, и по мере того, как он это делает, он начинает замечать, что люди нравятся ему больше, даже те, о которых вначале он и подумать тепло не мог.

Тот же духовный закон действует и в обратном направлении. Немцы, возможно, плохо относились к евреям сначала из-за того, что они их ненавидели. Позднее они стали ненавидеть их еще больше из-за того, что преследовали их и уничтожали. Чем более жестоко вы поступаете с человеком, тем больше ненависти к нему испытываете. И чем больше вы его ненавидите, тем больше жестокости проявляете. Порочный круг замкнулся.

И добро и зло — оба возрастают в геометрической прогрессии. Вот почему те маленькие решения, которые мы с вами принимаем повседневно, имеют такое бесконечно важное значение. Пустяковое, казалось бы, доброе дело, совершенное вами сегодня,— это овладение стратегическим пунктом, от которого несколькими месяцами позднее вы сможете устремиться к завоеваниям и победам, прежде вам недоступным. А незначительная как будто уступка нечистому желанию или гневу обернется потерей горного рубежа, или узловой станции, или укрепления, откуда враг сможет начать атаку, в ином случае немыслимую.

Некоторые авторы используют понятие «любовь» для описания не только христианской любви между людьми, но и любви Бога к человеку и человека — к Богу. Людям свойственно беспокоиться по поводу последней из этих двух. Им сказано, что они должны любить Бога. Но они не могут найти в себе этих чувств. Что им делать? Ответ все тот же. Они должны поступать так, как если бы они Его любили. Не пытайтесь насильственно выжимать из себя эти чувства. Задайте себе вопрос: «Что бы я делал, если бы был уверен, что люблю Бога?» И, найдя ответ, претворите его в жизнь.

В общем, Божья любовь к нам — более безопасный предмет для размышлений, чем наша любовь к Нему. Никто не может постоянно испытывать чувство преданности. И даже если бы мы могли, это не то, чего Бог желает от нас более всего. Христианская любовь и к Богу, и к человеку — это **волевой акт**. Стараясь следовать Его воле, мы исполняем Его заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего». Он Сам даст нам чувство любви, если сочтет нужным. Мы не в состоянии выработать его в себе собственными усилиями, и мы не должны требовать этого чувства как чего-то принадлежащего нам по праву. Но нам следует помнить одну великую истину: наши чувства появляются и исчезают. Его любовь к нам остается неизменной. Она не становится меньше по причине наших грехов или нашего безразличия. И поэтому не слабеет в своей решимости излечить нас от греха, чего бы это нам ни стоило и чего бы это ни стоило Ему.

10

Надежда

Надежда является одной из теологических добродетелей. Постоянные размышления о вечности есть не форма бегства от действительности (как считают некоторые наши современники), а одна из функций, которые призван осуществлять христианин. Это не значит, что нам не следует беспокоиться о состоянии современного мира. Читая историю, вы видите, что именно христиане, внесшие неоценимый вклад в развитие нашего сегодняшнего мира, более других думали о мире грядущем. Сами апостолы, которые положили начало обращению к христианству Римской империи, великие люди, создавшие культуру средневековья, английские евангелисты, добившиеся уничтожения работорговли,— все они оставили след на земле именно потому, что умы их были заняты мыслями о небе. И лишь по мере того, как христиане все меньше думали о мире ином, слабело их влияние на положение вещей в этом мире. Цельтесь в небо — попадете и в землю; цельтесь в землю — не попадете никуда! Это правило кажется странным, но мы сталкиваемся с чем-то подобным и в других областях. Например, здоровье — великое благосостояние. Но как только вы делаете его объектом своих забот, вам начинает казаться, что оно у вас не в порядке. Думайте побольше о работе, развлечениях, свежем воздухе, вкусной пище — и вполне вероятно, что здоровье получите в придачу. И еще: если все наши мысли направлены на совершенствование нашей цивилизации — нам не спасти ее. Для этого надо научиться думать о чем-то ином и хотеть (в еще большей степени) этого иного.

Слишком многим из нас очень трудно хотеть «неба» вообще. Разве что — во имя перспективы встретиться со своими умершими близкими. Одна из причин, почему нам это трудно, заключается в том, что мы не приучены к этому желанию. Вся наша система образования ориентирует наш разум на этот мир. Другая причина состоит в том, что, когда такое желание проявляется в нас, мы его попросту не узнаем. Большинство людей, которые действительно научились бы заглядывать в глубины своего сердца, знали бы: то, что они желают, и желают очень сильно, в этом мире обрести нельзя. Здесь много есть такого, что сулит нам желаемое, но эти обещания никогда не выполняются. Страстная юношеская мечта о первой любви или о какой-то заморской стране, волнение, с которым мы беремся за дело, глубоко нас интересующее, не могут быть удовлетворены ни женитьбой, ни путешествием, ни научными изысканиями. Я не имею в виду так называемые неудачные браки, либо неудавшиеся каникулы, или несбывшиеся ученые карьеры. Я говорю о самых удачных из них. В первый момент, когда наша мечта — на пороге осуществления, нам кажется, что мы ухватили свою жар-птицу за яркое ее оперенье, но уже в следующий момент она ускользает от нас. Я думаю, вы все понимаете, о чем я веду речь. Жена может быть прекрасной женой, гостиницы и пейзажи — просто отличными, а химия — невероятно интересным делом, но при всем при этом что-то ускользает от нас.

Существуют две неверные реакции на это и одна правильная.

1. Реакция глупца. Он винит всех и вся. Его не покидает мысль, что, если бы он попробовал связать свою жизнь с другой женщиной или если бы отправился в более дорогое путешествие и т. п., то ему удалось бы поймать то таинственное нечто, которого ищем все мы. Большинство скучающих, разочарованных богатых людей относятся к этому типу. Всю свою жизнь переходят они от одной женщины к другой (оформляя разводы и новые браки), переезжают с континента на континент, меняют хобби, не теряя надежды, что вот это-то наконец настоящее, но разочарование неизменно постигает их.

2. Реакция утратившего иллюзии здравомыслящего человека. Он вскоре приходит к заключению, что все эти надежды были пустой мечтой. Конечно, говорит он, когда вы молоды, вы полны великих ожиданий. Но доживите до моего возраста, и вы оставите погоню за солнечным зайчиком. На этом он и успокаивается, учится не ожидать от жизни слишком многого и старается заглушить в себе голос, нашептывающий ему о волшебных далях. Такой подход к проблеме, конечно, гораздо лучше первого и приносит человеку больше счастья, а сам человек — меньше неприятностей обществу. Обычно он становится педантом, склонным покровительственно-снисходительно относиться к молодым. Но в целом жизнь протекает для него довольно гладко. Это был бы наилучший путь, если бы нам не предстояло жить вечно. Но что, если безграничное счастье существует, ожидая нас где-то? Что, если человек действительно может поймать солнечного зайчика? В этом случае было бы очень печально обнаружить слишком поздно (сразу же после смерти), что своим так называемым здравым смыслом мы убили в себе право наслаждаться этим счастьем.

3 Реакция христианина. Христианин говорит: «Ничто живое не рождается на свет с такими желаниями, которые невозможно удовлетворить. Ребенок испытывает голод,

но на то и пища, чтобы насытить его. Утенок хочет плавать: что ж, в его распоряжении имеется вода. Люди испытывают влечение к противоположному полу: для этого существует половая близость. И если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить, это, вероятнее всего, можно объяснить тем, что я был создан для другого мира. Если ни одно из земных удовольствий не приносит мне подлинного ублаготворенья, это не значит, что Вселенной присуще некое обманчивое начало. Возможно, земные удовольствия и были рассчитаны не на то, чтобы удовлетворить ненасытное мое желание, а на то, чтобы, возбуждая его, манить меня вдаль, где и таится нечто настоящее. Если это так, то я должен постараться, с одной стороны, никогда не приходить в отчаяние, проявив неблагодарность за эти земные благословения, а с другой стороны, мне не следует принимать их за что-то другое, копией, или эхом, или несовершенным отражением чего они являются. Я должен хранить в себе этот неясный порыв к моей настоящей стране, которую я не сумею обрести прежде, чем умру. Я не могу допустить, чтобы она скрылась под снегом, или позволить себе пойти в другую сторону. Желание дойти до этой страны и помочь другим найти туда дорогу должно стать главной целью моей жизни».

Нет смысла обращать внимание на людей, старающихся высмеять христианскую надежду о небе, говоря, что им не хотелось бы провести всю вечность, играя на арфах. Этим людям надо ответить, что если они не могут понять книг, написанных для взрослых, то не должны и рассуждать о них. Все образы в Св. Писании (арфы, венцы, золото и т. п.) — это просто попытка выразить в символах невыразимое. Музыкальные инструменты упоминаются в Библии потому, что для многих людей (не для всех) музыка — это такое явление нашего мира, которое лучше всего передает чувство экстаза и бесконечности. Венцы или короны указывают на то, что люди, объединившиеся с Богом в вечности, разделят с Ним Его славу, силу и радость. Золото символизирует неподвластность неба времени (ведь металл этот не ржавеет) и его непреходящую ценность. Люди, понимающие все эти символы буквально, с таким же успехом могли бы подумать, что, когда Иисус говорил нам, чтобы мы были как голуби, Он имел в виду, что мы должны нести яйца.

11

Вера

В этой главе я собираюсь поговорить с вами о том, что христиане называют верой. Очевидно, что слово «вера» используется ими в двух смыслах или на двух уровнях. И я рассмотрю каждый из них по очереди. В первом случае это слово означает принятие или признание за истину доктрин христианства. Довольно просто. Но вот что озадачивает людей — по крайней мере, озадачивало меня: в этом смысле христиане рассматривают веру как добродетель. Я, помню, не переставал задавать вопросы, почему, на каком основании она может быть добродетелью — что может быть морального или аморального в принятии или непринятии какого-то набора заявлений? Я говорил, что каждый здравомыслящий человек принимает или отвергает любое заявление не потому, что он хочет или не хочет его принять, но потому, что доводы в пользу его кажутся ему либо удовлетворительными, либо нет. И если он ошибся, оценивая, насколько вески представленные ему доказательства, это не значит, что он плохой человек. Разве что недостаточно умный. Если же, считая доказательства в пользу того или иного заявления неубедительными, он все-таки старался бы заставить себя поверить ему несмотря ни на что, это было бы просто глупо.

Что ж, я думаю, что и сегодня придерживаюсь этой точки зрения. Но тогда я не видел одной вещи, которой многие люди не видят и по сей день. Я считал, что, если человеческий разум однажды признал что-то как истину, это «что-то» автоматически будет считаться им истиной до тех пор, пока не появится серьезная причина для пересмотра привычной точки зрения. Я фактически считал, что человеческий разум целиком управляется логикой. Но это не так. Например, умом — на основании веских доказательств — я совершенно убежден в том, то обезболивающие средства не могут вызвать у меня удушья и что опытный хирург не начнет операцию, пока я не буду усыплен совершенно. Однако это не меняет того факта, что, когда меня кладут на операционный стол и я ощущаю на своем лице эту ужасную маску, меня, словно ребенка, охватывает паническое чувство. Мне приходит в голову, что я задохнусь, я пугаюсь, что меня начнут резать прежде, чем мое сознание отключится окончательно. Иными словами, я теряю веру в анестезию. И происходит это не потому, что эта вера противоречит рассудку. Напротив, им-то она и обоснована. Я теряю ее из-за моего воображения и эмоций. Битва происходит между верой и разумом, с одной стороны, и эмоциями и воображением — с другой.

Когда вы задумаетесь над этим вопросом, то в голову вам придет множество подобных примеров. Человек знает на основании достоверных фактов, что его знакомая — хорошенькая девушка — большая лгунья, что она не умеет держать секретов и что поэтому ей нельзя доверять. Но когда он оказывается в ее обществе, разум его теряет веру в эту информацию о ней, и он начинает думать: «А может быть, на этот раз она будет другой» — и вот уже он снова ставит себя в дурацкое положение, рассказывая то, чего рассказывать ей не следовало. Его чувства и эмоции разрушили его веру в то, что, как он знал, было правдой.

Или возьмите другой пример: мальчик учится плавать. Он прекрасно понимает умом, что человеческое тело совсем не обязательно пойдет ко дну, будучи оставленным в воде без поддержки: он видел десятки плавающих людей. Но сможет ли он продолжать верить в это в тот момент, когда инструктор уберет свою руку и оставит в воде без поддержки именно его? Или

он внезапно потеряет веру, испугается и пойдет ко дну?

Приблизительно то же происходит с христианством. Я не прошу кого бы то ни было принять Христа, если рассудок его под давлением убедительных доказательств говорит ему обратное. Так вера не приходит. Но предположим, голос рассудка, опять-таки под давлением веских доказательств, свидетельствует человеку в пользу христианства. Я могу сказать ему, что случится с ним на протяжении нескольких последующих недель. Наступит момент, когда он получит плохие известия, или попадет в неприятность, или будет жить среди людей, не верящих в то, во что верит он, и тотчас же в нем поднимутся противоречивые чувства и поведут атаку на его убеждения. Или придет минута, когда он пожелает обладать женщиной, или захочет сказать ложь, или впадет в искушение самолюбования, или ему подвернется случай раздобыть деньги не совсем честным путем,— короче, такая минута, когда для него было бы удобнее, если бы вся эта христианская вера оказалась выдумкой. И снова его желания поведут атаку на его убеждения. Я не говорю о таких моментах, когда он столкнется с новыми для него логическими доводами против христианства. Таким доводам или фактам надо смело смотреть в лицо, но не об этом теперь речь. Я говорю о тех случаях, когда христианским убеждениям человека противостоят его чувства и настроение.

Вера в том смысле, в каком я сейчас употребляю это слово, является искусством держаться тех убеждений, с которыми ваш разум однажды согласился, независимо от того, как меняется ваше настроение; потому что настроения человека будут меняться, какую бы точку зрения он ни принял. Я знаю это из личного опыта. Теперь, когда я стал христианином, у меня бывает временами такое состояние, когда христианская истина представляется мне маловероятной. Но в бытность мою атеистом на меня порой находило настроение, когда она, напротив, казалась мне очень вероятной. Подобного мятежа против вашего истинного «я» со стороны ваших чувств и настроений вам в любом случае не избежать. Вот почему вера является такой необходимой добродетелью. Пока вы не научитесь управлять вашими настроениями, пока вы не укажете им на их место, вы не сможете оставаться ни убежденным христианином, ни убежденным атеистом. Но будете вечно мятущимся существом, убеждения которого зависят от погоды или от состояния его пищеварения. Следовательно, человек должен развивать в себе привычку веры.

Первый шаг в этом направлении — это признать, что ваше настроение подвержено изменениям. Далее. Если вы однажды приняли христианство, то следующий ваш шаг — позаботиться о том, чтобы каждый день на какое-то время сознательно возвращаться разумом к его основным доктринам. Вот почему ежедневные молитвы, чтение религиозной литературы и посещение церкви составляют столь неотъемлемую часть христианской жизни. Мы нуждаемся в постоянном напоминании о том, во что мы верим. Ни христианские убеждения, ни какие бы то ни были другие не закрепляются в человеческом уме автоматически. Их необходимо питать. Возьмите сто человек, потерявших веру в христианство. И поинтересуйтесь, сколько из них изменили свои убеждения под воздействием доводов разума? Вы увидите, что большинство отошло от христианства просто так, из-за своей инертности.

А сейчас я должен перейти к вопросу о вере в более высоком ее значении, и это самое трудное из всего, с чем мне приходилось иметь дело до сих пор. Вначале мне придется вернуться назад, к вопросу смирения. Вы помните, я говорил, что первый шаг на пути к смирению состоит в признании присущей человеку гордости? Второй шаг в этом направлении заключается в серьезной попытке проводить в жизнь христианские добродетели. Одной недели для этого будет недостаточно, потому что столь короткое время непоказательно. Постарайтесь делать это на протяжении шести недель. За это время, полностью провалившись в своих попытках и даже упав ниже того уровня, с которого начали, вы обнаружите некоторую правду о себе. Ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим.

В наши дни распространилось глупое представление, будто хорошие люди не знают, что такое искушение. Это — явная ложь. Только те, которые стараются противостоять искушению, знают, насколько оно сильно. Вы поняли, как сильна немецкая армия, сражаясь против нее, а не сдавшись ей в плен. Вы познаете силу ветра только тогда, когда идете против него, а не когда ложитесь на землю. Человек, который поддался искушению через пять минут, просто не имеет представления о том, каким оно стало бы через час. Вот, между прочим, почему плохие люди знают очень мало о том, что такое зло. Они защитились от этого знания тем, что всегда уступали искушению в самом начале. Мы никогда не узнаем силы импульса зла внутри нас, если не попытаемся противостоять ему. Христос благодаря тому, что Он был единственным человеком на земле, который ни разу не уступил искушению, является также и единственным человеком, который знал его во всей полноте.

Следовательно, главное, чему мы учимся при серьезной попытке не отступать от христианских добродетелей,— это умению признать свою неспособность жить в согласии с ними. От допущения, что Бог предлагает нам своего рода экзамен, на котором мы могли бы получить хорошие отметки за свои заслуги, придется отказаться. Отпадет и предположение о некоей сделке, при которой мы могли бы исполнить взятые на себя обязательства и, таким образом, поставить Бога в положение, когда Ему просто пришлось бы во имя справедливости выполнить свои обязательства.

Я думаю, каждому, кто имел какую-то неясную веру в Бога до того, как он стал христианином, приходила в голову мысль о подобном экзамене или сделке. Но коль скоро люди становятся христианами, они начинают осознавать, что идея эта не срабатывает. И тогда некоторые решают, что

само христианство обречено на неудачу, и отходят от него. Очевидно, эти люди воображают себе Бога каким-то простаком. Но Он, безусловно, прекрасно обо всем знает. Одна из задач христианства именно в том и состоит, чтобы показать нам несостоятельность вышеупомянутых представлений. Бог ожидает того момента, когда мы увидим, что на этом экзамене невозможно заработать проходного балла, как невозможно сделать Бога нашим должником.

Затем приходит другое открытие. Каждая способность, которой вы наделены: способность двигать конечностями или мыслить,— все это дано Богом, и если каждый момент своей жизни мы посвятим исключительно служению Ему, то и тогда не сможем дать Ему ничего, что так или иначе уже не принадлежало бы Ему. Когда мы говорим о человеке, делающем что-то для Бога или дающем что-то Богу, это подобно тому, как если бы маленький мальчик пришел к своему отцу и сказал: «Папа, дай мне деньги, чтобы купить тебе подарок». Конечно, отец даст, и подарок сына доставит ему удовольствие. Все это очень мило и правильно. Но только глупец может подумать, что при этой сделке отец выигрывает. Лишь когда человек сделает оба эти открытия, Бог сможет по-настоящему приняться за работу над ним. Только после этого и начинается для него настоящая жизнь. Человек пробуждается... После всех этих разъяснений мы можем перейти к разговору о вере во втором смысле.

12

Вера

Мне хотелось бы, чтобы на то, с чего я начну этот разговор, каждый обратил особое внимание. А начну я его с предупреждения. Если эта глава не представится вам интересной, если вам покажется, что в ней делается попытка ответить на вопросы, которые у вас никогда не возникали, не читайте ее до конца. Дело в том, что в христианстве есть вещи, которые можно понять еще до того, как вы стали христианином. Но немало есть и таких вещей, которые вы не в состоянии будете понять до тех пор, пока сами не преодолеете часть пути. Это чисто практические вещи, хотя на первый взгляд и не кажутся такими. Они как бы указывают направления, отмечают перекрестки и предупреждают о препятствиях, которые вы встретите на этом пути веры. И, естественно, они ничего не говорят человеку, который еще не достиг перекрестков и не наткнулся на препятствия. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь в христианской литературе с заявлениями, которые для вас лично не имеют практического смысла, не задумывайтесь над ними. Проходите мимо них. Наступит день, может быть, годы спустя, когда вы внезапно поймете, что это значит. Возможно, вам принесло бы вред, если бы вы поняли их слишком рано.

Все это, конечно, говорит против меня, как говорило бы против всякого другого. Возможно, я собираюсь сделать попытку объяснить нечто, до чего сам еще не вполне дошел. Поэтому я прошу тех христиан, которые разбираются в тонкостях нашей доктрины, внимательно следить за ходом моих высказываний и указать мне на допущенные ошибки. Остальных же прошу принять то, что я говорю, как некую крупицу истины, которая может оказаться для них полезной, памятуя при этом, что я и сам не полностью убежден в своей правоте.

Я пытаюсь говорить о вере во втором, более высоком смысле этого слова. Я только что сказал, что потребность разобраться в нем возникает не прежде, чем человек сделал все от него зависящее, чтобы следовать христианским добродетелям, и увидел, что это для него невозможно; не раньше, чем он осознал, что, если бы это удалось ему, он отдал бы Богу только то, что и без того Ему принадлежало. Иными словами, лишь тогда, когда он обнаружил полное свое банкротство.

Позвольте мне еще раз повторить: для Бога важнее всего не наши действия, а наше состояние. Он хочет, чтобы мы были существами особого рода или качества, а именно такими, какими Он предназначал нам быть в самом начале, то есть существами, определенным образом связанными с Ним. Не обязательно добавлять «и связанными определенным образом друг с другом», потому что это второе вытекает из первого. Ибо если у вас установились правильные отношения с Богом, то непременно установятся правильные взаимоотношения и со всеми вашими собратьями. Это как спицы колеса: если они правильно посажены на втулку, то будут симметричны и по отношению друг к другу. А пока человек думает о Боге как об экзаменаторе, который требует от него выполнения определенного проверочного задания или как об одной из сторон в двухсторонней сделке, пока он считает. что в его отношениях с Богом можно ставить обоюдные требования, преждевременно говорить о его правильных отношениях с Богом. Он еще не понял, что такое он сам и что такое Бог.

В действительно правильные отношения с Создателем человек не сумеет вступить до тех пор, пока не обнаружит полного своего банкротства. Когда я говорю «обнаружит», я имею в виду, что он действительно это обнаружит, а не как попугай просто повторит за другими эти слова о своем банкротстве. Конечно, и ребенок, получивший какое-то религиозное образование, вскоре научится повторять, что мы не можем предложить Богу ничего такого, что бы уже Ему не принадлежало, но что даже этого мы не в состоянии предложить Ему целиком, не удержав чего-то для самих себя. Однако я имею в виду подлинное открытие, когда человек на личном опыте убеждается. что все это правда.

Но обнаружить нашу неспособность следовать Божьему закону нам дано только ценой самых настойчивых попыток соблюдать его, в несостоятельности которых мы сами убедимся. Пока мы не приложим настоящих стараний, где-то в глубине души мы будем надеяться, что если в следующий раз мы постараемся изо всех сил, то наконец сумеем стать непогрешимыми. Таким образом, с одной стороны, возвращение к Богу требует от нас нравственных усилий, пре-

дельных стараний; но, с другой стороны, не эти старания приведут нас к желанной цели. Зато они ведут к жизненно важному моменту, в который мы обращаемся к Богу со словами: «Ты должен сделать это, потому что сам я сделать этого не в состоянии». И я прошу вас, не задавайте себе вопроса: «Достиг ли я этого момента?» Не копайтесь в своих ощущениях, стараясь понять, наступает ли та самая минута. Это толкнуло бы вас на неверный путь. Ведь когда в нашей жизни случаются какие-то важные события, то именно в тот момент, когда они происходят, мы подчас и не сознаем этого. В каждую данную минуту человек не говорит себе: «Слава Богу, я расту!» Чаще всего он способен заметить, что действительно вырос, только оглянувшись назад. Вы можете наблюдать действие того же принципа и в более простых вещах. Человек, который с нетерпением ожидает прихода сна, скорее всего, не сможет заснуть. И то, о чем я говорю сейчас, тоже, возможно, не с каждым случится, подобно вспышке молнии,— как это случилось с апостолом Павлом или Беньяном. Это может происходить так постепенно, что человек не сумеет указать ни часа, ни даже года, когда это произошло. Значение имеет характер происшедшего с нами изменения, а не то, что мы при этом переживали. Это изменение выразится в переходе от уверенности в своих силах к такому состоянию, когда, отчаявшись в наших попытках добиться желаемого результата, мы все предоставим Богу.

Я знаю, слова «предоставить Богу» некоторых могут ввести в заблуждение. Тем не менее в данный момент их нельзя не произнести. Для христианина они означают все доверить Христу; в них выражается упование на то, что Христос каким-то образом поделится с нами Своей способностью к совершенному послушанию, которое Он осуществлял от рождения Своего до распятия. В этих словах звучит надежда на то, что Христос сделает его, человека, более подобным Себе в том смысле, что Он излечит его слабости, исправит его недостатки. Говоря христианским языком, Сын Божий разделит с нами Свою природу и сделает и нас причастными этому высокому сыновству. В книге 4-й я постараюсь поглубже проанализировать значение этих слов.

Итак, Христос предлагает нам нечто важное, и притом даром; более того, Он даром предлагает нам все. В некотором смысле христианская жизнь вся и состоит в принятии этого совершенно исключительного предложения. Но трудность заключается в способности признать, что все, что мы сделали, и все, что мы можем сделать,— в сущности ничто. Однако полностью передать наши заботы Иисусу вовсе не означает перестать действовать, прекратить стараться. Довериться Ему — значит, делать все то, что Он подсказывает. Какой смысл говорить, что вы доверяете такому-то человеку, если вы не следуете его советам? Таким образом, если вы действительно полностью доверились Ему, Вы будете стараться Ему подчиняться Но стараться теперь Вы будете по-иному, ни о чем не волнуясь. Вы станете выполнять то, о чем Он говорит, не для того, чтобы спастись, а из-за того, что Он уже начал спасать вас. Вы станете жить и действовать иначе: не во имя надежды попасть на небо в награду за свое поведение, а потому, что внутри вас уже забрезжил слабый отблеск небесного света.

Христиане часто дискутируют о том, что ведет христианина в дом Отца: добрые дела или вера в Христа. Я не уверен, что имею право приниматься за столь трудную тему, но мне кажется, что спорить об этом — все равно что спрашивать, какое лезвие в ножницах более необходимое. Только самое серьезное нравственное усилие приведет вас к ясному пониманию, что все ваши усилия тщетны, и лишь вера в Христа способна спасти вас от отчаяния в такой момент. Впоследствии эта вера неизбежно приведет вас к совершению добрых дел.

Существовали две пародии на истину, которых в прошлом придерживались некоторые христиане и которые были осуждены другими верующими христианами. Возможно, если мы задумаемся над этими пародиями, то нам станет яснее сама истина.

Одна из идей, подвергшихся осуждению, состояла в следующем: «Добрые дела — это единственное, что важно. Лучшее доброе дело — это благотворительность. Лучшая форма благотворительности — денежные пожертвования. А кому же лучше жертвовать деньги, как не церкви? Так что дайте церкви 10 000 фунтов стерлингов, и она позаботится о том, чтобы с вами все было в порядке». На эту бессмыслицу, очевидно, напрашивается возражение: «Добрые дела совершенные в силу того представления, будто небо можно купить, не являются добрыми ни с какой точки зрения. Они — всего лишь торговая сделка».

Другое заблуждение сводилось к следующему: «Значение имеет только вера. Следовательно, если у вас есть вера, то действия ваши и поступки роли не играют. Грешите в свое удовольствие, мой друг, развлекайтесь и наслаждайтесь жизнью, а Христос позаботится о том, чтобы все это не отразилось на вашем пребывании в вечности». Возражая на эту абсурдную идею, мы говорим: «Если то, что вы называете «верой» в Христа, не заставляет вас обратить хоть немного внимания на то, что Он говорит. значит, ваша «вера» вовсе таковой не является. У вас нет ни веры, ни доверия к Нему — разве что кое-какие теоретические знания о Нем».

Проблему того, что важнее — дела или вера,— Библия решает, объединяя эти два представления в одной замечательной фразе. В первой части ее мы читаем: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Фил. 2 : 12). И это выглядит так, как если бы все зависело от нас и наших добрых дел; но во второй части этого же предложения говорится: «Потому что Бог производит в вас хотение и действие по Своему благоволению», что можно понять в том смысле, что Бог делает за нас все, мы же — ничего. Именно с этой дилеммой и приходится сталкиваться в христианстве.

Я и сам порою ощущаю себя в тупике, но это меня не удивляет. Видите ли, мы сейчас пытаемся понять с позиций двоякого толкования нечто, такому толкованию не подлежащее, а именно: что в точности де-

лает Бог и что — человек, когда они действуют сообща. Мысленно мы прежде всего сравниваем это с двумя людьми, работающими вместе, когда можно сказать: «Он сделал то-то, а я то-то». Но такое сравнение несостоятельно. Ибо Бог — не человек. Он действует как внутри нас, так и во внешнем мире. Даже если бы нам удалось понять, кто и что в этой ситуации делает, я не думаю, что человеческий язык приспособлен для выражения подобных понятий.

Пытаясь все-таки как-то выразить это, различные церкви говорят разные вещи. Но примечательно, что те из них, которые особенно подчеркивают важность добрых дел, говорят вам о необходимости веры; те же, что особое значение придают вере, настаивают на необходимости совершения добрых дел. Это, пожалуй, все, что я могу сказать по этому вопросу.

Я думаю, все христиане согласятся со мной в следующем: хотя на первый взгляд кажется, будто христианство сводится целиком к толкованию вопросов морали, долга и соблюдения правил, проблемы вины и добродетели, оно, однако, ведет нас дальше, за пределы всего этого. В нем человек видит проблеск иной страны, где никто о подобных вещах не говорит, разве только в шутку. Каждый в той стране исполнен тем, что мы называем добром, подобно тому как зеркало наполнено светом. Но никто там не называет это добром. Это вообще никак не называют. О нем просто не думают. Там слишком заняты постоянным созерцанием источника, из которого оно исходит. Но мы приблизились к той сфере, откуда дорога уходит за пределы нашего мира. Ничьи глаза не способны видеть так далеко, хотя глаза многих, очевидно, способны видеть дальше, чем видят мои.

Публицистика

АЛЬБЕР КАМЮ

ЧЕЛОВЕК БУНТУЮЩИЙ

Главы из книги

■

Перевод с французского Ю. СТЕФАНОВА

Индивидуальный терроризм

Писарев, теоретик русского нигилизма, считал, что самые ярые фанатики — это дети и юноши. Сказанное им верно и по отношению к целым народам. Россия была в ту пору молодой нацией, появившейся на свет немногим более века назад с помощью акушерских щипцов, которыми орудовал царь, в простоте душевной собственноручно рубивший головы бунтовщикам. Неудивительно, что немецкая идеология в России была доведена до таких крайностей самопожертвования и разрушения, на которые немецкие профессора были способны разве что мысленно. Стендаль усматривал главное отличие немцев от других народов в том, что размышления взвинчивают их, вместо того чтобы успокаивать. В еще большей степени это верно и по отношению к России. В этой юной стране, лишенной философских традиций [1], совсем еще молодые люди, духовные собратья трагических лицеистов Лотреамона, усвоили немецкую идеологию и стали кровавым воплощением ее выводов. «Пролетариат семинаристов» [2] перехватил в то время инициативу великого освободительного движения, придав ему свою собственную исступленность. Вплоть до конца XIX века этих семинаристов насчитывалось всего несколько тысяч. И однако, именно они, в одиночку противостоявшие самому могучему абсолютизму в истории, не только призывали к свержению крепостного права, но и реально способствовали освобождению сорока миллионов мужиков. Большинство из них поплатилось за эту свободу самоубийством, казнью, каторгой или сумасшедшим домом. Всю историю русского терроризма можно свести к борьбе горстки интеллектуалов против самодержавия на глазах безмолвствующего народа. Их нелегкая победа в конечном счете обернулась поражением. Но и принесенные ими жертвы, и самые крайности их протеста способствовали воплощению в жизнь новых моральных ценностей, новых добродетелей, которые и по сей день противостоят тирании в борьбе за подлинную свободу.

Германизация России в XIX веке не изолированное явление. Воздействие немецкой идеологии было в тот момент преобладающим и во Франции — достаточно вспомнить такие имена, как Мишле и Кине. Но если во Франции этой идеологии пришлось бороться и уживаться с социализмом, проповедовавшим абсолютную свободу, то в России она не столкнулась с уже сложившейся общественной мыслью и оказалась как бы на завоеванной территории. Первый русский университет, основанный в 1750 году [3] в Москве, был по сути немецким. Постепенная колонизация России немецкими учителями, бюрократами и военными, начатая в царствование Петра Великого, при Николае I превратилась в систематическое онемечивание. В 30-е годы русская интеллигенция благоговела перед Шеллингом и французскими мыслителями, в 40-е — перед Гегелем, а во второй половине столетия — перед его порождением, немецким социализмом [4]. Тогдашняя русская молодежь вдохнула в эти абстракции всю безмерную силу своей страстности, буквально оживила эти мертвые идеи. Религии человека, чьи догматы уже были сформулированы германскими профессорами, еще не хватало апостолов и мучеников. Эту роль взяли на себя русские христиане, уклонившиеся от своего первоначального призвания, для чего им пришлось отринуть и Бога, и добродетель.

Отказ от добродетели

В 20-е годы прошлого века у первых русских революционеров-декабристов понятия о добродетели еще существовали. Эти дворяне еще не изжили в себе якобинский идеализм. Более того, их отношение к добродетели было сознательным. «Наши отцы были сибаритами,— писал один из них, Петр Вяземский,— а мы — последователи Катона». К этому прибавлялось всего одно убеждение, дожившее до Бакунина и эсеров девятьсот пятого года,— убеждение в очистительной силе страдания. Декабристы напоминают тех французских дворян, которые, отрекшись от своих привилегий, вступили в союз с третьим сословием. Эти аристократы-идеалисты пережили свою ночь на 4-е августа, решив пожертвовать собой ради освобождения народа. Хотя вождь декабристов, Пестель, и не чуждался общественной и политической мысли, их неудавшийся заговор не имел четкой программы; вряд ли можно даже сказать, что они верили в свой успех. «Да, мы умрем,— говорил один из них накануне восстания,— но это будет прекрасная смерть». Их смерть и в самом деле была прекрасной. В декабре 1825 года каре мятежников, собравшихся

[1] Тот же Писарев замечает, что идеологические компоненты цивилизации в России всегда были статьей импорта. См. соч Armand Coquart. «Pisarev et l'idéologie du nihilisme russe». *(Здесь и далее прим. авт.)*

[2] Выражение Достоевского.

[3] Так у автора. *(Прим. перев.)*

[4] «Капитал» переведен на русский язык в 1872 г.

на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, было рассеянно пушечными ядрами. Уцелевших отправили в Сибирь, повесив перед тем пятерых руководителей восстания, причем так неумело, что казнь пришлось повторять дважды. Вполне понятно, что эти жертвы, казалось бы напрасные, были с восторгом и ужасом восприняты всей революционной Россией. Пусть после их казни ничего не изменилось, но сами они стали примером для других. Их гибель знаменовала начало революционной эры, правоту и величие того, что Гегель иронически именовал «прекрасной душой»: русской революционной мысли еще предстояло определить свое отношение к этому понятию.

Немудрено, что в этой атмосфере всеобщей экзальтации немецкая мысль пересилила французское влияние и сумела навязать свои ценности русским умам, мятущимся между жаждой страдания, тягой к справедливости и сознанием собственного бессилия. Воспринятая поначалу как божественное откровение, она была соответствующим образом превознесена и истолкована. Философическое безумие овладело лучшими умами. Дошло до того, что «Логику» Гегеля принялись перелагать в стихи. Поначалу главный урок, почерпнутый русскими интеллектуалами из гегельянской системы, заключался в оправдании социального квиетизма. Достаточно осознать разумность мироздания, мировой дух в любом случае реализует себя. Именно такой была, например, первая реакция Станкевича [5], Бакунина и Белинского. Но вслед затем страстная русская натура, испуганная фактической или хотя бы теоретической близостью этой мысли к принципам самодержавия, бросилась в противоположную крайность.

Весьма показательна в этом отношении эволюция Белинского, одного из самых знаменитых и влиятельных русских мыслителей 30—40-х годов. Живший дотоле довольно смутными понятиями либерального идеализма, Белинский внезапно открывает для себя Гегеля. Впечатление было ошеломляющим: в полночь, у себя в комнате, он, как некогда Паскаль, содрогается от рыданий и не колеблясь расстается со своими прежними убеждениями: «Не существует ни случая, ни произвола: я прощаюсь с французами». В одну ночь он становится консерватором и поборником социального квиетизма, без колебаний пишет об этом, храбро защищая свою позицию в том виде, в каком она ему представляется. Но вскоре до этого человека щедрой души доходит, что он, таким образом, оказался на стороне несправедливости — а ее он ненавидит больше всего на свете. Если все логично, то все оправдано. Остается только сказать «да» кнуту, крепостному праву и Сибири. Принять мир таким, как он есть, со всеми его страданиями, на какой-то миг показалось ему признаком величия духа, ибо он думал лишь о собственных страданиях и метаниях. Но у него не хватило духу смириться со страданиями других. И он поворачивает вспять. Если смириться с чужими страданиями невозможно — значит, что-то в мире не поддается оправданию, и история, по крайней мере в одном из ее пунктов, не укладывается в рамки разума. А ведь она должна быть либо целиком разумной, либо вовсе бессмысленной. Одинокий протест Белинского, на мгновение умиротворенного идеей о том, что все на свете поддается оправданию, вспыхивает с новой силой. Он в самых резких выражениях обращается непосредственно к Гегелю: «Со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что, если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития,— я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории... Я не хочу счастия и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братий по крови...» [6].

Белинский понял, что он желал не разумного абсолюта, а полноты бытия. Он отказывается отождествить эти два понятия. Он хочет бессмертия конкретного человека, живой личности, а не абстрактного бессмертия рода человеческого, ставшего «Духом». Он с прежней страстью ополчается на новых противников, обращая в этой борьбе против Гегеля у него же почерпнутые выводы.

Эти выводы — обоснование взбунтовавшегося индивидуализма. Индивид не может принять историю такой, какая она есть. Он должен разрушить реальность, чтобы утвердиться в ней, а не служить ее пособником. «Отрицание — мой бог. В истории мои герои — разрушители старого — Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон («Каин»)». Примечательно, что здесь одна за другой перечислены все темы метафизического бунта. Разумеется, заимствованная из Франции традиция индивидуалистического социализма все еще жила в России. Сен-Симона и Фурье читали и в 30-е годы, Прудон, открытый в 40-е, вдохновлял великого мыслителя Герцена, а позднее — Петра Лаврова. Но эта мысль, не терявшая связи с этическими ценностями, в конце концов потерпела поражение в великой схватке с иным, циническим направлением, хотя ее поражение и было временным. Белинский же, напротив, то действуя заодно с Гегелем, то против него, развивал тенденции социального индивидуализма, но неизменно в плане отрицания, отказа от трансцендентных ценностей. Впрочем, под конец жизни — он умер в 1848 году — его взгляды были весьма близки взглядам Герцена. Но за время конфронтации с Гегелем он достаточно точно определил свою позицию, которая перейдет затем к нигилистам и отчасти террористам. Таким образом, его можно считать связующим звеном между дворянами-идеалистами 1825 года и студентами-нигилистами 1860-го.

Трое одержимых

И в самом деле, Герцен подхватывает слова Белинского, когда пишет, востор-

[5] «Если мир управляется духом разума, я могу быть спокоен насчет всего остального».

[6] Цит. по кн.: Hepner. «Bakounine et le panslavisme révolutionnaire». Rivière.

гаясь нигилистическим движением,— правда, лишь в той мере, в какой оно представлялось ему освобождением от готовых понятий: «Уничтожение старого — это зарождение будущего». Говоря о тех, кого он называл радикалами, Котляревский определяет их как апостолов, «которые хотели полностью отречься от прошлого и выковать человеческую личность на совершенно иной основе». Сходным образом Штирнер требовал отказа от всей истории и создания будущего не как поля деятельности исторического духа, а как условия существования царственной личности. Но царственная личность не может прийти к власти в одиночку. Нуждаясь в помощи других, она впадает при этом в нигилистическое противоречие, которое постараются разрешить Писарев, Бакунин и Нечаев, постепенно расширявшие границы отрицания и разрушения до тех пор, пока терроризм не покончил с самим этим противоречием в сплошной оргии самопожертвования и убийства.

Нигилизм 60-х годов начался, по крайней мере внешне, с самого решительного отрицания, какое только можно себе представить, с отказа от любого действия, которое не является чисто эгоистическим. Общеизвестно, что сам термин «нигилизм» был впервые употреблен Тургеневым в его романе «Отцы и дети», главный герой которого, Базаров, воплотил в себе законченный тип нигилиста. В рецензии на эту книгу Писарев утверждал, что нигилисты признали в Базарове свой прообраз. «Мы решились ни за что не приниматься,— заявляет Базаров,— а только ругаться». «И это называется нигилизмом?» — спрашивают его. «И это называется нигилизмом». Писарев расхваливает этот прообраз, для большей ясности определяя его так: «Я чужд существующему строю вещей, я не желаю в него вмешиваться». Единственная ценность для таких людей сводилась, стало быть, к разумному эгоизму.

Отрицая все, что не служит удовлетворению «эго», Писарев объявляет войну философии, «бессмысленному» искусству, лживой морали, религии и даже правилам хорошего тона. Он строит теорию интеллектуального терроризма, напоминающую теорию наших сюрреалистов. Вызов общественному мнению возводится им в ранг доктрины, причем такой, представление о которой может дать только образ Раскольникова. Он доходит до того, что без тени улыбки задает себе вопрос: «Можно ли убить собственную мать? — и отвечает на него: — Почему бы и нет, если я этого хочу и это мне полезно?»

Удивительно при этом, что нигилисты не стремились сколотить себе состояние, продвинуться по службе или беззастенчиво воспользоваться тем, что плывет им в руки. Нигилисты, разумеется, найдутся в любом обществе, где могут занимать сколь угодно теплые местечки. Но они не возводят свой цинизм в теорию, предпочитая при всех обстоятельствах, по крайней мере с виду, бескорыстное служение добродетели. Русские нигилисты, о которых идет речь, впадали в противоречие, бросая вызов обществу и видя в самом этом вызове утверждение некой ценности. Они называли себя материалистами, их настольной книгой была «Сила и материя» Бюхнера. Но один из них признавался: «Ради Молешотта и Дарвина мы готовы пойти на виселицу или на плаху». Иными словами, учение о материи было для них куда важнее, чем сама материя. Учение, принявшее, таким образом, обличье религии и фанатической веры. Писарев считал Ламарка победителем, потому что правота была на стороне Дарвина. Тот, кто в подобной среде осмеливался заикнуться о бессмертии души, подлежал немедленному отлучению. Владимир Вейдле[7] был прав, определяя нигилизм как рационалистическое мракобесие. Разум у нигилистов странным образом занял место религиозных предрассудков; наименьшим противоречием в системе мышления этих индивидуалистов следует считать тот факт, что они избрали в качестве образа мышления самое вульгарное наукообразие. Они отрицали все, кроме самых плоских истин, которыми пробавлялся, скажем, мсье Омэ.

Однако, избрав своим догматом разум в наиболее куцем его виде, нигилисты стали образцом для своих последователей. Они не верили ни во что, кроме разума и выгоды. Но вместо скептицизма избрали апостольское рвение и сделались социалистами. В этом их противоречие. Подобно всем незрелым умам, они одновременно испытывали и сомнения, и потребность в убежденности, стремились придать отрицанию непримиримость и страсть религиозной веры. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Тот же Вейдле цитирует презрительную фразу Владимира Соловьева, изобличающую это противоречие. «Человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга». И однако, истина, исповедуемая Писаревым, заключается именно в этом надрыве. Если человек — образ и подобие Божье, то совсем не важно, что он обделен человеческой любовью: настанет день, когда его жажда будет утолена. Но если он всего лишь слепая тварь, блуждающая во мраке жестокого и замкнутого в себе пространства, тогда ему не обойтись без общества себе подобных и их преходящей любви. Где найти убежище милосердию, как не в мире без бога? В мире ином благодать изливается на всех без разбора, включая тех, кто уже наделен ею. Тот, кто отрицает все, не может не понимать, что отрицание равносильно лишению. А уразумев это, он способен открываться навстречу лишениям других и в конце концов дойти до самоотрицания. Писарев, мысленно не отступавший перед убийством матери, сумел найти справедливые слова для обличения несправедливости. Он, желавший беззастенчиво наслаждаться жизнью, хлебнул лиха в тюрьме, после чего сошел с ума. Избыток выставленного напоказ цинизма в конце концов привел его к познанию любви, изгнанию из ее царства, и мукам отверженности, толкнувшим к самоубийству: он закончил жизнь не царственной личностью, которой мечтал стать, а жалким исстрадавшимся человеком, лишь величием своего духа озарившим историю.

Бакунин воплотил в себе те же противоречия, но куда более эффектным образом. Он умер накануне террористической эпо-

[7] « La Russie absente et présente». Gallimard

пен, в 1876 году, успев, однако, заранее осудить покушения и разоблачить «Брутов своей эпохи», к которым, впрочем, питал уважение, поскольку порицал Герцена за то, что тот открыто критиковал неудавшееся покушение Каракозова на Александра II в 1866 году. Это уважение имело свои причины. Бакунин, наряду с Белинским и нигилистами, несет ответственность за последствия этих трагических событий, в основе которых лежал бунт личности. Но он привнес в этот процесс и нечто новое — семена того политического цинизма, который превратился в законченную доктрину у Нечаева и довел до крайности развитие революционного движения.

Еще в юности Бакунин был потрясен и ошеломлен гегельянской философией, знакомство с которой было для него подобно чуду. Он, по его собственным словам, вникал в нее денно и нощно, до умопомрачения, «ничего другого не видя, кроме категорий Гегеля,— как писал он со всем пылом новообращенного.— Мое личное «я» умерло навсегда, только теперь я живу истинной жизнью, которая в некотором смысле тождественна науке абсолюта». Но уже в скором времени он осознал все опасности, проистекающие из столь удобной позиции. Тот, кто постиг реальность, не восстает против нее, а лишь наслаждается ею, превращаясь, таким образом, в конформиста. Ничто в личности Бакунина не предрасполагало его к этой философии цепного пса. Возможно также, что его поездка в Германию и нелестное впечатление, сложившееся у него о немцах, не очень-то помогли ему согласиться с мнением старика Гегеля, считавшего прусское государство чуть ли не единственным хранителем замыслов духа. Будучи большим русофилом, чем сам царь, Бакунин, несмотря на свои вселенские амбиции, ни в коем случае не мог бы подписаться под гегелевским восхвалением Пруссии, основанном на довольно хрупкой логике: «Воля других народов не должна приниматься во внимание, поскольку народ, наделенный этой волей, главенствует над миром». С другой стороны, в 40-е годы Бакунин знакомится с французским социализмом и анархизмом и становится проповедником некоторых тенденций, свойственных этим учениям. Как бы там ни было, он резко порывает с немецкой идеологией. С той же яростью и страстью, которые влекли его к абсолюту, он устремляется теперь ко всеобщему разрушению, по-прежнему вдохновляясь лозунгом «Все или Ничего» в его чистом виде.

Отдав восторженную дань абсолютному единству, Бакунин бросается в самое элементарное манихейство. Его цель — не более и не менее как «Вселенская и подлинно демократическая Церковь свободы». Это и есть его религия, ибо он — настоящий сын своего века. В его «Исповеди», обращенной к Николаю I, достаточно искренне звучат те места, в которых он утверждает, что вера в грядущую революцию далась ему только в результате «сверхъестественных и тяжких усилий, с которыми я подавлял внутренний голос, твердивший мне о бессмысленности моих надежд». А вот его теоретический имморализм был куда более решительным; он то и дело нырял в эту стихию с наслаждением дикого зверя. Историей движут всего два принципа — государство и революция, революция и контрреволюция, которые невозможно примирить, ибо между ними идет смертельная борьба. Государство — это преступление. «Даже самое малое и безобидное государство преступно в своих вожделениях». Стало быть, революция — это благо. Борьба между этими двумя принципами перерастает рамки политики, превращаясь в схватку божественного и сатанинского начал. Бакунин недвусмысленно вводит в теорию революционного движения одну из тем романтического бунта. Прудон тоже считал Бога олицетворением Зла и призывал: «Грядди, Сатана, оболганный нищими и королями!» В сочинениях Бакунина еще отчетливей выявляется вся подоплека бунта, который лишь внешне выглядит политическим. «Нам говорят, что Зло — это сатанинский бунт против божественной власти, а мы видим в этом бунте плодотворную завязь всех человеческих свобод. Подобно Богемским братьям XIV века (?) социалисты-революционеры узнают сегодня друг друга по призыву: «Во имя того, кто претерпел великий урон».

Итак, борьба против всего сущего будет беспощадной и бесчеловечной, ибо единственное спасение — в истреблении. «Страсть к разрушению — это творческая страсть». Пламенные страницы Бакунина, посвященные революции 1848 года, переполнены этой разрушительной страстью [8]. «То был праздник без конца и без края»,— писал он. Для него, как и для всех угнетенных, революция и впрямь была празднеством в сакральном смысле этого слова. Здесь вспоминается французский анархист Кёрдеруа [9], который в своей книге «Ура, или Казацкая революция» призывал северные орды ко всеобщему разрушению. Он тоже хотел «поднести пылающий факел к отчему дому» и признавался, что уповает только на социальный потоп и хаос. В подобных высказываниях сквозит идея бунта в чистом виде, в его биологической сущности. Вот почему Бакунин оказался единственным в свое время мыслителем, с исключительной яростью обрушившимся на правительство, состоящее из ученых. Наперекор всем отвлеченным догмам он встает на защиту человека как такового, полностью отождествляемого с бунтом, в котором тот участвует. Он восхваляет разбойника с большой дороги и вождя крестьянского бунта, его любимые герои — это Стенька Разин и Пугачев: ведь все эти люди, не имея ни программ, ни принципов, сражались за идеал чистой свободы. Бакунин вводит бунтарское начало в самую сердцевину революционного учения: «Жизненная буря — вот что нам надо. И новый мир, не имеющий законов и потому свободный».

Но будет ли мир без законов свободным миром? Этот вопрос стоит перед каждым бунтом. Если бы на него надлежало ответить Бакунину, его ответ был бы недвусмысленным. Хотя он при всех обстоятельствах и со всей ясностью высказывался

[8] «Confession», p. 102 и далее. Rieder.

[9] Claude Harmel et Alain Sergent. «Histoire de l'anarchie». t. I.

против авторитарной формы социализма, но как только ему приходилось обрисовывать общество будущего, он, не смущаясь противоречием, определял его как диктатуру. Уже статут «Интернационального братства» (1864—1867), составленный им самим, требует от рядовых членов абсолютного подчинения центральному комитету во время революционных действий. Требования эти остаются в силе и после революции. Бакунин надеялся, что в освобожденной России установится «твердая власть диктатуры... власть, окруженная ее сторонниками, просвещенная их советами, укрепленная их добровольной поддержкой, но неограниченная ничем и никем». Бакунин в той же мере, что и его противник Маркс, способствовал выработке ленинского учения. Кстати сказать, мечта о революционной славянской империи в том виде, в каком Бакунин изложил ее царю, была — вплоть до таких деталей, как границы,— осуществлена Сталиным. Эти концепции, принадлежащие человеку, осмелившемуся утверждать, что основной движущей силой царской России был страх, и отвергавшему марксистскую теорию диктатуры пролетариата, могут показаться противоречивыми. Но противоречие это показывает, что истоки авторитарных учений хотя бы отчасти являются нигилистическими. Писарев оправдывал Бакунина. А Бакунин хоть и стремился к всеобщей свободе, но залог ее осуществления видел в столь же всеобщем разрушении. Разрушить все — значит обречь себя на созидание безо всякого фундамента, так что возведенные стены придется потом подпирать спинами. Тот, кто целиком отбрасывает прошлое, не сохраняя даже того, что могло бы служить революции, вынужден искать оправдание для себя только в будущем, а до той поры взлагает на полицию заботы об оправдании настоящего.

Бакунин возвещал наступление диктатуры не вопреки своей страсти к разрушению, а в соответствии с ней. И ничто не могло остановить его на этом пути, поскольку в горниле всеобщего отрицания он испепелил, в числе прочего, и моральные ценности. В своей «Исповеди», обращенной к царю и потому намеренно заискивающей — ведь с ее помощью он рассчитывал обрести свободу,— Бакунин дает впечатляющий пример двойной игры в революционной политике. А в «Катехизисе революционера», написанном, как полагают, в Швейцарии вместе с Нечаевым, представлен образец — даже если потом автор вынужден был от него отказаться — того политического цинизма, который с тех пор тяготел над революционным движением и которым с вызывающей наглостью воспользовался не кто иной, как Нечаев.

Он был менее известной, но еще более таинственной и показательной для нашего исследования фигурой, чем Бакунин; его стараниями нигилизм как связная доктрина был доведен до пределов возможного. Этот человек, почти не знавший противоречий, появился в кругах революционной интеллигенции примерно в середине 60-х годов и умер в безвестности в январе 1882 года. За этот краткий промежуток времени он не переставал выступать в роли искусителя: его жертвами были окружавшие его студенты, революционеры-эмигранты во главе с Бакуниным и, наконец, его тюремная стража, которую он сумел вовлечь в фантастический заговор. Едва появившись на люди, он уже был твердо убежден в правоте своих мыслей. Бакунин был до такой степени им обворожен, что согласился облечь его фиктивными полномочиями,— ведь в этой непреклонной натуре ему открылся идеал, который он хотел бы навязать другим и до какой-то степени воплотить в себе самом, если бы ему удалось избавиться от собственной мягкосердечности. Нечаев не довольствовался ни заявлениями о том, что следует соединиться «с диким разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России», ни повторением фраз Бакунина о том, что политика должна стать религией, а религия — политикой. Он был жестоким аскетом безнадежной революции; самой явной его мечтой было основание смертоносного ордена, с чьей помощью могло бы расширить свою власть и в конечном счете восторжествовать мрачное божество, которому он поклонялся.

Он не только разглагольствовал на темы всемирного разрушения, но и настойчиво внушал тем, кто посвятил себя революции, формулу «Все позволено», не говоря уже о том, что сам позволял себе все. «Революционер — это человек заранее обреченный. У него не может быть ни любовных связей, ни имущества, ни друзей. Он должен отречься даже от своего имени. Все его существо должно сосредоточиться на единой страсти — революции». Ведь если история, чуждая всяких моральных принципов, является всего лишь полем битвы между революцией и контрреволюцией, то человеку остается только полностью слиться с одним из этих двух начал, чтобы вместе с ним погибнуть или победить. Нечаев доводит эту логику до конца. В его лице революция впервые открыто отрекается от любви и дружбы.

В его учении усматриваются выводы из произвольной психологии, порожденной мыслью Гегеля. Признавая, что взаимопонимание между сознаниями возможно в любовном противостоянии [10], Гегель в своем анализе все же отказался поставить на первый план этот «феномен», который, по его мнению, «не обладает ни силой, ни терпением, ни плодотворностью отрицания». Взаимодействие сознаний показано им в виде поединка крабов на морском берегу, которые сначала вслепую нащупывают противника, а потом сцепляются в смертельной схватке; эта картина намеренно дополняется другой — образом ночных маяков, чьи лучи с трудом пробиваются друг к другу, чтобы в конце концов слиться в одно яркое сияние. Каждому любящему, будь то друг или любовник, известно, что любовь — это не только вспышка страсти, но также долгая и мучительная борьба во мраке за признание и окончательное примирение. Сходным образом можно сказать, что если признаком исторической добродетели является ее способность к долготерпению, то

[10] Признание может осуществиться и в преклонении — тогда слово «господин» обретает смысл созидания, а не разрушения.

ненависть столь же терпелива, как и любовь. Требование справедливости не единственное оправдание многовековой революционной страсти, которая, помимо прочего, опирается также и на мучительную потребность в дружбе, особенно сильную перед лицом враждебных небес. Людей, умирающих во имя справедливости, во все времена именовали «братьями». Их ненависть была обращена лишь к неприятелю и, таким образом, поставлена на службу угнетенным. Но если революция становится единственной ценностью, она требует от революционера всего, в том числе доноса, оговора и предательства единомышленников. Насилие, поставленное на службу абстрактной идее, обращается теперь как на врагов, так и на друзей. Лишь с наступлением царства одержимых стало возможным утверждение, что революция сама по себе значит неизмеримо больше, нежели те, ради которых она совершается, и что дружба, которая до сих пор скрашивала горечь поражений, должна быть принесена в жертву и предана забвению вплоть до неведомого еще дня победы.

Таким образом, своеобразие Нечаева заключается в том, что он вознамерился оправдать насилие, обращенное к собратьям. Как уже говорилось, он написал «Катехизис» вместе с Бакуниным. Но когда Бакунин в припадке самоослепления назначил его представителем «русского отдела Всемирного революционного союза», существовавшего только в его воображении, и Нечаев в самом деле вернулся в Россию, он тут же основал свою собственную организацию под названием «Народная расправа» и самолично выработал ее устав. В нем содержался пункт, касающийся тайного центрального комитета, безусловно необходимого для любого военного или политического объединения,— комитета, которому должны бы беспрекословно подчиняться все рядовые члены. Но Нечаев не только милитаризировал революцию, он считал, что ее руководители вправе употреблять по отношению к подчиненным ложь и насилие. Желая вовлечь колеблющихся в задуманное им предприятие, он и сам начал со лжи, заявив, что является посланником этого, еще не созданного центрального комитета, обладающего, по его словам, неограниченными полномочиями. Более того, он разделил революционеров на несколько разрядов; к первому — то есть к вожакам — относятся те, кто может «смотреть на других как на часть общего революционного капитала, отданного в их распоряжение». Вполне возможно, что политические деятели на протяжении всей истории думали именно так, но никогда не решались сказать об этом вслух. Во всяком случае, до Нечаева никто из революционных вожаков не рискнул открыто провозгласить этот принцип. Ни одна из революций до той поры не осмелилась заявить в первых же строках своих скрижалей, что человек — это всего лишь слепое орудие. Ряды ее участников пополнялись с помощью традиционных призывов к мужеству и духу самопожертвования. Нечаев же решил, что колеблющихся можно шантажировать и терроризировать, а доверчивых — обманывать. Даже те, кто лишь воображает себя революционерами, могут пригодиться, если их систематически подталкивать к совершению особо опасных акций. Что же касается угнетенных, то раз уж им предстоит полная и окончательная свобода, их можно угнетать еще больше. Их потери обернутся благом для грядущих поколений. Нечаев возводит в принцип положение, согласно которому следует всячески подталкивать правительство к репрессивным мерам, ни в коем случае не трогать тех его официальных представителей, которые особенно ненавистны населению, и, наконец, всемерно способствовать усилению страданий и нищеты народных масс.

Все эти благие намерения обрели подлинный смысл только сегодня — Нечаев не дожил до триумфа своих идей. Он успел лишь пустить их в ход во время убийства студента Иванова — события, настолько поразившего воображение современников, что Достоевский сделал его одной из тем своих «Бесов». Иванов, чья единственная вина заключалась в том, что он усомнился в существовании мифического «центрального комитета», посланцем которого называл себя Нечаев, противопоставил себя революции, тому, кто отождествлял себя с нею. И следовательно, подписал себе смертный приговор. «Кто дал нам право покушаться на человеческую жизнь?» — спрашивал Успенский, один из товарищей Нечаева. «Речь идет не о праве, а о нашем долге: мы обязаны уничтожить всякого, кто вредит общему делу». Когда революция становится единственной ценностью, ни о каких правах не может быть и речи, остаются одни только обязанности. Но, с другой стороны, во имя исполнения этих обязанностей кое-кто присваивает себе все права. Так поступил и сам Нечаев. Не тронувший пальцем ни одного тирана, он во имя общего дела расправляется с Ивановым, заманив его в ловушку. А потом бежит из России и встречается с Бакуниным, который отворачивается от него, осуждая эту «омерзительную тактику». «Он мало-помалу убедил себя,— пишет Бакунин,— что для создания несокрушимой организации необходимо взять за основу политику Макиавелли и систему иезуитов: насилие для тела и ложь для души». Это прекрасно подмечено. Но можно ли называть подобную тактику «омерзительной», если революция, как утверждал сам Бакунин, является единственным благом? Нечаев и впрямь находился на службе у революции, радея не о себе, а об общем деле. Выданный швейцарскими властями царскому правительству, он мужественно держался на суде. А приговоренный к двадцати пяти годам тюрьмы, не прекратил своей деятельности и в крепости, сумел распропагандировать команду Алексеевского равелина, строил планы убийства царя, но потерпел неудачу и был снова судим. Смерть в глубине каземата, на исходе двенадцатого года заключения, увенчала биографию этого мятежника, ставшего родоначальником высокомерных вельмож революции.

С этого момента в ее лоне окончательно восторжествовал принцип вседозволенности, убийство было возведено в принцип. Однако в начале 70-х годов, с обновлением народничества, явилась надежда, что это революционное движение, чьи истоки восхо-

дят к декабристам, а также социализму Лаврова и Герцена, сумеет затормозить развитие политического цинизма, представленного Нечаевым. Народники обратились к «живым душам», призывая их «идти в народ» и просвещать его, чтобы потом он сам пошел по пути свободы. «Кающиеся дворяне» оставляли свои семьи, одевались в отрепья и отправлялись читать проповедь мужику. Но тот смотрел на них искоса и помалкивал. А то и выдавал новоявленных апостолов жандармам. Неудача, постигшая этих прекраснодушных мечтателей, неминуемо должна была отбросить движение к нечаевскому цинизму или по меньшей мере к практике насилия. Интеллигенция, не сумевшая сплотить вокруг себя народ, вновь почувствовала себя одинокой перед лицом самодержавия; мир снова предстал перед ней в двойственном обличье господина и раба. Именно тогда группа «Народная воля» решила возвести терроризм в принцип и начала серию покушений, которые при участии партии эсеров не прекращались вплоть до 1905 года. Так зародилось движение террористов, отвратившихся от любви и восставших против угнетения со стороны господ, но одиноких в своей безнадежной борьбе и раздираемых внутренними противоречиями, которые им удастся разрешить, лишь принеся в жертву свою невиновность заодно с жизнью.

Разборчивые убийцы

1878 год был годом рождения русского терроризма. 24 января, накануне суда над ста девяносто тремя народниками, совсем еще юная девушка, Вера Засулич, стреляет в генерала Трепова, градоначальника Санкт-Петербурга. Оправданная судом присяжных, она затем ускользнула от царской полиции. Этот револьверный выстрел вызвал целую волну репрессий и покушений, которые следовали друг за другом; уже тогда было ясно, что они прекратятся не раньше, чем окончательно выдохнутся все их участники.

В том же году член «Народной воли», Кравчинский, выпускает памфлет «Смерть за смерть», в котором содержится апология террора. Последствия не заставили себя ждать. Жертвами покушений в Европе стали немецкий кайзер, король Италии и король Испании. В том же 1878 году Александр II создает посредством Охранки [11] наиболее действенное орудие государственного террора. Начиная с этого момента, весь конец XIX века, как в России, так и на Западе, ознаменован непрекращающейся серией убийств. В 1879 году — новое покушение на испанского короля и неудавшийся заговор против русского императора. В 1881 — его убийство боевиками «Народной воли». Софья Перовская, Желябов и их сподвижники повешены. В 1883 — покушение на немецкого кайзера: покушавшийся гибнет под топором палача. В 1887 — казнь чикагских мучеников и съезд испанских анархистов в Валенсии, которые предупреждают: «Если общество нам не уступит, порок и зло все равно должны будут погибнуть, даже если мы погибнем вместе с ними». Девяностые годы во Франции отмечены так называемой «пропагандой посредством фактов». Подвиги Равашоля, Вайана и Юбера Анри предшествуют убийству Карно. Только в 1892 году происходит более тысячи покушений динамитчиков в Европе и около пятисот — в Америке. В 1898 году от их рук гибнет австрийская императрица Елизавета, в 1901 — Мак-Кинли, президент Соединенных Штатов. В России, где покушения на второстепенных представителей власти никогда не прекращались, в 1903 году возникает боевая организация партии эсеров, группа самых поразительных фигур русского терроризма. Убийства Плеве Созоновым и великого князя Сергея Каляевым знаменуют собой апогей тридцатилетнего кровавого апостольства и завершают эпоху мучеников революционной религии.

Нигилизм, тесно связанный с развитием этой обманчивой веры, завершается, таким образом, терроризмом. С помощью бомбы и револьвера, а также личного мужества, с которым эти юноши, жившие в мире всеобщего отрицания, шли на виселицу, они пытались преодолеть свои противоречия и обрести недоставшие им ценности. До них люди умирали во имя того, что знали, или того, во что верили. Теперь они стали жертвовать собой во имя чего-то неведомого, о котором было известно лишь одно: необходимо умереть, чтобы оно состоялось. До сих пор шедшие на смерть обращались к Богу, отвергая человеческое правосудие. А знакомясь с заявлениями смертников интересующего нас периода, поражаешься тому, что все они, как один, взывали к суду грядущих поколений. Лишенные высших ценностей, они смотрели на них как на свою последнюю опору. Ведь будущее — единственная трансцендентность для безбожников. Взрывая бомбы, они, разумеется, прежде всего стремились расшатать и низвергнуть самодержавие. Но сама их гибель была залогом воссоздания общества любви и справедливости, продолжением миссии, с которой не справилась церковь. По сути дела, они хотели основать церковь, из лона которой явился бы новый бог. Но разве дело лишь в этом? Их добровольное нисхождение в мир греха и смерти породило только обещания неких будущих ценностей, и весь ход истории позволяет нам утверждать, по крайней мере в данный момент, что они погибли напрасно, так и оставшись нигилистами. Впрочем, само понятие будущей ценности внутренне противоречиво, поскольку оно не может ни внести ясности в действие, ни служить основанием выбора до тех пор, покуда не обретет хоть какую-то форму. Но люди 1905 года, раздираемые противоречиями, именно своим отрицанием и смертью порождали ценности, которым было обеспечено будущее, производя их на свет одной только верой в их появление. Они подчеркнуто ставили превыше самих себя и своих палачей это высшее и горькое благо, которое, как мы уже видели, лежит у истоков бунта. Остановимся же на одной ценности поподробнее, пользуясь моментом, когда дух бунта в последний раз в нашем исследовании сталкивается с духом сострадания.

[11] Так у автора. *(Прим. перев.)*

«Можно ли говорить о террористических актах, не принимая в них участия?» — восклицает Каляев. Все его товарищи по Боевой организации эсеров, руководимые сначала Азефом, а потом Борисом Савинковым, оказались на высоте этих слов. То были требовательные к себе люди. Последние в истории бунта, кто целиком принял вместе со своей судьбой свою трагедию. «Живя террором, они верили в него»,— как сказал Покотилов. Чувство надлома никогда не покидало их. История знает не много примеров, когда фанатики мучились бы угрызениями совести даже в разгар схватки. А люди 1905 года постоянно терзались сомнениями. К их чести надо сказать, что сейчас, в 1950 году, мы не можем задать им ни единого вопроса, который уже не стоял бы перед ними и на который они хотя бы отчасти не ответили своей жизнью или своей смертью.

И однако, они торопились войти в историю. Когда Каляев, например, в 1903 году решил вместе с Савинковым принять участие в террористической деятельности, ему было всего двадцать шесть лет. А через два года этот «Поэт», как его называли, был уже повешен. Стремительная, что и говорить, карьера. Но для того, кто с некоторым пристрастием изучает историю этого периода, Каляев с его головокружительной судьбой представляется самой показательной фигурой терроризма. Созонов, Швейцер, Покотилов, Войнаровский и большинство их сподвижников так же неожиданно ворвались в историю России и всего человечества, чтобы через мгновение погибнуть, став мимолетными и незабвенными свидетелями разрастающегося бунта.

Почти все они были безбожниками. «Я вспоминаю,— писал Борис Войнаровский, погибший, бросая бомбу в адмирала Дубасова,— что, еще не будучи гимназистом, я уже проповедовал атеизм своим друзьям. И только один вопрос не давал мне покоя: откуда у меня все это взялось? Ведь я не имел ни малейшего понятия о вечности». А вот Каляев был верующим. За несколько минут до неудавшегося покушения Савинков видел, как он молился перед уличной иконой, держа бомбу в одной руке и крестясь другой. Но в конце концов и он отрекся от религии, не приняв перед казнью последнего причастия.

Конспирация вынуждала их жить отшельниками. Им разве что теоретически была ведома могучая радость всякого деятельного человека, рождающаяся в общении с коллективом. Но узы дружбы заменяли им все иные привязанности. Созонов называл их союз «рыцарским» и так объяснял это понятие: «Наше рыцарство было проникнуто таким духом, что даже слово «брат» не выражает с достаточной ясностью суть наших взаимоотношений». Уже будучи на каторге, он писал друзьям: «Лично для меня необходимейшим условием счастья является сознание того, что я навсегда сохраню полную солидарность с вами». С другой стороны, показательна и такая фраза, обращенная Войнаровским к любимой женщине,— фраза, звучавшая, по его собственному признанию, «довольно комично», но тем не менее полностью отражавшая его настроения: «Будь ты проклята, если из-за тебя я опоздаю на встречу с товарищами».

Эта сплоченная горстка людей, затерявшихся среди русской толпы, избрала себе ремесло палачей, к которому их ничто не предрасполагало. Они были воплощением парадокса, объединявшего в себе уважение к человеческой жизни вообще и презрение к собственной жизни, доходившее до страсти к самопожертвованию. Дору Бриллиант вовсе не интересовали тонкости программы. В ее глазах террористическое движение оправдывалось прежде всего жертвой, которую приносят ему его участники. «И все же,— писал Савинков,— террор тяготил ее как крестная ноша». Каляев тоже готов был в любой миг пожертвовать жизнью. «Более того, он страстно желал этой жертвы». Во время подготовки к покушению на Плеве он предлагал броситься под копыта лошадей и погибнуть вместе с министром. А у Войнаровского стремление к самопожертвованию сочеталось с тягой к смерти. После ареста он писал родителям: «Если бы вы знали, сколько раз меня еще в отрочестве посещала мысль о самоубийстве...»

И в то же время эти палачи, бестрепетно ставившие на карту собственную жизнь, долго колебались, прежде чем посягнуть на жизнь других. Первое покушение на великого князя Сергея не состоялось по той причине, что Каляев, поддержанный всеми своими товарищами, отказался поднять руку на детей, находившихся в великокняжеском экипаже. А вот что Савинков пишет о террористке Рахили Пурье: «Она верила в наше движение, считала своим долгом и счастьем принять в нем участие, но вид крови ужасал ее не меньше, чем Дору». Тот же Савинков воспротивился покушению на адмирала Дубасова в скором поезде Петербург — Москва: «При малейшей неосторожности от взрыва могут пострадать невинные пассажиры». Позже он с негодованием отверг мысль о привлечении к делу шестнадцатилетнего подростка. Во время одного из своих побегов он решил стрелять в офицеров, которые встанут на его пути, но скорее покончить с собой, чем обратить оружие против простых солдат. Убийца Войнаровский, питавший, кстати сказать, отвращение к охоте, которую считал «варварским занятием», в свою очередь заявлял: «Если Дубасова в скором поезде Москва — Петербург будет сопровождать жена, я не стану бросать бомбу».

Столь явственное самозабвение в сочетании со столь глубокой тревогой за жизнь других позволяет предположить, что эти разборчивые убийцы осознавали свою бунтарскую судьбу как сгусток крайних противоречий. Надо думать, что, принимая необходимость насилия, они все же признавали его неоправданность. Убийство было для них неотвратимым, но и непростительным актом. Столкнувшись со столь чудовищной проблемой, посредственные натуры чаще всего предают забвению одну из ее сторон. Либо они во имя формальных принципов объявляют непростительным всякое прямое насилие и допускают тем самым рост скрытого насилия на всемирно-историческом уровне, либо от имени истории провозглашают его неизбежность и

громоздят убийство на убийство до тех пор, пока эта история не превратится в сплошное подавление всего, что восстает в человеке против несправедливости. Именно этим определяется двойное обличье современного нигилизма, буржуазного и революционного.

Но те склонные к крайностям натуры, о которых идет речь, не забывали ничего. Не в силах оправдать того, что считалось ими необходимым, они решили найти оправдание в самих себе и ответить самопожертвованием на стоявший перед ними вопрос. Для них, как и для всех предшествующих бунтовщиков, убийство отождествлялось с самоубийством. Одна жизнь представала расплатой за другую, и обе эти жертвы служили залогом неких грядущих ценностей. Каляев, Войнаровский и другие верили в равноценность жизней и, таким образом, не ставили идею выше человеческой жизни, хотя убивали по идейным побуждениям. Строго говоря, они жили на высоте идеи. И в конце концов оправдывали ее, воплощая в собственной смерти. Здесь мы снова сталкиваемся если не с религиозной, то хотя бы с метафизической концепцией бунта. На смену этим людям явятся другие; одухотворенные той же всепоглощающей идеей, они тем не менее сочтут методы своих предшественников сентиментальными и откажутся признавать, что жизнь одного человека равноценна жизни другого. Они поставят выше человеческой жизни абстрактную идею, пусть даже именуемую историей, и, заранее подчинившись ей, постараются подчинить ей других. Проблема бунта будет отныне разрешаться не арифметикой, а теорией вероятностей. Сравнительно с будущим воплощением идеи жизнь человеческая может быть всем или ничем. Чем сильнее грядущие «математики» будут верить в это воплощение, тем меньше будет стоить человеческая жизнь. А в самом крайнем случае — ни гроша.

Нам еще предстоит рассмотреть этот крайний случай, то есть эпоху философствующих палачей и государственного терроризма. А пока бунтовщики девятьсот пятого года, не преступившие последней грани, среди грохота бомб доказывают нам, что бунт, если он остается бунтом, не может привести ни к утешению, ни к идейному умиротворению. Их единственная бесспорная победа заключалась в преодолении одиночества и отрицания. Находясь в гуще общества, которое они отрицали и которое их отвергло, они, как и подобает всем людям широкой души, стремились мало-помалу сплотиться в единое братство. Представление о безмерности их отчаянья и надежды может дать взаимная любовь, которую они питали друг к другу даже на каторге,— любовь, которая простиралась на бесчисленные массы их порабощенных и безмолвных собратьев. Чтобы стать служителями этой любви, им нужно было сначала сделаться убийцами; чтобы утвердить царство невинности, им предстояло принять на себя вину. Это противоречие разрешалось только в последний миг их жизни. Одиночество и благородство, отчаянье и надежда могли быть преодолены лишь добровольным приятием смерти. Желябов, организовавший в 1881 году покушение на Александра II и схваченный за двое суток до гибели царя, просил, чтобы его казнили вместе с настоящим убийцей. «Только трусостью правительства,— писал он в обращении к властям,— можно объяснить тот факт, что вместо двух виселиц будет воздвигнута всего одна». Он ошибался: их было целых пять — и одна из них предназначалась для женщины, которую он любил. Но Желябов встретил смерть с улыбкой, тогда как Рысаков, ставший предателем во время допросов, настолько обезумел от страха, что его пришлось силком тащить на эшафот.

Дело в том, что Желябов стремился избежать обвинений, которые постигли бы его наравне с Рысаковым, останься он в одиночестве после того, как стал реальным участником или пособником убийства. У подножия виселицы Софья Перовская обняла Желябова и двух его друзей, но отвернулась от Рысакова, который умер в одиночку, став предателем новой религии. Для Желябова его смерть в кругу собратьев была равносильна оправданию. Убийца виновен лишь в том случае, если соглашается жить после убийства или предает своих сообщников. А его смерть целиком заглаживает как вину, так и само преступление. Именно поэтому Шарлотта Корде могла крикнуть Фукье-Тенвилю: «Чудовище, да как ты смеешь называть меня убийцей!» То было душераздирающее и молниеносное постижение человеческой ценности, которая представала на полпути между невинностью и виной, разумом и безумием, временем и вечностью. В миг этого откровения — но не раньше! — на отчаявшихся узников нисходит странная умиротворенность, свидетельство окончательной победы. Находясь в тюремной камере, Поливанов говорит, что ему будет «легко и просто» умирать. Войнаровский пишет, что он победил страх перед смертью: «Я взойду на эшафот молча, так что ни один мускул не дрогнет на моем лице... Казнь будет не свершаемым надо мной насилием, а естественным результатом всей моей жизни». Через много лет лейтенант Шмидт писал перед расстрелом: «Моя смерть подведет итог всему — и дело, за которое я стоял, увенчанное казнью, пребудет безупречным и совершенным». А Каляев, представший перед судом не в роли обвиняемого, а в роли обвинителя и приговоренный к повешению, твердо заявил: «Я рассматриваю свою смерть как крайнюю форму протеста против мира слез и крови». И еще он писал: «С того времени, как я попал за решетку, мне ни разу не приходило в голову каким-то образом уклониться от смерти». Его желание сбылось. В два часа ночи десятого мая он шагнул навстречу единственному оправданию, которое признавал. Весь в черном, без пальто, в фетровой шляпе на голове, он поднялся на эшафот. И когда священник, отец Флоринский, попытался поднести к его губам распятие, осужденный, отвернувшись от Христа, бросил: «Я уже говорил всем, что покончил все счеты с жизнью и вполне готов к смерти».

Итак, здесь, в конце пути, пройденного нигилизмом, у самого подножия виселицы, возрождаются прежние ценности. Они — отражение, на сей раз историческое, той фор-

мулы, которую мы вывели, завершая анализ мятежного духа: «Я бунтую, следовательно, мы существуем». Суть этих ценностей — в лишениях и одновременно в ослепительной уверенности. Именно она предсмертным отблеском озарила лицо Доры Бриллиант при мысли о том, кто отдал жизнь во имя нерушимой дружбы; она толкнула Созонова к самоубийству на каторге в знак протеста против нарушения прав его собратьев; она снизошла и до Нечаева, когда он ответил пощечиной жандармскому генералу, склонявшему его к доносу на товарищей. Наделенные этой уверенностью, террористы утверждали братство людей и в то же время ставили себя над этим братством, в последний раз в истории доказывая, что только истинный бунт — источник духовных ценностей.

Благодаря им девятьсот пятый год стал вершиной революционного порыва. Затем начинается упадок. Церковь не составишь из одних мучеников, они лишь скрепляют ее и служат ей оправданием. Вслед за ними приходят священники и святоши. Последующие поколения революционеров уже не станут стремиться к размену жизней. Будучи готовыми к смертельному риску, они постараются сберечь себя для служения революции. Иными словами, согласятся взять на себя всю полноту виновности. Готовность к самоуничижению — вот точнейшая характеристика революционеров XX века, ставящих революцию и мирскую церковь превыше самих себя. Каляев же, напротив, доказывает, что революция, будучи необходимым средством, не является самодовлеющей целью. Тем самым он возвышает, а не принижает человека. Именно Каляев и его собратья, как русские, так и немецкие, противопоставили себя Гегелю [12], сочтя всеобщее признание необходимым лишь поначалу, а потом вовсе недостаточным. Показное величие их не устраивало. Если бы Каляева признал весь мир, у него и тогда оставались бы сомнения; ему важна была его собственная решимость, а не буря аплодисментов, как раз и вселяющая сомнения во всякого настоящего человека. Каляев сомневался до конца, но колебания не мешали ему действовать; именно в этом он предстает перед нами как чистейшее воплощение бунта. Кто согласен умереть, поплатиться жизнью за жизнь, тот — каковы бы ни были отрицаемые им идеи — тем самым утверждает некую ценность, превосходящую его самого как историческую личность. Каляев всю свою жизнь посвящает истории, но в миг кончины он возвышается над нею. В каком-то смысле можно сказать, что он предпочитает ей самого себя. Но что такое он сам — личность, без колебаний, приносимая им в жертву, или ценность, которую он воплощает в себе и наделяет жизнью? Ответ не оставляет сомнений: Каляев и его собратья восторжествовали над нигилизмом.

[12] Существует два рода людей. Одни убивают только раз и расплачиваются за это собственной жизнью. Другие совершают тысячи преступлений и удостаиваются за это почестей.

Шигалевщина

Но торжество это мимолетно — ведь оно совпадает с гибелью. Нигилизму было суждено пережить тех, кто его преодолел. Политический цинизм продолжает прокладывать себе победоносный путь в самой сердцевине партии эсеров. Азеф, пославший Каляева на смерть, ведет двойную игру, выдавая революционеров охранке и в то же время совершая покушения на министров и великих князей. Его провокационная деятельность вдохновляется пресловутым лозунгом «Все позволено» и отождествляет историю с абсолютной ценностью. Этот нигилизм, уже успевший оказать влияние на индивидуалистический социализм, заражает и так называемый «научный социализм», появившийся в России в 80-е годы [13]. Совокупному наследию Нечаева и Маркса суждено было породить тоталитарную революцию XX века. В то время как индивидуальный терроризм преследовал последних представителей «божественного права», терроризм государственный готовился окончательно искоренить это право из общественной практики. Техника захвата власти для осуществления этих конечных целей начинает преобладать над их голословным утверждением.

И в самом деле, именно у Ткачева, товарища и духовного брата Нечаева, Ленин заимствует концепцию захвата власти, которая кажется ему «великолепной» и которую он резюмирует так: «строжайшая тайна, тщательный отбор участников, воспитание профессиональных революционеров». Ткачев, под конец жизни сошедший с ума, оказался посредником между нигилизмом и военным социализмом. Он считал себя создателем русского якобинства, хотя перенял от якобинцев только их тактику, полностью отрицая какие бы то ни было принципы и добродетели. Будучи врагом искусства и морали, он в этой тактике стремился лишь к примирению рационального с иррациональным. Его целью было достижение равенства между людьми посредством захвата государственной власти. Тайная организация, революционные ячейки, непререкаемый авторитет вождя — во всех этих терминах можно усмотреть если не фактическое зарождение, то хотя бы прообраз «аппарата», которому было уготовано столь великое и действенное будущее. Что же касается самих методов борьбы, то четкое представление о них дает замысел Ткачева, согласно которому все население России старше 25 лет подлежит уничтожению ввиду его неспособности к восприятию новых идей. Этот поистине гениальный замысел будет в значительной мере воплощен на практике современной супердержавой, где принудительное образование детей будет осуществляться терроризированными взрослыми. Цезарианский социализм осудит, разумеется, практику индивидуального терроризма, но лишь в той мере, в какой она воскрешает ценности, несовместимые с владычеством исторического разума. И в то же время возвратится к террору на уровне государства, оправдывая его необходимо-

[13] Первая социал-демократическая группа, руководимая Плехановым, возникла в 1883 году.

стью построения обоготворенного человеческого общества.

Здесь завершается диалектический виток — и бунт, оторванный от своих истинных корней, подчинившийся истории и потому предавший человека, стремится теперь поработить весь мир. Тогда начинается предсказанная в «Бесах» эпоха шигалевщины, восхваляемая нигилистом Верховенским, защитником права на бесчестье. Этот злосчастный и беспощадный ум [14] избрал своим девизом волю к власти, ибо только она дает возможность руководить историческим процессом, не ища оправданий ни в чем, кроме самой себя. Свои идеи он позаимствовал у «филантропа» Шигалева, для которого любовь к людям служит оправданием их порабощения. Этот ярый поборник равенства [15] после долгих размышлений пришел к безнадежному выводу, что возможна всего одна общественная истина, да и она, в сущности, безнадежна. «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом». Безграничная свобода, то есть всеобъемлющее отрицание, может существовать и быть оправданной лишь тогда, когда она ведет к созданию новых ценностей, отождествляемых с благом всего человечества. Если же этот процесс запаздывает, человечество может погибнуть в братоубийственной схватке. Наикратчайший путь к этим новым скрижалям лежит через тотальную диктатуру. «Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать». Это и будет царством философов, о котором мечтали утописты, только философы эти ни во что не будут верить. Царство наступило, но оно отрицает истинный бунт; это всего-навсего царство «неистовых Христов», если здесь уместно выражение, заимствованное у одного ретивого поклонника Равашоля. «Папа вверху,— с горечью говорит Верховенский,— мы кругом, а под нами шигалевщина».

Таким образом здесь предвосхищены тоталитарные теократии XX века с их государственным террором. Новые сеньоры и великие инквизиторы, использовав бунт угнетенных, воцарились теперь над частью нашей истории. Их власть жестока, но они, как романтический Сатана, оправдывают свою жестокость тем, что эта власть не всякому по плечу. «Желание и страдание для нас, а для рабов шигалевщина». В эту эпоху появляется новая и довольно отвратительная порода подвижников. Их подвиг состоит в том, чтобы причинять страдания другим; они становятся рабами собственного владычества. Чтобы человек сделался богом, нужно, чтобы жертва унизилась до положения палача. Вот почему судьба жертвы и палача в равной степени безнадежна. Ни рабство, ни владычество отныне не тождественны счастью: владыки угрюмы, рабы унылы. Сен-Жюст был прав, говоря, что мучить народ — это ужасное преступление. Но как избежать мучений для людей, если из них решено сделать богов? Подобно тому, как Кириллов, убивающий себя в надежде стать богом, соглашается, чтобы его самоубийство было использовано для «заговора» Верховенского, так и обожествивший себя человек выходит за пределы, в которых держал его бунт, и безоглядно устремляется по грязному пути террора, с которого история так до сих пор и не свернула.

Государственный терроризм и иррациональный террор

Все перевороты нового времени приводили к укреплению государства. 1789 год влечет за собой Наполеона, 1848 — Наполеона III, 1917 — Сталина, итальянские волнения 20-х годов — Муссолини, Веймарская республика — Гитлера. И тем не менее, особенно после того, как первая мировая война разделалась с остатками «божественного права», устроители этих переворотов со все большей и большей уверенностью провозглашали своей целью созидание «града людей» и завоевание подлинной свободы. Всякий раз залогом этих амбиций было возрастающее могущество государства. Было бы неверно утверждать, что всего этого не могло не произойти. Но вполне возможно рассмотреть, каким образом оно произошло, и постараться извлечь из прошлого соответствующие уроки.

Наряду с незначительным количеством объяснений, которые не укладываются в рамки настоящего исследования, непостижимое и ужасающее усиление современного государства может рассматриваться как логическое следствие его непомерных технических и философских претензий, чуждых подлинному духу бунта, но тем не менее породивших революционный дух нашего времени. После того как с идеей «града божьего» было покончено, пророческие мечты Маркса и смелые провиденья Гегеля или Ницше в конце концов привели к созданию нового типа государства, рационального или иррационального, но в обоих случаях — террористического.

Строго говоря, фашистские перевороты XX века не заслуживают названия революций. Им не хватало универсальных притязаний. Разумеется, и Гитлер и Муссолини стремились к созданию империй, а идеологи национал-социализма недвусмысленно высказывались о планах мирового господства. Их отличие от теоретиков классического революционного движения состояло в том, что они избрали и обоготворили иррациональную часть нигилистического наследия, отказавшись обожествить разум. И тем самым отреклись от универсальных притязаний. Это не помешало Муссолини ссылаться на Гегеля, а Гитлеру — считать своим предшественником Ницше; не подлежит сомнению, что они воплотили в истории некоторые из пророчеств немецкой идеологии. И в этом отношении они принадлежат истории бунта и нигилизма. Они первые построили государство, исходя из идеи, что ничто на свете не имеет смысла и что история — всего лишь случайное противобор-

[14] «Он человека сочинит да с ним и живет».

[15] «В крайних случаях — клевета и убийство, а главное — равенство».

ство сил. Последствия не замедлили сказаться.

Начиная с 1914 года Муссолини прославлял «святую религию анархии» и провозглашал себя врагом всех разновидностей христианства. Что же касается Гитлера, то его официальная «религия» без колебаний совмещала в себе обоготворенную судьбу с божествами Валхаллы. На самом же деле его божествами были броские речи на митингах и овации по окончании этих речей. До тех самых пор, пока ему сопутствовал успех, он выдавал себя за боговдохновенную личность. А накануне разгрома заявил, что был предан собственным народом. В промежутке между двумя этими крайностями ничто не свидетельствовало о том, что он готов признать себя виновным в нарушении каких бы то ни было высших принципов. Эрнст Юнгер, единственный человек высокой культуры, придавший нацизму видимость философии, использовал в своих писаниях все те же нигилистические формулы: «Лучший ответ на предательство жизни духом — это предательство духа духом, и одна из величайших и мучительнейших радостей нашего времени состоит в том, чтобы участвовать в этой разрушительной работе».

Люди действия, пребывающие в безверии, никогда не доверяли ничему, кроме действия. Неразрешимый парадокс Гитлера в том и состоял, что он хотел основать стабильный порядок на основе беспрестанного действия и отрицания. Раушнинг был прав, когда в своей «Нигилистической революции» писал, что гитлеровский переворот был чистейшим воплощением динамизма в Германии, до самых основ потрясенной беспрецедентной войной, разгромом и экономическим кризисом; ни единая ценность уже не внушала доверия. Нельзя сбрасывать со счета изречение Гёте, сказавшего, что «немцы стараются усложнить все на свете, такова уж их судьба»,— и все же эпидемия самоубийств, прокатившаяся по всей Германии между двумя войнами, лучше всего свидетельствует о духовном смятении той эпохи. Никакие рассуждения не способны вернуть веру людям, которые отчаялись во всем; это могут сделать только страсти, в данном случае — те самые, что лежали в основе их отчаяния, то есть горечь унижения и ненависть. Не существовало больше истинных ценностей, признаваемых всеми этими людьми и в то же время возвышающихся над ними, во имя которых они могли бы судить друг друга. И вот в 1933 году Германия не только согласилась признать низкопробные ценности, принадлежавшие всего нескольким людям, но и попыталась навязать их целой цивилизации. За неимением морали Гёте она избрала мораль уголовного мира и поплатилась за это.

Мораль уголовника — это бесконечное чередование побед, завершающихся местью, и поражений, порождающих отчаянье и злобу. Прославляя «стихийные порывы личности», Муссолини предвосхищал преклонение перед темными силами инстинкта и крови, биологическое оправдание всего наихудшего, к чему может привести слепая тяга к господству. На Нюрнбергском процессе Франк подчеркивал, что Гитлером руководила «ненависть ко всякой форме». И нельзя не признать, что этот человек был всего лишь проявлением силы, находящейся в постоянном движении,— силы, подкрепленной расчетливой хитростью и безошибочным тактическим ясновиденьем. Даже сама телесная сущность Гитлера, посредственная и банальная, не ограничивала его страсть к движению, позволяя раствориться в человеческой массе [16]. Лишь действие гарантировало ему стабильность. «Быть» — значило для него «делать». Вот почему Гитлер и его режим не могли обходиться без врагов. Эти взбесившиеся денди [17] нуждались в противниках, чтобы выявить свою суть; они обретали форму только в ожесточенной борьбе, которая привела их к гибели. Евреи, франкмасоны, плутократы, англосаксы, скотоподобные славяне — все эти образы врага один за другим мелькали в их пропаганде и истории, чтобы не дать сникнуть слепой силе, толкавшей их в пропасть. Бесконечная борьба требовала беспрестанных усилий.

Гитлер был воплощением истории в чистом виде. «Становление,— говорил Юнгер,— важнее жизни». Вот почему он проповедовал полное отождествление с потоком жизни на самом низком его уровне и вразрез с любой высшей реальностью. Режим, который изобрел биологическую внешнюю политику, попирал свои же собственные насущные интересы. Он повиновался своей, особой логике. Розенберг напыщенно сравнивал свою жизнь с поступью солдатской колонны: «Главное в том, что она марширует, а в каком направлении и с какой целью — это дело тридесятое». И не важно, что колонна эта оставит после себя руины, а потом опустошит и собственную страну,— суть в том, что она все-таки маршировала. Истинная логика этого порыва заключалась либо в полном поражении, либо в бесконечных победах над все новыми и новыми врагами — победах, которые должны увенчаться созданием империи крови и действия. Маловероятно, что Гитлер, по крайней мере в начале своей карьеры, провидел эту империю. Не только по своей духовной культуре, но даже по тактическому чутью или инстинкту он не был на высоте своей судьбы. Германия потерпела крах, потому что развязала всемирную бойню, руководствуясь местечковым политическим мышлением. Но тот же Юнгер уловил эту логику, дал ей определение. Ему мерещилась «всемирная техническая империя», «религия антихристианской техники», чьими послушниками и воинами должны стать рабочие, поскольку рабочий (и в этом он смыкается с Марксом) по сути своей универсален. «На смену общественному договору придут уставы нового порядка. Рабочий будет отторгнут от сферы торговли, благотворительности и литературы и вознесен в сферу деяний. Юридические обязанности превратятся в воинскую присягу». Империя эта, как явствует из вышеприведенной цитаты, должна была стать полузаводом-полуказармой всемирного масштаба, царством раба, принявшим обличье

[16] См. замечательную книгу: Max Picard. «L'Homme du nèant, Cahiers du Rhône».

[17] Известно, что Геринг иногда принимал гостей в гриме и костюме Нерона.

солдата-работника, о котором писал Гегель. Гитлер относительно рано был остановлен на пути, ведущем к этой империи. Но если бы даже он продвинулся по нему гораздо дальше, дело ограничилось бы все возрастающим размахом неукротимого динамизма и ужесточением тех циничных принципов, на которых он мог покоиться.

Говоря о такого рода «революции», Раушнинг подчеркивал, что здесь уже не может идти речь об освобождении, справедливости и духовном взлете, а лишь «о гибели свободы, о власти насилия и духовном рабстве». В самом деле, фашизм — это прежде всего презрение. И обратно: всякая форма презрения, примешанная к политике, подготавливает фашизм или помогает ему восторжествовать. Необходимо добавить, что он и не мог быть ничем иным, не отрекшись от самого себя. Исходя из своих собственных постулатов, Юнгер пришел к выводу, что лучше быть преступником, чем благонамеренным обывателем. Гитлер, наделенный меньшим литературным талантом, но отличавшийся — по крайней мере в данном пункте — большей последовательностью, понимал, что человеку, верящему только в свой успех, совершенно безразлично, кем он является — преступником или обывателем. И сам был одновременно и тем, и другим. «Дело — это все»,— говорил Муссолини. А Гитлер развивал эту мысль так: «Когда расе грозит опасность порабощения, вопрос о законности может играть только второстепенную роль». Оно и понятно: раса просто не может существовать, не испытывая угрозы со стороны, о какой уж тут законности может идти речь. «Я готов подписаться под чем угодно,— продолжал Гитлер,— сегодня я могу без всякой задней мысли ратифицировать любое соглашение, но если завтра на карту будет поставлено будущее немецкого народа, я хладнокровно порву его». Однако перед тем как развязать войну, фюрер заявил своим генералам, что у победителя не будут спрашивать, лгал ли он или говорил правду. Лейтмотив защиты Геринга на Нюрнбергском процессе сводился именно к этой бесспорной идее: «Победитель всегда будет судьей, а побежденный — обвиняемым». Но тогда непонятна позиция Розенберга, заявившего на том же процессе: «Я не мог предвидеть, что нацистский миф ведет к массовым убийствам». Когда английский обвинитель заметил, что «Майн кампф» — это прямая дорога к газовым камерам Майданека, он коснулся главной темы процесса, темы исторической ответственности западного нигилизма,— единственной, которая по вполне понятным причинам не была по-настоящему затронута в Нюрнберге. Невозможно построить процесс на тотальном обвинении целой цивилизации. Поэтому были осуждены только преступные деяния, к отмщению за которые взывала вся земля.

Как бы там ни было, Гитлер пустил в ход вечный двигатель завоевания и захвата, без которого он сам остался бы ничем. Но вечные поиски врага предполагают вечный террор — теперь уже на государственном уровне. Государство отождествляется с «аппаратом», то есть с совокупностью механизмов завоевания и подавления. Завоевание, обращенное внутрь страны, называется пропагандой («первый шаг к преисподней», по выражению Франка) или репрессией. Направленное вовне, оно порождает военную экспансию. Таким образом, все государственные проблемы милитаризируются, переводятся в область силы и эффекта. Начальник генерального штаба определяет не только внешнюю политику, но и основные вопросы внутреннего управления. Этот принцип, неоспоримый в военной сфере, распространяется и на гражданское население. Формула «один вождь, один народ» на деле означает: «один хозяин, миллионы рабов». Политические посредники, в любом обществе являющиеся гарантами свободы, исчезают, уступая место Иегове в солдатских сапогах, царящему над толпой, которая либо безмолвствует, либо — что не меняет сути дела — выкрикивает навязанные ей лозунги. Общение вождя с народом осуществляется не с помощью органов примирения и посредничества, а с помощью партии, пресловутого «аппарата», который является эманацией вождя и орудием его воли, направленной на угнетение. Так рождается первый и единственный принцип этой низкопробной мистики, «führerprinzip», восстанавливающий в нигилистическом мире идолопоклонство и выродившееся священство.

Латинский юрист Муссолини довольствовался идеей всеобъемлющей значимости государства, которую он посредством риторических ухищрений возвел в абсолют. «Ничего вне государства, над государством, вопреки государству. Все посредством государства, ради государства, в государстве». Гитлеровская Германия облекла эту ложную идею в соответствующую словесную формулу, по сути своей религиозную. «Наше божественное предназначение,— писала одна нацистская газета во время партийного съезда,— состояло в том, чтобы вернуть каждого к истокам, в царство матерей. Это воистину богоугодное дело». Под «истоками», по всей видимости, нужно понимать вой первобытной орды. Но о каком боге идет здесь речь? Просветить нас на сей счет может одно из официальных заявлений партии: «Все мы верим в Адольфа Гитлера, нашего фюрера... и признаем, что национал-социализм — это единственная вера, ведущая наш народ к спасению». Законом и моралью в таком случае становятся заповеди вождя, звучащие с Синайских высот, уставленных трибунами, украшенных флагами и озаренных прожекторами, заменяющими пламя неопалимой купины. И достаточно всего один раз прокричать в микрофон преступный приказ, чтобы он от начальника к подчиненному докатился до последнего раба, который только получает приказания, но никому их не отдает. А потом какой-нибудь угодивший за решетку палач из Дахау начинает плакаться: «Я был всего лишь исполнителем приказов. Все это затеяли фюрер и рейхсфюрер. Кальтенбруннер спускал приказы Глюжу, тот пересылал их дальше, а отдуваться за них всех приходится мне, ведь я простой гауптшарфюрер, у меня под командой никого нет. Я только исполнял приказы о расстреле, а теперь они твердят, что я — убийца». Геринг на процессе оправдывался своей верностью фюреру и тем, что «в этой проклятой жизни еще существуют

понятия о чести». Честь для него состояла в слепом повиновении, которое зачастую отождествлялось с преступлением. Военные законы карают за неповиновение смертной казнью, а воинская честь равносильна рабству. Когда все население страны приравнено к военным, преступником оказывается тот, кто отказывается убивать по приказу.

А приказы, к сожалению, весьма редко требуют творить добро. Динамизм, облеченный в форму доктрины, не может быть направлен на благо, он стремится лишь к эффективности. До тех пор, пока у него есть враги, он будет раздувать террор, а враги у него будут до тех пор, пока он существует, ибо они — непременное условие его существования: «Любые замыслы, могущие подорвать суверенитет народа, обеспечиваемый фюрером при поддержке партии, должны решительно пресекаться». Враги — это еретики, их нужно либо обращать в истинную веру посредством проповеди, то бишь пропаганды, либо истреблять с помощью инквизиции, то есть гестапо. В результате человек как таковой исчезает: будучи членом партии, он превращается в орудие фюрера, становится простым винтиком «аппарата»; будучи врагом фюрера, он подлежит перемалыванию между жерновами того же «аппарата». Иррациональный порыв, порожденный бунтом, направлен теперь только к одному: подавить в человеке то, что не позволяет ему стать простым винтиком, то есть его страсть к бунту. Романтический индивидуализм немецкой революции в конечном счете жаждет овеществить весь мир. Иррациональный террор превращает человека в вещь, в «планетарную бактерию», согласно выражению Гитлера. Он ставит своей целью не только разрушение личности, но и уничтожение заложенных в ней возможностей, таких, как способность к мышлению, тяга к единению, призыв к абсолютной любви. Пропаганда и пытки — это всего лишь прямые орудия разложения; кроме них используется систематическое запугивание, втаптывание в грязь, насильственное привлечение к соучастию в преступлении. Убийце или палачу приходится довольствоваться лишь тенью победы: ведь они не могут чувствовать себя невиновными. Им нужно вызвать чувство вины у своих жертв, чтобы в том безысходном мире, где они оказались, всеобщая виновность послужила оправданием новых актов насилия. Когда понятие невиновности истребляется даже в сознании невинной жертвы, над этим отреченным миром окончательно воцаряется культ силы. Вот почему омерзительные и страшные ритуалы покаяния так распространены в этом мире, где разве что камни избавлены от чувства вины. Осужденные должны там сами надевать друг другу веревку на шею. И даже материнский вопль находится под запретом — вспомним ту гречанку, которой было предложено выбрать, какого из трех ее сыновей отправить на расстрел. Вот так в этом мире обретают свободу. Право на убийство и унижение спасает рабскую душу от небытия. И тогда гимны немецкой свободе звучат в лагерях смерти под звуки оркестра, состоящего из заключенных.

Гитлеровские преступления, в том числе истребления евреев, не имеют себе равных в истории хотя бы потому, что в ее анналах отсутствуют сведения о столь всеобъемлющем разрушительном учении, сумевшем завладеть командными рычагами целой цивилизованной нации. Но важнее другое: впервые в истории правители этой страны приложили колоссальные усилия для построения мистической системы, несовместимой ни с какой моралью. Эта первая попытка создания религии на идее уничтожения привела к уничтожению самой этой религии. Разрушение Лидице как нельзя лучше показывает, что логическое и наукообразное обличье гитлеровского движения на самом деле служило лишь прикрытием иррационального напора, который не может быть объяснен ничем иным, кроме отчаяния и гордыни. По отношению к деревне, заподозренной в связях с неприятелем, можно было применить два рода наказания. Либо расчетливые репрессии и хладнокровное истребление заложников, либо остервенелый — и в силу этого непродолжительный — налет карателей. Лидице подверглось обоим наказаниям сразу. Гибель этой деревни показывает, на какие зверства способно иррациональное мышление, подобного которому невозможно отыскать в истории. Все дома в деревне были сожжены, сто семьдесят четыре жителя мужского пола расстреляны, двести три женщины депортированы, сто три ребенка отправлены в детские приюты для перевоспитания в духе гитлеровской религии. Но и этого оказалось мало. Специальным воинским бригадам потребовалось несколько месяцев, чтобы расчистить пепелище при помощи динамита, вывезти обломки камней, засыпать пруд, отвести речку в новое русло и, наконец, разровнять дорогу, которая вела к деревне. В результате от Лидице не осталось ровным счетом ничего, кроме будущего, к которому вела вся логика событий. Для большей уверенности каратели опустошили даже местное кладбище, еще напоминавшее о том, что здесь что-то было.

Таким образом, нигилистическая революция, исторически воплотившаяся в гитлеровской религии, привела только к бешеному всплеску небытия, в конце концов обратившемуся против себя самого. Вопреки Гегелю, отрицание, по крайней мере на сей раз, не оказалось созидательным. Гитлер являет собой, быть может, единственный в истории пример тирана, не оставившего после себя ничего положительного. Для своего народа и для всего мира он пребудет лишь воплощением истребления и самоистребления. Семь миллионов замученных евреев, семь миллионов лиц других национальностей Европы, убитых или отправленных в лагеря смерти, десять миллионов погибших на войне — всего этого, быть может, и не хватило бы истории для того, чтобы осудить Гитлера,— ей не привыкать к убийцам. Но его отказ от последнего своего оправдания, то есть от немецкого народа, превращает этого человека, долгие годы наводившего ужас на миллионы людей, в пустую и жалкую тень. Из показаний Шпеера на Нюрнбергском процессе явствует, что, отказавшись прекратить войну, не доводя ее до тотальной катастрофы, Гитлер обрек немецкий народ на самоубийство, а германское государство — на материальный и по-

литический разгром. Единственной его целью до конца оставался триумф. Поскольку Германия проигрывала войну, поскольку она оказалась страной трусов и предателей, она заслуживала гибели. «Если немецкий народ не способен победить, он недостоин жить». И в то время, когда русские пушки уже крушили стены берлинских дворцов, Гитлер решил увлечь его за собою в могилу, превратив собственное самоубийство в мрачный апофеоз. Гитлер и Геринг, Геббельс, Гиммлер и Лей, надеявшиеся, что их останки будут покоиться в мраморных саркофагах, покончили с собой в подземных укрытиях или тюремных камерах. Но их смерть была лишена смысла, она напоминала дурной сон или дым, развеянный по ветру. Не будучи ни жертвенной, ни героической, она лишь выявляла кровавую пустоту нигилизма. «Они мнили себя свободными,— истерически вопил Франк,— но разве они не знали, что от гитлеризма не освободишься!» Да, они не знали ни этого, ни того, что всеобщее отрицание равносильно рабству и что истинная свобода — это внутреннее подчинение истине, которая противостоит истории со всеми ее «триумфами».

Но даже мало-помалу настраиваясь на руководящую роль в мире, фашистские мистики никогда всерьез не помышляли о создании вселенской империи. Удивленный своими победами, Гитлер сумел разве что отойти от провинциальных истоков своего движения и обратиться к неясным грезам об империи немцев, не имеющей ничего общего со Вселенским градом. Русский же коммунизм, напротив, как раз в силу своего происхождения открыто претендует на создание всемирной империи. В этом его сила, его продуманная глубина и его историческое значение. Несмотря на броскую внешность, немецкая революция была лишена будущего. Она была лишь первобытным порывом, чьи сокрушительные способности оказались сильнее ее реальных амбиций. А русский коммунизм взвалил на себя бремя описываемых в этом эссе метафизических устремлений, направленных к созданию на обезбоженной земле царства обожествленного человека. Русский коммунизм заслужил название революции, на которое не может претендовать немецкая авантюра, и хотя в настоящее время он вроде бы недостоин этой чести, он стремится завоевать ее снова и уже навсегда. Это первое в истории политическое учение и движение, которое, опираясь на силу оружия, ставит своей целью свершение последней революции и окончательное объединение всего мира. Дойдя до пределов безумия, Гитлер намеревался на тысячу лет остановить ход истории. Он полагал, что уже взялся за эту задачу, и философы-реалисты побежденных стран уже готовились оправдать его замыслы, когда битва за Англию и Сталинград вновь подтолкнула историю вперед.

Но человеческая тяга к самообожествлению, столь же ненасытная, как сама история, тут же вспыхнула с новой силой в обличье рационального государства, построенного в России.

Государственный терроризм и рациональный террор

В Англии XIX века со всеми ее страданиями и страшной нищетой, обусловленными переходом от земельного капитала к промышленному, у Маркса было достаточно материала для впечатляющей критики ранней стадии капитализма. Что же касается социализма, то здесь он мог опираться лишь на уроки французских революций, во многом, кстати, расходящиеся с его собственным учением, и был вынужден говорить о нем лишь отвлеченно и в будущем времени. Неудивительно поэтому, что в его учении вполне законный критический метод уживается с весьма спорным утопическим мессианством. Беда в том, что этот критический метод, по определению применимый только к реальной действительности, все более и более расходился с фактами, по мере того как хотел сохранить верность мессианству. Давно замечено — и это само по себе является показательным,— что люди черпают из мессианских доктрин лишь то, что, по их представлениям, согласуется с истиной. Это противоречие было присуще Марксу еще при его жизни. Учение, изложенное в «Коммунистическом манифесте», уже не казалось столь же неоспоримым через двадцать лет после выхода «Капитала». Впрочем, «Капитал» остался незавершенным, поскольку под конец жизни Маркс погрузился в изучение массы новых и неожиданных социально-экономических явлений, к которым нужно было заново приспособить его систему. Эти явления относились, в частности, к России, о которой он до той поры отзывался с пренебрежением. Известно, наконец, что Институт Маркса — Энгельса в Москве прервал в 1935 году издание Полного собрания сочинений Маркса, хотя ему предстояло выпустить еще более тридцати томов: их содержание, по всей видимости, оказалось недостаточно «марксистским».

Как бы то ни было, после смерти Маркса лишь горстка учеников осталась верной его критическому методу. Те же из марксистов, что считают себя вершителями истории, взяли на вооружение пророческие и апокалипсические аспекты его учения, дабы с их помощью совершить марксистскую революцию в тех условиях, в которых, по мнению Маркса, она как раз и не имела шансов произойти. О Марксе можно сказать, что большинство его предсказаний вошли в противоречие с фактами, тогда как пророчества стали объектом все возрастающей веры. Объясняется это просто: предсказания были рассчитаны на ближайшее будущее и могли подвергнуться проверке. А пророчества, относящиеся к отдаленному будущему, обладали тем самым преимуществом, которое обеспечивает незыблемость религий: их невозможно подтвердить. Когда предсказания не сбываются, единственной надеждой остаются пророчества. Из этого следует, что лишь они одни и движут историей. Марксизм и его наследники будут рассмотрены здесь именно под углом зрения пророчеств.

(Окончание следует)

Австрия

Внук Зигмунда Фрейда — Люциан, родившийся в 1922 году в Берлине, считается одним из наиболее одаренных художников современности. Основная его тема — обнаженная натура. «Жанр этот,— пишет «Магазин литтерер», — оказавшийся запятнанным и опошленным, обрел новую силу в тревожащих, волнующих картинах Л. Фрейда». Его смелость и непринужденность напоминают о полотнах Эдгара Дега, а манера письма, особенно в использовании белого цвета при изображении нагого тела — о работах Фрэнсиса Бэкона. По признанию самого художника, он никогда не стремится лишь изобразить натурщика, он творит вместе с ним, поэтому, как правило, выбирает на роль модели тех, кого хорошо знает лично. Вышедший в издательстве «Теймз энд Хадсон» альбом репродукций картин Л. Фрейда позволяет оценить творчество этого крупного европейского мастера кисти.

Люциан Фрейд. Портрет обнаженного с крысой (1977—1978).

(Журнал «Магазин литтерер»)

Великобритания

СОЛИДНЫЙ «ПЕРВЕНЕЦ» ЧАРЛЬЗА ПАЛЛИСЕРА

В лондонских литературных кругах имя Чарльза Паллисера было практически неизвестно до конца прошлого года, когда вышел в свет его первый роман, ставший настоящей сенсацией. На создание гигантского 788-страничного тома у автора ушло двенадцать лет, причем все эти годы молодой преподаватель литературы в университете Стратклайда (Шотландия) никому ни о чем даже не обмолвился. Сын ирландки и американца, выросший в Швейцарии, Англии и Уэльсе, по его собственным словам, «всегда и всюду был немножко лишним, оказываясь в разных, но неизменно чужих мирах».

Не совсем обычное название его солидного «первенца» — «Пятиугольник» — четко отражает структуру произведения: пять частей, разделенных в свою очередь на пять подчастей с 25 главами в каждой. Действие разворачивается в Англии первой половины XIX века и охватывает несколько лет жизни главного героя Джона Мелламфи, от лица которого и ведется повествование. Его мать владеет таинственным документом — дополнительным распоряжением к завещанию, по которому мальчик может получить огромное наследство. Однако этому хотят помешать многочисленные явные и скрытые недоброжелатели, и Джону вместе с матерью приходится бежать, спасая свою жизнь... Неожиданные повороты сюжета, почти 120 действующих лиц, перечисленных в конце книги в алфавитном порядке, схемы расположения улиц, генеалогическое древо каждой из семей — читатель явно не заскучает.

Критики единодушно отмечают не только прекрас-

Чарльз Паллисер.

(Журнал «Лиснер»)

ное знание автором подробностей социальной жизни и быта той эпохи, но и соответствие языка избранной теме: здесь и архаизмы, и искусно переданная безграмотная речь, и воровской жаргон. «Пятиугольник» — мастерски выполненная литературная стилизация под английские романы прошлого столетия»,— отмечает обозреватель журнала «Лиснер». Как бы продолжая эту мысль, американский журнал «Тайм» подчеркивает, что Ч. Паллисер «воскрешает жанр не ради модернистской переработки, как это сделал Дж. Фаулз в «Женщине французского лейтенанта». Книга читается как подлинное произведение той эпохи; с ее страниц предстают словно вновь ожившие персонажи и ситуации из «Оливера Твиста», «Николаса Никльби» или «Холодного дома» Ч. Диккенса, «Джейн Эйр» Ш. Бронте.

«Роман Ч. Паллисера можно было бы назвать историческим, тем более что автор ни разу не снимает свою «викторианскую маску»—но сколько в нем злободневного и поныне! — подытоживает «Лиснер». По сообщению журнала «Тайм», нынешним летом будет опубликована вторая книга Чарльза Паллисера «Любитель сенсаций», место действия которой—современная Шотландия. Этот роман в десять раз меньше солидного «первенца», и работа над ним заняла у Ч. Паллисера «всего два года».

«САМЫЙ АНГЛИЙСКИЙ НОВЕЛЛИСТ»

«Один из немногих повесников века, разговаривающих с читателем и поныне». Так называет журнал «Лиснер» Виктора Содена Притчетта в рецензии на его новую книгу «Беспечная вдова и другие новеллы», выпущенную издательством «Чатто энд Уиндус».

Притчетт не из тех, кто «ворвался» в литературу. Первые пробы пера — путевые заметки, несколько не слишком удачных романов, сборник рассказов «Испанская дева» (1930) — были не лишены огрехов и особого внимания не привлекли. По

Виктор Соден Притчетт.

(Журнал «Лиснер»)

мнению журнала, «если в начинающем новеллисте и угадывался будущий мастер, то разве что по избытку энергии, не нашедшей достойного применения». Долго и упорно учился Притчетт искусству применять творческие силы на литературном поприще, о чем свидетельствует сборник «Такое может и не произойти» (1945), написанный «со строго соразмеренной энергией». «И сегодня В. С. Притчетт — самый английский изо всех новеллистов XX века — остается превосходнейшим мастером этого жанра»,— считает «Лиснер».

Превосходнейшими можно назвать и по меньшей мере две новеллы из нового сборника. «Петушок Олли» — выдержанное в спокойном тоне повествование с незамысловатым сюжетом: главная героиня, лондонская учительница, вспоминает молодость, проведенную в деревне, неудачный побег с другом и прочие перипетии тех лет. Однако в этих прозаических сценах «играют краски жизни, ощутим ее пульс». В новелле «Смена курса» герои «тоже пляшут под дудку прошлого, правда тайком». Вытесненная из деловой жизни Пола легко переключается на жизнь личную. Эта «смена курса» — событие дней минувших, теперешняя Пола «в возрасте, когда уже ничто не волнует», но читатель о том догадывается не сразу: настолько умело Притчетт владеет художественным временем, незаметно смещая планы повествования.

«Кстати, о возрасте: безусловно немолодой писатель мало похож на свою героиню, ибо для Притчетта-рассказчика глубокая старость — просто иной взгляд на жизнь»,— подытоживает «Лиснер».

Венгрия

«МАДЬЯР МЮХЕЙ» В ВЕНГРИИ

Достигнута договоренность об издании в Будапеште литературного журнала венгерской эмиграции «Мадьяр мюхей», сообщила газета «Мадьяр немзет», помещая на своих страницах статью его ответственного редактора Тибора Паппа.

Идея создания журнала, пишет Т. Папп, возникла, когда обнаружилось, что среди тех, кто вынужден был покинуть Венгрию после событий 1956 года, много пишущей молодежи со своим неповторимым, самобытным голосом. Задачу сплочения творческих сил венгерского зарубежья и был призван решить «Мадьяр мюхей». Его первый номер увидел свет в Париже в мае 1962 года. К выходу нового издания был приурочен большой вечер — встреча с читателями, вошедший впоследствии в традицию,— его гостями ежегодно становятся писатели-венгры, живущие в разных уголках Западной Европы.

Деятельность журнала шла по двум основным направлениям, продолжает свой рассказ Т. Папп. С одной стороны, он печатал молодых эмигрантов, которые шли собственными путями в литературе; с другой — «приоткрывал дверь» для тех, кто жил в Венгрии, но не имел возможности там публиковаться. Так, например, в 1964 году один из номеров был специально посвящен творчеству Шандора Вёрёша, а в приложении к «Мадьяр мюхей» вышел сборник его стихов «Огненный колодец». Многие годы на родине Вёрёша не признавали, однако вскоре после парижского издания «Огненный колодец» опубликовали и в Венгрии.

В 70-е годы журнал стал выходить и на французском языке под названием «Д'ателье». Франкоязычное издание отражало прежде всего события литературной жизни венгерской эмиграции во Франции, что, естественно, несколько сужало его художественный диапазон. Однако и здесь был целый ряд настоящих находок — удалось, скажем, представить очень интересного писателя старшего поколения Миклоша Сенткути.

Для подготовки венгерского издания «Мадьяр мюхей» в состав его редколлегии были введены два молодых редактора, живущих в Будапеште. Предполагается, что выход парижского и будапештского выпусков будет осуществляться поочередно.

Говоря о творческом кредо журнала, становящегося ныне достоянием культурной жизни всех венгров, Тибор Папп подчеркнул: «Мы всегда придерживались и будем придерживаться впредь принципа, согласно которому литература не признает никаких политических границ и выступает связующим звеном между людьми».

Италия

БУДУЩЕЕ ПОМПЕЙ

Архитектор Ренцо Пьяно — создатель Бобура, музея современного искусства в Париже, одного из самых ори-

гинальных зданий XX века, — возглавляет сегодня новый необычный проект «Помпеи», который является частью обширной программы по освоению и изучению «культурных кладовых Италии». В ее разработке приняли участие видные ученые и общественные деятели страны, в частности писатель и семиолог Умберто Эко.

Чем же так интересен проект Пьяно? Прежде всего, пишет журнал «Панорама», архитектор задумался о том, что обычному туристу практически ничего не известно о жизни города, разрушенного в 79 г. н. э. Поэтому перед осмотром живописных развалин посетителя следует приобщить к истории Помпей. Предполагается создать своеобразный музей: «В одном из его разделов будут расположены информационные стенды, в другом — идти фильм о последних днях помпеян, в третьем — устроена выставка копий уникальных экспонатов, найденных во время раскопок». Что касается самих оригиналов, их поместят в надежное хранилище, доступное лишь для специалистов, с тем чтобы сберечь для будущих исследователей «вещественную» память об исчезнувшей цивилизации».

Помпеи нельзя назвать мертвым городом, его «население» составляет около 8 тысяч человек: это и многочисленные приезжие, и члены научных экспедиций, и технический персонал. Необходимо позаботиться не только об организации работ, но и об элементарных удобствах. По замыслу Ренцо Пьяно, над местом раскопок будет установлен передвижной стеклянный навес, достаточно вместительный и для археологов, ведущих поиски, и для любознательных экскурсантов, которые получат редкую возможность наблюдать за скрупулезным и методичным извлечением сокровищ «культурных кладовых», скрытых под слоем пепла. Такое сооружение позволит решить многие технические и бытовые проблемы, сохранит целостность пейзажа, и с его помощью, считают авторы журнала, туристы смогут не просто «следить за увлекательным процессом научных открытий», но и стать его участниками.

Размышляя на примере судьбы Помпей об отношении к культурным и историческим ценностям, авторы статьи отмечают, что проект Ренцо Пьяно как нельзя лучше поможет их сохранению и популяризации.

Колумбия

ВОКРУГ НОВОГО РОМАНА ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА МАРКЕСА

Ни одна из книг Габриэля Гарсиа Маркеса не вызвала на страницах латиноамериканской печати столь острой и продолжительной полемики, как его новый роман «Генерал в своем лабиринте», где рассказывается о последних месяцах жизни, о «путешествии в смерть» великого Симона Боливара.

По мнению испанской газеты «Паис», писатель решил снять с пьедестала одного из самых почитаемых героев Латинской Америки, «идола превратить в человека из плоти и крови», в человека, которому свойственны как выдающиеся достоинства, так и заурядные недостатки. «Но нам, преклоняющимся перед Боливаром, знать его таким не хотелось бы, — пишет колумбийская «Лектурас доминикалес». — Мы с детства привыкли относиться к героям как к сверхъестественным существам, не подвластным болезням или старческим недугам».

Большой резонанс получило открытое письмо, адресованное Гарсиа Маркесу известным мексиканским историком Франсиско Кузвас Кансино. Для него день выхода в свет «Генерала в своем лабиринте» стал «черной датой», так как писатель, «осквернив память святого для Латинской Америки героя, совершил посмертное убийство Боливара», «у боливаровской Америки отнял Боливара». Историк называет нынешнюю позицию Гарсиа Маркеса «воинствующим антилатиноамериканизмом» и призывает его покаяться и отречься от «порочащей его имя и заслуги» книги.

В свою очередь крупнейшая газета Боготы «Тьемпо» назвала писателя, еще недавно столь любимого и уважаемого на родине, «антипатриотом». Соотечественники обвиняют Гарсиа Маркеса в том, что он якобы преувеличил в романе исторические заслуги уроженца Венесуэлы Симона Боливара и с оскорбительным пренебрежением изобразил деятельность другого борца за освобождение Америки — колумбийца Франсиско де Паула Сантандера. Страна, рассказывает журнал «Кромос», сегодня как бы разделилась на два лагеря: «боливаристов» и «сантандеристов». Под влиянием романа с новой силой вспыхнули вот уже полтораста лет не затихающие споры между сторонниками Боливара и Сантандера.

Гарсиа Маркес в интервью аргентинскому журналу «Сигнос» сравнил шумиху, раздутую вокруг романа, с печально известным делом Сальмана Рушди. Он решительно протестует против бытующей сегодня практики навешивания на писателей политических ярлыков, против стремления нелитературными методами опорочить художественное произведение. Но проблема, как видит ее Гарсиа Маркес, не сводится к выявлению степени исторической достоверности литературного образа одного, пусть даже и очень значительного исторического лица. Она — в отношении к национальной истории в целом, в необходимости остановить процесс ее фальсификации официальной наукой. «Если в моду войдет изучение истории, мы спасены. Мы должны узнать наконец самих себя, чего бы это нам ни стоило...» Свою книгу писатель воспринимает как первый шаг в этом направлении. Не случайно все доходы от ее издания он намерен передать на создание специального Фонда по изучению истории Колумбии. Собрать молодых талантливых ученых и дать им возможность написать подлинную историю страны — таким видит Гарсиа Маркес следующий этап своей программы.

США

ВЗГЛЯД ПРОНИЦАТЕЛЬНОГО ИСТОРИКА

Вышедшая на Западе в начале 70-х годов книга Роя Медведева «К суду истории» сразу заняла достойное место среди работ о Сталине и сталинизме. И вот теперь в США опубликовано второе издание, значительно переработанное и дополненное. «Фактически этот 900-стра-

---

«Мэрилин и камера» — так называется альбом, выпущенный мюнхенским издательством «Ширмер унд Мозель». В него вошли 152 черно-белых и цветных фотографии, которые освещают различные периоды жизни и карьеры всемирно известной актрисы. Снимок, сделанный в 1955 году Эдом Файгершем, вполне может проиллюстрировать один из знаменитых ответов Мэрилин на вопросы журналистов: «Что вы надеваете, ложась в постель?» — «Шанель номер 5».

Мэрилин Монро. Фото Э. Файгерша (1955).

(Журнал «Театер хойте»)

ничный том является новой книгой», — утверждает рецензент журнала «Тайм» П. Блейк. За эти годы автор многое переосмыслил и расширил, используя недоступные ранее исследования западных ученых, обобщая дополнительные документальные данные. Подробные воспоминания репрессированных, архивные материалы, обнаруженные молодыми помощниками, труды по советологии, присланные Р. Медведеву из Англии братом Жоресом, — все это, безусловно, обогатило новую книгу, отмечает «Тайм».

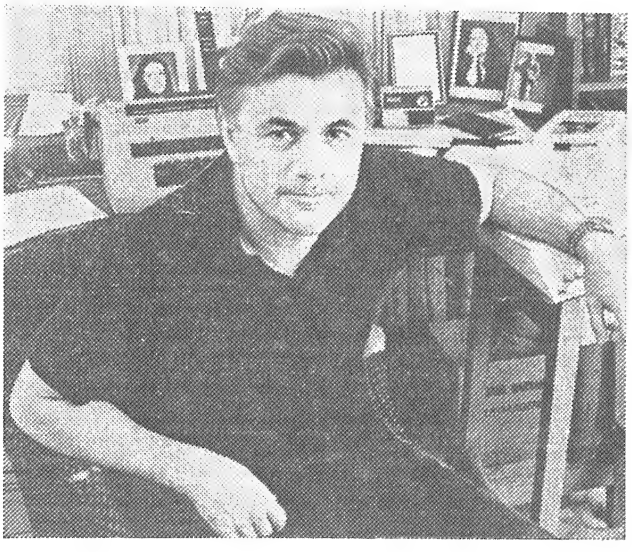
Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» подчеркивает неоднозначность оценок и позиции автора по целому ряду моментов. У обозревателя еженедельника Р. Хингли вызывает некоторое недоумение то, что главным преступлением Сталина против советского общества Р. Медведев считает систематическое уничтожение государственных, партийных и военных кадров, в то время как жертв террора среди «простого народа» было намного больше.

Кроме того, открытым, по мнению Р. Хингли, остается важный вопрос об истоках сталинизма. Как известно, ранее Р. Медведев разделял довольно распространенную среди историков-марксистов точку зрения: Сталин допустил грубые искажения социализма и принципов его построения. «Теперь же советский ученый пересмотрел свои взгляды на тоталитарную систему, возникшую в России, и приблизился к позиции многих американских исследователей, согласно которой сталинизм — закономерное развитие имевшегося», — подчеркивает «Тайм». В связи с этим журнал приводит мысль Р. Медведева о том, что запрет 1921 года на деятельность всех оппозиционных групп и фракций явился «основным условием для узурпации власти Сталиным». Историк предупреждает: «Если социализм не сочетается с демократией, он может стать благодатной почвой для новых преступлений».

По оценке американской прессы, книга Роя Медведева, несомненно, подтверждает его репутацию видного ученого. Однако «К суду истории» — не только важное научное исследование, но и, по определению «Нью-Йорк таймс бук ревью», «еще одно свидетельство того, что советские люди в большей степени готовы сами определять свою судьбу — а эту, хоть и далекую, перспективу можно только приветствовать».

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ДЖОНА УИЛРАЙТА

«Молитва за Оуэна Мини» — так озаглавлен новый роман известного американского прозаика Джона Ирвинга, вышедший в издательстве «Морроу». Построен он в форме жизнеописания — или, точнее, «жития» — американского чудо-ребенка



Джон Ирвинг. *(Журнал «Ньюсуик»)*

Оуэна Мини, обладающего необъяснимым даром провидца. В роли биографа Оуэна выступает его друг детства Джон Уилрайт, священник, живущий в Торонто, который летом 1987 года вспоминает события четвертьвековой давности.

Оуэн Мини — карикатурное, пародийное воплощение Иисуса Христа: он считает, что является «инструментом Бога» и ниспослан на землю для выполнения некоего высшего предназначения. Летом 1953-го во время бейсбольного матча пущенный Оуэном мяч угодил прямо в голову матери Джона Уилрайта и та свалилась замертво. Этот нелепо-трагический случай заставил одиннадцатилетнего Оуэна впервые предположить, что он — проводник воли Всевышнего...

Впрочем, в роли пророка Оуэн выглядит довольно комично. Это коротышка, который из-за врожденного дефекта голосовых связок вынужден выкрикивать свои глубокомысленные изречения пронзительным фальцетом. Действие романа охватывает период с 1953 по 1968 год — «горячие» пятнадцать лет в политической истории США. «Ирвинг не пытается скрыть своего возмущения состоянием современного мира», — отмечает обозреватель журнала «Тайм». Оуэн Мини, а вслед за ним его верный апостол Джон Уилрайт выносят суровую нравственную оценку событиям новейшей истории США. Оуэн Мини — о смерти Мэрилин Монро: «Смерть Мэрилин Монро касается нас всех. Она была как наша страна — уже не молодая, но еще не старая, немножко выбившаяся из сил, очень красивая, может быть, слегка глупенькая, может быть, чуть лучше, чем казалась на первый взгляд. И она вечно чего-то искала... И она никогда не была вполне счастлива... И эти ее мужчины, эти знаменитые, могущественные мужчины — они что, действительно любили ее? Они не могли любить ее, они просто ею пользовались... Таким же, думаю, был Кеннеди». Джон Уилрайт — о сенаторе Гэри Харте, уличенном в супружеской измене: «Ну что за представления о морали у американцев? Не хотят знать, что их президенты занимаются сексом, но не возражают, когда они тайно поддерживают никарагуанских мятежников... Против того, чтобы президенты обманывали своих жен, но не возражают, когда они обманывают конгресс».

...Оуэн Мини выполняет свою героическую миссию — он погибает, спасая группу вьетнамских сирот от маньяка-убийцы. На такой серьезной ноте кончается этот странный роман об американском мессии, где причудливо перемешаны шутовская буффонада и нешуточные житейские драмы, а откровенные пародии и анекдоты соседствуют с политической публицистикой.

«КЛУБ ВЕСЕЛОЙ УДАЧИ»

Так называется выпущенный издательством «Патнемз санз» роман, которым дебютировала Эми Тан, 36-летняя американка китайского происхождения. По мнению журнала «Паблишерз уикли», вся история его публикации почти невероятна. Как-то в руки нью-йоркского литературного агента попали несколько рассказов начинающей писательницы из Сан-Франциско. Проза настолько понравилась редактору-профессионалу, что Э. Тан получила предложение превратить серию рассказов в роман. Так родилась эта книга, состоящая из шестнадцати новелл, которые написа-

ны от лица разных персонажей — трех пожилых китаянок, приехавших в Калифорнию в 1949 году, и их четырех дочерей, родившихся в Америке.

Китайские тетушки регулярно собираются вместе поиграть в национальную игру маджонг, посудачить о своих близких и поделиться последними новостями с родины. Эти вечерние посиделки они и назвали «Клубом веселой удачи». Одна из них умирает, и тетушки приглашают ее дочь Цзинь — или, на американский лад, Джун — присоединиться к ним. Джун чувствует себя неуютно в компании пожилых женщин, одетых в цветастые шелковые одеяния странного покроя и тихо переговаривающихся по-китайски. Ей непонятно упрямое стремление старушек сохранить привычки и ритуалы, вывезенные из страны, что они покинули сорок лет назад. Ведь сама девушка стремится «вписаться» в современный американский образ жизни, освободиться от бремени своего китайского наследия. Главная мечта Цзинь-Джун — полностью искоренить в себе беспомощную покорность обстоятельствам, которую она наблюдает в поведении китаянок и которая, как ей кажется, обнаруживает себя в ее собственной жизненной неустроенности, неумении подладиться под ритм американской цивилизации.

«Я была воспитана в традиционном китайском духе: меня учили подавлять любые желания, безмолвно проглатывать обиды, смиряться с горестями»,— вспоминает Джун слова матери. И лишь после ее смерти девушку охватывает смешанное чувство горя, вины и любопытства, подогреваемого тетушками из «Клуба веселой удачи». Они буквально заманивают ее в тот самый мир, откуда она всю свою недолгую жизнь пыталась вырваться. И если раньше эти тетушки казались ей бесстрастными пришельцами из далекой и непонятной страны, только и знающими, что сбивать с толку своих дочерей, то теперь она постепенно начинает осознавать истинные масштабы «невыразимой трагедии, которую они пережили». Джун понимает, «насколько беззащитными оказались эти женщины в Америке и насколько важной для них является забота о том, чтобы не прервалась хрупкая нить, соединяющая их прошлое с будущим их детей»... В конце концов, поддавшись уговорам тетушек, героиня решает отправиться на родину предков и повидать своих сводных сестер — дочерей ее матери от первого брака.

«В руках менее талантливого писателя, — пишет рецензент еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», — подобный жизненный материал мог бы дать пищу плоской дидактике... Но Эми Тан создала книгу чистую и блистательную».

Франция

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПИКАССО

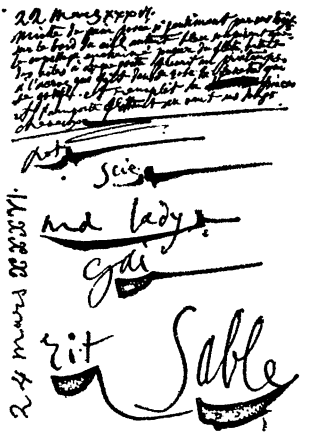
«Живопись — не проза, а поэзия, стихи с некой изобразительной рифмой. А поэзия есть живопись», — так сказал однажды великий художник XX века Пабло Пикассо. В его творчестве эти две магистральные линии перекрещивались всегда, отмечает на страницах журнала «Магазин литтерер» известный критик Паскаль Бонафу. С 1935-го по 1959 год Пикассо создал около 340 поэтических текстов, две пьесы — «Желание, пойманное за хвост» и «Четыре девочки». Но за исключением, вероятно, пяти-шести произведений, опубликованных в альманахах «Кайе д'ар» и «Верв», в издательстве «Галлимар», литературное наследие художника не было доступно читающей публике. Теперь, благодаря кропотливой работе исследовательниц его рукописей, сотрудниц парижского Национального музея Пикассо Марилор Бернадак и Кристины Пьо, все эти тексты увидели свет.

Необычайно выразительны летучие страницы, которых коснулось перо мастера, рассказывает в комментарии к книге «Пикассо. Тексты» («Галлимар», 1989 г.) М.-Л. Бернадак: кажется, едва ли не у нас на глазах из глубин словесной ткани возникают элементы идеографического письма, рождается каллиграмма, наконец, проступает рисунок...

К сожалению, почти не осталось в живых участников дружеских встреч, на которых Пикассо читал вслух свои драматические опусы, стихотворения, наброски. Однако, подчеркивает П. Бонафу, мы располагаем весьма ценными свидетельствами писателя Мишеля Лейриса, не раз присутствовавшего в мастерской художника в часы общения с близкими друзьями. «Тексты Пикассо написаны moderato, он словно бы излагает прописные истины, почти всегда — не важно, на французском или испанском, — ведет беспорядочный монолог, складывающийся из самых разнородных, подчас метафорических деталей и примет, то редкостных, то совершенно тривиальных», — вот живые впечатления М. Лейриса, отраженные им в предисловии к «блистательному своду литературных опытов Пикассо».

«53 ДНЯ» ЖОРЖА ПЕРЕКА

Публикация ранее неизвестного романа Жоржа Перека «53 дня» стала заметным событием культурной жизни страны. Ж. Перек (советскому читателю он известен по роману «Вещи») — одна из самых ярких звезд на литературном небосклоне Франции 60—70-х годов.



Пабло Пикассо. Страница рукописи (24 марта 1936 года).

(Журнал «Магазин литтерер»)

Являясь членом группы УЛИПО («Мастерская потенциальной литературы»), писатель с увлечением экспериментировал, пытался использовать в своем творчестве достижения математики и кибернетики, причем делал это с присущим ему юмором. Для Перека особое значение имела игровая сторона литературы. Не случайно в названии его последнего произведения — лукавый вызов автору «Пармской обители»: именно 53 дня понадобилось Стендалю на создание этого романа. Перек намеревался в шутливом заочном соревновании «обогнать» своего прославленного предшественника. Однако он приступил к написанию книги уже будучи тяжело больным, и, хотя не прерывал работу и на больничной койке, все же к 3 марта 1982 года, когда писателя не стало, роман был готов лишь на одну треть.

Спустя семь лет, благодаря стараниям товарищей Перека по УЛИПО Жака Рубо и Гарри Мэтьюза, произведение увидело свет. Публикуется оно с приложением планов и набросков семнадцати оставшихся ненаписанными глав, что должно помочь читателю разобраться в замысле автора.

Действие романа «53 дня» разворачивается в бывшей французской колонии. Герой книги — школьный учитель математики, которому волей случая приходится расследовать дело о похищении террористической организацией торговца оружием Серваля. Серваль на досуге сочинял детективный роман, и учитель обращается к рукописи в надежде найти ключ к тайне. Обнаружив, что Серваль заимствовал отдельные сюжетные ходы из «Десяти негритят» А. Кристи, сыщик-любитель начинает кое о чем догадываться...

«Это нечто вроде пародии на шпионский роман под тропическим солнцем, литературная игра, гигантский

кроссворд», — так отзывается о романе газета «Монд», отмечая, что Перек «заставляет серьезно задуматься над тем, какие странные связи могут устанавливаться между миром реальности и миром вымысла».

ФРГ

РОЖДЕНИЕ «НОВОГО АДАМА»

Внимание критики привлек роман молодого писателя Ханса Нолля «Золотая ложка», выпущенный штутгартским издательством «Дойче ферлагс-анштальт». Ханс Нолль живет в ФРГ с 1984 года, родился же и вырос в ГДР, в семье известного «официального» писателя Дитера Нолля, и поэтому хорошо знаком с нравами привилегированной восточногерманской «номенклатуры».

Роман «Золотая ложка» — о жизни этих людей, благополучной, даже роскошной внешне, но растленной и, в сущности, несчастной, когда к ней присмотришься поближе. «Он показывает их внутреннюю озлобленность, лживость. Здесь все прогнило,— пишет рецензент швейцарского еженедельника «Вельтвохе» Юрген Серке.— Любовь превращена в сексуальный обмен. Ни одному слову верить нельзя. Погубленные люди губят своих детей. Развертывается панорама пьянства. Привилегированные имеют все — и они все потеряли». При этом «избранные» презирают тех, кто не принадлежит к их среде — тот самый народ, именем которого клянутся. Сами они уже ни во что не верят.

Судьбы некоторых из этих людей поистине трагичны. Одна из героинь книги, Алиса Вайнтрауб, выросла в буржуазной семье, увлеклась коммунистическими идеями, вышла замуж за пролетария, эмигрировала вместе с ним в Советский Союз. Там ее муж погиб в сталинском ГУЛАГе, она же сама была выдана фашистам и прошла через гитлеровские концлагеря. Теперь это сломленный человек. По поручению службы госбезопасности ГДР она «опекает» местных деятелей культуры и пишет на них доносы.

Среди тех, кто бывает в доме Алисы, — молодой студент-искусствовед по имени Адам, главный герой романа. Наблюдая за жизнью художественной «элиты», он постепенно начинает понимать, что долго жить в такой атмосфере не сможет. «Но лишь когда его исключают из института, Адам обретает подлинную внутреннюю свободу», — пишет Юрген Серке. Вскоре юноша решает эмигрировать на Запад.

Отмеченный печатью высокой художественности, считает рецензент, роман Х. Нолля лучше, чем многие и многие публикации

Ханс Нолль.

(*Еженедельник «Вельтвохе»*)

прессы, помогает читателю понять причины, по которым сотни тысяч граждан ГДР стали покидать свою родину. Книга по-новому раскрывает некоторые аспекты социально-политического кризиса в стране, показывая, каких масштабов достиг в ней разрыв между «верхами» и «низами».

«Адам в романе — не тот «новый человек», которого хотел создать режим. Ханс Нолль, напротив, показывает рождение человека, называемого христианами «новым Адамом»... Это роман о становлении личности в ГДР», — заключает Юрген Серке.

Швейцария

НОВЫЙ РОМАН ФРИДРИХА ДЮРРЕНМАТТА

«Долина Неразбериха» — так можно перевести заглавие нового романа крупнейшего швейцарского писателя и драматурга Фридриха Дюрренматта. И «это заглавие вполне соответствует содержанию», — пишет в еженедельнике «Вельтвохе» критик Клара Обермюллер.

Автор назвал свой роман «метафизическим фарсом». «Здесь на небольшом пространстве представлены многие, хорошо знакомые читателям элементы дюрренматтовской вселенной»,—пишет журнал «Шпигель».

Вновь дало себя знать пристрастие этого автора к созданию странных, причудливых фигур, запутанных ситуаций, гротескных трюков. Многие персонажи как будто пришли сюда из прошлых произведений писателя: гангстеры, сумасшедшие, богоискатели, швейцарские политиканы — своего рода «визит старых драм», отмечает «Шпигель». А над всем этим «пестрым паноптикумом восседает некий Великий старец с бородой» — сам Господь Бог, которому противостоит другой Великий старец — без бороды.

«Однако заблуждается тот, кто решит, что все эти персонажи вступают между собой в какие-то логически упорядоченные отношения и сюжет можно будет пересказать, — пишет Клара Обермюллер. — Мотивы, детали, персонажи здесь, конечно, типично дюрренматтовские, но все это изъято из нормального контекста, все части как будто не подогнаны друг к другу. Драматургия Дюрренматта всегда была рассчитана на эффект неожиданности, но столь хаотично и непоследовательно он сюжет еще никогда не выстраивал... Так можно говорить за столом с друзьями после изрядного количества выпитого красного вина, когда разговор перескакивает по ассоциации с темы на тему. Но роман — это все-таки не ночной разговор с друзьями».

Читатель, знакомый с автобиографическими произведениями Дюрренматта, а также с его живописью, знает, что писателю мир представляется лабиринтом, и человек в этом лабиринте — «злосчастный Минотавр, которого безжалостный Бог поместил туда, не оставив даже малейшего шанса когда-нибудь выбраться из путаницы ходов, закоулков и тупиков», — продолжает рецензент «Вельтвохе».

Таким лабиринтом в последнем романе стала долина Неразбериха, где на одном склоне — деревушка, населенная странными, опустившимися людьми, на другом — помпезный на вид, но обветшавший санаторий, которым заправляют шарлатаны. «Перед нами мировой театр, размещенный в швейцарской долине», — заявляет «Шпигель».

Читается роман с трудом; чем дальше, тем сильней чувство досады, и уже думаешь, что автора постигла неудача. «Но когда дочитаешь книгу до конца, начинает казаться, что Дюрренматт выстроил все это шаткое романное сооружение лишь для того, чтобы на последних страницах все разрушить в беспощадном апокалипсисе. Убийца насилует маленькую девочку, в долину входят войска, танки открывают стрельбу по санаторию, в огне пожара гибнут все, добрые и злые, праведные и неправедные. «Эти страницы принадлежат к лучшему, что вообще написано Дюрренматтом за последнее время, — полагает Клара Обермюллер. — На этих семи страницах Дюрренматт рассчитывается... с миром хаоса и несправедливости, который не заслуживает ничего, кроме гибели, и который он все же любит... он рассчитывается с Богом, всеведущим и всемогущим, который допускает, чтобы такое происходило на земле, а свои милости распределяет так произвольно, что самый благочестивый человек оказывается в этом мире сумасшедшим».

Авторы этого номера

ЗИГФРИД ЛЕНЦ (SIEGFRIED LENZ; род. в 1926 г.) — немецкий писатель (ФРГ). На русский язык переведены многие его произведения, в том числе наиболее известный роман «Урок немецкого» (напечатан в «ИЛ», 1971, № 5—7), романы «Хлеба и зрелищ», «Живой пример», «Краеведческий музей», сборники рассказов «Запах мирабели» («ИЛ», 1977, № 1), «Эйнштейн пересекает Эльбу близ Гамбурга», притча «Время невиновных» и др. Творчество З. Ленца отмечено несколькими литературными премиями, в 1988 г. он награжден также Премией мира, присуждаемой Союзом германской книготорговли.

Рассказ «Вот такой конец войны» издан в ФРГ отдельной книгой в 1984 г. («Ein Kriegsende». Hamburg, Hoffmann und Campe, 1984).

БЛАГА ДИМИТРОВА (род. в 1922 г.) — болгарский поэт, прозаик, публицист. Автор многих книг стихов, в том числе «Песни о Родопах» («Песни за Родопите», 1954), «Как» (1974), «Гонг» (1976), «Голос» («Глас», 1985), романов «Путешествие к самой себе» («Пътуване към себе си», 1965), «Объезд» («Отклонение», 1967), «Лавина» (1971), «Лицо» («Лице», 1981) и др. В «ИЛ» печатались стихи Б. Димитровой, документальный роман о Вьетнаме «Страшный суд» (1970, № 10), главы из книги «Подземное небо. Вьетнамский дневник» (1973, № 3—4).

Публикуемые стихи взяты из сборников «Мгновенья» («Мигове». София, Български писател, 1968), «Лабиринт» (София, Български писател, 1987) и журнала «Септември», 1988, № 2.

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ (JOHN LE CARRÉ; псевдоним Д. Д. М. Корнуэлла; род. в 1931 г.) — английский писатель. Учился в Бернском и Оксфордском университетах. Долгое время состоял на дипломатической службе, а также работал в «Интеллидженс сервис». В 60-е годы приобрел известность своими политическими детективными романами: «Звонок к усопшему» («Call for the Dead», 1961), «Убийство по-джентльменски» («A Murder of Quality», 1962; рус. пер.— М., 1971), «Шпион, который пришел с холода» («The Spy Who Came in from the Cold», 1963), «Зазеркальная война» («The Looking Glass War», 1965), «Лудильщик, точильщик, сапожник, шпион» («Tinker, Tailor, Soldier, Spy», 1974), «Маленькая барабанщица» («The Little Drumer Girl», 1983). В «ИЛ» напечатан роман Ле Карре «В одном немецком городке» (1970, № 1—3).

Перевод романа «Русский отдел» («The Russia House») выполнен по изданию Alfred A. Knopf, New York, 1989.

По завершении журнальной публикации этот роман выйдет в издательстве «Международные отношения» под названием «Русский дом».

АЛЬБЕР КАМЮ (ALBERT CAMUS; 1913—1960) — французский писатель, драматург, эссеист, лауреат Нобелевской премии. Родился и провел детство в Алжире. Получил философское образование. В годы второй мировой войны А. Камю был участником французского Сопротивления. Автор романа «Чума» («La Peste», 1947), повести «Падение» («La Chute», 1956), сборника рассказов «Изгнание и царство» («L'Exil et le Royaume», 1957), пьес «Калигула» («Caligula», 1944), «Недоразумение» («Le Malentendu», 1944), «Осадное положение» («L'Etat de siège», 1948), «Праведные» («Les Justes», 1949). В «ИЛ» напечатана его повесть «Посторонний» (1968, № 9), пьеса У. Фолкнера и А. Камю «Реквием по монахине» (1970, № 9). На русском издано также «Избранное» (М., 1969 и М., 1989), Сочинения (М., 1989).

Книга А. Камю «Человек бунтующий» вышла во Франции в 1951 г. («L'Homme révolté», Paris, Gallimard).

Переводчики:

БУНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1920 г.) — советский переводчик с немецкого. В его переводах изданы романы Стефана Цвейга «Нетерпение сердца», «Кристина Хофленер» («ИЛ», 1985, № 7—9), Ханса Фаллады «Крестьяне, бонзы и бомбы», повесть «У нас дома в далекие времена», роман Генриха Бёлля «Женщины у берега Рейна», а также произведения современных писателей Австрии, ГДР и ФРГ.

МОРИЦ ЮННА ПЕТРОВНА — советский поэт и переводчик. Автор книг стихов «Лоза» (1970), «Суровой нитью» (1974), «Третий глаз» (1980), «Избранное» (1982), «И на этом береге высоком» (1987), книги для детей «Большой секрет для маленькой компании» и др. Ю. Мориц принадлежит много переводов из зарубежной поэзии.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕКАТЕРИНА РОБЕРТОВНА — советский переводчик с английского. В ее переводе опубликованы повесть Фреды Линде «Поющая трава», «Русский дневник» Дж. Стейнбека, новеллы и рассказы англоязычных писателей; ею переведены главы 1—8 романа «Русский отдел».

ГУРОВА ИРИНА ГАВРИЛОВНА — советский переводчик с английского. Среди ее переводов — романы Джейн Остин «Чувство и чувствительность», А. Троллопа «Барчестерские башни», А. Азимова «Сами боги», повести Дж. Стейнбека «Квартал Тортилья Флэт», Дж. Хэрриота «О всех созданиях, больших и малых», «Письма с Земли» М. Твена, фрагменты книги Ли Якокки «Якокка: автобиография» («ИЛ», 1988, № 12), рассказы Ч. Диккенса, Э. По, Ч. П. Сноу и др. Ею переведены главы 9—17 романа «Русский отдел».

СТЕФАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1939 г.) — советский поэт, прозаик, переводчик. В его переводе публиковались стихотворения А. Шенье, Э. Верхарна, А. Рембо, Ф. Вийона, А. Боске, Ф. Лорки, Я. Сейферта, романы М. Бети «Помни Рубена», С. Бадиана «Кровоточащие маски», повесть Вольтера «Белый бык», роман-репортаж Робера Мерля «Солнце встает не для нас» («ИЛ», 1988, № 10) и др.

◆

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В последнее время резко увеличилось количество писем (не говоря уж о лавине телефонных звонков), в которых подписчики высказывают возмущение безбожной задержкой сроков выхода журнальных книжек. Чистая правда: апрельский, допустим, номер появился в начале июля. С горечью вынуждены сообщить друзьям журнала, что в ближайшее время положение вряд ли выправится. Наш издатель — «Известия» — буквально захлебывается в потоке документов, стенограмм, резолюций Верховного Совета СССР, которые ему вменено в обязанность обнародовать. В этой ситуации нам остается лишь просить продлить кредит доверия. Совместно с издательством нами будет предпринято все возможное, чтобы законные требования читателей были удовлетворены.

Военный, сын и жена.

1 р. 80 к.

ИНДЕКС 70394